90 коп

Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1990. № 11. 1—208.

1990 11 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

11

1990



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1990

НОЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Сдано в набор 10.10.90. Подписано к печати 29.10.90. Формат 70×108¹/₁₆.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 335 000 экз. Заказ № 2953. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Юрий НАГИБИН

Две встречи

РАССКАЗ

1

Когда это было? Во второй половине семидесятых, точнее назвать трудно, да и не нужно. Сейчас это время называют застоем, таким оно, конечно, и было — из дали лет. Но ощущал ли я и близкие мне люди — за других я не могу ручаться — это время как застой? По-моему, нет. То была наша единственная жизнь, а в ней все, ради чего рождается на свет человек: любовь, дружба, путешествия, охота, семейные драмы — без них было бы пресно, творчество, да, да, и оно было — это сейчас кажется, что там зияла пустота, а еще творил Тышлер и строил на бумаге свои фантастические города Эрнст Неизвестный, были поэзия и музыка. И были диссиденты для успокоения нашей совести. Быть может, утомленный перестройкой, я хочу сказать, что то было прекрасное время? Упаси Господы! Время было ужасное, и мы это тоже знали, но и сейчас ужасное время, хотя по-другому — насквозь заполитизированное, совсем не творческое: нашу духовную пищу мы получаем из прошлого или из-за бугра, отечественные соловьи молчат, порой издают странные для соловьев скрежещущие звуки злободневного наполнения, которые называются публицистикой, безобразные расхристанные телеклипы — наши Моцарт и Бетховен, а главное, нет душевной жизни, никто никого не любит. Значит, нет и глубины бытия, оно крикливо, бесстыдно и плоско, как бездарный плакат. Это двухмерное бытие, без психологии и без тайны, без тишины и задумчивости, без нежной памяти и слез, но с испугом и с тем, что называют чемоданным настроением. Одни бегут, другие думают о бегстве, третьи никуда не собираются, но чемоданы почему-то уложены. А еще немало таких, кто хочет крови. Быт исчез. Люди не ходят в гости: застолья не соберешь, такси нет, и опасно поздно возвращаться. Все — и стар и млад — сидят у телевизоров, тупо уткнувшись в безобразные съездовские шоу. Ни одного самоубийства из-за любви, ни одной дуэли, не звучит серенада в уголовной ночи разрушающихся городов.

Неужели тогда было, как у Пушкина: «Много крови, много песен для прелестных льется дам»? Немного, конечно, но лилось. Сейчас льется неизмеримо больше, но дамы тут ни при чем. И все же я не хочу туда, назад. Нет, лучше наше безлюбье и пустые полки. Кстати, со жратвой в застое уже было плоховато. Нефтяной бум мог сделать нас самой богатой страной в мире, но все миллиарды ушли в эпохальные долгострои и в экологические преступления, которые назывались в песнях преображением земли.

Во всяком случае, Анна Ивановна Наседкина (имя вымышленное, хотя человек действительный), секретарь Усвятского райкома партии (название тоже вымышленное, хотя район лежит посреди России, ближе к северу), была сильно озабочена, как, а главное, чем принять группу из Академии педагогических наук, которая следовала автобусом через ее палестины. Это непривычное слово применил третий секретарь обкома, давая ей по телефону партийное поручение: принять, накормить и обласкать выдающихся московских ученых с женами. Они объездили всю область, знакомясь с достопримечательностями древней русской земли:

промыслами, ремеслами — тут при всеобщем разоре сохранились кружевницы, резчики по дереву, керамисты, плотники-виртуозы, реставраторы икон, — с монастырями, украшенными дивной росписью, с деревянным и гражданским зодчеством. Они возвращались домой по ее владениям, чтобы еще раз глянуть на Калистратов монастырь, расписанный несравненным Феодосием с сыновьями.

Довольно большой район, доверенный попечению Анны Ивановны, доставлял ей, помимо обычных секретарских хлопот с разваливающимися колхозами, убыточными совхозами, убогой местной промышленностью, с пивным заводиком, на который алчно смотрела вся область — еще бы, свое пиво! — с жилищным кризисом, нехваткой учителей в школах, врачей и медсестер в больницах, транспортными и энергетическими кошмарами, еще одну мучительную, пусть и лестную докуку — всемирно знаменитый Калистратов монастырь. Хотя это был музей всесоюзного значения и ведало им Министерство культуры, практически он существовал попечением и муками Анны Ивановны. К примеру: после долгих слезных просьб, бесконечных проволочек министерство присылало хранителя коллекций, научного сотрудника или экскурсовода, но, кроме весьма скромной зарплаты, ничем его не обеспечивало. Специалист оказывался в положении Робинзона: у него не было ни жилья, ни средств и материалов, чтобы это жилье построить, равно и никакого обзаведения. Монастырские кельи были давно заселены, а дом для сотрудников, запланированный еще в пятидесятые годы, строить не собирались — смешно Державе тратиться на подобную мелочовку. Были дела поважнее и помасштабней: прикончить тайгу, погубить Байкал и великие сибирские реки, убрать с карты России Аральское море, остановить течение Волги, ликвидировать чернозем. Если специалист приезжал с семьей, положение его оказывалось вовсе отчаянным. Но, как правило, специалисты были людьми одинокими, они знали, что их профессия — искусствовед — никому не нужна, почти не оплачивается, а следовательно, не позволяет завести семью. Похоже, тут нарушался главный экономический закон, установленный еще Адамом Смитом, но это никого не волновало. Конечно, нищенствующий музей не мог помочь даже одинокому специалисту, не говоря уже о семейных, и тогда за дело бралась Анна Ивановна. Всеми правдами и неправдами она раздобывала лес или кирпичи, железо или тёс, уговаривалась с мастерами, кого улещивала, кого подкупала, кого брала на силовое давление: дом складывали, подводили под крышу, как-то обставляли, и возникал очаг — ячейка жизни. Специалист начинал сеять разумное, доброе, вечное, а потом, глядишь, бросал свое бездоходное занятие и пристраивался к чему-то более выгодному. Жилье он, конечно, не освобождал, и мученические труды Анны Ивановны шли прахом. Вместо духовного наставника район получал еще одного паразита. Музей запрашивал нового специалиста, томительная канитель начиналась сначала. А ведь музей нуждался не только в работниках. Его надо было отапливать, подсушивать: почвенные воды точили старый разрыхлившийся камень; ремонтировать: трескалась, покрывалась плесенью настенная живопись, чернел металл паникадил, обваливались ступени лестниц. Министерство, похоже, считало монастырь действующим и молчаливо возлагало все заботы о его поддержании на трудолюбивых иноков. Но святых отцов не было в помине, была Анна Ивановна, и лишь ее неустанностью как-то спасалась старинная обитель. Не поймешь, как и на какие шиши, но дело делалось. Залатывали дыры, снимали плесень, укрепляли краску, заставляли работать вентиляцию и обогрев, дабы сияла бессмертная (в духовном, но не в физическом смысле) живопись Феодосия и угрюмился на потолке грозный смуглый Спас, далекий от прощения. И текли беспрерывным потоком людские толпы, восторгаясь, замирая, плача, крестясь, сморкаясь, зажимая рукой трепещущее птенцом сердце в груди, становясь светлее и чище; среди добрых, верующих в Бога или в Искусство, шли и пустоглазые, ни горячие, ни холодные, перед которыми отступал и душесокрушитель Феодосий, да ведь человечья протерь всюду проникает, и не о ней речь.

Никто из паломников не думал, что своим умилением, восхищением и очищением он обязан маленькой сутуловатой женщине средних лет, настолько замороченной, загнанной, не имеющей времени для себя, что забыла она о своей женской сути, о том, что у нее красивые глаза и волосы (плохо, кое-как уложенные) и при легкой сутулости крепенькая, стройная фигура, о чем, правда, не легко было догадаться из-за нелепой, случайной одежды.

Не думали об Анне Ивановне и те местные, равно приезжие люди, которым доводилось освежаться местным кисловатым, но все равно благословенным в жару пивком. Заводик, заложенный еще в петровские дни, не развалился и давал продукт только благодаря фанатичной — на житейский взгляд, а для нее естественной, как дыхание, — въедливой ответственности этой женщины. На заводике то не хватало овса (пиво тут варили овсяное, а не ячменное), то впадал в длительный запой главный мастер-пивовар, то не присылали стеклотары, и пиво приходилось пускать распивочно в ларек, а поскольку кружки давно побили или порастаскали, то пили из полиэтиленовых мешочков, как испанцы — вино из бурдюков, а случалось — стыдно сказать — даже из глубоких калош. Но такие перебои не бывали часты и длительны — Анна Ивановна включала третью скорость и находила выход, опять пенилось в чистых чанах золотое пиво, наполнялись бутылки, и район заливал холодной горьковатой благодатью горячий жар готовых котлет. Их бесперебойное производство на местной фабрике-кухне для уличной продажи тоже наладила Анна Ивановна.

Не стоит утомлять читателя другими примерами хлопотливой деятельности Анны Ивановны. Названные трудоемкие объекты были довесками к обычному набору секретарских забот, охватывающих все, без исключения, стороны районной жизни: от сельхозработ и производства до школ и профтехучилищ, от спортивных площадок и больниц до аптек и вытрезвителей. Казалось, яблоко с дерева не упадет без ведома и участия Анны Ивановны.

Как и в других районах области, в избытке тут имелись только водка, плодоягодное вино, грибы и голубика в лесу, сосновые шишки для самовара, в иные годы — клюква. Все остальное принадлежало державе чудес, но Анна Ивановна управляла этими чудесами, обеспечивая их относительную регулярность. И район жил: работал, ел, во что-то одевался, любил, целовался, смотрел телевизор, слушал музыку по радио и через транзисторы, ловил рыбу и раков, охотился, ходил в кино, а когда болел, то лечился (Анна Ивановна верила в народную медицину и не обижала травниц, наговорных женщин, знахарок и колдунов).

Анна Ивановна работала на полный износ, но разве можно сделать так, чтобы все были довольны? И Анну Ивановну ругали — случалось в лицо, но больше за глаза, донимали доносами. Она не обращала на это внимания и не меняла благожелательного отношения к людям, пишущим кляузы, жалея их ущербные души. Равно Анна Ивановна не задерживалась мыслью на том, почему она должна все делать сама, почему без нее люди шагу не могут ступить, не способны ни сеять, ни жать, ни варить пиво, ни тачать сапоги, ни учить детей, ни посещать музеи, ни получать почту, ни покупать товары, какие хочется (этого они не могли и с ее помощью), ни ездить в автобусе, ни подтереть задницу мягкой бумажкой. Вся ее деятельность была для нее столь же естественна, как для домашней хозяйки работа по дому и у плиты. Разве задумывается русская женщина, почему она должна успевать так много: поить, кормить, одевать, обстирывать семью, шить, мыть, штопать, чинить, чистить-брыстить, стоять в очередях, выхаживать больных детей, возиться с пьяным мужем, самой вкалывать на производстве, в поле или конторе? Так надо. Иначе рухнет домашняя жизнь. Анна Ивановна воспринимала весь район, как свой дом, на который у нее уже не оставалось времени. Выручала ее старуха мать, да и муж был хозяйственный и непьющий. Он заведовал столярной мастерской, работал от и до и, являясь мужем секретаря райкома, не мог ни воровать, ни химичить с пиломатериалами. Поэтому он приносил в семью немного, зато считал своим долгом подсоблять по дому и с детьми. К деятельности жены он относился двойственно: уважительно, но с оттенком иронии. Уважение отдавалось жене, ирония — системе, в которой она надрывала свои бедные женские силы. Муж задумывался над тем, о чем никогда не думала жена в силу своей полной заморочен-

ности: почему она должна заниматься пахотой, севом, сеноуборочной, жатвой, пивоварением, строительством домов и ферм, школьным преподаванием и музейной работой, не имея ни о чем понятия. Почему не оставить это тем людям, которые знают дело профессионально, почему крестьяне не могут сами крестьянствовать, артельщики делать замки, учителя учить, портные шить, строители строить? Почему всюду должна мелькать ссутулившаяся от забот, а некогда прямая, как былинка, фигура его жены? Долгое время он считал, что она только мешает, и стыдился за нее. Потом понял, что без нее все остановится и наступит паралич, конец света в одном отдельно взятом районе, и зауважал ее. Но одновременно он понял, до самого дна души понял несостоятельность системы, которая и дня не просуществует без толкачей вроде его жены. И никому — даже Анне Ивановне — не признаваясь, поставил крест на этом мироустройстве. Не должна сложная, противоречивая, ориентированная на собственные силы жизнь идти на бесконечной подкачке, словно старая, износившаяся шина, когда-нибудь она лопнет, разлетится на куски. Конечно, такой громозд изнашивается медленно, пройдут не то что годы, а десятилетия, но конец будет один. Хорошо бы неизбежный финал наступил не раньше, чем Анна Ивановна выйдет на пенсию или ее спишут. Он боялся, что удар настигнет ее на всем разгоне, тогда не выдержит усталое сердце. Пусть она раньше сойдет на обочину — прозрение окажется не столь сокрушительным. Понял он также, что, пока она на своем месте, уют и тепло не вернутся в дом, как бы этого ни хотелось им обоим. Что не будет и прежней ночной близости с безмерно утомленной женщиной, проваливающейся в сон, как в смерть, хотя они любят друг друга. Осталась лишь видимость семьи. Их хорошая девочка Варя растет не дочкой при родителях, а внучкой при доброй недалекой бабушке, парень и вовсе отбился от дома — матери он не видит, тусклый отец ему не указ, хорошо хоть босяком не стал — милый далекий чужак. Жизнь отняла у семьи жену и мать, и ничего тут не поделать. Он умел подчиняться обстоятельствам, начисто не умея их ломать, и завел себе женщину на стороне, надежно обеспечив свой роман от сплетен. Анна Ивановна не знала о существовании его пассии, а если б и услышала, все равно бы не поверила. Она любила мужа, привыкла к нему, чувствовала его преданность и надежность и была совершенно спокойна за свои тылы — вполне справедливо. Муж мог за нее помереть, он только жить на холоду не умел.

Но не надо думать, что Анна Ивановна была белкой в колесе — маленьким, не сознающим мира вокруг, безмозглым существом, включенным в систему вечного движения, при котором не постигается и сантиметра пространства. Она искренне считала, что вся ее утомляющая тело, мозг и душу деятельность нужна не только сегодняшнему дню, но и далекому манящему будущему. Она была незаменимым человеком для диктатуры: все принимала на веру, особенно — идеи, мгновенно очаровываясь любым зигзагом верховной мысли, ничего не подвергая проверке, оценке, и ломила во всю мочь туда, куда ее поставили передом. При этом оставалась нравственным человеком: любила, жалела людей и, не жалея себя, трудилась им на пользу и радость. Последним Анна Ивановна резко отличалась от стоящих, вернее, сидящих над ней, отчасти у нее на голове, ибо верхние люди обслуживали только самих себя. В системе их ценностей значились лишь предметы очевидного наслаждения: хорошая жилплощадь, дачи, пайки, сауна, машина, летний отдых на море или в горах, заграничная техника, обеспечение своих детей всем, что имеют родители, в самом начале жизненного пути. Был у них и момент духовный: ощущение власти, что едва ли не нужней для сладости бытия, чем зарубежные новинки, впрочем, и проигрыватель «Грюндиг» и магнитофон «Филипс» напоминают очевидностью своего блеска и совершенства, кто ты есть и чего достиг.

В полубреду бессчетных дел, в замороченности спешкой, противоречивых и неиссякаемых требований Анна Ивановна была не то чтобы счастлива или довольна, но покойна, тем самым важным внутренним, глубоко запрятанным покоем, когда человек находится в ладу с самим собой, даже если не все получается, когда он делает то, что должен делать, и не сомневается в прямизне своего пути. Правда, до дна сознания она доводила это редко, а так все больше тревожилась, задыхалась, сбивалась с ног и, как ей самой казалось, ничего не успевала. Иногда мир в ее глазах становился размытым, текучим, как в подводном царстве, она протирала глаза, не догадываясь, что влага на пальцах — слезы. И опять кидалась в бой — стойкий оловянный солдатик эпохи бесконечного обмана и надругательства над человеком.

Но все это из области высоких материй, хотя что тут высокого, в сущности, речь идет об искалеченной повседневности. А сейчас перед Анной Ивановной встала новая конкретная задача: принять и накормить группу московских путешественников. С питьем затруднений не оказалось: она купила на свои деньги несколько бутылок водки и два ящика пива, благо заводишко работал. Больше заботили ее продукты, которые помещаются не в бутылках. Хлеб, масло, консервы «частик», конфеты-«подушечки», сахар и чай она приобрела в сельпо, кое-что оказалось дома: десяток яиц, картошка, зеленый лук, огурчики.

Неожиданная забота настигла Анну Ивановну в разгар подготовки к уборочной. Готово, разумеется, почти ничего не было. Комбайны обещали стать на ход, но комбайнам на мелких лесных косых землях района не разгуляться, лишь в одном совхозе поля лежали цельно, гладко и удобно для большой машины, остальной хлеб придется брать жатками, а на особо неприступных местах — вручную. Серпом, украшающим наш герб, уже никто не владел, значит — косой. Потерь, конечно, при косьбе больше — выбивается зерно из колоса, но, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Жатки кое-как подготовили, куда хуже обстояло с тракторами — вечная нехватка запчастей, и вовсе гибло с автотранспортом: резина — слезы. А машина не человек, босиком не пойдет. Положение казалось безвыходным, но ведь таким же безвыходным оно было и в прошлом, и во все предшествующие годы, да ведь как-то убирали хлеб. В районе же Анны Ивановны вовсе обходились без приписок: убирали все подчистую, и клинышка не оставляли жестянеть и бронзоветь на осенних утренниках. Хлеб губили уже в других местах: при перевозке к элеваторам, в самих элеваторах, где он, если не сгорал вместе с самим хранилищем, то прел, гнил, прорастал, но туда власть Анны Ивановны не простиралась.

Ужасны и ошеломляющи новые неизвестные болезни, вдруг обрушивающиеся на вчера еще здоровый организм, а с врожденными или застарелыми недугами человек сживается. Горбун не помнит о горбе, слепой от рождения не страдает в своей тьме, и даже те, кого регулярно постигает радикулит, «укус ведьмы», приступы печени, равно хроники-язвенники, не паникуя, перетерпливают боль, а порой настолько сживаются с ней, что пребывают в полном комфорте.

Так и Анна Ивановна: она надрывалась, осаживала голос по телефону, куда-то мчалась на своем «козле» по страшным местным дорогам, кого-то уговаривала, кому-то грозила, у кого-то валялась в ногах, отважно шла к злым, крикливым, ругательным и все равно чудесным бабам, почти всегда находя у них поддержку, а душу не теряла. Хуже обстояло с внеочередным поручением. На ленивых райкомовцев рассчитывать нечего: пообещают, надуют и отбрешутся. Да и на своих положиться нельзя: попросила Варю собрать грибов, та принесла ведро червивого мусора.

Даже понять трудно, где она такую дрянь отыскала. Места тут на редкость грибные. Белых не так чтобы очень, но подберезовых и подосиновых — завались. Выйди, оглянись, и ведро само заполнится крепенькими чистыми грибочками. «Что же ты?» — только и вздохнула Анна Ивановна. «Мне уроки готовить надо», — в нос, что было признаком крайнего нерасположения, отозвалось дитя. Вот так во всем, положиться не на кого.

Пришлось браться самой. В обеденный перерыв она подкатилась к бабке Суслихе — первой грибнице, ягоднице и травнице в районе. За моток шерсти бабка согласилась съездить с Анной Ивановной в лес, в свой секретный грибной рай, заручившись партийным словом секретаря, что та не только никому не скажет, но и сама сроду туда не пойдет. Думала Анна Ивановна, что далеко ехать придется, в Кощеево царство, в Бабы Яги государство, а заповедное место оказалось чуть не в самом

райцентре, в заросшем мусорным леском, сильно выгоревшим после пожара овраге. Поблизости находилась свалка в ярко сверкающем на солнце ободе из консервных банок и битой стеклотары. И здесь, в гиблом, безобразном месте, где не виднелось ни одной осинки и лишь редко-редко среди немощных елочек и обгорелых сосен белела одинокая березка, две охотницы мигом набрали четыре ведра отборных подберезовиков и подосиновиков. А потом Суслиха отвела Анну Ивановну в ложок, где по скосам они взяли с десяток крупных темно-коричневых боровиков. «На похлебочку больно хороши!» — заметила Суслиха.

Уже по пути назад Анна Ивановна принялась чистить грибы. С такими крепышами хлопот нету, да уж больно их много, глядишь, не управишься. Теперь жарехи на всех хватит, а есть ли что вкуснее свежих жаренных на костре грибов с картошечкой и лучком!

Закуска кое-какая собралась, теперь следовало позаботиться о сюрпризе к столу. Можно предложить гостям такое угощение, что разгладятся морщины на самых суровых официальных лицах — вареных раков! Если, конечно, удастся их наловить. Раки, хотя и мелкие, водились в речке в изобилии, а часто ли по нынешним временам ты встретишь за столом классическое сочетание: пиво — раки! Анна Ивановна радовалась, что доставит удовольствие людям. Она их уже любила за те хлопоты, которыми они, сами того не желая, ее нагрузили. А еще ей хотелось поджарить рыбы. В реке водились плотва, густера, окуни, язи, щуки, но взять рыбу можно было либо сеточкой, либо бреднем, на удочку разве что пескариком за день разживешься. Тут требовалась мужская рука. Она поделилась своими планами с мужем. «Стоит ли так выкладываться? — спросил он с жалостью, глядя на ее измученное, опавшее лицо. — Мало тебе своей мороки? Ты ведь не знаешь этих людей. Может, это дрянь, мелочь пузатая?» «Типун тебе на язык! Стали б из обкома звонить? Самые ценные люди. Академики. Педагоги!» Он слегка дрогнул: «Ты в этом так уверена?»...

Наверное, стоило помочь, но его раздражало, что надо корячиться ради чужих и случайных людей, которых они никогда больше не увидят. Да и лень, признаться. К тому же ее уход на всю ночь, раньше не управится, открывал возможность навестить приятельницу без обычной вороватой спешки, и он сказал фальшивым голосом: «Я бы подсобил тебе, да из принципа не хочу. Нельзя, чтоб на тебе так ездили». «А я и не рассчитывала, — сказала Анна Ивановна, чтобы облегчить ему отказ. — Я Трофимыча попрошу». «Только бутылку дашь ему погодя, — посоветовал муж. — А лучше сама с ним пойди. Он мужик хороший и реку знает, но без царя в голове. За все берется и ничего до конца не доводит». «Что это я так разболтался? — одернул он себя. — Анька доверчивая, но не дура. Почует, что дело не чисто». И добавил ворчливо: «Да плюнь, не мучай себя».

Анна Ивановна уже не слушала. Не захотел помочь, и бог с ним. К тому же позвонили из города и сказали, что путевка в Цхалтубо обеспечена. Стало быть, пьяница-кузнец Сухов с авторемонтной будет вкалывать субботу и воскресенье. Такой у них был уговор. Считай, еще два грузовика выручены для уборочной. Настроение резко поднялось. Она переоделась в старенькое, сунула в карман бутылку и отправилась на «козле» сперва к Сухову, потом за Трофимычем.

С Суховым управилась быстро. Он называл свою болезнь «люмбаго», гордился ею и утверждал, что единственное средство против нее, кроме водки, это целебные грязи курорта Цхалтубо. Узнав, что путевка в кармане, сказал коротко: «Буду, как штык!»

А вот Трофимыч оказался не в духах и принялся ворчать:

— Раков захотела? А решето у тебя есть? А мяса тухлого захватила?

Анна Ивановна ни о чем таком не подумала, полагая, что у Трофимыча, речного человека, найдется всякая снасть и заманка. Поломавшись, Трофимыч достал из чулана драное решето, другим одолжились у соседки — вдовы музейного сторожа. Анна Ивановна пообещала ей помочь с дранкой для курятника. А вот тухлого мяса у старушки не оказалось, она забыла, когда вообще видела мясо в последний раз.

Продуктовый магазин был уже закрыт. Оставалась надежда на рай-

ком. Анна Ивановна заметила, что из холодильника, стоявшего в углу столовой для сотрудников, сильно несло. Возможно, подпортились готовые котлеты, которые она запасла для предстоящего семинара пропагандистов.

Лучше бы они не ездили в райком: от котлет остался только запах, кто-то их умял, а вот на телефонный звонок нарвалась. Во вторник в обкоме совещание по вопросу подготовки к Дню танкиста. «Зашиваюсь я с уборочной», — жалобно сказала Анна Ивановна. «Все зашиваются, — разумно ответил обкомовский голос. — Почему для вас должно быть исключение? Совещание крайне важное». «Хлеб важнее». «Не занимайтесь демагогией!» — и трубка шмякнулась на рычаг.

Увидев расстроенное лицо Анны Ивановны — мяса тухлого не нашла, а на разговор тухлый нарвалась, — Трофимыч сменил гнев на милость.

— Не печалься, Анна Ивановна. Мотанем на Никишкин пруд, лягух наловим. Рак, он после тухлого мяса больше всего дохлую лягуху обожает.

Поехали на пруд в сторону заката. В натихшем просторе оглушительно громок был хор гортанных грассирующих голосов на пруду. В дело шла только дохлая лягушка, поэтому Трофимыч вооружил Анну Ивановну палкой, а свою десницу оплел поясным ремнем с пряжкой. В считанные минуты картавый французский хор лишился десятка певуний.

Поехали на реку. Почему-то заветные места вовсе не таятся в таинственных далях, а находятся под носом. И до леска Суслихи было рукой подать, и раковая пучина Трофимыча оказалась неподалеку от плотины. Анна Ивановна отпустила машину, наказав водителю за ней не приезжать, отсюда до поселка было минут десять хода.

Трофимыч привязал к решетам по крепкому суку, напихал туда дохлых лягушек и пристроил под бережком.

Солнце зашло, но небо еще светилось утомленной белесостью, и нагустели тени. Плескалась рыба, выпрыгивала из воды за мошкарой, расходились медленные круги.

— Головель играет, только его не взять, — заметил Трофимыч. — Надоть с бредышком пройтись. — И стал снимать штаны.

Анна Ивановна разулась, сняла чулки, а юбку заправила в лиловые дамские штаны, подтянула повыше нижние резинки. Занимаясь туалетом, она рассеянно прикидывала, сколько Трофимычу лет. Думалось о нем как о дедушке Трофимыче, а ведь был он далеко не стар и пенсию получал по военной инвалидности, а не по возрасту. У Трофимыча плохо разгибалась перебитая пулей левая рука, другая пуля сидела у него внутри, обеспечивая ему вольную жизнь шабашника. Нигде не служа, Трофимыч был всегда при деле. На деньги не жадничал и все тянулся к реке.

Трофимыч пустил Анну Ивановну ближе к берегу, но все равно она промокла до пояса, а долговязый Трофимыч едва замочил подол старой гимнастерки. Анна Ивановна не была больно спора в рыбацком деле, хотя в детские годы хаживала с бредышком, поскольку большая семья, потеряв кормильца на войне, нуждалась в пищевом подспорье. И хотя Трофимыч ворчал и покрикивал, она его не подвела. С первого захода взяли пяток плотиц, подъязка и ерша. А при повторном им, помимо мелочи, и щучка приличная попалась.

Вода у берега хорошо прогрелась за день, и хотя кончили они рыбачить уже в сумерках, ноги и поясница почти не застыли, чего побаивалась Анна Ивановна, у которой с некоторых пор погуживало в коленях.

Щуку посадили на струнку, остальную рыбу сложили в сетку, которую привязали к лозе и спустили в воду. Проверили рачьи ловушки. Анна Ивановна ахнула, как полно набилось каждое решето черной в прозелень шевелящейся массой. Раков собрали, обновили приманку и пошли на берег обсушиться и попить чайку.

Анна Ивановна сняла все мокрое, повесила на лозняк сушиться, вытерлась и натянула ватные брюки.

— Надел бы штаны, Трофимыч.

— Мне не холодно, — отозвался тот, подтаскивая ветви для костра. — Мы привычные.

— Ты-то, может, привычный, а я нет. У тебя чего-то телепается.

— Не бойсь, Анна Иванна,— сухо сказал Трофимыч.— Я его не выпущу.

Но штаны надел.

Он сложил хороший костер, сварил чая, испек картошек. У Анны Ивановны были с собой хлеб, сало, лучок. Поужинали. Трофимыч разорил соседнюю копенку и соорудил пышное ложе. Они легли тесно, спинами друг к другу. Анна Ивановна лицом к потухающему жару костра.

Заметно посвежело, но холодно поначалу не было. Обтянутая ватником спина Трофимыча грела лучше костра. И она опять как-то смутно отметила про себя, что Трофимыч живой, справный мужик, и со стороны небось странным показалось бы их совместное отдохновение у костра. А вот мужа ничуть не смутил ее ночной поход на реку. Что это — равнодушие или доверие, исключающее всякую дурную мысль? А Трофимыч ощущает ли, что лежит рядом с женщиной, что они греются друг о дружку, или настолько исчахло в ней женское начало, что стала она для мужиков чуркой? Все эти мысли промелькнули быстрыми тенями, не принудив к сосредоточенности ни на одной, и сменились привычными тревогами об уборочной, запчастях, полеглой ржи; усталые, но довольно четкие мысли стали сбиваться, запутываться в пряжу сна, превратив видения в бред: страшные бесовские рыла полезли со всех сторон, она успела сообразить, что они прорвались сюда из предстоящего семинара пропагандистов, вслед за тем была какая-то шевелящаяся рачья тьма и потеря себя. Анна Ивановна спала.

Уже под утро, судя по отчетливости выступивших из серой мглы деревьев, кустов, камыша, она проснулась от холода в спине — за ней было пусто. И сразу услышала ровный гулкий шум. Трофимыч мочился на лопухи. Анна Ивановна успокоилась. От костра уже не тянуло теплом. Она дотянулась рукой до кострища, пепел и угли были холодными. Загудели колени. Трофимыч вернулся и осторожно подлег, только уже не спиной, а передом, босяк, прижался. Ей стало неудобно и противно, зато тепло. А пес с ним, он мужик порядочный.

Трофимыч лежал тихо, не ерзал. Анна Ивановна пригрелась и опять заснула — до ясного, залитого солнцем утра. В лицо ей дышал жаром вновь разожженный костер, побулькивала вода в чайнике. Трофимыч возился на берегу. Анна Ивановна окликнула его. Поздоровались.

— Анна Иванна, с удачей тебя! Два ведра раков. И вот такой красавец в гости пожаловал.

Трофимыч вывесил, ухватив за жабры, кого-то головастого, усатого, обросшего по брюху лишайчатой зеленью.

— Что за зверь?

— Сома не узнала? Ты им всю команду накормишь.

— Ну и здоров! Да невкусный он, Трофимыч. У старого мясо, как вата.

— Это верно,— неожиданно легко согласился Трофимыч.— Да ведь не выбрасывать. Что же, он даром жизни лишился? Ладно, я его сам сжую.

Анна Ивановна спустилась к воде, умыла лицо, потом глянула на улов. Раки мелкие, как тараканы, набили ведра с мениском. Да и рыбы предостаточно. Трофимыч в свою сеточку не одного сома уловил. Жареха обеспечена. Трофимыч предложил еще разок пройтись с бредышком, но вода была мозжаще студеной, и Анна Ивановна испугалась, что застудится и не встретит гостей.

— Поберегись,— согласился Трофимыч.— Я после переметом сам пошурую. Раков-то варить умеешь?

— А чего тут уметь? Бросил в подсоленный кипяток — всех и делов.

— Эх ты! А еще хозяйка. Рака сварить — цельная наука. Ладно, я сам сварю. Ты где костер планчешь?

— На Мыске. Где же еще?

— Ни о чем не заботься. Я вам костер разведу, всего наварю, нажарю.

И тут она вспомнила о поллитровке, которую сунула в карман по совету мужа.

— Трофимыч, у меня бутылочка есть.

Его морщинистое лицо разгладилось, так он залыбился.

— Давай тяпнем для угрева.

— Это тебе. Мне сейчас нельзя.

Он темно посмотрел на нее.

— Думаешь, я на бутылку не заработаю? Гостям своим поставь.

Она вспомнила, что, оказывая ей всякие житейские услуги, Трофимыч сам сроду ни о чем не просил. Со своей согнутой в локте рукой, в дранье и опорках, долговязый неухоженный бобыль был из дающих, а не берущих. На том и стоял. Надо было ей соваться с бутылкой. А ведь это муж ее попутал, чтоб ему пусто было! Может, из ревности хотел поссорить ее с Трофимычем?

— Вот черт самолюбивый! — сказала Анна Ивановна.— Наливай. Авось до обеда выдохнется...

...К приезду знатных гостей все было готово. Трофимыч выполнил свое обещание не оставить Анну Ивановну в трудную минуту. Он сложил громадный костер, натаскал хворосту для подпитывания пламени, охладил пиво в бочажке, почистил рыбу, перебрал раков, чтобы отделить тех, кто протянул клешни, живых сварил со всеми специями к вящему их удовольствию,— коли карась любит, чтобы его жарили в сметане, рак не меньше обожает, чтобы его варили с разными хитрыми травками.

Гости приехали: три супружеские пары, и показались Анне Ивановне важными, чопорными, как-то чересчур знающими себе цену. Но может, так и следует вести себя педагогическим академикам, делающим большое государственное дело для народного образования? Пожалуй, ее больше удивило бы и озадачило, окажись они веселыми и общительными. Столичным людям подобает некоторая важность.

Гости пошли осматривать монастырь. Анна Ивановна навострилась домой привести себя в порядок. Конечно, из этого ничего не вышло: позвонили из обкома по поводу предстоящего семинара пропагандистов и продержали у телефона чуть не целый час. Когда она запирала дверь своего кабинета, ее настигли человек пять или шесть, каждый с радостным криком: наконец-то поймал! Пришлось вернуться. Дела были разные: личные и общественные, но для Анны Ивановны они объединялись в одно горестное ощущение прокола: домой она не успеет, о бане и парикмахерской надо забыть. А до чего же противно являться на обед чумичкой. После ночи, проведенной на берегу, она была в довольно злом виде. Ее задержка в кабинете имела еще одно следствие: позвонил третий секретарь обкома и сказал, что на обед прибудут два московских писателя с женами.

— Хоть бы предупредили! — возмутилась кроткая Анна Ивановна.— Нельзя же так! В последнюю минуту. Еще четверо. Я на них не готовила.

— Они горячего не будут,— заверил секретарь,— только посидят.

Повесив трубку, Анна Ивановна испытала чувство такой окончательной пустоты, что была рада, когда через минуту-другую подступило отчаяние. Хоть какое-то чувство заполнило вакуум, в котором не было ни боли, ни обиды, ни огорчения, ни надежды. А отчаяние выдавило из глаз слезки, а из груди тяжелый прерывистый вздох. Ну правда, с таким трудом собрала она приличный стол, рассчитала, чтобы всем хватило и рачков, и рыбы, и грибов, и пива, и вдруг — еще орава. Он говорит: четверо. А шофер? А случайно присоединившийся к ним знакомый? Еще один комплект. К тому же писатели. Известно, выпить не любят. Конечно, это не ее вина, ей себя грызть не за что. Но не хочется срамиться перед людьми, не хочется, чтобы они плохо думали о районе, что он такой бедный. И тут из душевного мрака выплыл некто без штанов с ястребиным профилем — Трофимыч! На него вся надежда. Он чего-нибудь придумает, раздобудет, может, и сомом своим не успел распорядиться.

Она кинулась к Трофимычу, тот оказался на высоте:

— Ничего не бойся, Анна Иванна. Рядом я с палкой.

2

...Я стоял на полоске земли, протянувшейся между двух вод и усаженной тощими деревцами. Возведенная в чин бульвара, она отделяла бездарную плоскую ширь нового Волго-Балта от старого узенького канала Мариинской системы. Новостройный гигант затопил поемные луга, на ко-

торых паслись коровы, те самые, чье жирнейшее молоко превращалось в лучшее на свете вологодское масло. Нынешнее вологодское масло — обман, оно ничем не отличается от всякого другого. Волго-Балт недавно создан, а уже приходится его расчищать, углублять, по всей его отсвечивающей жидким оловом поверхности разбросаны землечерпалки. Судоходно в этой части лишь старое русло Шексны, размеченное бакенами, и караван барж вьется среди них анакондой. Остальная вода ничему не служит, кроме размножения комарья на заиленном прибрежье. Неподалеку от места, где я стою, канал вливается в Белое озеро и отдает суда во власть его капризного, буревого характера. Нет второго такого бурного озера в стране, и сейчас его пытаются укротить волнорезами. Самое невероятное, хотя и предсказуемое: чем строить эту грандиозную, вредоносную и баснословно дорогую нелепость, лучше было бы углубить каналы старой Мариинской системы — совершенства, как запоздало выяснилось, инженерного искусства. Вот он, этот тихий канал с темной и прозрачной до дна водой.

А вот и производитель работ — его бронзовый, в патине старины бюст высится на постаменте. Осмеянный русскими писателями — властителями дум, особенно постарался ересиарх отечественной словесности Лесков, — угодливый, придурошный, суетливый, ничтожный — таким он вышел из-под их пера, на деле же серьезный, ответственный, распорядительный и знающий — граф Клейнмихель. Признаться, и я однажды лягнул покойника. Зачем мне это понадобилось? Захотелось примазаться единомыслием к обожаемому Николаю Семеновичу. Но какое-то смутное беспокойство с тех пор меня не оставляло. А с чего оно пошло, не знаю. Нигде и слова доброго о Клейнмихеле не обронено. Либеральный дух настолько пронизал русскую литературу да и все общество со времен Новикова и Радищева, что никто не смел одобрительно высказаться о царском сановнике, даже сотворившем такое чудо, как Мариинская система, если он не оказывался в опале, как Сперанский. Ведь только опале, а не победам обязан своей невероятной популярностью генерал Ермолов — он небрежно воевал в Отечественную («может, но не хочет», — говорил о нем Кутузов), вяло, хотя и жестоко на Кавказе (Паскевич куда энергичней и быстрей решил те же задачи). Я вглядываюсь в бронзовое лицо и ничего не могу прочесть на нем. По слухам, Клейнмихель был так подобострастен, что его мутило в присутствии императора, что с нижестоящими бывал жесток и непреклонен, но ничего этого не проглянуть в смыто-благообразных чертах официального скульптурного портрета.

— Беседуешь с графом Клейнмихелем? — послышался голос.

Я оглянулся и увидел рыжий пламень волос и бороды, бледную растянутую кожу обожженного лица моего друга поэта Сережи Орлова.

— Какими судьбами?

— «В душе моей, душенька, сентименты нежные». Приехал взглянуть на родные места. Я ведь здешний. А ты?

— Приехал взглянуть на здешние места. Они ведь всем родные.

— И засмотрелся на Клейнмихеля.

— А что — он того стоит.

— Ты это понимаешь?..

Сережа вдруг чем-то озаботился. Это было мне знакомо. Сколько раз при встрече он проваливался куда-то, затем следовало неуверенное: «Возьми этот мундштучок». «Я не курю». «Кому-нибудь подаришь». Или: «Смотри, какой удобный карандаш — с ластиком. Хочешь — пиши, хочешь — стирай». Или: «У меня для тебя отличный лейкопластырь... жевательная резинка... лента для пишущей машинки... очки от солнца»...

На нем были спортивные брюки на резинке, без карманов и майка — никакого хранилища для подарков. Правда, в руке он держал промасленный сверток в газетной бумаге.

Два быстрых движения — скомканная газета полетела в урну, а мне в зубы ткнулся ком теста.

— Ешь! Крестьянский пирог. Местный.

Я куснул, глотнул и подавился рыбьей костью.

— Осторожнее! Рыбу запекают целиком — нечищенную, с хвостом, жабрами и всем скелетом.

— Ты серьезно? Это же опасно для жизни.

— Чепуха! Люди так едят с языческих времен. Никто не помер.

— А ты откуда знаешь? До чего ленивый народ твои земляки.

— Ешь, ешь, поменьше разговаривай.

Я откусывал крошечные кусочки. Было довольно вкусно, хотя мелкие кости впивались в язык, дёсны, нёбо и неприятно приклеивалась чешуя.

— Ты надолго?

— До завтра.

— Мы тоже. Вы домой?

Я кивнул.

— Поедем вместе. Поклонимся Феодосию и в Москву.

Я кивнул и вынул кость.

— У тебя места нет?

Я кивнул и показал на пальцах: два места свободны.

— Возьмешь меня с женой? Я отпущу обкомовскую машину.

— Охотно, — сказал я и подавился.

Вот так возникло столь смутившее Анну Ивановну сообщение о новых гостях.

По дороге Сережа Орлов сокрушался, что мы создадим лишние хлопоты секретарю райкома Анне Ивановне. Она принимает московских гостей — группу из Академии педагогических наук. «У нее, наверное, все рассчитано, — говорил Сережа, — а тут ввалится наша команда». «Неужели это может смутить хозяйку района?» — удивился я. «Милый, какое у тебя представление о районном быте? Ты что — живешь в стране изобилия?». «Я — нет. Но мне казалось, что хозяин района обладает бо́льшими возможностями». «Какая чушь! Знаешь, кто такой секретарь райкома? — у него вдруг покраснели обводья глаз, а замененная на лице кожа стала мертвенно бледной. — Это Ванька-взводный!» «Им тоже срок жизни шесть дней?» «Не дурачься! Ты же меня понимаешь. Он подымает людей в атаку, и по нему главный огонь. Его шпыняют сверху, кроют снизу, он за все в ответе, и в конечном счете этот шестидневный Ванька-взводный делает победу».

Его слова произвели на меня впечатление, и я сразу расположился к незнакомой Анне Ивановне.

Перед выездом мы сделали ревизию нашим припасам. У Орловых имелась дюжина костлявых деревенских пирогов, у нас — две банки судака в маринаде и палочка копченой колбасы. Решили подкупить провизии в дороге. Мы проехали немало сельмагов, но, кроме какой-то синюшной больной водки и черного хлеба, ничем не разжились. Еще имелись в продаже безмясные суповые консервы, но самый вид их отпугивал: ржавые разводы по донцу и крышке и неаппетитный опояс полуистлевшей этикетки, словно предупреждавший: нас не трогай, мы не тронем.

Потом Сережу осенило набрать грибов. Мы приглядели лесок и замечательно там отоварились. Я, житель самых грибных некогда в Подмосковье мест, забыл, что бывает такое изобилие. У нас давно, кроме свинушек и валуев, ничего не осталось. Черный груздь — это ЧП районного масштаба. Все истребили стекающие с полей химикаты.

Когда мы добрались до места и накланялись Феодосию, обед уже начался. Гости отдали дань закуске и ухе. Для пикника выбрали хорошее место в излуке реки, на опушке березняка, рослый кипрей окружал поросшую клевером полянку, искры высокого костра гасли в его листьях, сворачивая их в пепельную трубочку. Белые холсты, расстеленные на траве, были уставлены блюдами, тарелками и рюмками.

Странное впечатление производили академические гости. Мне вспомнились строчки из «Столбцов» Заболоцкого: «Прямые, строгие мужья сидят, как выстрел из ружья». Именно так сидели мужчины в темных костюмах, белых рубашках, при галстуке. Дамы были не то что раскованнее, а как бы сказать, разляпистее по рисунку: тучные и неуклюжие, они неловко чувствовали себя в сельских условиях, никак не могли выбрать удобной позы. Я не знаю, что стояло за холодной чопорностью мужчин: номенклатурная спесь или, скорее, неуверенность в себе. Они не знали, как себя держать с нами, и на всякий случай заперлись.

Удивительным контрастом этим истуканам была женщина с миловидным усталым лицом, теплыми карими глазами и разваливающейся прической, которую она безнадежно пыталась скрепить шпильками, гребенками,

слишком густы и тяжелы были волосы цвета лесного ореха,— Анна Ивановна — взводный наших — войны страшней — мирных будней.

Мне понравился мажордом банкета—ястреболиквй пожилой жердина в заношенном военном костюме, яловых сапогах и капитанской фуражке с лакированным козырьком. На груди у него пестрела орденская планка и золотилась ленточка за тяжелое ранение. Только увидев эту ленточку, я обнаружил, что у него испорчена левая рука. Но действовал он ею ловко. И еще я заметил, что академические гости слегка его робеют, даже с некоторой угодливостью отвечают на его обращение. Его звали Василий Трофимыч, он управлялся с двумя кострами: декоративным небоскребом и небольшим трудягой, над которым булькал ведерный чайник. В его распоряжении находились противни с жареной рыбой, ведра с раками, как потом выяснилось, пиво, остужавшееся в реке.

Сережа Орлов взорвал пикник, похожий на поминки. Конечно, восковые фигуры местного отделения музея мадам Тюссо не пустились в пляс, да это и невозможно, но он сделал праздник. Его внутренняя свобода, раскованность, чуждая развязности, создали другую атмосферу вокруг костра, люди почувствовали, что это не обычный день, что таких дней вообще не много выпадает в жизни, когда так весело и трескуче рвется к небу пламя, когда так ласково северное солнышко, так вкусна простая и свежая пища и можно спокойно довериться тишине и друг другу и убрать когти. Первой откликнулась ему улыбкой, заблестевшими, будто проснувшимися глазами Анна Ивановна, ей, поди, обидно было, что все немалые труды гибнут в томящей скуке, возвеселился сердцем и ветеран Трофимыч, и вся наша свежая команда, и даже стылая академическая глыба стала доступна теплым веям.

Я довольно часто видел Сережу за ресторанным столиком, реже за домашним столом, но не подозревал, что в нем скрывается тамада, заводила. В разговорах глаз на глаз он казался мне человеком скорее грустным. А сейчас он открылся с новой, неожиданной стороны.

Сережа озвучил застолье остроумными и добрыми тостами, сказал трогательные слова об Анне Ивановне, Трофимыче, святом месте, где мы собрались волей судьбы, о нас—паломниках и о том, как сдруживает людей древнее тепло костра. А перед раками с пивом — кульминацией праздника—он предложил совершить омовение в чистых водах, оплескивающих подножие монастыря. У академиков эта идея вызвала такой же энтузиазм, как если б Сережа предложил им принять участие в брокенском шабаше или групповом сексе. Но внезапно монолит дал трещину: одна из академических дам поднялась, царственным движением распустила молнию от горла до подола платья-халата и предстала в ослепительном атласном купальнике, ярком и сияющем, как оперенье жар-птицы, туго облегающем непостижимую уму крепость белых мясов, как сказал бы весельчак Ноздрев.

Некоторое замешательство произошло с Анной Ивановной, у нее не было с собой купальника. Она уже собралась окунуться в рубашке за кустами, но тут наши жены подыскали ей что-то из своих туалетов.

Водяная феерия включала проплыв Сережи под водой с камышинкой для дыхания во рту, сбор кувшинок и кубышек на пахучие быстро увядшие венки, наши с Трофимычем прыжки в воду с бугра, могучий кроль Жар-птицы от берега до берега. Анна Ивановна купалась как-то иначе: истово, серьезно, стараясь взять от реки все что можно. Она долго лежала на спине, раскинув руки и блаженно зажмурив глаза, затем перевернулась на живот; совершила дальний заплыв неспешным, размеренным брассом и так же серьезно обсыхала на берегу...

Мы пили пиво и хрустели крошечными, но очень вкусными раками. Сережа читал стихи, среди них мое любимое:

Меня зарыли в шар земной...

Я предложил присутствующим на спор угадать автора стихотворения, ставка—бутылка пива.

В жару растенья никнут,
Ползут в густую тень.
Одна лишь чушка-тыква
На солнце круглый день.
Лежит рядочком с брюквой
И кажется — вот-вот

Она от счастья хрюкнет
И хаостиком махнет.

— Маршак! — вскричала сильно расхрабрившаяся Жар-птица.

— Маяковский! —безапелляционно заявил Трофимыч, ему очень хотелось выиграть бутылку пива.

— А поэт известный? — спросил один из академиков.

— В высшей степени.

— Откуда ты знаешь эту пошлость?—Как странно краснеет Сережа—как бы рамкой вокруг молодой бледной кожи.

— В том же номере «Звена» напечатан мой рассказ. Мы вместе дебютировали.

— Господи! Совсем из головы вон! Я не такой злопамятный, как ты. У тебя был рассказ о косой тетке...

— Получай бутылку. Ты выиграл.

— Надо бы не бутылку, а бутылкой. Попадись мне сейчас такие вирши, я бы сказал: сроду поэтом не будет.

— Вот стали же,—почти улыбнулся один из академиков.

— Да еще каким!—подхватил другой.—Лауреатом!

— Секретарем Союза писателей,—веско утвердил Сережину достоинство последний из рассекреченных молчунов.

Трофимыч плеснул в граненый стакан водки и цокнул им о бутылку Сережи.

— Твое здоровье, танкист!—сказал он душевно.

Ближе к вечеру за академиками пришел автобус, и они стали прощаться.

— Спасибо за праздник,—сказал главный из них Анне Ивановне.

Они забрались в автобус и сразу будто обрезали все связи: ни один не выглянул в окошко, не помахал на прощание. Сели на свои места, выпрямились, одеревенели, взгляд устремлен прямо перед собой, как у свиньи, ни вправо не взглянуть, ни влево, только в сияющие дали.

Я допускаю, что все они неплохие люди; при том жестком режиме, в котором они существуют—добровольно или по принуждению—не имеет значения,— в них всех мелькнуло что-то человеческое: оказалась лихой пловчихой одна, проговорились доброй интонацией другие, и все отозвались на явление Орлова. Будь время, они бы еще сильнее оттаяли, и стало бы возможным поверить, что у них было детство, что им ведомы слезы и любовь, но времени не оказалось.

А все дело в том, что они занялись не своим делом да и вообще ничьим: нельзя быть педагогическим академиком, нужно быть гением как Песталоцци или Ушинский, чтобы хоть что-то понимать в тончайшей и сложнейшей области—не науки, а чего-то высшего, что называют педагогикой. Будь один из них честным ремесленником, другой пахарем, третий шофером или расторопным молодцом при лавке, они все заняли бы свои законные места, а в награду—раскованность, общительность, прямой ясный взгляд; и тяжелые их жены обернулись бы русскими венерами, чаевницами, милыми хохотушками. Но они ткут из паутины, добывают солнечный свет из огурцов и общественный продукт из экскрементов, проще говоря, паразитируют на народном теле. И сознавая это с тайным содроганьем в последней глубине души, они не могут быть самими собой, все время собранны, напряженны, готовы к отпору, как и все занимающиеся незаконной деятельностью. В известной мере они тоже жертвы времени.

И вот что удивительно: столь не похожий на них человек, как Анна Ивановна, стоящий прочно на земле и занимающийся самыми жизненными делами на свете: хлебом, производством, дорогами, транспортом, школами и больницами,—тоже эфемер и жертва времени. Она растрачивает свою душу и плоть, женский и материнский запас на то, чтобы жизнь творилась не естественным путем, когда каждый заинтересован в своем деле, обеспечивающем достойную жизнь ему и его семье, а наперекор желанию и сути человека, наперекор дневному разуму. Все, что она вынуждена пробивать, проталкивать, внедрять, навязывать, тратя столько сил и срывая душу, может вершиться само собой, как смена

времен года, как дыхание. Только бы отвалилась от народной груди черная, душная напасть, частицей которой, ничуть о том не подозревая, была бедная, милая и чистая Анна Ивановна. Она была уверена — не без оснований, — что без нее не обойтись: не будет даже серого сырого хлеба, комом ложащегося на желудок, не будет и безмясных суповых консервов и конфет-подушечек на полках сельмагов, не будет всего судорожного движения жизни, в котором осуществляется человек. И каждый день без оглядки Анна Ивановна шла в свой последний решительный бой, ничего не выгадывая для себя, кроме тычков и затрещин, выговоров и проработок, теряя все: годы, дом, мужа, дочь, сына — шел на кинжальный огонь противника бессмертный смертник Ванька-взводный.

А как же в иных странах, у иных народов — там все по-другому? Об этом Анна Ивановна не задумывалась, знала одно: если по-другому, значит, хуже.

Мы долго сидели на берегу. Ушло солнце за березняк, побелела вода, задымились прозрачные тучки безвредных, не едучих комаров. Мы допивали пиво, доламывали рачьи панцири. Анна Ивановна и Сережа что-то напевали вполголоса. Мог ли я думать, что в последний раз вижу Сережу? Пройдет немного времени, и его не станет — в одночасье. Какой-то «эмковец» из управляющих литературой нахамит ему публично, и разорвется горевшее в танке, но тогда спасшееся сердце гордого человека. Человеческое сердце невероятно выносливо и хрупко, как стекло.

А затем Сережа замолчал, и Анна Ивановна, не заметив, что ее бросили, продолжала петь маленьким старательным голоском:

> Темнеет ночь, ужасный ветер воет,
> Где медлишь ты, отрада бытия?
> Кто стукнул в дверь — зачем так сердце ноет?
> Когда б она, бесценная моя!..

— Анна Ивановна, что это? — заинтересованно спросил Сережа, когда она добрусила странную песню.

Она вздрогнула и вернулась из своей дали.

— Сама не знаю. Мама пела. Чушь какая-то.

— Вовсе не чушь. Что-то старое. По лексике — начало века. Влюбленный телеграфист, вечер, палисандр дачной гитары. Хорошо!..

Вот и совсем кончился этот долгий, без всяких событий и происшествий, без значительных слов и чувств, летний северный день, который — я знал это уже тогда — навсегда останется в памяти.

— Прощайте, Анна Ивановна, — говорил Сережа, целуя доверчивое лицо женщины. — Прощай, дорогой Ванька-взводный!..

Я потом много думал, почему Сережа воспользовался при расставании непривычным и непринятым в бытовой речи, романсным словом «прощай» вместо обычного «до свидания»? Неужели его вещая душа подсказала ему это слово?..

3

Прошло сколько-то лет, а для Сережи прошла жизнь, и я сделал нежданно-негаданно ослепительную, хотя, как вскоре выяснилось, мотыльково краткую карьеру. Меня, не спрашивая согласия, назначили секретарем Московского отделения СП. Краткость же карьеры следует отнести за мой счет, я быстро разобрался, что к чему, и вернул себе утраченное достоинство.

Что произошло за минувшие годы? Из отдаления трудно сказать. Вроде бы ничего не произошло. Шла вялая и ужасная афганская война, где мы теряли не столько убитыми, ранеными и пленными, сколько морально разложившимися. И без того невеликий нравственный запас наших воинов стремительно расходовался в пьянстве, наркомании, кровавой алчности к трофейной технике и поощряемой жестокости; с исказившегося лица армии смывало честь, заслуженную ею в Отечественной войне. Все хуже становилось с продуктами и все лучше с бормотухой и водкой, производимой из отходов отходов. Для самых честных и смелых было три пути: в лагерь, в психушку, за кордон. Для честных, но робких один путь: в молчание. Для низких, бездарных и бесчестных путей было без

счета, и все они вели к золотому дождю наград. Мы уже не стеснялись, что жирный косноязычный бездельник — глава партии, государства и армии — стал литературным корифеем, потеснив Достоевского и Толстого, что он оставляет за собой мокрое пятно, не узнает государственных деятелей, с которыми лезет целоваться, что дух народа вверен Кощею с белой пустотой за стеклами очков, что под видом диссидентов домолачивается интеллигенция — последнее, на чем оставался свет божий, что лгать научились младенцы и покойники, что на безумном байкало-амурском строительстве доламывается молодая душа, не иссушенная афганцем, и спокойно ждали, когда поворот великих сибирских рек окончательно кончит страну.

Но жизнь шла, пили и гуляли, как в последний день, иные с крысиной суетливостью обделывали свои делишки, ухватывая кусок барского пирога, другие, как вороватые лакеи, уносили с пиршественного стола мировой культуры какое-нибудь запретное лакомство: книгу Набокова, стихотворение Бродского, песню Галича и тайно наслаждались, а многие были вполне довольны по причине здорового кишечника, мощных половых желез и мускулов, просто от неведения, что существуют потребности, — безмятежное счастье мокриц, медуз, полипов. И пока таких большинство, диктатура может быть спокойна.

В разгар этой фантасмагорической, но скучной полуяви-полусна меня направили в один из областных центров подстепной России провести семинар начинающих авторов, а затем — перевыборы правления местного Союза писателей.

Я довольно легко справился со своими обязанностями, ибо имел большой опыт работы с молодыми авторами, второе же поручение требовало лишь одного: спокойно подремывать в президиуме и не мешать. Но поскольку в президиуме я сидел в первый раз (и в последний, как вскоре оказалось), мне все было в диковинку, и я поминутно лез не в свое дело. Меня мягко осаживали, я и сам твердил себе: поменьше рвения, но ничего не мог поделать со своей нездоровой заинтересованностью и порядком затянул рутинное мероприятие. Впрочем, народ тут был покладистый и снисходительно списал мне никому не нужную активность.

Больше пользы от меня было, наверное, на семинаре, где оказались обещающие ребята. Один парень уже напечатал несколько рассказов и шел как бы вне конкурса. Он носил смешную фамилию Петрушка, был отчетливо даровит и несколько разочарован слишком медленным продвижением к Олимпу. Надо было его взбодрить, обнадежить. Я и впрямь верил, что он пойдет в ход.

Мне ребята понравились сперва внешне: опрятные, свежие, собранные что парни, что девушки. Впрочем, парнями и девушками они выглядели из окошка моей старости, в основном тут были люди определившиеся и профессионально, и семейно. Все работали, и лишь один студент затесался в солидную компанию. И никакого гениальничанья: ни лохматых шевелюр, ни клочкастых бород, ни запорожских усов, ни расстегнутых до пупа рубашек и грязных выношенных до основы джинсов. Почему-то я так и не научился любить образ нынешней юности. У иностранных ребят за этой простотой и небрежностью — здоровое презрение к буржуазному быту, миру отцов, благонравному, умытому и приглаженному мещанству. Хотя и у них среди зажиточной молодежи есть немало фальшаков — ломающихся под битников, тогда это тоже противно, как и все неестественное, служащее моде, а не собственной душе. Ну, а нашим чего выкаблучиваться? У нас нет быта, а мещанство наше не голубое и розовое, а черное, смрадное и косматое. Лучше отрицать его спортивной элегантностью, местные молодые люди так и делали. Хорошо одетые, воспитанные, они все имели четкое лицо: инженер, учительница, заводской мастер, рабочий-станочник, два врача, а еще студент и жена. Это была красивая молодая женщина, недавно вышедшая замуж за очень крупного человека — не то директора комбината, не то командующего военным округом, не то члена-корреспондента Академии наук. Нежно ошеломленная чудом столь блистательной реализации своей юной прелести и внезапной сановной взрослости, она все время пребывала в нетях, в душевном и умственном парении, уводившем ее прочь из бедной обы-

денности семинара к каким-то иным видениям, посылавшим таинственную улыбку на ее отрешенное лицо. Впрочем, когда дело дошло до обсуждения ее рассказов, неожиданно резких, жестких и точных, обнажавших немалый и горький душевный опыт, она очнулась и слушала внимательно, отсеивая словесную шелуху и беря для себя нужное.

У меня было предвзятое отношение к периферийной прозе, после того как я со сходным поручением (но еще не секретарь!) съездил в Горький раскисшей, сопливой порой ранней хрущевской оттепели. Медленно расходятся круги по воде, мы, столичные, уже кусали от сладкого пирога свободы, а горьковчане доживывали мякинный хлеб культа личности. Почти все рассказы начинающих волжских мопассанов были посвящены одной животрепещущей теме: освоению мужчинами-колхозниками женской профессии доярки. Душа разрывалась, сколько непонимания, насмешек, издевок приходилось на долю смельчаков-новаторов, видевших свое высшее предназначение в том, чтобы дергать коровьи дойки. Было страшновато слушать этот воробьиный щебет грузных волгарей, в чьих предках значатся такие крутые, могучие люди, как Шаляпин и Горький. «Что, у вас другой проблемы нету?—спросил я.—Ведь новое солнце на дворе». Они обиделись и послали донос в Союз писателей. В другое время мне не поздоровилось бы, но тиран ушел, и я отделался пустяками—не пустили в какую-то заграничную поездку.

Здесь на семинаре в самый разгар застоя, о чем мы, правда, не догадывались, думая, что нас баюкают волны зрелого социализма, было и разнообразие тем и запах жизни, порой даже некоторая художественная бесовщина, навеянная Булгаковым, но не заимствованная у него. Театральный художник Петрушка удивил меня естественностью своего сюрреализма.

В последний день семинара ко мне подошел переизбранный на очередной срок Председатель местного СП и сказал проникновенно и чуть таинственно:

— Мы хотим вас еще поэксплуатировать. Не почитаете ли два очерка нашего молодого автора?

— А почему он не участвует в семинаре?

Мой собеседник терпеливо улыбнулся.

— Он не так молод, как остальные участники. А главное, очень загружен. Он первый секретарь одного из наших сельских райкомов партии.

Что-то во мне закисло, и мой сообразительный собеседник почувствовал это.

— Он очень скромный человек, поэтому не решился сам подойти к вам. Если не понравится, вы так и скажите. Ваш суд для него последний.

— А это очень плохо?

— Он не претендует на особую художественность. Но подкупает знание жизни, серьезность подходов, выстраданный жизненный опыт.

Ванька-взводный! — вспыхнуло во мне. И не зная этого человека, я уже расположился в его пользу, почти полюбил, потому что он глянул на меня милыми усталыми глазами Анны Ивановны. Дорогой человек, день-деньской носится по полям между отстающими колхозами и разваливающимися совхозами, проворовывающимися артелями и не выполняющими план заводами, с совещания районных пропагандистов мчится в обком на разнос, слезно вымаливает шины и запчасти, лекарства и школьные тетради, изойдя черным потом усталости, ловит ночью раков для гостей района, а под утро, трудя красные воспаленные глаза, заполняет листы бумаги неохотно слепляющимися словами, чтобы отдать людям остатки не израсходованных в дневной круговерти мыслей и чувств. Это было трогательно и высоко. А главное, передо мной витал лик незабвенной Анны Ивановны, как перед очарованным странником Флягиным образ Грушеньки, когда он под пулями переплывал ледяную воду.

Короче говоря, я взял эти очерки, хотя, видит Бог, как мне не хотелось в последний вечер, уже перенасытившись молодой прозой, читать тусклые секретарские откровения.

За окнами, распахнутыми в молодое лето, широко открывался с холма, на котором стояла гостиница, удивительно живописный город, весь

в цветущих сиренях, славших сюда свой густой сладкий аромат, со старыми действующими храмами, с огромным парком и опрятными домами, с чистым, прозрачным воздухом — все предприятия располагались по кругу на окраинах и отдавали разноцветные дымы в небо. Слюдяно сверкала излука хорошей упругой реки, по ней скользили байдарки, и хотелось туда, к воде, к сиреням, старым храмам.

Этому городу сказочно повезло. Он лежит посреди разоренной, разбомбленной России совсем нетронутый, не пострадавший ни одним строением. Немцы до него не дошли, но долетали куда дальше. Они уничтожали города с несравнимо меньшим промышленным потенциалом и без всякой военной индустрии, а здесь находился мощный оборонный комплекс. Город обязан этим провидческому гению Сталина. В тридцатые годы, когда Гитлер пришел к власти, вождь народов поверил в него как в человека, который изведет под корень социал-демократию, для начала хотя бы в Германии. Ненавидя все демократическое движение, Сталин особенно ненавидел его немецкое крыло, славное многими историческими именами. Первоклассная летная школа города широко распахнула двери для немецких люфтваффе. Здесь, в русском ситцевом небе, оттачивали свое мастерство такие асы, как будущий глава военно-воздушных сил Мильх, как генерал-полковник Мёльдерс — гроза испанских республиканцев, и сам рейхсмаршал, герой первой мировой войны Герман Геринг взял несколько уроков высшего пилотажа и прицельного бомбометания. Можно сказать, весь цвет военно-воздушных сил вермахта, уничтожавших европейскую Россию в ходе второй мировой войны, прошел здесь выучку. И когда началась война и распоролось русское небо клиньями «Юнкерсов», Геринг запретил бомбить свою альма-матер: ни один фугас, ни одна зажигалка не упали на город, когда кругом все полыхало, ни разу вой и свист пикирующих бомбардировщиков не заледенили душу городских жителей. После войны уцелевший и развивший свою промышленность город быстро пошел в гору.

И вот теперь между мной и этим чудесным, спасенным совместными усилиями Сталина и Геринга городом, выласканным трудами своих симпатичных жителей, храмовым и благоуханным, втиснулась секретарская проза. Но что поделать: взялся за гуж...

В каком-то смысле это оказалось еще хуже, чем я ждал. До того сухо, серо, невыразительно, без единой искорки не только таланта, но живого чувства, темперамента, пристрастной заинтересованности в чем-либо, радости и гнева. Ровное, добросовестное изложение расхожих районных мероприятий по выполнению последних решений не помню уж какого пленума. Индивидуальности автора не было в помине, как и характеров персонажей, только фамилии, имена и отчества, зато время от времени возникал пейзаж с самыми расхожими полевыми, лесными и приречными атрибутами, поданными так, словно он взял перед партией обязательство не проговориться ни одним живым словом. Но вместе с тем это было лучше, чем я ждал, настроенный на встречу с чем-то жалостно-неумелым, неловким, но с проговорами в какую-то художественность. Это особенно опасно, поскольку есть за что похвалить, а в целом приходится браковать. Такое мало радует даже молодых, наивных, но всерьез тянущихся к литературе авторов, и вовсе неприемлемо для солидного, знающего себе цену человека. Тут или мучайся над бессильными авторскими поправками, или садись и сам все переписывай. А это было довольно гладко и вполне грамотно. У меня возникло подозрение, что Глава местных литераторов прошелся рукой мастера. В принципе, если есть связи, а в их наличии сомневаться не приходилось, такую писанину можно опубликовать в межрегиональном журнале в разделе «Хроника районной жизни» или «Нам пишут». Непонятно только, зачем ему это надо. Впрочем, литературный зуд и тщеславие, желание напечататься—явления столь широко распространенные, что едва ли стоит над этим ломать голову.

— Ну как?—спросил Глава местной литературы на другое утро, когда мы встретились в вестибюле гостиницы.

Накануне вечером, только я перевернул последнюю страницу рукописи, ко мне в номер постучали. Это были Петрушка, Инженер, Заводской мастер, один из Врачей—наиболее обещающие на моем семинаре,

если не считать Жены, которой не было с ними, что меня огорчило. Они пришли попрощаться, поблагодарить и плеснуть на сердце. Карман Петрушки стыдливо оттопыривался бутылкой шампанского.

— А где Жена? — спросил я. — Она тоже из нашего золотого фонда.

— При исполнении супружеских обязанностей, — улыбнулся Инженер, автор довольно язвительных рассказов в духе раннего Пантелеймона Романова, о котором он даже не слыхал.

— Литература требует всего человека, — заметил я сентенциозно. — Ей надо решить, кто она: жена или писатель.

— Она, видимо, надеется совмещать эти ипостаси, — улыбнулся Врач, тяготевший к смелой манере Генри Миллера.

— Ее муж никуда вечером не отпускает, — добавил Заводской мастер, писавший смешные миниатюры о животных.

Я понял, что Жены мне не видать, и налег на шампанское. За этой бутылкой последовала еще дюжина. Мы пили его, как пиво в жаркий день. Но разговор получился грустный и серьезный. Расставаясь, мы знали, что едва ли еще увидимся, и долго жали друг другу руки...

Утром я чувствовал себя неважно — опьянение от шампанского дурное, — с головокружением и отрыжкой, — не понимаю, что находили в нем гусары? — и на вопрос коллеги ответил честно:

— Муторно.

— Неужели настолько плохо? — спросил он упавшим голосом.

— Да нет, — тронутый сочувствием, я решил его успокоить. — Блева не было. Выпью кофе и оклемаюсь. До Москвы отойдет. Не впервой.

Он как-то странно посмотрел на меня.

— Я не о том... Как рукопись?..

Господи, с чего я взял, что он знает о нашем мальчишнике? И почему решил, что он так озабочен моим здоровьем? Видимо, у меня с головой действительно не в порядке.

— Знаете, вполне терпимо. Грамотно и членораздельно. — У него было такое напряженное лицо, что я не удержался в тесных рамках объективной правды. — Я ожидал куда худшего. А это можно печатать. — Ложь была не столько в словах, сколько в интонации, слишком горячей.

— Одну минутку! — и он кинулся к телефону.

Дозвонился сразу, и там, куда он звонил, сразу же сняли трубку. Он говорил, прикрыв рот рукой, потом долго кивал кудрявой головой, выслушивая ответ. Под конец так кивнул, что кудри упали ему на лицо. Положив трубку, он вернулся ко мне.

— У меня к вам просьба — скажите ему это сами.

— Что?

— То, что вы говорили. Только чуть-чуть теплей. Вы не представляете, какой это хороший, скромный человек. Очерки хотят напечатать, но он сказал: только если классик даст добро.

Мне стало не по себе: история с секретарской прозой как-то разрасталась, словно заглатывая меня.

— Соедините. Я скажу.

— Нет, нет. Вы поедете мимо и скажете это ему лично.

— Что значит мимо?

— Он сегодня принимает новый домовый комплекс в Чувырино. Это вам по пути. Вы посмотрите замечательные терема для доярок и скотниц. Плеснете на сердце и скажете буквально два добрых слова. Кстати, сиреневый заповедник находится в его районе. Хотите посмотреть?

Это уже куда лучше! Новостройки — бог с ними, а вот о сиреневом заповеднике я давно мечтал. Да и плеснуть на сердце не помешает, надо поправиться. И вспомнился день на реке, костер, раки, похожие на тараканов, кислое пиво, хрустящая жареная рыбка, чай с дымком, Ванька-взводный, Сережа, Трофимыч, небогатое, но такое милое, доброе застолье, негромкий русский разговор. Неужели это может повториться?

— Принято! — сказал я.

Он кинулся к телефону...

На встречу с молодым автором меня сопровождали на черной «Волге» кудрявый секретарь СП, его приближенные, среди них юная поэтесса в обтяжных узорчатых штанах, заправленных в высокие коричневые кавалерийские сапоги. Такие сапоги носил после революции поэт Оцуп и выдавал себя за секретаря Троцкого. Сапогам верили, что обеспечивало находчивого поэта контрамарками в кино.

Не помню, сколько мы ехали, я задремал, а проснулся от резкого толчка, едва не влепившего меня рожей в лобовое стекло. Впереди было заграждение, как при строительных работах, а вокруг много народа: в праздничной толпе выделялись две женщины в национальных русских платьях, которые носят только оперные пейзане и никогда не носят живые русские бабы. Ослепительно сияла медь духового оркестра.

— Мы влипли, — сказал я шоферу. — Кого-то встречают. Похоже, Брежнева.

Я вылез из машины. Волнение содрогнуло нарядную толпу. От нее отделились три рослых человека в темных вечерних костюмах при галстуках и двинулись к нашей машине. Семенящей походкой их обогнали пейзанки, одна несла на деревянном блюде каравай домашнего хлеба и солонку, другая на подносе — золотой столбик коньяка и чарки. На локте у нее висело полотенце с петухами. Тяжело из глубины чрева вздохнул геликон, и оркестр заиграл: «Славься!».

Дорогие мои соотечественники, братья и сестры, это встречали меня!..

Хлеб, соль оказались передо мной одновременно с высоким представительным человеком, источавшим какой-то сухой жар. Засмугленный солнцем лоб, серые, затененные ресницами, словно прячущиеся глаза, странно горькая складка прекрасно очерченного рта. Тайное страдание искажало черты красивого, победительной стати мужчины. Оно искупало обидную для окружающих щедрость природы, излившей на него все свои дары, быть может, то боль мира пронизывала его душу, он был в ответе за всех малых и сирых нашей земли.

— Здравствуйте, дорогой человек, — сказал он, заключив мою руку в две теплых сухих ладони. — Я ваш подопечный.

— Второй! — произнес подходя его правый спутник.

— Третий! — доложил спутник слева.

Я думал, что они рассчитываются, как в строю, нет, просто то были второй и третий секретари райкома. Прежде чем я это сообразил, мне в нос шибануло плотным запахом свежепеченого хлеба. Я взял густо посоленный кусок, в другой руке оказалась чарка с коньяком. Я хватил ее, содрогнулся всем своим похмельным существом и вслед за тем почувствовал, как собирается нацельно мой размытый вчерашним шампанским состав. Громкое ура сотрясло хилый среднерусский воздух. Кто-то утер мне рот полотенцем. Я стал жевать вкусный теплый хлеб, свободной рукой приветствуя ликующую толпу.

Следующую чарку мы выпили «со свиданьицем», и тут вчерашнее шампанское пришло во взаимодействие с сегодняшним коньяком, и во мне проснулся Хлестаков. Бессмертный Иван Александрович дремлет почти в каждом русском человеке, это фигура куда более национальная, чем купцы Островского, толстовский Платон Каратаев, мужики и разночинцы Тургенева, Обломов Гончарова, не говоря уже о вовсе придуманных праведниках Лескова. Это всё типы, обобщения, а Хлестаков — живая и весьма существенная частица каждого из нас. Я почувствовал легкость мыслей необыкновенную, и пискнувший в душе птенец смущенной совести сдох. Спокойным ухом ловил я замирающие раскаты хора и духовых, спокойным взором принимал кривые улыбки поселян, похоже, не знавших, кого они так тепло встречают (представляю, что бы творилось, если б они знали!), спокойным шагом направился в сторону расписной потемкинской деревни.

Надо сказать, что всего неделю назад я наблюдал точно такие же двусмысленные коттеджи под Дмитровом — целый еще не заселенный поселок. То было шоу, организованное для писателей тогдашним подмосковным боссом Конотопом. За этим причудливым строительством угадывалось какое-то верховное сумасшествие. Надо думать, Брежнев с подачи своих сельских консультантов (Суслов не лез в деревенскую безнадегу) решил, что единственный способ удержать доярок в колхозе — это создать им выдающиеся жилищные условия. Это — заблуждение: в текучем

колхозном населении лишь доярки ни при каких обстоятельствах не бегут с тонущего корабля. Очевидно, привязанность к скотине делает русскую женщину вечной пленницей гиблого места. Но царское слово упало с уст, и все, как оглашенные, принялись строить дома для тружениц молочных ферм по типовому проекту, сочетавшему изящную неброскость избушки бабы Яги с ярмарочным балаганом. При каждой избушке предусмотрен гараж, предполагалось, что у всех доярок есть машины. Но как-то не подумали, что у доярки может быть своя корова, свинья, пара овец, на худой конец птица — ни хлева, ни сарая при доме не имелось. И когда я спросил об этом Конотопа, он ответил с раздражением, но умно: «У вас, видать, ветерок в голове. И Москва не в один день строилась».

Тут меня подозвал Борис Можаев.

— Глядите, в этих домиках нельзя жить.

И показал на щели, рассекавшие строение сверху донизу по всему составу. В каждую щель свободно входила ладонь. Не надо норд-оста, сирокко и афганца, чтобы сделать нарядные избушки непригодными для жилья, достаточно нашей обычной русской метелицы.

— Стало быть, — мудро добавил Можаев, — никто и не рассчитывал, что тут будут жить.

Узбекский синдром. Хлопковые эшелоны Рашидова в нечерноземном исполнении. И сейчас, войдя в терем, я стал уверенно всовывать ладонь в щели, ничуть не уступавшие своим подмосковным сестрам. Пока я предавался этим полезным упражнениям, сопровождающие меня лица деликатно отвернулись.

Главный писатель спросил, действительно ли мне так понравились очерки секретаря райкома, — при нем. Я пробормотал что-то смутно утвердительное.

— И это можно печатать? — допытывался он.

— Если журнал хочет, почему бы не напечатать? — ответил я, цепляясь за остатки чувства собственного достоинства.

Самое странное, что секретарь стоял тут же рядом, и страдальческое выражение на его красивом лице могло поспорить с ужасной гримасой Марсия, с которого Аполлон живьем сдирает кожу в наказание, что тот вздумал состязаться с ним в игре на свирели и проиграл. Почему мы разговаривали через переводчика, я и сейчас не пойму. Видимо, причиной тому крайняя скромность и деликатность молодого автора, который даже спросить о своем труде не решился. Мне же это непрямое общение позволяло облекать свои ответы в уклончивую форму, как бы не беря на себя полной ответственности за происходящее. Я был наивен и глуп, да разве мне было тягаться с представителями власти? Представляю их презрение к этому жалкому барахтанью, ведь они твердо знали, что будет так, как им нужно.

И вдруг я увидел, что вокруг все опустело: исчезли второй и третий секретари, скрылись прелестные пейзанки с хлебом-солью, рассеялась толпа, и оркестр унес свою сияющую гулкую медь. То, что от меня требовалось, было сказано — и кончен бал, погасли свечи. Хорошо, что оборвалось на полуслове это бредовое чествование, хватит хлестаковщины, пора вернуться к себе настоящему и грустному.

Опять же через Главного писателя я услышал, что секретарь идет проводить митинг и вручать дояркам условные ключи от их будущих жилищ. Почему «условные», поинтересовался я в своей обычной манере лезть куда не надо. Дома еще не достроены, замки не врезаны, какие же могут быть ключи? — прозвучал вразумительный ответ. — Это, так сказать, ключи в моральном смысле.

Мною же распорядились так: меня отвозят в сиреневый заповедник, куда позже подскочит мой протеже, мы посидим на травке, перекусим и плеснем на сердце.

И опять обрывком старой мелодии поманило душу в милое невозвратное прошлое, где тоже была трава и «утоли моя печали»...

Когда кончится дурман политических страстей и вновь запоют птицы, вернутся краски в мир, зазвучит Шопен, и нежное, доверчивое девичье лицо выплывет из мглы, кишащей размалеванными масками интердевочек и живых манекенов, я напишу о сиреневом заповеднике.

Это было и осталось самым чистым и благоуханным впечатлением

моей жизни. Полтора часа среди белых, фиолетовых, голубо-лиловых и жемчужно-голубых кистей. Венгерская, персидская, махровая сирени источали материально плотный аромат. Воздух порой становился спертым, а я все не мог надышаться. Я будто плавал в сиреневом море. Мои спутники, поняв, что мне хочется остаться одному, потерялись в сиреневых аллеях. Это было почти безнравственно, такое погружение в субстанцию аромата, оставляющее за бортом весь остальной мир с его печалями, вытесняющее Бога из души. Я все сильнее чувствовал греховность своего наслаждения и почти обрадовался, когда из кустов вдруг высунулся кудрявым фавном Главный писатель.

— Вас ждут, — сказал он вкрадчивым сиреневым голосом.

Мы выходили из заповедника, теряя все источающийся дурманный аромат, а навстречу нам поплыл совсем иной — грубый, плотский, но по-своему тоже привлекательный запах, будящий древнюю память о насыщении у костра.

Впереди открылась березовая роща; созревшее дневное солнце разбросало палевые пятна по белым стволам, а в кронах зажгло ослепительные дневные звезды. По грозно-изумрудной траве пробегали вороненые отблески. Слева протянулись тяжи голубого дыма, они быстро расплывались, заполняя рощу сухим туманом. Внезапно этот среднерусский пейзаж мощно дохнул восточным рестораном.

Мы сделали еще несколько шагов и увидели: на опушке на огромном вертеле вращалась над костром освежеванная баранья туша, а вокруг набитые раскаленными углями мангалы отдавали свой жар нанизанному на шампуры мясу вперемежку с помидорами и головками лука. Смуглые усатые восточные люди в белых колпаках и передниках колдовали над жарящимися шашлыками, опахивая их веерами.

Справа, под сквозной сенью березовых кущ, была разостлана скатерть, уставленная вазами с зернистой икрой, блюдами с лососиной, семгой, балыком; плавали в горчичном соусе миноги, исходил жирной слезой угорь; трепетало коричневое желе вокруг холодной телятины, молочный поросенок закусил веточку петрушки мертвой иронически вздернутой губой, меж чаш с сациви и лобио высились горы помидоров, огурцов, гранатов, не забыты были заливное из осетрины, копченый язык и сухие чесночные колбаски; лаваш, хачапури и чурек мирно соседствовали с калачами, домашней выпечки пшеничными булочками и бородинским хлебом.

Сервировка оставляла желать лучшего: приборы — не Фаберже, посуда — не Кузнецов, а советское столовое серебро и обычная гжель, но загородной простотой это допускается. И чтобы сразу успокоить читателей, скажу: березовый пикник на берегу сиреневого моря превзошел не только скромное северное застолье дней Анны Ивановны, но и последний пир Валтасара, когда на стене возникли роковые слова: мене, текел, фарес.

Не буду ломаться: я обалдел до полного протрезвления, до какой-то внутренней судороги. Колоссальным усилием воли я взял себя в руки, изгнал из организма скрючивающий сцеп и даже сделал вид — надо полагать, крайне неумело, — будто ничего другого не ожидал, меня всегда и всюду так принимают. Лишь потом я сообразил, что они не поняли бы моего потрясения, для них это было нормой, они и сами так отдыхают и принимают гостей, в которых есть хоть малейшая нужда.

Секретарь райкома был уже на месте. В свежей белой рубашке и туго повязанном галстуке, элегантный, подтянутый, набравший на лоб и скулы нового загара, он просился на обложку мужского журнала, лишь прибавилось горечи в изгибе губ, ведь он понимал, что не так надо принимать высокого гостя, но что поделать — провинция, деревня. В какой-то мере он был прав — икру следует подавать прямо из осетра.

Бывало и снисходительно усмехаясь, я сказал, что восхищен и пейзажем и, хе, хе, натюрмортом, но он оставался безутешен.

Рядом со мной вдруг очутилось, словно родившись из воздуха, дивное существо в узорчатых шальварах, золотых туфельках и тюрбане. Шахрезада? Мне кажется, я не очень удивился бы, окажись она и в самом деле подругой ночных бдений страдающего бессонницей султана. То была наша верная спутница — юная поэтесса. Она избавилась от своих

тяжелых кавалерийских сапог, дала простор узорчатой ткани шальвар свободно струиться на острые мыски золотых туфелек, повязала голову чалмушкой из крашенной в небесно-голубой цвет марли и обрела сказочный, экзотический вид. Пленительный, чуть условный восток Шемаханской царицы.

Она взяла меня за руки и отвела к почетному месту, где высилась гора подушек в полосатых шелковых наволочках. Я опустился на текинский коврик; заботливые руки, с которых отпахнулась воздушная ткань, обнажив их округлую смуглоту, запорхали вокруг меня, даря уют и удобство полулежачего положения, как на пирах олимпийцев. Едва я прилег, все гости по знаку незримого дирижера заняли свои места, правда, на скрещенных по-восточному ногах.

Ухнули тимпаны и литавры, взныла зурна, грянули скрипки, исступленно запели смычки, повара, хлопотавшие вокруг мангалов, разом скинули фартуки, колпаки, оставшись в черкесках и мягких чувяках.

— Осса!..

Поплыла лезгинка на тонких паучьих ногах. Когда же она достигла неистовства урагана, и казалось, все джигиты падут бездыханными, танец рассыпался, разбежался. Белые фигуры вновь возникли меж едучих дымов, схватили шампуры с шипящим мясом и, выставив их вперед, как пики, кинулись на гостей.

— Это шашлык от поваров,— пояснил мне Главный писатель.— Под первый тост. Потом займемся закусками.

Я бывал за Кавказским хребтом, сиживал на пирах, но впервые столкнулся с таким обычаем; по-моему, тут не обошлось без русской смекалки, освежившей старинные горские обычаи.

Первый тост был, разумеется, за меня. Его сказал молча — глазами, бровями, улыбкой, вклинившейся в страдание губ, первый секретарь. А Главный писатель перевел песнь без слов на бедный человеческий язык:

— За ваше здоровье!

Я только сейчас задумался над этим феноменом: наш хозяин почти не открывал рта за все время моего присутствия в его владениях. Очевидно, в доносах и на допросах значение имеют лишь произнесенные вслух слова, а если их нет, то очень трудно, почти невозможно обвинить в чем-либо человека. Секретарь ни о чем не просил меня, ни на чем не настаивал, ни о чем не спрашивал, он даже не приглашал меня на этот праздник, не обмолвился обо мне ни одним добрым словом, что можно было бы представить как заискивание, моральный подкуп. Он был хрустально чист, скорее гость на скромном литературном пиру, которым решили отметить мою службу области (помимо семинара и перевыборов, у меня было два публичных выступления в городских библиотеках), а это в ту пору не только не преследовалось, напротив, всячески поощрялось, ибо делало чуть менее заметным вселенский разгул начальства. А почему именно данный район взял на себя расходы и хлопоты? Об этом никто не спросит, тем более что сиреневый заповедник, равно и доярочный Китеж-град — предмет гордости всей области — находятся на территории этого передового района.

Неблагодарная скотина, скажет иной, а то и каждый читатель, представив себе фантастическое застолье с морем разливанным и яствами невиданными: за шашлыком от поваров и холодным последовало жаркое: шашлыки карские и натуральные, цыплята-табака, купаты, люля-кебаб, перепелки на вертеле, осетрина в белом вине, форель, не буду раздражать воображение читателей неимоверным десертом, тем более что до него еще далеко в моем рассказе, и вообще хватит описаний этих пантагрюэлевских гастрономических излишеств в пору карточного, талонного и паспортного питания. Впрочем, с общенародным столом и тогда обстояло неважно, а в провинции не лучше, чем сейчас.

А вот насчет неблагодарности — это зря. Очень даже благодарная скотина объедалась и опивалась под ветвями старых берез, в заплеске сиреневой струи в шашлычно-душную обвонь.

Главный писатель подсказал мне, что надо бы черкнуть пару слов в журнал, потому что при скромности и щепетильности секретаря он никогда не заикнется о тех комплиментах, которые я ему расточал. У меня еще хватило сознания смекнуть, что комплиментов особых я не делал, вообще не делал, хотя и сказал, что можно печатать. Но сейчас уже трудно было заводить склоку вокруг тех или иных формулировок, как-то неловко, неблагодарно да и утомительно, когда в брюхе столько баранины, курятины и рыбы, а в сосудах — коньяка. Я только попросил его написать самому, на подпись у меня хватит сил. Я был похож на девицу, которая провела с кавалером ночь, но не позволяет поцеловать себя в ухо. Этот последний участок невинности она во что бы то ни стало хочет сохранить. Он не стал спорить, молча протянул мне блокнот и шариковую ручку. У меня и без того почерк куриный, а тут, налитый всклень, я выдал такую каллиграфию, что сам оторопел.

— Ничего, ничего,— хладнокровно сказал Главный писатель.— Только распишитесь почетче. Для журнала мы отзыв перепечатаем, а документ оставим себе.

Меня резануло слово «документ», но тут я уловил такую смертную муку на лице секретаря, что захотелось быть щедрым. Я разорвал листок и аршинными, почти печатными буквами нацарапал то, чего от меня ждали, и лихо расписался.

И тут произошло чудо: одинокая высоченная до едва слышимости нота пронизала мироздание, стала осью всего сущего, к ней пристроилась другая нота, третья, и вот они уже стали оркестром, странным, отроду не слышанным мною оркестром, где каждая дудка держала лишь одну-единственную ноту. Боже мой, да это роговой оркестр — древнее, вымершее, забытое русское искусство. Оказывается, оно живо здесь, на этой сиреневой земле, и подарено мне!

Крупная слеза скатилась по моей монгольской скуле, упала на губу, я слизнул, у нее был коньячный вкус.

Боясь пьяной сентиментальности и не желая — чисто по-советски — перебрать по части благодарности, я облек свое искреннее, хотя и с глубоко запрятанной червоточиной признательное восхищение в форму банальной шутки:

— Если б покойный отец меня видел!..

Острым беспощадным лучом в бредовую муть сознания врезался истинный смысл этой расхожей фразы. В самом деле, что если б меня увидел сейчас мой родной отец — «вечный студент», расстрелянный на берегу Красивой Мечи и утопленный для верности в той же тургеневской реке за сочувствие крестьянскому отчаянию, переросшему в то, что потом назвали «антоновщиной»?.. Что если б меня увидел мой приемный отец — вечный узник, за последнюю четверть века своей жизни лишь шесть месяцев гулявший на свободе?.. Что если б меня увидел мой отчим-писатель, которому тридцать седьмой год сломал душу и литературную судьбу?.. Уверен, что каждый из них от души плюнул бы мне в морду, мне, пирующему посреди полумертвой России — без отчаяния, надрыва и муки, хамски спокойного и безгрешного в стане победителей, которым ничего не страшно и не стыдно и от которых я принял причастие дьявола.

Анна Ивановна, Анна Ивановна, грустная районная Мисюсь, где ты?..

Мне трудно рассказывать о том, что происходило дальше, ибо я не знаю, что принадлежит съехавшей с рельсов реальности и что белой горячке. Кажется, меня спросили, каких еще мне хочется яств, прежде чем перейти к десерту, и я ответил словами сластолюбивого гоголевского попишки:

— Душа моя взыскует яств иных.

— Каких же?

— Гурий.

Они появились, и начался сон Ратмира. Витало что-то голубое и что-то розовое — из воздушных одежд и нежного тела — и несло в себе музыку; я никогда не видел гурий и плохо представляю, что это такое, поэтому мои видения были плоски и банальны, как кордебалет. Я пресытился бесформенными грезами, не воплотившимися ни в поцелуи, ни в ласки, довольно скоро и вернулся к полуяви с рощей, шашлычными дымами и запахами, с дискретными фигурами над горами еды, то растворяющимися в густом сине-зеленом режущем свете, залившем рощу, то обретаю-

щими грубую, пугающую вещественность безобразных карнавальных масок. А музыка превратилась в комариный гуд, и только это принадлежало неподдельной реальности — тучи комаров вились над пиром, но почему-то не кусались. И тут я увидел метелку из жемчужно-серых и черных страусовых перьев, она колыхалась перед глазами, овевала виски, касалась затылка. Нежное опахало защищало меня от комаров.

Сперва я решил, что это Шемаханская царица несет службу охраны. Но нет, руки у нее заняты, в одной — фужер с водкой, в другой — кусок осетрины на вилке. Повернуться не было сил, но спина обрела зрение: я видел обнаженную эбеновую рабыню с рыбьей костью в носу и копной сухих черных волос. Серебряные браслеты на тонком пястье сшибались, озвучивая колыхание страусовой метелки. Откуда она здесь? Пленница последней войны района с Берегом Слоновой Кости во исполнение интернационального долга или студентка института Патриса Лумумбы на летней практике? Какое мне дело? Лишь бы отгоняла комаров от моего царственного чела...

Что было дальше — не знаю. Наверное, танцы. Все кончается танцами. Смутно мерещится мне мелькание узорчатых шальвар Шемаханской царицы, змеиные извивы эбенового тела пленницы или студентки, источающего запах мускуса.

Когда меня на руках несли в машину, Главный писатель слицемерил:

— Простите, если что не так.

— Отличный лабардан! — сказал я и окончательно выпал из сознания.

Прошли годы, прошла жизнь, и уже в наше смутное, странное, ни на что не похожее, прекрасное и ужасное время я получил письмо из тех мест, где некогда сеял разумное, доброе, но едва ли вечное, ратмирствовал, внимал роговой музыке, лицезрел гурий, где впервые приблизился к яслям с тучным овсом, замоченным в вине, и сразу опакостился. Конверт был довольно толстый, в нем, кроме письма, оказался газетный лист с большим интервью и портретом героя. Я сразу узнал своего литературного крестника, хотя он крепко заматерел с тех пор и согнал горькую складку с губ. И он уже не был секретарем райкома, он шагнул куда выше, но не прямо. Кормушка власти переместилась, и он последовал за ней. В интервью сообщалось, что ныне он председатель облисполкома, к тому же видный писатель, автор нескольких книг.

Я вспомнил о своих семинаристах. Ни один из них не стал писателем, даже талантливый и самобытный, уже печатавшийся в ту пору Петрушка. Ни один даже не опубликовался, а ведь каждый из них был отмечен даром Божьим. Ближе всего к успеху был по праву Петрушка. В том межобластном издательстве, что так старательно обслуживает бывшего районного, ныне областного босса, Петрушке был обещан сборник, затем книга на двоих, затем — на троих, но и эта маленькая на троих не увидела света. Бумага нужна для другого, для высшего. С горя Петрушка женился и запил.

Мелькнула в Москве Жена, прикосновенная через мужа к чертогам власти и потому имевшая шансы издаться. Но и ее связей оказалось недостаточно, чтобы превратить вялое расположение одного из крупных московских издательств в книгу. Об Инженере, Враче, Заводском мастере говорить не приходится. Каждый был слишком вмазан в свою серьезную профессию, чтобы пускаться в странствия за синей птицей литературной удачи. А в родном городе, проведя семинар, о них напрочь забыли, они нужны были только для мероприятия.

Вышел в писатели (стал членом СП) только один, для чего ему хватило написанной куриным почерком у шашлычного костра записки. Хватило, потому что и она не требовалась, просто с нею было удобнее. Но покамест я думал, что дело ограничилось напечатанием двух очерков, хоть и поеживался, не особо страдал от своего низкопробного, но по общим меркам естественного поступка. И вот я читаю в письме: «Довольны Вы своим подопечным? — спрашивал пожелавший остаться неизвестным автор. — С ним Вам повезло, не то что с остальными. Да и что говорить — талант!»

Читать дальше не хотелось. Я пробежал глазами интервью. Очень

серьезное, вдумчивое, перестроечное. Ведущая мысль: необходимо всемерно насыщать колхозы техникой. В самый корень беды заглянул, в самое сплетение больных нервов нашей действительности. Будь у колхозов побольше тракторов и комбайнов, мы бы не завязли в зрелом социализме, а штурмовали зияющие вершины. А вот и о литературе. Где уж тут читать в такое огнепальное время? И писать-то не успеваешь. Но все же при чудовищной своей загруженности предоблисполкома старается следить за периодикой и от корки до корки читает наиболее близкий ему журнал «Наш современник». И в художественном, и в социальном, и в идейном, а главное, в нравственном смысле этот журнал наиболее близок его мировоззрению, идеалам и чаяниям. Дальше читать интервью не имело смысла, ничего лучшего добавить к своему символу веры этот прогрессист не мог. И письмо не надо дочитывать, я сам скажу себе все слова, которые, очевидно, приготовил для меня автор.

Нет, я не могу воскликнуть, как Дмитрий Карамазов: «В этой крови я не повинен!» Повинен, дорогие соотечественники, братья и сестры, повинен, господа присяжные заседатели. Каюсь и не буду ссылаться на то, что обошлись бы и без моего участия. Хотя, откажись я написать рекомендацию, нашелся бы не один десяток куда более весомых членов СП, которые сделали бы это с пылом-жаром. Он обречен был на все свои удачи и достижения. Но не будем забывать: если что-то делается Божьим соизволением, то куда больше — людским. И нельзя оправдываться тем, что, мол, не ты — так другой. А если ты откажешься, другой откажется, третий откажется, глядишь, пойдет цепная реакция и пресечется попытка зла?..

Петрушка, Инженер, Врач, Заводской мастер, Жена, простите!..
Жители сиреневой страны, простите!..
Анна Ивановна, Сережа, Трофимыч, простите!..

Ну, а как Анна Ивановна, что с ней? Ее сняли с работы. Очень просто, буднично и очень давно, еще до моего вояжа в страну сиреневого ситца. Секретарь обкома сказал: «Анна Ивановна, конечно, старается. Ее район в числе передовых. С ней, не задумываясь, пойдешь в разведку, на ледовую зимовку, на любой десятитысячник в одной связке. С ней не пойдешь в сауну. А ее район один из самых посещаемых нашими работниками. Мы должны думать о людях».

Она работала там и сям, сейчас на пенсии.

Константин ВАНШЕНКИН

Музыка из окна

* * *

Осенены своим Гербом —
Серпом и молотом — и прочим,
Что нашим поднято горбом,
Трудом крестьянским и рабочим.

Озарены своей звездой,
Ее привычными лучами,
Что в годы бедствий и в застой
Всегда горели за плечами.

Оглушены... Оркестров гром —
И Гимн плывет над отчим краем...
Но только сами не поем
И слов по-прежнему не знаем.

Детский хор

Пасмурные небеса
Вроде укора.
Ангельские голоса
Детского хора.

Трепетно-нежный полет,
Длящийся влажно.
Чтó этот мальчик поет —
Даже неважно.

Ибо гораздо важней
Царственной свиты
То, что они уже с ней
Запросто слиты.

* * *

Без боли говорить об Украине?..
Казалось — даль, а нынче смотришь — близь!
Скажи, ну как же быть твоей равнине —
Хоть отдались она, хоть отделись.

Хоть отелись теленком рыже-белым,
А может быть, и желто-голубым,
Как поступить с тем страшным черным делом —
С Чернобылем, навеки горевым.

Сто лет пройдет, и двести, да и триста,
Он прорастет сквозь наши мозг и кровь.
Ах, долго будет длиться эта тризна,
Основа ей — небрежная любовь.

Мы связаны немыслимой порукой,
Той круговой, а также и судьбой.
Смотри, и Белоруссия с Калугой,
И Брянск, и Тула рядышком с тобой.

Старая улица

Фасады здесь с атлантами,
Внутри же все равно
Засиженными лампами
Жилье озарено.

Там, правда, печи кафельные,
Былые изразцы.
Но полотенца вафельные —
Иные образцы.

И явно не стыкуются
Продавленный навес,
Запущенная улица
И чистый свет небес.

* * *

Увы! Не старость, не война —
Какая-то иная сила
Его внезапно подкосила.
В том вряд ли есть твоя вина.

Тебе ж — морщины, седина.
Ах, Боже мой, не в этом дело.
Ты здесь другое разглядела:
Дорога разъединена.

Делила с ним свою судьбу,
Но смерти выпрямилось жало.
Тот, с кем в постели ты лежала,
Теперь один лежит в гробу.

Указ

Клубы пыли.
Срок — пятак.
Посадили
Просто так.

Опоздание
У вас?
Наказание —
Указ.

Была бусинка
Чиста,
Словно музыка
С листа.

А ее воровки
Бьют,
Из нее веревки
Вьют.

* * *

Тоже послужит уроком
Случай — один, а не сто:
Стоило вот ненароком
Локтем затронуть гнездо,

Зависть и злоба слепая
Кинулись тут же в кювет,
Бегло меня осыпая
Очередями клевет.

* * *

Висящие патлы
Усталых берез.
Далекие дятлы —
Чуть слышно, вразброс.

А в небе осеннем
Бесстрашно пролег
Над волжским бассейном
Гусиный пролет.

За мшистою замшей
Заката слюда...
И кто-то сказавший:
— Идите сюда.

* * *

Москва расходилась кругами,
Свои утверждая дела,
В негромком строительном гаме
Все дальше от центра текла,

Вбирая деревни, усадьбы
Подобьем древесных колец,
И дальше, и дальше — узнать бы,
Когда будет виден конец.

Знакомые с детства платформы
И дачные эти места,
Пожалуй, скорей для
проформы —
Давно уже тоже Москва.

Приняв несуразную долю,
Где рядом троллейбус и лось,
Все это по белому полю
Широким пятном растеклось.

Сержант

Девчонки в бязевых кальсонах,
А сверху в стеганых штанах,
Лежат вповалку в позах сонных
Иль пребывают в сладких снах.

Тая устойчиво обиду,
В тисках условностей зажат,
Порой обнимет их для виду
Один-единственный сержант.

Те тоже чувствуют утрату, —
Таких во взводе большинство, —
Как сестры, что привыкли к брату
И не стесняются его.

Молодой голос

Вновь былые поступки
Поднимая на щит,
Выразительно в трубке
Женский голос звучит.

Между дел иль на ложе
В том его торжество,
Что он явно моложе
Губ, исторгших его.

Не глаза и не руки, —
Рядом с блеском седин
У забытой старухи
Прежний — голос один.

Переписка

И вмиг за трюмо,
А может, на полку
Засунуть письмо,
Прочтя втихомолку.

А вскоре с огнем
Не сыщешь средь пыли,
Поскольку о нем
Вы тут же забыли.

Ответы не в счет —
Давнишняя дата...
И кто-то не ждет,
И ждал ли когда-то?

* * *

Вот и кончилась эта путаница,
И у бедного мужика
Отлетела душа, как пуговица
Отлетает от пиджака.

* * *

Опять прохладой тянет от реки.
О жизни думать — нужно быть суровым,
О смерти думать — нужно быть здоровым,
Логическим законам вопреки.

Песенка памяти Яна

Песенка памяти Яна,
Спетая под фортепьяно,
Пусть над землей прозвучит.
Горько, что сам он молчит.

Спорить не будем о вкусах.
Но почему на Миусах
Клен шелестит, а окно
Не открывают давно?

Ходят печальные. вести,
Что тебя нету на месте,
Что ты шагнул за порог
И над тобой бугорок.

Что же скажу я покуда?
Нам без тебя очень худо.
Что же скажу я, скорбя?
Нам не хватает тебя.

Смутно, при свете улыбок,
Музыки слышу обрывок.
Прошлым я вдруг обуян:
Это, по-моему, Ян.

Нет, это музыка только
Нами уловлена тонко.
Все-таки это не он —
Только мелодии стон.

Розмари и Виктор ЗОРЗА

«Я умираю счастливой...»*

Глава 9

Молодая женщина, улыбаясь, встретила нас в холле хосписа.

— Хелло, — сказала она, — меня зовут Элизабет Джонс, я медсестра. Встречаю вас, чтобы устроить Джейн в палате.

Два санитара покатили носилки на колесиках по ковру уютного коридора. Сестра Элизабет шла рядом с Джейн, разговаривая с ней, стараясь, чтобы она чувствовала себя как дома.

— Хелло, — это появилась еще одна медсестра — высокая, энергичная, с приветливой улыбкой на лице. — Меня зовут Патриция. Не хотите ли кофе, а может, предпочитаете чего-нибудь покрепче после долгой дороги?

Моральная атмосфера в хосписе была очень теплой, почти домашней. Мы подумали, что здесь скорее чувствуешь себя в гостях у друзей, чем в «учреждении». В палате все было готово для Джейн. Санитар принес вазу с цветами и поставил так, чтобы больная могла любоваться ими, не поворачивая головы. Он сказал, что ее глазам будет на чем отдохнуть. Сказал позже, когда мы уже познакомились получше.

— Ну вот, это ваше новое жилье, — сказала сестра Элизабет. — Сейчас позову кого-нибудь, кто поможет уложить вас в постель.

И вернулась через несколько минут с Эмили, тоже медсестрой. Вместе с мужчинами со «скорой» они бережно перенесли Джейн на кровать.

Элизабет и Эмили, обе опытные и высококвалифицированные медсестры, считали, что острую боль, терзающую Джейн, удастся снять довольно быстро. По принятой в хосписе «шкале» боли, начиная от слабой, переходящей в сильную, очень сильную и потом — всепоглощающую, сейчас она достигла последней стадии. Для Джейн все ее существо было сплошной болью. Окружающие видели, что смертный час ее близок, но они знали, что молодого пациента выхаживать сложнее: ему труднее приспосабливаться к процессу умирания, поэтому Джейн и поместили в отдельную палату. Молодому прощаться с жизнью гораздо тяжелей, ему нужно оставаться наедине с собой, а то и поговорить с родными и друзьями.

Доктор Меррей предупредил обеих медсестер, что Джейн, очень возможно, окажется тяжелой пациенткой. Что ее нужно как можно меньше поворачивать и перемещать. Устраивая Джейн поудобнее в кровати, они старались разглядеть, нет ли у нее пролежней, сыпи, что обычно мешает лежачим больным.

В то же время они пытались учесть ее физическую и умственную реакцию на каждое движение тела и на слова, обращенные к ней. Они старались узнать ее как можно скорее и лучше. Чем раскованнее она будет, чем больше станет им доверять, тем эффективнее будет их помощь.

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 10 с. г.

* Журнальный вариант. Полностью книга выйдет в издательстве «Прогресс» под названием «Путь к смерти — жить до конца».

Девушку помыли с максимальной осторожностью. Потом медсестры стали искать самую удобную позу для ее рук, ног и спины. Дочь отдыхала, сидя как бы в гнезде из подушек, благодарная за облегчение от боли.

Элизабет взяла со стула яркую шаль. «Не расстелить ли ее по кровати? Она так украсит комнату!» Она подождала ответа Джейн. И лишь когда та согласилась, обе сестры расправили шаль так, что ее яркие краски закрыли белую простыню. Надо было убедить Джейн, что ею не командуют, что она хозяйка положения. «А что, если накинуть платочек, который привез ваш брат, вам на плечи?» — спросила Эмили. — Сегодня прохладно, для июня даже холодно». Она нежно опустила полушалок на плечи Джейн, зная, что для нее всякое прикосновение болезненно (хотя пациенты обычно ценят ласку).

В палату вошел худой, слегка сутулый пожилой человек со сдержанными манерами. Это был доктор Браун, старший консультант. Поскольку весь день его не было в хосписе, он только сейчас узнал, что боли у Джейн не проходят. Позже доктор Браун обследовал Джейн более тщательно, но сейчас он хотел только успокоить ее своим визитом. Однако пока что ее все раздражало.

— Вы можете прекратить эту боль? — спрашивала она. — Можете вы что-нибудь сделать?

Доктор Браун не хотел врать. «Мы сделаем все, что в наших силах», — ответил сначала он.

Джейн отчаянно хотела убедиться в том, что помощь возможна. Но в это было трудно поверить, пока боль не ослабевала. Доктор Браун уже сделал инъекцию морфия, но она не помогла.

Мы сидели около Джейн по очереди. Вошла Патриция, высокая медсестра, встретившая нас в холле. Ее здоровье и жизнерадостность, казалось, заполнили собой всю палату.

— Хелло! — воскликнула она. Джейн слегка поморщилась. — Чем я могу помочь? Специально пришла узнать.

Ответил Виктор, остро почувствовавший реакцию дочери на ее появление.

— Знаете, самое главное для Джейн — это настоящая вегетарианская пища. Она не ест ни яиц, ни рыбу. А запас белков пополняет за счет фасоли и сыра.

— Мы умеем соблюдать любую диету, — сказала Патриция.

— А вот в других больницах питание ей не нравилось.

С постели послышалось недовольное бормотание:

— Вечно сыр и салат...

— Я позабочусь об этом. Позвоню на кухню прямо сейчас. — Патриция вышла.

— Спасибо, папа, что ты от нее избавился. Ее голос пронзает мне мозги. А боль все не утихает. Ты не можешь им сказать?

Выйдя из палаты, Виктор нашел Патрицию. Ее улыбка была доброй и лучезарной. Ее, правда, предупредили, что вечер будет нелегким. Как правило, новые пациенты долго не могут устроиться на новом месте и капризничают.

— Я позвоню на кухню, — повторила она успокаивающе.

— Нет, нет! — Голос Виктора был нервным. — Есть вещь поважнее. Найдите сестру: Джейн нужна еще одна инъекция.

Патриция и сама имела полное право делать уколы, но сказала спокойно:

— Хорошо, я найду сестру.

Потом, открыв журнал, где регистрировались уколы, пришла в ужас от увиденного. Дозы, которые Джейн получила с момента появления в хосписе, превышали все возможные нормы. Патриция не хотела взять на себя такую ответственность. Но Элизабет, которой она сказала о просьбе Джейн, ответила:

— Не волнуйся, Пэт. Я все устрою.

Когда Патриция вернулась в палату, Виктор держал в руке стакан с молоком, помогая дочери пить.

— Давайте я помогу, — предложила сестра.

— Нет, — резко ответил он, стараясь защитить дочь от сестры, которую она как будто бы невзлюбила. — Джейн любит, когда я сам ей помогаю.

И снова Патриции пришлось отступить.

— Я только что звонила на кухню. Для Джейн будет подобрана диета.

Виктор перебил ее:

— Мы можем пойти в магазин, ее друзья тоже помогут купить все, что она хочет. Бобы, например. Есть у вас на кухне бобы? Она обязательно должна их получать. Именно бобы.

— Я узнаю. — Патриция выскользнула в комнату для сестер и сняла трубку. На этот раз из кухни ответили не так вежливо, как в первый раз. Снова появился Виктор.

— Боли у Джейн не проходят, — сказал он тоном обвинителя. — Вы не можете вколоть еще что-нибудь?

— Но инъекция еще не сработала. Подождите хотя бы полчаса.

Для отца полчаса означало целую вечность. К счастью, подоспела помощь. В палату к Джейн вошла маленькая, полненькая, немолодая медсестра, темноволосая, со смуглым лицом и очень черными глазами.

— Хелло, Джейн, меня зовут Адела, — сказала она с легким акцентом. — Как самочувствие?

Окунув тампон в розовую жидкость, она осторожно несколько раз провела им между губами Джейн. За долгие месяцы болезни во рту у Джейн часто пересыхало, иногда был неприятный привкус, но никто ей в этом еще не помогал. Розмари, сидевшая рядом с дочерью, подумала: а ведь как это просто. Процедура доставляла Джейн явное удовольствие. Влажным бинтиком Адела освежила всю полость рта Джейн.

— Ну как? — спросила она. — Порядок?

— Восхитительно, — ответила та. — Чисто, свежо. Спасибо, Адела.

Наблюдавшая сцену Патриция считала, что Адела делает не совсем так, но промолчала. Медсестры хосписа щадят как чувства друг друга, так и чувства пациентов. Она только спросила:

— Тебе помочь?

Для Виктора, считавшего своим долгом оберегать дочь от Патриции, это был сигнал беды. Он не позволил Патриции подойти к кровати, почти отодвинул ее.

— Джейн хочет, чтобы это сделала Адела.

Патриция ушла к столу дежурной медсестры, теперь уже не сомневаясь во враждебности Виктора. «Почему этот человек так скверно ко мне относится?» — думала она. Видимо, очень волнуется за дочь. Набирая в шприц валиум, чтобы вколоть его Джейн, она сказала Эмили:

— По-моему, Джейн нужно не валиум вкалывать, а дать ей отдохнуть от собственного отца.

Уже в палате, проходя мимо Виктора, она едва сдержалась, чтобы не вонзить в него шприц (позже она сама со смехом рассказала об этом).

Узнав о тяжелом состоянии Джейн, Эмили стала думать, как ей помочь. Непрерывная толчея в палате больного создает атмосферу кризиса. Больного только сбивают с толку все новые и новые лица. Поэтому медсестры, в которых нет особой необходимости, появляются постепенно, одна за другой. Эмили чувствовала себя виноватой: боли не отпускали, а ведь прошло уже несколько часов. Это казалось поражением.

К пяти часам вечера Джейн пришла в отчаяние. Она отказывалась глотать лекарства. Доктор Браун и Элизабет стояли у кровати, беспомощно глядя, как она выплевывает микстуру.

— Это не поможет! — кричала она сердито. — Не буду глотать. Дайте мне то, что было раньше! — Она говорила о том лекарстве, которое облегчило ей боли во время переезда.

— Но это та самая микстура, вы привезли ее с собой, — уверяла ее Элизабет. Ее забота, желание подбодрить не доходили до Джейн, и она горько плакала.

— Нет, не та, не та, — повторяла она, стараясь отвернуться, но боль в шее не позволяла это сделать. — Я хочу домой. Мне так больно, эта боль не уходит... Я ненавижу ваш хоспис.

— Подождите-ка, — сказал доктор Браун, — я принесу флакончик, и вы убедитесь, что это та самая микстура.

Он ушел и принес бутылочку с прозрачной жидкостью и пустую мензурку. Налив дозу, он предложил ее Джейн. На сей раз она выпила без звука.

Микстура не помогла. Доктор Браун, не очень опытный в работе хосписов, дал Джейн столько морфия, сколько считал безопасным, и даже это было большой дозой. Элизабет, сестра с многолетним стажем, считала, что Джейн надо было дать еще большую дозу с самого начала. Позже и другие согласились с этим и честно признались нам, что допустили ошибку.

В этот первый вечер комната Джейн была настоящей больничной палатой. Окна были зашторены, но ни полумрак, ни валиум, ни другие болеутоляющие средства не помогали. Девушка не могла заснуть. Адела, которая ей нравилась и которой она доверяла, ушла, закончив дежурство, Элизабет тоже ушла. Теперь Патриция взяла все в свои руки. Доктор Меррей, вчера внушивший Виктору такую надежду, пока еще не появился. Мать, брат и племянник вернулись в Дэри-коттедж на ночь, оставив отца наедине с Джейн.

Виктор чувствовал себя неуверенно и нервно. Неужели снова одно из тех бесконечных дежурств, когда он ждал врачей, а они не появлялись, а если и появлялись, то проносились мимо с очень занятым видом, бросая на ходу слова утешения — чаще всего бессмысленные?

Джейн беспокойно зашевелилась. Потом открыла глаза и сказала сердито:

— Мне хотелось бы заснуть. Этот твой врач — он когда-нибудь явится?

Отец подумал, что, видимо, зря вселил в дочь слишком большие надежды на доктора Меррея и этот хоспис. Ее раздражение не проходит. Мы убедили ее, что этот врач спасет ее от боли, но где же он сейчас, когда он так нужен? Ее опять охватила злость из-за бессмысленного переезда. Как правило, пациенты стараются не показывать своей злости врачу, от которого зависит их выздоровление, но, видно, дочери уже все равно.

Виктор предпочел бы, чтобы дочь избрала его в качестве мишени, поскольку ей явно был нужен болеотвлекающий объект. Тихие разговоры, полные взаимопонимания, которые они вели дома, давно прошли. Во что бы то ни стало надо дать ей передышку от боли, снова овладевшей всем ее существом. Джейн должна умереть спокойно, в этом смысл переезда в хоспис.

Скоро, сказал он дочери, все будет не хуже, чем было дома, и даже лучше. Он говорил тихо, стараясь убедить. У нас с тобой еще столько разговоров впереди, столько воспоминаний. Но Джейн не желала разговаривать. Она злобно посмотрела на отца:

— Опять болтовня, болтовня... Куда она нас заведет? Если бы они могли снять эту боль! Неужели не могут? Неужели не могут?

Нужно немножко потерпеть, убеждал ее отец. Медики будут пробовать разные средства, прежде чем найдут, что ей помогает. Но Джейн уже устала от этих заверений. А боль была реальностью. Она была в ней, и хотя Джейн гнала мысль о смерти, ее тень омрачала все вокруг.

— Который час?

— Наверное, скоро семь. Точно не знаю.

— Ты когда уйдешь домой?

Отец испуганно посмотрел на дочь: она хочет от него избавиться? Опять уходит в себя?

— А как ты хочешь, Джейн?

— Ты сказал, что здесь будут обо мне заботиться. Не сомневаюсь. И сказал, что можешь навещать меня в любое время, здесь нет часов свиданий. — Дочь говорила медленно, словно обдумывая каждое слово. — Здесь к родственникам хорошо относятся, не то что в больницах, правда?

— Джейн, мы не оставим тебя, не оставим, — твердил отец, склоняясь к ее лицу. Может, она и не хотела говорить о смерти, не хотела говорить сейчас или с ним, но ясно было, что она о ней думает. — Мне сказали, что один из нас всегда может остаться. Здесь даже есть комната для родственников. Вот прямо сейчас пойду и проверю.

— Нет, папа, не уходи. Начинаются кошмары, не бросай меня.

— Как, никогда-никогда? — Он с улыбкой процитировал слова из оперетты Гилберта и Салливана, ставшие семейной шуткой.

— Да, никогда, — ответила дочь быстро, и в глазах ее отец увидел страх.

Он нежно взял ее руку и почувствовал, как она холодна. Как ему хотелось передать частицу своего тепла дочери! И отец торжественно поклялся:

— Ты никогда не будешь одна. Я или мама всегда будем рядом с тобой. Или Ричард, пока он в Англии, или Арлок. Если нам понадобится отойти, мы попросим медсестру посидеть с тобой, пока не вернемся.

Эти слова успокоили Джейн. Но боль не утихала.

Поскольку дочь ясно дала понять, что хочет, чтобы отец спал в ее комнате, а не в гостевой, Виктор спросил Патрицию, как это можно устроить. Я узнаю, ответила та. Придется найти для него коечку, которая бы поместилась в маленькой комнатке. Патриция не хотела затевать перестановку, не убедившись, что это желание именно дочери, а не чересчур заботливого отца.

С того дня Джейн ни разу не оставалась одна и могла предаваться своим мыслям спокойно. Больше всего ее страшили физическое одиночество, неожиданный кризис, в котором вдруг окажется ее организм, необходимость в срочной помощи, которую будет некому оказать. А уверенность в том, что кто-то всегда с ней, способствовала душевному равновесию. В эту ночь она, казалось, успокоилась. Пока боль не появилась снова.

— Разве еще не пора мне принять что-нибудь? Боль усиливается.

— Пойду поищу медсестру, — сказал Виктор.

Виктор нашел Патрицию у шкафа с медикаментами. Она старательно, по каплям отмеривала молочного цвета жидкость в стакан. Не желая ей мешать, Виктор огляделся, но никого больше не было. И тогда он сказал:

— У Джейн страшные боли. Неужели ничего нельзя сделать?

— Но ведь она только что приняла лекарство. Надо дать ему время подействовать. — Патриция взглянула на отца и, видя, как он встревожен, добавила: — Я подойду через минуту.

Когда сестра вошла в комнату, Джейн лежала с полузакрытыми глазами, притворяясь спящей. Она не хотела говорить с Патрицией и вообще ее замечать. Сестра подошла вплотную к кровати, изучила лицо Джейн, кажущееся спокойным, и улыбнулась ободряюще отцу. Едва она вышла, Джейн сразу открыла глаза.

— Почему она ничего не сделала?

Виктор снова отправился искать Патрицию, но ее нигде не было. Из комнаты сестер доносились тихие голоса. Он остановился у двери, узнал голос Патриции и поднес было руку к двери, чтобы постучать. Но передумал.

— Слава богу, что вы приехали, — говорила Патриция. — Джейн все не может успокоиться, и отец ее ужасно нервничает. Мы уже дали ей все, что предписал Дугал, но отец не верит, что боль утихла.

Виктор бегом бросился к дочери.

— Он приехал, Джейн, — почти выкрикнул он. — Доктор Меррей уже здесь!

Пока доктор Меррей говорил с Джейн, отец ждал в коридоре; нервы его были напряжены. Довольно долго пришлось ждать, пока врач вышел. Он был спокоен и сосредоточен, и в этот момент больше походил на священника, чем на врача.

— Я долго говорил с Джейн, она внушает беспокойство, но я обещал, что мы постараемся ей помочь. Состояние у нее почти такое же, как и раньше, но «скорая помощь» ее растрясла, и ей стало хуже.

— Да, но это было в полдень! А сейчас уже семь часов!

— Согласен, к этому времени мы должны были бы заглушить боль, но это не всегда легко сделать. В такой ситуации пациент нервничает все больше и больше, а это усиливает боль.

Дальше он объяснил, что здесь действует сложный механизм: прямая связь между нервным напряжением и физической болью. Страх и ожидание боли могут намного усилить страдания.

— Я сказал Джейн, что дам ей сильное лекарство, которое поможет

уснуть, и загляну позже. Она хочет, чтобы вы остались на ночь, и я с удовольствием разрешаю, потому что ваше присутствие — это лучшее лекарство.

Виктор вдруг испугался: Джейн лежит одна, стало быть, он снова нарушил свое обещание.

— Я должен вернуться к ней, — это прозвучало почти резко. Он мог поговорить с врачом и позже.

Несмотря на весь диаморфин (т. е. героин), который она получила по распоряжению доктора Меррея, боли Джейн не утихли, а усилились. Виктор знал, что слишком большая доза диаморфина «нарушит респирацию», как было сказано в одной медицинской книге. Джейн перестанет дышать. А может, это и к лучшему, подумал он, она уже достаточно настрадалась. Но это плохой путь к смерти — в мучениях и гневе. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным.

Патриция тоже была обеспокоена, но она по крайней мере могла снять камень со своей души, разговаривая с другой медсестрой. Это была Джулия, старшая медсестра, которая принимала ночное дежурство и хотела знать обстановку.

— У нас, видимо, будут трудности не столько из-за Джейн, сколько из-за ее семьи, — сказала Патриция. — Ее отец без конца сюда приходит и спрашивает, где медсестра. Как будто я не медсестра.

— Может быть, он думает, что у нас все как в обычной больнице, где только старшая медсестра имеет право принимать решения. Родственникам понадобится время, чтобы понять разницу.

— Я вижу, отец не находит себе места. А ведь нам нужна помощь родных, чтобы ухаживать за Джейн как следует.

Джулия внимательно просмотрела карту назначений, из которой было видно, что дозы все время увеличивали. Она поняла, почему отец девушки так волнуется.

— Если бы можно было убрать ее родственников хоть на несколько часов, — сказала Патриция. — Ты же знаешь, какой спектакль иногда больные устраивают специально для них. Я вошла, а Джейн шевельнула рукой и скорчила гримасу. Не от боли, просто руку отлежала. А отец тут же говорит: «Вот видите, ей больно. Нужен укол».

— А ты Дэвиду сказала? — Она имела в виду доктора Меррея. Персонал хосписа называл друг друга по именам.

— Да. Он ответил: «Я понимаю, что происходит».

— Он нас предупреждал, что будут проблемы. Прежде чем стать учительницей, Джейн изучала социальные науки, и отец ее говорил Дэвиду, что она терпеть не может деспотизма. В другой больнице она здорово ссорилась с некоторыми врачами. Дэвид сказал: мы должны быть готовы к ее раздражительности.

— И еще, — продолжала Патриция, — хочу сказать, что ей дают ужасающие дозы диаморфина. Мне кажется, даже слишком много. Как ты думаешь, с моральной стороны это правильно?

Патриция боялась, что наркотики сократят жизнь Джейн. Джулия как более опытная смогла убедить ее в обратном.

— Дэвид знает, что делает, — добавила она.

Джулия понимала, что эта ночь будет решающей. Медикам предстояло разорвать порочный круг боли и страха и компенсировать время, упущенное тогда, когда Джейн потеряла веру. Она больше не надеялась, что хоспис поможет ей. Джулия хотела знать: можно ли давать Джейн столько диаморфина, сколько нужно, а также прибегать и к другим средствам. Но медсестра не имеет права решать, какие лекарства давать пациенту. Единственное, что она может, — это обсудить с врачами вероятный ход событий; предугадать, что может случиться: усилится ли боль, появится ли новый ее источник или последует приступ рвоты. Джулия назвала доктору Меррею лекарства, которые она дала бы Джейн, если ее состояние изменится, и обнаружила, что именно их он и прописал. Значит, не нужно звонить ему ночью. Он прописал дозы в широком диапазоне, от 20 до 60 миллиграммов диаморфина, с тем чтобы делать «от одной до трех инъекций в течение трех часов». Это значило, что, если боли утихнут,

нужно будет вводить не более 20 миллиграммов за три часа, а если усилятся или останутся прежними, — вводить более 60 миллиграммов каждый час. Так и произошло.

Ночь оказалась тяжелой. Сначала Джейн удалось задремать, но вскоре от сна не осталось и следа. Казалось, боль немного прошла, но потом она вернулась с новой силой, сотрясая тело Джейн так, что руки и ноги двигались непроизвольно, усугубляя боль. С каждым приступом девушка открывала глаза, смотрела на отца с немым укором и слабо, очень слабо пожимала ему руку. Этого было довольно: пронзающий ее ток передавался ему, заставлял его чувствовать ту же боль, скрежетать зубами вместе с дочерью, надеясь, что это ей поможет.

Джулия появлялась каждые двадцать минут. Виктор лежал, вытянувшись на своей кровати, рядом с дочерью, держа ее руку в своей. Начальная доза в 20 миллиграммов была увеличена до 40, потом до 60 (в два часа ночи) и потом снова — в три. Виктор почти не спал в ту ночь. Стоило Джейн шевельнуться, как он открывал глаза и снова в полутьме видел на ее лице страдание. Раньше боль была сильной, но локальной. Теперь она жгла огнем в спине и была вездесущей, растекаясь по всему телу, вниз по бедрам, вгрызаясь в живот, пробегая по ногам. Каждый раз, когда Джулия входила в комнату со шприцем, Джейн жаловалась на боль.

И вот наконец она уснула беспокойным, поверхностным сном. Этой ночью, как позже объяснил Виктору один врач, ей вкололи столько диаморфина, что можно было насмерть убить обычного человека. Но он ошибался. Джейн была обычным человеком. Просто многие терапевты, не имеющие опыта в снятии болей, боятся чрезмерных, по их мнению, доз. Боятся до тех пор, пока не узнают, какую пользу они приносят в руках врача, мастера своего дела.

В эту ночь Джейн получила дозу диаморфина, достаточную не для того, чтобы ее убить, а для того, чтобы разорвать порочный круг боли и страха.

Глава 10

Виктор проснулся от шума тележки, на которой развозили завтрак. Потом он увидел в дверном окошке лицо: санитарка смотрела, проснулась ли Джейн и готова ли завтракать. Поскольку она еще спала, тележка проследовала дальше. Отец был рад, что дочь не беспокоили: отдых был ей нужен больше всего. Глубокие морщины, образовавшиеся на ее лице от страданий, не исчезли даже во сне. А ведь раньше щеки дочери украшали ямочки. Застывшее лицо Джейн в отличие от спокойных старческих лиц выглядело как маска боли.

Джейн шевельнулась, не открывая глаз. Отец положил ладонь на ее руку, и она слегка сжалась в ответ.

— Джейн, уже восемь, и утро прекрасное. Солнце светит вовсю. Отдернуть шторы?

— Не надо. — Ответ был слабым, но четким. — Свет будет резать глаза. Мне не хочется их открывать.

— Можешь и не открывать, я отдерну шторы чуть-чуть. — Отец хотел, чтобы дочь увидела зарождение дня, прикоснулась к реальности.

— Я не хочу открывать глаза, — повторила Джейн довольно резко.

Еще одно лицо заглянуло в окошко: Адела. Виктор поманил ее жестом.

— Ну, как спалось? Хорошо? — спросила бодро сестра.

Виктор собрался ответить, но вдруг Джейн заговорила, все еще не открывая глаз:

— Адела, это вы? Я узнала вас по голосу.

Адела просияла.

— Какая умница! Как вам это удалось с закрытыми глазами?

— По акценту, — пробормотала Джейн. — Вы гречанка?

— Нет, но вы почти угадали. Сделайте еще попытку, милая.

Джейн не была расположена играть.

— Я не хочу думать, я так устала. — Потом добавила ласковее: — Не останетесь со мной? Отцу пора уходить.

Виктор удивился. Он был готов возразить, но Адела опередила:

— Я только поздороваюсь с остальными. А потом побуду с вами. Я быстро. — И жестом пригласила отца за дверь.

— Мне кажется, — шепнула она, — Джейн сейчас лучше всего остаться одной. Вы столько времени были с ней, она хочет от вас отдохнуть.

Он обиделся.

— Да и вам нужна передышка, — добавила Адела помягче. — Это естественно.

Отец сухо поклонился и ушел.

Вернувшись в комнату Джейн, Адела узнала, что тревожит больную.

— Адела, мне так страшно! — воскликнула девушка, поняв, что отца нет рядом. — Я не могу открыть глаза. Веки такие тяжелые, я ничего не вижу. Я не могла ему сказать. В чем дело? Почему я не вижу?

Адела прикоснулась к ее руке, успокаивая.

— Все в порядке, дорогая. Это подействовали лекарства, которые вам вводили. Ничего страшного. Вы чувствуете себя сонной, отяжелевшей, вот и веки тяжелые. Это пройдет, просто нужно получше отдохнуть. Если хотите разговаривать — пожалуйста, только не волнуйтесь.

— Боль уже не такая, как раньше, но вдруг она вернется? Она всегда возвращается и становится хуже, чем раньше. — При этих словах морщины на лице Джейн стали еще резче.

— Не обязательно, — ответила Адела, — иногда к нам поступают люди со страшными болями, а через несколько дней им уже лучше. Их даже домой забирают, но они могут вернуться, если им понадобится специальный уход или родственникам надо отдохнуть.

— Люди уходят домой? — Джейн широко открыла глаза, чтобы видеть выражение лица медсестры. — Не обманывайте. Я знаю, где я. Это хоспис, больных помещают здесь, чтобы подготовить к смерти. Этого я не боюсь... Я боюсь только боли.

— Да, иногда больных берут домой, — мягко повторила Адела. — Не знаю, захотите ли вы уехать, может, предпочтете остаться. Но боль утихнет, я уверена. И если вас увезут домой, то здесь всегда будет место, чтобы вы могли вернуться.

Адела стала освежать лицо Джейн, прикосновения ее были едва ощутимы. Она ухитрилась снять с девушки ночную рубашку и протереть ей все тело, но не рискнула одеть ее снова, так как боль в спине не ослабевала.

— Я знаю, что мы сделаем, — сказала Адела. — Давайте оденем только верх от пижамы.

— Придется это сделать, раз уж так надо, — отозвалась Джейн. — Но зачем вообще нужны эти пижамы, рубашки? Я люблю спать голой, дома я всегда так сплю. Я и в больнице хотела, но не посмела об этом просить. — Она взглянула на Аделу. — Как вы думаете, они очень будут возражать, если я останусь раздетой? Я же прикрыта простыней в конце концов. Спросите у них, ну хоть у старшей медсестры.

Аделе и не нужно было спрашивать.

— Конечно, не нужно никакой рубашки, — сказала она. — Важно, чтобы вам было удобно.

— Я знаю, кое-кого шокирует вид голого тела, но у нас в семье по-другому. Чувствуешь себя естественно. Так зачем же притворяться?

— З д е с ь не надо притворяться, Джейн.

Теперь глаза Джейн совсем открылись, и она хотела разговаривать.

— Так и не скажете, откуда вы? — спросила она.

— Скажу, даже с удовольствием, если не захотите сами догадаться.

Иссиня-черные волосы Аделы наталкивали на догадку. Джейн пока смутно различала черты ее лица, но, хотя что-то семитское проступало в лице Аделы, было совершенно ясно, что она не еврейка. В самой Джейн было достаточно еврейской крови, чтобы это понять.

— Сначала по акценту я приняла вас за гречанку, — сказала она. — Несколько месяцев назад я работала в Греции учительницей. Я правильно определила регион?

— Почти правильно.

— Средиземноморье?

— Тепло, тепло. Попытайтесь еще.

— Ближний Восток?

— Горячо.

— Вы из арабов?

Адела снова ласково улыбнулась.

— Вот видите, Джейн, вы сами почти угадали. Я из Сирии. А вы что преподавали? Географию?

— Нет, но я много ездила. В пятнадцать лет я с папой совершила кругосветное путешествие, побывали мы и на Ближнем Востоке.

— А в Сирии?

— Нет, но останавливались в Израиле. Как вы к нему относитесь? — Джейн спросила, так как не хотела ссориться с новой подругой. Она знала арабов, которые слышать не могли слова «Израиль».

— После войны я была в Сирии несколько раз, — осторожно отвечала Адела. — Там тоже есть евреи, и они мирно уживаются с сирийцами. Это ведь политики заводят смуту, а не простые люди.

Джейн поняла, что может разговаривать свободнее.

— В Израиле мне страшно понравилось. На следующее лето я вернулась, чтобы поработать в кибутце. Что-то есть в жизни этих поселений, что в них привлекает. Я даже подумывала остаться навсегда. Но однажды увидела, как израильские полицейские обыскивают арабов. Одного человека увели. Он боялся, не хотел с ними идти. Они его толкали к полицейской машине, он упал. Упал прямо в пыль, на сельской дороге.

В то утро Адела и Джейн говорили о евреях и арабах, о своих семьях, о своей жизни и довольно хорошо узнали друг друга. Когда пришла Розмари, дочь сказала ей радостно, что у нее новая подруга.

Эта ночь показалась Розмари длинной. Она вглядывалась в лицо Джейн, пытаясь понять, изменилась ли та. Накануне дочь не могла поворачивать голову на подушке, теперь она слегка двинула ею в сторону матери. Но глаза — округлившиеся, тусклые, лицо — опухшее от лекарств. Губы шевелились с трудом.

— Мам, я умираю? — спросила Джейн.

— Пока нет, доченька, — ответила мать, успокаивая. — Но это недолго продлится. Теперь уже скоро. И мы будем с тобой.

Хотелось бы мне знать точнее, подумала Розмари, и сказать дочери. Она знала: Джейн хочет свести счеты с жизнью до того, как начнет угасать разум.

— Надеюсь, уже скоро, — пробормотала Джейн. — Я не хочу долго умирать.

— Мы знаем, что должны тебя потерять. Важно, чтобы тебе было спокойно до самого конца. Здесь все хотят помочь тебе.

— Так хочется спать... — Голос Джейн звучал сонно.

— А ты не разговаривай, отдыхай. Если проснешься и чего-то захочешь, — я рядом.

Сердце Розмари разрывалось: она хотела для Джейн быстрой кончины и все же надеялась на чудо.

Розмари осмотрела комнату: она была уютной.

Зловещая табличка на кровати отсутствовала. На руке дочери не было пластикового браслета, который выдают в больницах, предупреждая, что снимать его нельзя. Джейн ненавидела эти браслеты с фамилией, едва оказывалась вне больницы, сразу срывала свой браслет. Но здесь, в хосписе, ее и так знал весь персонал.

Дочь шевельнулась и открыла глаза.

— Мам, они знают, как я больна? Что я скоро умру? — В голосе была тревога. Розмари погладила ее руку.

— Да, знают. Говорят об этом и стараются помочь тебе. Здесь все такие добрые.

— А куда мы поедем, когда меня выпишут? — Этот вопрос напомнил о беспомощности дочери. Совершенно не может распорядиться ни собой, ни своим будущим. Полная беззащитность, обретенная за месяцы скитаний по больницам.

— Мы никуда не поедем, — Розмари говорила медленно, подчеркивая слова. — Пробудем здесь столько, сколько надо. Когда тебе станет полегче, возьмем тебя домой. Но только если ты захочешь. Ты сама будешь решать.

Может, сама мысль об еще одном переезде тяготила ее, думала мать.

— Останемся здесь, сколько ты захочешь, — добавила она.

По коридору пробежали люди, послышались голоса доктора Меррея и одной из сестер. Что-то случилось. Доктору уже пора было навестить Джейн, но его голос еще долго доносился из-за двери. Джейн даже надоело его ждать.

Наконец он появился, без белого халата, в одной рубашке.

— Можно?

Розмари вышла, чтобы оставить их наедине.

Полусонная Джейн взглянула на врача рассеянно. Как только он сел рядом, улыбнулась. Он немного подождал, давая привыкнуть к себе, потом заговорил.

— Может, вы меня не помните, — начал врач. — Вчера ночью, когда я заходил, у вас были сильные боли. Я врач Дэвид Меррей. — Говорил он медленно, давая больной время узнать себя.

— Я вас знаю, — сказала Джейн отчетливо. — Мы познакомились вчера.

— Как дела сегодня? — спросил врач, щупая пульс. Он держал руку легко, мягко, словно здоровался с Джейн.

— Болит, но не так ужасно, как раньше, — сказала Джейн.

Она снова была человеком, сознание прояснилось. Всепоглощающая боль, от которой еще совсем недавно она теряла человеческий облик, ушла. Доктор Меррей понимал, что все больницы, где побывала Джейн, вселили в нее страх казармы. Он хотел внушить ей, что в хосписе не нужно этого бояться. Он говорил, что здесь учтут ее особенности. Ведь больные так по-разному на все реагируют.

— Мы хотим знать, как вам было бы лучше, Джейн. Вам чего-нибудь не хватает?

— Хотелось бы послушать магнитофон.

— Ну, это нетрудно. У нас в вестибюле стоит один небольшой. А какую музыку вы любите?

— В последнее время мне нравится только классика. Что-нибудь спокойное.

— По-моему, у нас есть такие записи.

Они поговорили о любимых композиторах. Если она говорит о музыке, решил врач, значит, чувствует себя гораздо лучше, чем вчера. Ей нужно набраться сил на будущее. Он хотел помочь ей справиться с тем, что ее ждет. Как правило, доктор Меррей не скрывал от больных, что с ними происходит, отвечая на все их вопросы. Он вселял в больных уверенность тем, как с ними говорил и о чем. И больной приходил к выводу: «С ним нечего бояться».

Джейн, кроме болей, не оставляли галлюцинации и постоянная сонливость.

— Галлюцинации не дают мне покоя, — сказала Джейн.

— Я вас предупреждал о них.

— Вчера вы говорили, что они пройдут. Они меня так пугают.

— Это следствие наркотиков, которые вам дают. Скоро это пройдет. А если нет, я пропишу вам одно или два средства, которые помогут. Если, конечно, мы убедимся в том, что это именно галлюцинации.

— А что же еще?

— Может быть, Джейн, это различие покажется вам незначительным, но бывают галлюцинации, а бывает и неверное восприятие. Если у вас галлюцинации, то, я уверен, мы с ними справимся. Эта проблема нами хорошо изучена.

Он наблюдал за ней, понятно ли он объясняет.

— Сколько времени осталось до моей смерти? — спросила она. Ей хотелось знать, сколько ей отпущено для завершения всех дел. Врачу же хотелось знать, насколько она подготовлена к правдивому ответу.

— Доктор Салливан, кажется, говорил вам до того, как вы поступили сюда, что речь идет скорее о неделях, чем о месяцах.

— Да, но это довольно расплывчато. Несколько недель уже прошло. А я не хочу, чтобы это затянулось.

— Не думаю, что вам придется еще долго терпеть, Джейн, — сказал доктор Меррей мягко. Ни один врач до сих пор не говорил с ней так просто о смерти. — Точно не могу сказать, сколько продлится, то есть сейчас

не могу. Давайте поставим боль под контроль, а там посмотрим. Через несколько дней я смогу ответить точнее.

— Но я скоро умру, правда? — Джейн словно искала поддержки. — В больнице мне не говорили. Вернее, говорили все по-разному.

— Да, Джейн, вы умираете. Но мы поможем вам пройти через это. У нас никто не будет обманывать вас. Вы можете задавать любые вопросы, и мы на них ответим: опыта нам не занимать, и мы все профессионалы.

Джейн протянула ему руку — насколько могла, — и доктор Меррей взял ее в свою.

— Здесь все такие добрые, — прошептала Джейн, — но вы помогаете мне больше всех, доктор...

— Меррей, — подсказал он.

Врач придал ей уверенность. Она могла свободно, без обиняков говорить о том, что с ней происходит, о жизни и смерти. Наконец-то перед ней был человек, которому можно доверять. Близкий человек.

— Не хочется называть вас доктором Мерреем.

— Зовите просто Дэвид. Здесь все меня так зовут.

Медсестры часто поворачивали Джейн в постели, предотвращая пролежни и окостенение суставов — процессы, вызывающие новую боль. Джейн чувствовала себя свободнее и вскоре могла лежать на боку, а это было большим достижением. Раньше она отказывалась менять позу, боясь новых страданий. Но Адела объяснила, что, поворачиваясь на тот или другой бок, она избежит пролежней. Теперь Джейн больше не была пассивным, беспомощным пациентом, который лежит, уставившись в одну точку. Она могла без боязни изменить положение, и уже одно это помогало ей больше увидеть и активнее участвовать в том, что происходит в комнате.

Стараясь накормить Джейн, Адела вспомнила свой материнский опыт.

— Когда у моих детей не было аппетита, — говорила она, — мы с ними играли. Что это у меня получилось? — спрашивала она, слепив ложкой фигурку из картофельного пюре.

— Не знаю, — хмыкнула Джейн. — Может быть... утка?

— Да, утка, — подтвердила Адела. — Раз, два, три — теперь проглоти! — Джейн послушно глотала.

Эта игра легко переходила из немудреной ситуации, в которой мать кормит свое дитя, в настоящую жизнь, где один взрослый помогает другому. Если Джейн не могла, как ребенок, играть с собственной матерью, то с Аделой, сравнительно чужим человеком, она это делала. Потом они так сблизились, что, когда Адела не дежурила два дня, родители боялись, что состояние Джейн ухудшится. Стоило Аделе лишь пообещать заскочить к Джейн, и той этого было довольно.

Однажды вечером Джейн задремала, но вдруг широко открыла глаза и уставилась на мать.

— Ма, у тебя пол-лица не хватает. Под носом — дыра.

Розмари смущенно улыбнулась и потрогала нижнюю половину лица.

— Ошибаешься. Мое лицо на месте. У тебя, дочка, снова галлюцинации.

Несколько раз Джейн тревожилась по этому поводу, но, вспомнив объяснения доктора Меррея, успокаивалась.

— Дэвид говорит, что это скоро пройдет, — не раз миролюбиво говорила она родителям.

Как-то отцу Джейн вдруг заявила с ехидцей, что лицо у него «какое-то смешное»: «Ухо там, где должен быть нос, один глаз на подбородке, а во лбу зияет дыра, через которую видно небо». Заметив, что отец огорчился, Джейн успокоила его.

— Зато похоже на картину Пикассо, — сказала она.

В следующий раз она констатировала, что у отца только пол-лица, и эта половина страшно длинная.

— Как интересно, — хмыкнула Джейн.

— А что, — спросил он, — опять Пикассо?

— Нет, — Джейн призадумалась, — скорее похоже на Модильяни.

Дэвида Меррея не беспокоили эти приступы.

— Ее сознание сейчас гораздо яснее, чем раньше, — сказал он роди-

телям.—Она часто болтает с Аделой. Хорошо, что у них зарождается дружба. Лекарства помогают, конечно, но далеко не всегда.

— Нам не хотелось бы отвлекать Аделу от других пациентов,—сказала Розмари осторожно,—но... если бы она проводила с Джейн побольше времени...

— Я думаю, это можно устроить. Одному больному нравится одна медсестра, другому—другая.—Он посмотрел на них с улыбкой. Слышал ли он о Патриции?—Это все со временем обычно утрясается.

— Аделы не будет целых два дня,—начал Виктор,—не ухудшится ли состояние Джейн?

— Да, мы за этим проследим. Но поскольку боли у Джейн стихают и она лучше воспринимает все окружающее, мы познакомим ее с другими сестрами.

— Но боль отступила только потому, что вы увеличили дозу диаморфина,—сказал Виктор.—Вы и дальше будете ее увеличивать?

— Нет, думаю, что состояние Джейн стабилизировалось. Теперь, когда я знаю, где у нее больше всего болит и где находится источник болевых ощущений — руки, мы можем применить и другое, например, блокаду.

На сей раз была очередь Розмари остаться с Джейн на ночь. Медики спросили родителей, хотят ли они дежурить по очереди. Может, предпочитают оставаться в хосписе. Они не хотели уходить: их дом был там, где была их дочь. И им предоставили комнату с двумя кроватями. Но Виктор обнаружил еще одну пустующую гостевую комнату, рядом с первой, и вскоре перенес туда свои бумаги и папки. (Он все еще вел колонку в газете.) Когда Джейн сказали, что ей, возможно, не так долго осталось жить, отец предложил, что будет полностью с ней, то есть оставит свою работу. Но в ответ она закричала с деланным испугом: «На помощь!» И вырвала у него обещание, что он будет вести свою колонку, что бы ни случилось. Она не хочет, уверяла Джейн, чтобы он целиком посвятил себя ей: иначе начнутся неприятности. К счастью, Виктору отдали в хосписе вторую комнату, пока она не была нужна другим родственникам. Он работал регулярно: каждый понедельник в газете появлялась его статья, и делал он это для дочери. Вот и сейчас, когда Розмари устроилась в комнате Джейн, он ушел к себе работать.

Вошла Нора, молоденькая ночная сестра, чтобы сделать инъекцию. Ей не хотелось будить Джейн.

— Один маленький укольчик,—сказала она тихо.

Джейн шевельнулась и уставилась в полутьму.

— Мама здесь?—спросила она.—Хочется с кем-то поговорить.

— По-моему, она спит,—сказала Нора мягко. Будучи почти ровесницей Джейн, она вполне ее понимала.—Хотите, я с вами посижу? У меня уйма времени.

Норе не пришлось долго стараться, чтобы «приручить» Джейн.

— Дело не в том, что я боюсь умереть,—призналась больная,—просто я боюсь, что боли усилятся и будут рвать меня на части.

— Мы этого не допустим,—твердо сказала медсестра.—Мы будем помогать вам все время.

— Сейчас помощь нужна моему отцу,—сказала Джейн.

— В каком смысле?

— Он много пережил во время войны. Наверное, он до сих пор это помнит.

— Что именно?

— Не знаю точно. Он не хочет обо всем рассказывать.

— Может, захочет теперь, когда у вас поутихли боли?

Нора много раз наблюдала, как хоспис сближал семьи. Когда приближалась смерть, люди становились откровеннее. Нора очень надеялась, что Джейн поможет своему отцу.

Глава 11

Проснувшись среди ночи, Розмари вдруг увидела, что Джейн лежит с широко открытыми глазами, в которых застыл страх.

— Мам, ты здесь?

— Да, рядом с тобой.

— Мам, мне жутко страшно. Где мы находимся? Что это за дом?

Розмари поцеловала ее, чтобы прогнать ночной кошмар.

— Джейн, успокойся. Мы в хосписе около Оксфорда, здесь все очень добры к нам. Они сделали для тебя все возможное, и сейчас тебе гораздо лучше.

— Все еще не понимаю. Давай повторим все снова.

Мать повторила все сначала, но глаза Джейн выдавали ее тревогу.

— Я попрошу Нору разбудить отца. Может, увидев его, ты успокоишься.

Через несколько минут вошел Виктор, шлепая босыми ногами. Он наклонился к дочери, прикоснулся к ней. Розмари рассказала ему, что у Джейн в голове все смешалось.

Зажгли более яркий свет. Джейн подозрительно огляделась вокруг.

— Это не та комната, в которой я была вчера.

— Да она же. Тебя не переводили в другую, да тебя и нельзя двигать.

— Нет, пап. Это не та.—Глаза ее рассеянно скользили по комнате.—Мебель другая.—Голос Джейн стал более уверенным, она окончательно проснулась, но сомнения не проходили.

— Ты так думаешь потому, что мы здесь все передвинули, пока ты спала. Нужно было втиснуть для меня раскладушку.—Розмари притрагивалась ко всем вещам, о которых говорила.—Вот этот шкаф стоял у твоей кровати, рядом был стул. Мы его поставили в проходе. Еще один стул стоял по другую сторону кровати, теперь он тоже в проходе.

— Окно выглядит иначе. Оно было в другом месте.

— Просто шторы задернуты. Смотри, вот я их отдернула. Видишь звезды на небе?

Джейн все не верила.

— А мы где—в Англии?—спросила она.

— Да,—подтвердил отец.—В хосписе около Оксфорда.

У матери появилась идея.

— Завтра,—сказала она,—мы будем переставлять мебель до того, как ты заснешь. Ты все увидишь своими глазами, это поможет тебе запомнить.

Тревога Джейн стала медленно проходить.

Виктор, успевший хорошо выспаться в гостевой комнате, предложил остаться с Джейн, а Розмари пойти и поспать в более удобной постели. Но не успел он устроиться на раскладушке, как услышал голос дочери:

— Смотри, пап, смотри!—Она показывала на что-то в конце кровати.—Прогони его!

— Кого прогнать, Джейн?

— Там какой-то противный зверек.—Она описала коричневое существо, похожее на крысу, которое якобы бегало по кровати.—Я от него в ужасе!

— Хорошо, детка, давай прогоним его вместе. Раз уж ты видишь коричневого зверька, то должна знать, что он бегает в поле, а не по кровати. Ты видишь поле?

— Д-да,—сказала Джейн неуверенно.

— Прекрасное зеленое поле, трава шелестит под ветром.—Отец говорил медленно, почти как гипнотизер.—Такая высокая зеленая трава, волнуется, как море. И в ней—прекрасные полевые цветы, красные-красные маки.

— Да,—подтвердила Джейн, на сей раз более уверенно, забыв про коричневого зверька.—Красные маки,—повторила она спокойно.

— Поле расположено на склоне холма, дует ветерок, в небе сияет солнце. И все это—в жаркий летний день. Ни облачка на небе. Небо синее-синее...

— Нет, не так,—почти сердито перебила его Джейн.—Никакого холма. Поле есть, но не на холме.

— А где же?

— На равнине. Сначала ручеек, а потом уже поле. И домик с тростниковой крышей.— Она описала домик, где Виктор с Розмари жили сразу

после женитьбы. — У ручейка — сад. И там, правильно, много-много цветов, красных маков.

— А дальше? — Отец начал волноваться: картина была верной, но... Он мгновенно понял, что в ней не так, и его охватило волнение. Джейн описала то, чего никогда не видела. Она не жила в этом доме, родители уехали оттуда до ее рождения. — Но, Джейн...

— Да. Ричард в саду, а я на него злюсь. Злюсь потому, что меня там нет. Там все — и ты, и мама, и Ричард. А меня нет.

Виктор растерялся. Доктор Меррей предупреждал его по поводу галлюцинаций и кошмаров. Но это было видение.

— Но, Джейн, это было до твоего рождения, — решился сказать он.

— Вот поэтому я и злюсь. Там Ричард, и ты, и мама, только меня нет.

Нет, подумал Виктор, это не видение, это уже что-то из Фрейда. Она всегда немножко завидовала Ричарду. Многое из того, что она достигала с трудом, ему давалось легко. Видно, старые эти чувства проявляются снова. Но откуда ей было знать, как выглядит местность, где она никогда не была? Волнение отца проходило. Он попытался перевести разговор на детство Джейн, на те счастливые времена. Но вдруг понял, откуда это видение.

— Джейн, этот домик, и сад, и ручей — все это было до твоего рождения. Мы уехали оттуда, а потом, когда тебе было года четыре или пять, ненадолго вернулись. В тот день мы все были вместе, и ты, и Ричард. Вот что ты вспомнила.

Но дочь это больше не интересовало. Раздражение прошло. Они разговаривали как два старых друга. Джейн не хотелось снова засыпать, ей хотелось разговаривать. Когда он спросил ее, не болит ли где-нибудь, она сделала отрицательный жест. И для него это было самым лучшим ответом, потому что он показал, насколько уменьшилась боль в руке. Виктора поразила эта перемена.

Если бы он не знал, как тяжело она больна, как глубоко вгрызается в нее рак, он мог бы подумать, что дочь начала выздоравливать. Позже он спросит доктора Меррея: готова ли она умереть сейчас, когда ей вроде бы стало лучше? Он думал: не появятся ли у нее надежды на излечение? Дэвид Меррей рассказал отцу Джейн о том, что иногда у умирающих меняется настроение и они не хотят мириться с мыслью о смерти.

— Кое-кто поступает к нам с сильными болями, хотя и не в такой степени, как у Джейн, — сказал он, — но нам удается с этим справиться. Потом, когда боли стихают, пациент думает, что он поправляется. И не может понять, почему он так слаб. В голове складывается простая формула: боль означала, что я умираю, а если боли нет, значит, я иду на поправку.

— И Джейн так думает?

— Если даже и не думает так постоянно, то, видимо, иногда задается таким вопросом. Когда физические страдания идут на убыль, в человеке пробуждаются решимость и желание жить. А Джейн так молода, и мы должны учитывать инстинкт самосохранения. Она не смогла бы его подавить, даже если бы рассудком смирилась со смертью. Этот инстинкт — огромная сила, и, видимо, он сильнее разума.

— Значит, нужно вернуть ее к реальной действительности, — твердо сказал отец. — Нужно напомнить ей, что она *умирает*. Как вы считаете, это лучше сделать мне или вам самому?

— Мы не будем форсировать события. Пока пациент не готов, его не пугают такой информацией. Она уже проявила готовность к смерти. Но это улучшение временное, завтра все может измениться. Или даже через несколько часов.

Вернувшись в комнату Джейн, отец спросил, как она себя чувствует. Дочь ответила просто:

— Я счастлива.

Счастлива? Какое странное слово, если учесть все обстоятельства. И все же она его часто употребляла: и в Дэри-коттедже, когда утихала боль, и в хосписе, когда удалось взять эту боль под контроль. Она говорила «счастлива», чтобы выразить состояние своей души, и хотела передать его отцу. Он делал вид, что тоже счастлив, — да, он сделал бы все, чтобы она была счастлива. Если она счастлива, значит, и он тоже, — во всяком случае, на словах, потому что для него слова эти ничего не значили.

Но ее нельзя было обмануть.

Джейн сказала:

— Пап, ты это только говоришь. Так не годится. Есть только один способ сделать тебя счастливым. Способ этот — откровенно поговорить. Пап, ты видел смерть столько раз, — начала она осторожно, когда он сел у ее кровати. — Ты должен легче принимать все, что происходит.

Виктор понял, к чему она клонит, и не стал придумывать, а начал рассказывать так, как было.

— Действительно, впервые это случилось, когда мне было лет шестнадцать и я оказался на советско-германском фронте. Я перед этим сбежал из Сибири. Это я уже рассказывал.

— Нет, пап, не рассказывал, — запротестовала Джейн, пристально глядя на него. — Ты об этом времени никогда подробно не рассказываешь. А мог бы и рассказать. Так что же там случилось?

«Рассказать ей всю историю?» — думал отец.

Кое-что он уже рассказывал: о своем детстве в Польше, скитаниях во время войны, о том, как потерял всю семью, потом сбежал из России. Но он всегда опускал какие-то важные детали. Сейчас Джейн задавала прямой вопрос, и на него следовало ответить.

— Это было в то лето, когда немцы напали на Россию и я попал в самую гущу событий. Я уже был один, остальную семью поглотила война. — Он замолчал.

— Ты был на фронте? — тихо спросила Джейн.

— Мы были за линией фронта, на русской стороне, в основном женщины, старики и такие же подростки, как я. Нас перегоняли, как скот. Мы рыли противотанковые рвы, которые должны были по идее остановить немецкое наступление. Но однажды нас погрузили на телегу, чтобы везти туда, где спешно строилась целая сеть земляных укреплений, и повезли мимо армейской части, которую вроде бы заново формировали для фронта. И вдруг все солдаты бросились врассыпную, чтобы укрыться. В течение минуты слышался только топот ног и ржание лошадей, затем все стихло. Потом мы поняли, в чем дело... Над нами гудел самолет, но не реактивный, к которым привыкло твое поколение. Звук его напоминал нечто среднее между треском мотоцикла и гудением шмеля плюс еще шум травяной косилки.

— Трудно себе представить, — сказала Джейн. — А что ты чувствовал, когда слышал гудение самолета, который вот-вот сбросит бомбу?

— По дороге двигались только наша телега да трактор, который ее тянул. Мы почти миновали солдат, но, видимо, наш тракторист решил проехать дальше, прежде чем самолет начнет бомбить. Телегу сильно трясло, но нам было не до того. Мы — я по крайней мере — смотрели вверх, но ничего не видели. Но вот неподалеку, там, где раньше находилась воинская часть, вдруг поднялись в небо земляные столбы, которые падали вниз настоящим дождем. Вместе с землей падали обломки телег, грузовиков, разорванные лошадиные трупы, обрубки человеческих тел, и только после этого слышались взрывы. Их перекрывал треск пулеметных очередей, которые все приближались к нам.

Мы видели, как пули взрыхляли пыль на дороге позади нас. Тракторист оглянулся, заглушил мотор и спрыгнул с трактора в канаву у дороги — мы и оглянуться не успели. Все последовали за ним, но я решил сделать лучше. Вдоль канавы шла водопроводная труба, и я подумал, что смогу залезть в эту трубу. Просунул голову в отверстие и обнаружил, что остальное тело не проходит. Я все пытался втиснуться в эту проклятую трубу, а бомбы уже взрывались все ближе и все громче, и чем-то меня било, как будто мощными кулаками. Это камни и комья земли колотили по моему телу, голова была прикрыта. Все длилось секунду. Потом я услышал крики и стоны. Самолет улетел. Я вытащил голову из трубы и огляделся. Мало что осталось от тракториста да еще от нескольких людей. Я похолодел от страха, мной овладела какая-то запоздалая паника. — Виктор замолчал. Уже много лет он не вспоминал тот день.

— Понимаю, — сказала Джейн, — мне кажется, я знаю это чувство. В больнице оно ко мне приходило. Так было во время операции, я могла смириться с ними, но потом меня одолевал страх. Я думала: «Удастся ли мне когда-нибудь избавиться от него?» Мне было страшно, я паниковала, чувствовала слабость. И я слабела, ведь я ела очень мало.

— Ты и сейчас не очень-то много ешь. Но ты уже не беспокоишься. По крайней мере внешне. Боишься? — Он посмотрел на дочь.

— Нет, папа. Я не боюсь и надеюсь, что такой же и останусь, если ты мне поможешь. Ты мне так сильно помог в Дэри-коттедже, когда мне в самый первый раз сказали, что со мной. А ты просто садился рядом и говорил... говорил.

Он дотронулся до руки дочери.

— Джейн, ты была к этому готова. Ты уже жила с этой мыслью несколько месяцев, я тебе, собственно, и не был нужен. Я говорил, чтобы помочь скорее себе, чем тебе.

Виктор не знал, как продолжать дальше. Их разговору чего-то не хватало. Он специально не говорил о том, как сам боялся смерти во время бомбежки. Может, именно это и хотела услышать его дочь?

Она словно прочитала его мысли.

— А почему ты попал на фронт в шестнадцать лет?

— К тому времени, Джейн, я потерял всех и вся. Когда началась война, немцы оккупировали Польшу с запада, а русские — с востока. Это не была просто война между армиями. Все куда-то двигались, население целых городов и сел перемещалось с места на место, вернее, перемещалось то, что оставалось от населения после боев. В конце концов я оказался в Сибири. Но я сбежал. Мне хотелось вернуться туда, где я жил раньше, где мог опять увидеть свой народ, дома, горы. Я пытался вернуться на родину, в Польшу, хотя и знал, что немцы в то время согнали большинство евреев в концлагеря и установили в стране страшный террор. Но что это значило для меня в сравнении с моим страстным желанием попасть домой, обрести свои корни! Об опасности я не думал. По-моему, мне даже это нравилось: я считал, что попаду к партизанам, стану героем. Конечно, это было нереально, но мне так этого хотелось!

Джейн призадумалась.

— Значит, ты не убегал от чего-то, ты бежал к *чему-то*?

— Наверное, так оно и было, серединка на половинку. И то, и другое. Я ведь не только семью потерял. Когда русские упекли меня в лагерь, людей, с которыми я до того подружился, уже доконали или сибирская зима, или голод, или тяжкий труд, или болезни. А потом, когда меня выпустили из лагеря, мне сказали, что произошла ошибка, я-де слишком молод. В это время началась эпидемия тифа, и люди мерли, как мухи. Тогда я и решил, что с меня хватит.

— Вот так видеть смерть вокруг в шестнадцать лет, — наверное, призадумаешься, — подсказала Джейн.

— Скорее побежишь со всех ног, — ответил отец. — Сначала я бежал к фронту, чтобы пересечь его и попасть домой. Но после той бомбежки передумал. Я повернулся, показал немцам спину и пошел назад, в глубь России.

— Тут-то ты и встретил Илью Эренбурга?

— Да. Я проделал весь путь от линии фронта до самой Волги и попал в Куйбышев, куда переехало все Советское правительство, потому что немцы наступали на Москву. Эренбург приехал тоже туда, так как он был одним из самых крупных советских писателей, частью правительственной элиты.

— Ты не очень-то об этом рассказывал мне. Я знала только то, что было опубликовано в «Гардиан». В школе, где я преподавала, одна из учительниц, читавшая про это, выпытывала у меня всякие «кровавые» подробности, и мне было неприятно. Не могла же я сказать ей, что отец никогда не говорит с нами о прошлом, что у него есть свои «тайны». — Джейн улыбнулась. — Они, правда, есть?

— Ты же знаешь эту историю, ты ее слышала не раз.

— Только маленькие кусочки и отрывки. А хотела бы услышать все.

Отец еще надеялся избежать вопросов, но Джейн распирало от любопытства. Она как-то сказала ему, что в эпизоде с Эренбургом есть, видимо, нечто, что он хотел бы скрыть. В тот раз он от нее отмахнулся, но сейчас он этого сделать не мог.

— Ты в самом деле хочешь все это услышать?

— Конечно, папа. Как это было, когда, почему — все.

Виктор глубоко вздохнул и начал:

— Зимой тысяча девятьсот сорок первого — сорок второго годов, когда я добрался до Куйбышева, город был наводнен эвакуированными, беженцами и военными. Все искали прибежища, сотни людей спали на бетонном полу вокзала, особенно те, у кого положение было не совсем легальным, как, скажем, у меня. Если бы кто-то узнал, что я сбежал из Сибири, мне бы не поздоровилось. Но мне, которому удалось раздобыть только справку о том, кто я, мне, жившему только сегодняшним днем и питавшемуся на жалкие гроши, мне даже в таком положении было интересно все то, что происходило вокруг. Я читал газеты, которые расклеивали на стенах вокзала каждый день, а иногда мне удавалось найти брошенный кем-то журнал. Так мне попалась однажды статья Эренбурга. Под статьей значилось «Куйбышев», и, поняв, что он в городе, я решил во что бы то ни стало встретиться с ним.

— Почему именно с ним?

— Потому что он был моим кумиром много лет, с тех пор как в возрасте двенадцати или тринадцати лет я прочел его «Хулио Хуренито».

— Так *вот почему* ты много раз пытался заставить меня прочесть эту книгу. Мог бы и открыть тайну. Я бы, может, одолела не только несколько первых страниц.

— У тебя был тогда юношеский период анархии, Джейн, и я знал, что тебя не заставишь что-то сделать. Я только оставлял книжку на видном месте, надеясь, что Хулио привлечет тебя, ведь он был таким же бунтарем, как ты. Думал, что ты почерпнешь из книги то же самое, что и я в бытность анархистом.

— А ты не подумал о том, что я догадываюсь о твоих замыслах? — Теперь она улыбалась. — Ты же всегда думал, что я глупее Ричарда.

Отец пропустил колкость мимо ушей. Не хотелось сейчас обсуждать их вечное соперничество.

— Эх, Джейн, ты развивалась слишком медленно. — Он подхватил ее шутливый тон. — Я стал анархистом где-то лет в двенадцать. А тебе было уже лет четырнадцать-пятнадцать, у меня в таком возрасте это уже прошло. Но я помнил впечатление, которое произвел на меня «Хулио Хуренито». То впечатление — окно в большой мир. Я считал Эренбурга родственной душой, человеком, который поймет мои несчастья, сможет помочь, а то и найдет для меня место ночлега вместо пола на вокзале. Итак, я раздобыл адрес и пошел в гости.

— Взял и пошел?

— Взял и пошел. Грязный, в лохмотьях, в огромной солдатской шинели — настоящий беспризорник. Полы шинели мне отрезали ножом, чтобы она не мела мостовую. Края обтрепались, а у меня не было ножниц, чтобы их подровнять. Вместо башмаков — калоши, выкроенные из автомобильных шин, привязанные к ногам веревкой и тряпкой, а внутри набитые войлоком.

Джейн посмотрела на него недоверчиво:

— Твое изобретение?

— Нет, в те времена это был довольно обычный вид обуви для бродяг. Я достал адрес Эренбурга в городском справочном бюро — быть может, единственном учреждении в этом полицейском государстве, помогавшем простым смертным. Нужно было всего-навсего войти, заполнить бланк с фамилией человека, которого ты ищешь, и тебе давали адрес.

— И тебя пропустили к нему в этих лохмотьях?

— Сначала его не было дома, и я снова зашел вечером, сказал, что поклонник таланта писателя, и он вышел в переднюю. Спросил, откуда я, а я ответил, что я беженец с оккупированной немцами территории, один во всем мире. Эренбург спросил, сколько мне лет. Наверное, ему стало меня жаль, потому что он пригласил меня в квартиру. Я до сих пор все помню, даже как билось мое сердце. В те дни Эренбург был на вершине славы, его статьи и книги всюду печатались. Он был великим борцом против немцев, своими призывами поднимал дух советских солдат

как раз в то время, когда они терпели самые горькие поражения. И вот явился я, и он принимает меня в квартире, роскошнее которой я до той поры не видел.

— Значит, он больше не был анархистом?

— Он спросил, какие его книги я читал, а я выпалил: «Хулио Хуренито». На какой-то момент он замолчал, стал суровым, словно я сболтнул что-то не то (так оно и было). А дело в том, что Эренбург написал эту книжку сразу после революции, задолго до того, как Сталин разделался со всякими анархистами. Ему были совсем ни к чему эти напоминания. Видимо, повесть уже была изъята из всех библиотек и сожжена, может, даже у него самого не было ни одного экземпляра. В некотором роде она воспевала то, что Сталин всегда подавлял.

— Значит, начало знакомства было неудачным?

— Как раз наоборот. Я сказал политически неверную вещь, но почеловечески писатель после минутного молчания вдруг потеплел душой, словно обрел давно пропавшего сына. Эту книгу он явно любил гораздо больше, чем литературную поденщину, которой занимался в последние годы. Он вложил в нее душу, но, может быть, никто не осмеливался с ним говорить о ней: тогда боялись, что кто-то подслушает такой разговор.

Виктор рассказал, как Эренбург достал для него чистую одежду, помог снять угол для жилья и устроил учеником в железнодорожные мастерские. Раза два в неделю они встречались. Виктор рассказал ему свою историю, между прочим, весьма приглаженную, поскольку к тому времени он уже научился не доверять даже самым близким друзьям. Он признался, что мечтает стать писателем, и не каким-нибудь, а таким же влиятельным, как сам Эренбург. Его благодетель снисходительно улыбнулся, попросил говорить дальше, потом рассказал кое-что из своей собственной, тоже нелегкой жизни. Немного рассказал, потому что тоже не хотел рисковать. Но вскоре доверие и дружба, которые у них возникли, позволили Эренбургу затронуть тему гораздо более опасную, чем все прежние.

— Если ты действительно хочешь стать писателем,— сказал он,— придется принять какие-то решения сейчас. Ты поляк, родился в Польше, там ходил в школу, усвоил ее культуру. Чтобы стать советским писателем, надо начать с нуля, а это трудно. Для тебя это чужая, неизвестная страна.

Он хотел сказать, что Виктору лучше всего уехать из Советского Союза, и позже объяснил, как это нужно сделать. Поляков, попавших в плен и помещенных в русские лагеря в начале второй мировой войны (во времена договора между Сталиным и Гитлером), сейчас освобождали, чтобы влить их в новую польскую армию, которая должна была воевать на стороне русских против общего врага — немцев. Было решено послать небольшое соединение польских летчиков в Англию, чтобы пополнить польскую эскадрилью, понесшую большие потери в «Битве за Англию». Виктор, сказал Эренбург, должен попасть в это соединение, хоть это и будет нелегко.

Ему следует явиться на польский призывной пункт, сказать, что он доброволец, хочет быть летчиком, и ответить на ряд вопросов. Видимо, Эренбург заранее выяснил, что это будут за вопросы. Они спросят, что его связывает с авиацией и есть ли у него летный опыт. Поскольку вряд ли все это он мог приобрести в его возрасте, ему надо ответить, что он в свое время был членом группы бойскаутов, а они упражнялись в полетах на планерах. Но прежде всего нужно пойти в библиотеку и прочитать об этих планерах побольше. Кроме того, военные предпочитали людей, знающих английский язык, значит, ему нужно найти английский разговорник, выучить несколько фраз наизусть — ну, например, слова приветствия и несколько ходовых выражений — и выстрелить этими фразами в офицера, который будет его расспрашивать. Тот, вероятнее всего, будет знать английский хуже, чем Виктор.

Потом Эренбург перешел к самому главному.

— Ты еврей,— сказал он,— а среди поляков есть ярые антисемиты. Они считают, что эта летная часть должна состоять из элиты, а не собираются набирать в нее евреев. Значит, тебе придется поменять имя и фамилию. Иначе ничего не выйдет.

Виктор все сделал так, как посоветовал Эренбург, и механизм сработал. Через несколько месяцев он был в Англии, с новенькой польской фамилией, усердно посещал католическую службу по воскресеньям и тайком следил за своими товарищами, осенявшими себя крестным знамением, чтобы делать так же.

— Но, будучи в Англии, ты мог бы перестать притворяться? — спросила Джейн.

— Легко сказать,— ответил отец.— Ты просто не представляешь себе пропасти, разделяющей поляка и польского еврея. Второй — это не поляк, это еврей, то есть низшее существо, а я притворялся чистокровным поляком, меня за такого и принимали. Я слушал анекдоты о евреях и прочие мерзопакости и молчал. Ты спрашивала про мою «тайну». Это она и есть.

— Да, ты мне рассказывал это однажды, но только одни голые факты, и я не почувствовала тогда, как тебе было трудно. Значит, от этого ты и бежал?

— Наверное, можно сказать и так. Мне пришлось полностью изменить свою личность, жить чужой жизнью, и все это без той необходимости, по которой то же самое делали многие евреи, живя в Европе при Гитлере. Они так поступали, спасая свою жизнь и жизнь своей семьи. Меня могут оправдать только моя молодость, незрелость, одиночество. Я был совершенно один: не с кем посоветоваться, некому признаться. И меня засасывало все глубже и глубже. Я сочинил некоторые детали, укрепляющие остов моей истории, с тем чтобы включаться в общий разговор, когда начинались воспоминания. А их в те годы было немало. Когда после войны меня демобилизовали, я поступил работать на Би-би-си и надеялся отчасти сбросить маску, но этого не получалось. Я поддерживал отношения с друзьями из летной части, появились и новые друзья, и я видел, что не могу в один прекрасный день сказать: «А знаете, я еврей, я совсем не тот, за кого вы меня принимаете». Может, ты думаешь, мне это надо было сделать? Может, ты и права. Но ты никогда не была частью презираемого, затравленного меньшинства. У тебя нет опыта. А опыт этот или просвещает, или отупляет.

— Нет, папа, я тебя не обвиняю. Я даже очень рада, что ты мне рассказал. Твоя откровенность для меня очень много значит.

— А может, она помогает мне даже больше, чем тебе,— сказал Виктор.— Я так раньше ни с кем не разговаривал, даже с твоей матерью. Кое-что я рассказал ей через несколько лет после женитьбы, а она ответила: «Как ужасно, что все эти годы ты страдал от этих мыслей». Но ведь она не еврейка. Хорошо хоть ты — наполовину. Она мне очень сочувствовала, но, по-моему, не очень меня понимала. То, что я скрыл свою национальность, когда мы поженились, не имело для нее значения. А меня терзало, что я вам не мог все рассказать. Ни ей, ни тебе, ни Ричарду, когда вы начали подрастать.

— Но кое-что ты рассказывал.

— Да, но не раньше, чем тебе исполнилось лет тринадцать. И даже тогда сказал только, что моя мать была еврейкой. Этот разговор был первым шагом на пути откровенности и правды, но я раскрывал ее постепенно, понемножку. Я смотрел, какова будет ваша реакция: мамина, Ричарда, твоя...

— Мама была права: твоя «тайна» — много шума из ничего. Но что сталось с твоими родными в Польше?

— Они все погибли.

— Да, про самых близких я знаю, а что с остальными?

— Все погибли, до одного. Мать, отец, брат, сестра. Дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Абсолютно все. Я пробовал найти их следы после войны, но ничего не вышло. Не осталось ни друзей семьи, ни даже знакомых. Школьные товарищи тоже погибли. Правда, я нашел одного учителя, который всегда говорил, что я далеко пойду. Только он не знал, в какую сторону, в хорошую или плохую,— это мы так дома шутили. Но ведь он не еврей. Евреи погибли все...

Виктор помолчал. Этот разговор о мертвых, о самых близких для него людях, погибших во всемирной катастрофе, подвел его к собственным мыслям о смерти.

— Шесть миллионов? — спросила Джейн тихо.

— Шесть миллионов.

Джейн закрыла глаза и молчала так долго, что отцу подумалось, что она заснула. Наверное, ее утомил такой долгий разговор. Виктору стало легче на душе. Это была тема, тяжелая даже сейчас. Он осторожно освободил свою руку и подошел к окну. А когда вернулся, Джейн смотрела на него, широко открыв глаза.

— Вот от чего ты хотел убежать,— сказала она.— От этих шести миллионов.

— Да, наверное.

Джейн помолчала и добавила очень мягко:

— Все еще убегаешь.

Он сердито уставился на дочь.

— Нет, Джейн. Я больше не делаю из этого секрета, ты знаешь. Все опубликовано в «Гардиан», ты сама сказала. И сейчас я говорю совершенно открыто, что я еврей. Что ты хочешь сказать своим «все еще убегаешь»?

Но Джейн не могла ответить на это сразу. Она очень устала и все же не сдалась. Казалось, ей было необходимо выяснить все до конца. Она заставила отца снова заговорить о своем прошлом, которое было частично и ее прошлым.

Он вернулся к лагерям в России. В начале войны в них было отправлено около двух миллионов человек. Это было, когда Сталин «освободил» восточную часть Польши и провел широчайшую полицейскую акцию: он выслал всех поляков, евреев и украинцев, которые могли бы оказать сопротивление. Молодых людей хватали во время облав, целые семьи будили по ночам и грузили в вагоны для скота. После месяца езды в запертом вагоне они оказывались где-то в сибирских просторах, где их выгружали и приказывали строить там новую жизнь. Не все выдерживали даже само путешествие.

Он рассказал ей о двух миллионах рабов, вывезенных из России, Польши и других стран, оккупированных гитлеровцами, которых немцы развезли по всей Европе. Потом эти рабы скитались уже сами, боясь вернуться в страны, где взяли верх коммунисты.

Отец не просто излагал отдельные факты. Он старался вместить судьбу Джейн в те исторические рамки, воссоздать для нее картину страданий жертв, брошенных в горнило войны, описать движение миллионов людей через границы, их расставания, встречи, сердечную боль и радость — и вот Джейн подвела его к теме смерти. Той смерти, которую он видел в советских лагерях, смерти мужчин и женщин из Сопротивления в Западной Европе. Пилотов «Битвы за Англию», которых видели молодыми жизнерадостными днем,— а ночью их уже не было... Целые армии, шагавшие по Европе и оставлявшие позади себя бесчисленные трупы — тела тех, кто был так молод, возможно, в возрасте Джейн, а может, и еще моложе. Он надеялся, ей будет легче восприинять свою собственную смерть на фоне этой общечеловеческой трагедии.

— Шесть миллионов,— прошептала Джейн.

Может, у них противоположные цели? — думал отец. Почему она все возвращается к этой цифре, к его жизни, его прошлому? Сначала он не мог понять настойчивости дочери, потом ее замысел стал ему ясен. Она задалась целью, так же как и в прежних их беседах, помочь ему смириться с тем, что произойдет с ней. Но это было возможно, только если он смирится со своей собственной смертью. Он должен смотреть правде в глаза, перестать прятаться. Джейн как бы использует свою смерть для того, чтобы задавать ему вопросы, хочет понять всю правду его жизни, понять тем способом, который был ей недоступен раньше. Раньше отец бы ей не ответил.

Джейн знала, что в течение всей болезни он старался не поднимать этого вопроса, потому что сам не мог подойти вплотную к проблеме жизни и смерти. Он не мог смириться со смертью дочери, потому что был не в силах думать о своей собственной дочери. Он убегал от этого с самой войны, когда отрекся от своей национальности, своей принадлежности к этим шести миллионам. Но Джейн вела его шаг за шагом к необходимости признаться в этом.

— Ну вот, ты хотела знать мою «тайную вину». Теперь знаешь.

Джейн посмотрела на него с сочувствием.

— Это тебе нужно было осознать ее, папа.

Наконец-то Виктор смог свободно говорить на эту тему. Больше он не оправдывал себя ни юностью, ни незрелостью; теперь он понял, почему он в самом деле не говорил об этом. Во время войны, до тех пор пока не разгромили Гитлера, всегда сохранялась опасность погибнуть, потому что ты еврей. После войны, когда были опубликованы отчеты о фашистских злодеяниях и фотографии людей, умерщвленных в концлагерях,— это были даже не люди, а сваленные в кучу скелеты,— Виктор стал думать не только о прошлом, но и о будущем. Если такое произошло, может случиться и снова. Значит, лучше быть осторожным, чем потом сожалеть. Благо у него нет ни семейных связей, ни связей с прошлым, нет дома, в который можно вернуться,— иными словами, ничего такого, что заставило бы его вернуть старое имя. И он оставил новое.

— Это не значит, что я всю жизнь жил во лжи. Просто я не признавался даже самому себе. А вот теперь признался благодаря тебе, Джейн.— Он взглянул ей в глаза.

Она ответила взглядом, в котором был вопрос: это именно то, что ты хотел сказать? Потом улыбнулась, довольная. Она выполнила свою задачу, теперь можно отдохнуть. И задремала, а Виктор продолжал думать об их разговоре. Дочь доказала ему то, в чем он сам никогда бы себе не признался: что он очень боится смерти, и, пока боялся за свою жизнь, он боялся и за ее жизнь. Но Джейн сможет спокойно думать о своей смерти, если он будет так же спокоен. Наконец-то он не страшится ничего, потому что взглянул правде в глаза.

Глава 12

На следующий день в вестибюле хосписа Розмари встретила хорошо одетую женщину, видимо, общественницу, которая сообщила, что через несколько минут начнется богослужение.

— Кое-кто из родственников будет присутствовать вместе с больными,— добавила она.— А вы не хотите присоединиться?

— Нет, большое спасибо,— ответила Розмари вежливо.

Когда она рассказала дочери об этом, та скорчила гримасу.

— Как раз то мероприятие, которое я с удовольствием пропущу.

Медсестра Дороти, которая в этот момент умывала Джейн, спросила:

— Как, Джейн, разве вы не верите в бога?

— Нет, не верю. Я атеистка.

— Я тоже,— выпалила Дороти.— Как хорошо, что вы об этом говорите откровенно. У нас тут был пациент, который чувствовал себя страшно виноватым. Так удивился, когда я ему сказала, что я тоже неверующая. По-моему, это его успокоило.

— Я лично верю в некую цикличность,— ответила Розмари.— Ничего не тратится зря, по крайней мере в материальном мире. Я думаю, что духовная часть человека тоже не разрушается, а нарождается снова, но в какой-то другой форме. В этом случае тоже ничего не пропадает.

— А я считаю, что вообще ничего нет,— сказала Джейн.

— Просто пустота? — спросила Розмари. Она подумала, что трудно размышлять об абсолютной пустоте.

— Ничего нет.— Голос Джейн был лишен всяких чувств.

— Я думаю, что когда веришь, как-то удобнее жить,— сказала мать.— Видимо, вера придает многим людям силу.

— Я тоже так думаю,— спокойно согласилась Джейн.— И завидую людям, у которых есть твердая вера. Это прекрасно — думать, что у тебя есть поддержка и что есть хороший, верный план жизни, которому нужно следовать.

— С другой стороны,— сказала Розмари,— гораздо легче переносить происходящее — мне, например, если считаешь, что это происходит само по себе, а не управляется откуда-то с небес. Не думаю, что тут замешан какой-то умысел: несчастья сваливаются на нас сами по себе, а не в наказание за то, что мы плохо себя вели или, скажем, редко или неискренне молились.

— Да,— согласилась Джейн,— разве не ужасно было бы сознавать, что есть всесильный бог, который так все устраивает, что только отдель-

ным людям хорошо? Страшно подумать, что ты получил награду лишь потому, что постоянно вымаливал ее и вел себя «согласно протоколу». — Она улыбнулась. — Помнишь те дни, в начале моей болезни, когда мне было так плохо? Сколько людей говорили, что молятся за меня. Гораздо больше, чем я могла ожидать. — Она улыбнулась еще шире и даже позволила себе шутку: — Иногда мне казалось, что мне не делается лучше именно потому, что все эти люди за меня просят.

Розмари рассмеялась.

— Да, представляю, как бог говорит в ответ на все их молитвы: нет, ни в коем случае, только не ей. Какой мстительный, мелочный Всевышний!

— Конечно, нельзя ручаться, но я почти уверена, что там ничего нет, — повторила Джейн.

Виктор вошел как раз, когда она это произнесла, и подумал: «А не пошатнулся ли ее атеизм? Не считает ли дочь, что настало время как-то застраховаться?»

Он вспомнил, как в детстве Джейн свято верила, что религия будет смыслом ее жизни. Ей было лет десять тогда. Она читала об Иисусе все, что попадалось под руку. Дома таких книг было немного, и она приносила их из школы. Молилась искренне и подолгу, посещала кружок в местной протестантской церкви, где рассказывали о христианстве. Она слушала, задавала вопросы, и, судя по всему, ответы ее вполне удовлетворяли. Джейн захотела, чтобы ее крестили. И вдруг, всего за несколько дней до торжественного обряда, объявила, что она передумала. Родители убеждали, что она должна сдержать слово и хотя бы креститься, — было слишком поздно отменять церемонию. Они не спрашивали, что случилось. «Кризис веры» казался невозможным в десятилетнем возрасте. Но главное было — научить ее выполнять обязательства. Джейн отчаянно сопротивлялась, но родители проявили твердость.

В то утро, когда ее должны были крестить, Джейн была молчалива и угрюма. Она проделала в церкви все, что требовалось, и вернулась домой. С тех пор она не посетила ни одной службы. Родители часто думали с чувством вины: не их ли настойчивость отвратила дочь от веры раз и навсегда?

Виктор колебался. Вдруг дочь сейчас решила вернуться к той, детской вере? Лично ему было безразлично, есть ли бог на небе: важно было помочь Джейн найти его, если она этого хотела. Отец решил не говорить с ней об этом напрямую. Лучше напомнить ей то, что было в детстве, может быть, «пройти» это вместе с ней.

— Нам с тобой удалось разобраться в наших прежних разногласиях, — начал он, — однако был у нас спор, в котором я вел себя отвратительно.

— Ну вот, теперь ты будешь говорить о своей вине, — ответила дочь с ухмылкой, — для того, чтобы я почувствовала себя виноватой. Нарушаешь правила игры! Твои разговоры должны меня успокаивать.

— А тебя успокоит рассказ о том, что я сожалею о содеянном тогда, когда тебе было десять лет?

— Возможно...

Он напомнил дочери о драме, разыгравшейся по поводу ее крещения. Но больше всего внимания уделил тому, как искренне она верила в самом начале, какую радость находила в этой вере.

— Когда я был мальчиком, — продолжал отец, — я дал себе слово, что если у меня будут дети, я буду обращаться с ними лучше, чем мои родители. Они меня не понимали. Я поклялся, что буду совсем не таким, как все взрослые.

— Клянутся все дети, пап.

— Как, и ты тоже?

— Конечно, много раз.

— Что же, мы так плохо с тобой обращались?

— Не выпытывай.

— Крещение — один из этих случаев?

— Я не помню, — быстро ответила Джейн. Ее тон и выражение лица подтвердили, что тема ей неприятна.

В другой раз Виктор попробовал подойти с иной стороны, вспоминая, как он примерно в том же возрасте перестал верить. Сначала он усомнился в существовании бога, а потом бросил ему вызов: «Если ты есть, ты меня накажешь за эти грешные мысли». Когда никакого наказания не последовало, он провозгласил себя атеистом. «Что было довольно детским поступком с моей стороны», — признал он.

— Ну, это не единственный случай, — ответила дочь, явно оживляясь. Ее бабушка, мать Розмари, умершая, когда Джейн было семнадцать лет, решила проверить, действительно ли существует этот всесильный и страшный бог. Она встала посреди огромного поля и сказала: «Черт тебя побери», — сначала шепотом, потому что ей говорили, что бог все видит и слышит и накажет за любой грех. И вот стоит она и ждет, что ее поразит громом. Никакого грома. Еще раз сказала: «Черт тебя побери», — на сей раз громче на случай, если бог отвлекся на другие дела и не расслышал. Опять ничего. Это ее окончательно убедило, что никакого бога нет.

Это была лазейка, которой Виктор воспользовался.

— Однако бабушка производила впечатление верующей.

— Она священников не очень жаловала.

— Ну и хорошо. Она не настаивала на том, чтобы мы с твоей матерью венчались в церкви, вот мой еврейский бог и не обиделся.

— Да, у бабушки была как бы своя собственная вера, исключающая церковь и священников. Она верила в Библию, но скорее в ее заветы, чем в сюжет.

— Мне кажется, вера ее успокаивала. Это со многими происходит.

— Со мной было бы то же, если бы я могла верить.

Виктор вел разговор в том же русле.

— Но я не вижу особой разницы между твоим образом жизни, этикой и тем, чему в этом смысле учит христианство. В каком-то смысле ты очень религиозный человек, Джейн. Не так уж ты отличаешься от бабушки, которая вернулась к вере своей юности. И это делают многие.

— Нет, пап, это неправильно. Я не могу верить, у меня в сердце нет веры. Я вижу, ты пытаешься мне помочь, но я смогу обойтись и без этого.

В то же самое утро Розмари пришла на кухню медперсонала, где родственники могли питаться, и присела рядом с мужчиной в коричневом комбинезоне, допивавшим чашку кофе.

— Извините меня, — сказал он, — как спала ваша дочь?

— Спасибо, очень хорошо, — ответила Розмари, тронутая чуткостью незнакомца.

— Я видел, как ее привезли, — сказал он и взглянул на Розмари с грустью. — И потом всю ночь о ней думал.

— Вы здесь работаете?

— Да. Помогаю двигать вещи, носить больных.

Он, видимо, санитар, подумала Розмари, хотя говорил он скорее тоном компаньона, очень гордого за свою фирму. Мужчина продолжал:

— Я вот работаю тут и хорошо мне. Лучше, чем где-нибудь еще. Когда я ухожу с работы, то думаю, что делал святое дело. По-настоящему помогал людям.

Это был Фрэнк, привратник хосписа. Он навещал больных каждый день. Остановится, бывало, поболтать с тем, кто этого хочет, предложит за чем-нибудь сбегать или сделать что-то еще, чтобы доставить больному радость. Позже и у Джейн бывали долгие разговоры с ним.

А в данный момент Джейн отказывалась от ванны. Не очень-то ее привлекала эта процедура.

— У нас есть специальное приспособление, оно переместит вас в ванну, а потом вынет из нее, когда мы вас помоем, — говорила Джулия. — Вам не нужно будет ни двигаться, ни что-то делать.

У Джейн было грустное лицо: когда-то она считала теплую ванну одним из самых больших удовольствий.

— Мне очень жаль... Я, право, этого не вынесу.

— Хорошо, не беспокойтесь. Я забегу к вам примерно через час. Может, вы успеете отдохнуть и согласитесь.

Но ответ снова был отрицательным:

— Извините, но я не смогу, честное слово.

— Ну что ж, мы устроим вам «мокрую простыню».

Джейн вздохнула с облегчением.

Розмари вернулась в комнату Джейн, благодарная Джулии за понимание. Она рассказала, что в больнице, где раньше лежала Джейн, все было иначе.

— Нам часто было ясно: врачи не верят дочери, думают, что она преувеличивает свои боли.

— Не так легко понять страдания другого человека,— ответила Джулия.

— У Джейн всегда был яркий, здоровый цвет лица,— сказала Розмари,— не верилось, что она серьезно больна. Ведь боль не видна. Я твердила всем, что она страдает, а они думали, что я с ней слишком ношусь.

С кровати донесся слабый голос:

— Мам, будь справедлива, большинство медсестер были очень добры ко мне. Просто, когда мне очень хотелось с кем-то поговорить, им это делать было абсолютно некогда, особенно ночью.

— Здесь такого не будет,— твердо заявила Джулия.— Я всегда помню одно высказывание: когда у пациента болит, ему надо верить.

Из Лондона приехала целая группа друзей Джейн. Это были Майкл, старая ее любовь, и подружка Кейт, с ярко-рыжими локонами и подвижным лицом (они приезжали чаще других). Вторая пара, Рут и Дик, познакомилась с Джейн только во время ее болезни. Возможно, Джейн слишком устанет, если примет всю компанию, сказали они, но им так хотелось приехать. Виктор предупредил, что Джейн не следует переутомлять. Не так долго ей осталось жить, хотя никто и не знает, сколько именно, скорее всего несколько недель.

Четверо друзей — все почти ровесники Джейн — пришли в ужас. Несколько недель? То, что они давно знали умом, не принимали их сердца. Они были готовы к самообману, они приехали, чтобы ее подбодрить, так же как делали в больницах, где она прежде лежала. Людей ведь кладут в больницу, чтобы вылечить. Тем более таких молодых. Близкая смерть Джейн наводила на мысль об их собственной.

— Она знает, что ей недолго осталось,— сказал Виктор,— и смирилась с этим. Но ей нужна ваша помощь. Не делайте вид, что ничего не происходит. Если она заговорит о близком конце, пусть говорит. Не переубеждайте ее.

Майкл вошел к Джейн первым. Он отказывался верить словам ее отца и был абсолютно уверен, что Джейн следует бороться. Снова, как и в прежние визиты, он старался заинтересовать ее жизнью здоровых людей. Он не замечал ее огромную слабость, равнодушие к разговору, игнорировал все сказанное ее отцом. Он не мог поверить в то, что Джейн так скоро умрет.

Майкл говорил о политике, рассказал о своем участии в забастовке на фабрике. Как члена лейбористской партии его попросили поддержать пикетчиков, однако обстановка так накалилась, что вызвали полицию. (Когда-то они вместе с Джейн участвовали в таких акциях.) Конечно, ей это интересно, думал Майкл. Он рассказал, что драка началась у самых фабричных ворот, полиция арестовала многих, его тоже задержали.

Джейн никак не реагировала на рассказ, но парень изо всех сил пытался привлечь ее внимание. Он рисовал подробную картину схватки пикетчиков с полицией и своего ареста. Делился своей тревогой по поводу предстоящего суда. Но Джейн, казалось, его не слышала. «Может, потому, что ее накачали наркотиками?» — думал Майкл.

Джейн с облегчением вздохнула, когда вошел отец и принес ей второй завтрак. Он сразу понял, что Майкл и его дочь — на разных «волнах». Он еще помнил, как они любили друг друга в университете: они были настолько поглощены друг другом, что не видели ничего вокруг. Он протянул Майклу тарелку.

— Поможешь покормить Джейн?

Юноша осторожно набирал еду чайной ложечкой и уговаривал ее проглотить. Но Джейн не хотела делать над собой усилие. Он снова попытался заинтересовать ее жизнью за стенами хосписа, вовлечь в нее. Сказал, что очень волнуется: привод в полицию может отразиться на его карьере. Джейн не отреагировала.

— Ну давай же, ешь,— уговаривал Майкл,— еще кусочек. Это поможет тебе выздороветь.

— Нет.— Голос девушки был слаб, но непреклонен.— Больше не хочу.

Вмешательство Виктора тоже не помогло. Майкла пришлось удалить, но так, чтобы не обидеть. Виктор сказал:

— Джейн нужно отдохнуть, а потом к ней войдет Кейт.

Расстроенный своей неудачей — так и не удалось установить контакт,— Майкл вышел из палаты. Но он был уверен, что это — временное поражение.

Кейт поняла сразу, как ослабела Джейн, но поздоровалась весело, пытаясь скрыть свой испуг. Медсестра принесла пюре из бананов с молоком, любимое блюдо больной, и Джейн их познакомила.

— Я так горжусь своими друзьями, Дороти,— сказала она.

— У вас есть все основания,— ответила медсестра.— там, в холле, еще целая толпа, и все ждут с вами встречи. А теперь принести вам мороженого или, наоборот, чего-нибудь тепленького выпить?

— Спасибо, ничего не надо. Я уже съела свою фасоль.— Ей не хотелось бананов и обижать Дороти не хотелось. Когда медсестра вышла, Джейн попросила Кейт поставить тарелку рядом: может, она одолеет пюре попозже.

— Как ты себя чувствуешь? Лучше? — тихо спросила Кейт.

— Ненамного,— ответила Джейн.— Боли были жуткие, когда меня сюда привезли, теперь они немножко стихли.— И продолжала совершенно спокойно: — Не думаю, что мне осталось долго жить.

Кейт не успела ответить, а Джейн продолжала:

— Кто там еще приехал? С Майклом неинтересно, он говорит только о забастовке.

— Там еще Дик и Рут, но они просили передать, что если ты устала, то они не обидятся. Мы просто приехали узнать, как ты тут и хочешь ли нас видеть...— Кейт запнулась. Потом заговорила снова, стараясь, чтобы слова звучали буднично, обыкновенно.— Хорошо здесь, правда? Такие все дружелюбные.

Но Джейн почти не слушала. Она включилась только на минуту:

— Ты сказала, что там Рут? Я хочу ее видеть, пусть она тоже войдет.

Рут была сравнительно недавней приятельницей Джейн и вошла робко, сомневаясь, не помешает ли. Пожимая руку больной, она заметила, как тонка эта рука, как хрупки пальцы по сравнению с ее собственными. «Знает ли Джейн о моих отношениях с Майклом?» — думала она. Они продвигались медленно, но верно. Рут не раз казалось, что Джейн с ее обостренной чувствительностью знала раньше их самих, что они станут любовниками. Она смущенно подержала руку Джейн, потом отпустила.

— Рут, не отнимай руку, пожалуйста, расскажи мне, что происходит.

Во время разговора смущение Рут прошло. Она по очереди с Кейт кормила Джейн банановым пюре.

— Врачи думают, что мне не так уж долго осталось жить,— сказала Джейн, помолчав.

Кейт видела, что самообладание это ненаигранно. Джейн именно такая, она принимает свою смерть спокойно. «А я?» — спросила она себя.

Рут внимательно следила за пеплом, падавшим с сигареты Джейн. Вспомнив о ней, Джейн с трудом подносила руку ко рту и медленно отводила назад. Потом совсем задремала. Подруги переглянулись: что делать? «Пусть спит»,— жестом ответила Рут. Кейт осторожно вынула сигарету из беспомощных пальцев.

Но тут Джейн проснулась. Медленно поднесла руку ко рту, словно продолжая движение, начатое раньше. Удивилась, что пальцы пусты.

— Где моя сигарета?

У Рут разрывалось сердце. Она поднялась, чтобы попрощаться.

Джейн даже если и заметила что-то — не подала виду. Она сказала просто:

— Я была рада с вами познакомиться, Рут. Хотелось бы повидать вас снова. Но если это не суждено, давайте прощаться сейчас...

Поцеловав ее, Рут выбежала из комнаты. Теперь она знала: Джейн чувствует, что происходит у них с Майклом. И одобряет.

Оставшись с больной, Кейт заставила себя успокоиться. Джейн предложила подруге выбрать на память одну из ее шалей — говорила об этом неторопливо, спокойно. Кейт не могла говорить в таком же обыденном тоне.

— Нет, нет, тебе незачем сейчас об этом думать, — протестовала она.

— Но тебе всегда нравилась эта шаль, — настаивала Джейн. — Ведь ты помнишь?

Кейт молчала, пораженная тем, что Джейн на пороге смерти делает подарки.

В этот момент в комнату заглянула Розмари и услышала эти слова.

— Я думаю, Кейт, она действительно хочет, чтобы ты взяла эту шаль. Для Джейн это очень важно — оставить что-то на память своим подругам.

— Ну что ж, в таком случае... — сказала Кейт, борясь со слезами, — я очень рада. Шаль такая красивая. Спасибо, Джейн.

Выйдя из хосписа, друзья Джейн зашли в ближайший кабачок на берегу реки. Слишком они были расстроены, чтобы сразу ехать домой. День был серый, холодный и не способствовал поднятию духа. Они говорили о Джейн, о том, как ее спасти, защитить. Каждый чувствовал: что бы они ни делали для нее в прошлом — сообща ли, порознь, — этого было недостаточно, чтобы доказать ей свою любовь. А сейчас — поздно. Поздно что-либо делать для нее. Они совершенно бессильны.

Джейн тоже с грустью думала о друзьях. Особенно занимал ее мысли Майкл. С одной стороны, раздражало, что он говорил только о забастовке, когда они так недолго были наедине. С другой стороны, она волновалась, что его ждут неприятности.

— Майкл заладил про свою забастовку, — пробормотала она, обращаясь к матери, — как будто она меня волнует.

Слегка подремав, она продолжала:

— Мам, ты бы выяснила, что происходит у Майкла. Я волнуюсь. Мне все кажется, что его арестуют.

— Не волнуйся, милая. Его выпустили на поруки, и можно не сомневаться: он не будет снова рисковать.

— Но ты не знаешь, как это бывает. У него в районе живут люди, которым не нравятся забастовщики. Они могут натворить дел.

— Каких дел? У них очень тихий квартал.

— Могут запустить кирпичом в окно, да мало ли что. У меня плохие предчувствия.

Джейн продолжала волноваться до тех пор, пока Ричард не сообщил, что звонил Майклу и у того все в порядке. Она знала брата: он выложит правду, не приукрашивая, какая бы она ни была.

Глава 13

Розмари совершенно не подозревала, что врачей и медсестер беспокоило ее настроение. Адела услышала (и передала) одну незначительную фразу. Когда они вдвоем массировали ноги Джейн, Розмари сказала:

— Ну вот, теперь и я умею и буду то же самое делать тебе дома.

Адела очень расстроилась. Неужели мать не понимает, что ее дочь никогда не вернется домой? Возникла опасность, что и у Джейн появится такое же настроение и она не будет готова принять спокойно свою смерть. Медсестры решили поговорить с Розмари начистоту. И вот однажды Сара отозвала ее в сторону.

— Что вы думаете по поводу Джейн? — спросила она, пытливо глядя в глаза матери.

Розмари моментально поняла, в чем дело.

— Я знаю, что Джейн осталось недолго жить, — сказала она. — Моя дочь больна серьезнее, чем думали люди. Я вижу, как она заметно слабеет.

У Розмари теплилась робкая надежда, что ей удастся еще взять дочь домой, и в то же время она не сомневалась, что смерть ее близка.

Не было смысла говорить о чем-то еще. Вдруг Сара просияла.

— Она потрясающая девчонка! — сказала она.

Розмари благодарно улыбнулась, она была тронута. Две женщины сообщили друг другу гораздо больше, чем те слова, которые произнесли. Это взаимопонимание, возникающее так быстро и легко, и было частью атмосферы хосписа. Теперь и Джейн была к ней причастна. Всю жизнь она не так быстро сходилась с людьми, как ей бы хотелось, не сразу сдавала свои «бастионы». Старалась держать незнакомых людей на расстоянии. А теперь была близка со всеми, кто входил к ней в спальню, легко и быстро отзывалась на душевное тепло. Иногда Джейн была готова к серьезному разговору, а иногда наслаждалась «легкой болтовней», которая приносит такое облегчение больным, когда есть желание общаться, но нет сил на серьезные споры. Медперсонал хосписа знал, как помогает «легкая болтовня» людям, прикованным к постели.

Старик, лежащий в палате за стеной, начал кашлять, громко и с надрывом. Джейн сначала беспокойно зашевелилась, потом сказала:

— Эта боль начинает меня мучить, нельзя ли сделать еще одну инъекцию?

Сара пришла немедленно.

— Конечно, я сделаю укол, если хотите, но давайте попробуем сначала уложить вас поудобнее. Это намного облегчит боль. Мы уже давно вас не поворачивали. Ну-ка, повернемся на правый бок. — И попросила Розмари помочь ей.

— Конечно, если вы подскажете, что делать. Я боюсь сделать ей больно.

Розмари теперь с большой опаской обращалась с дочерью. Несколько недель назад, когда ее попытки помыть или повернуть Джейн причиняли той страдания, мать чувствовала себя плохой сиделкой. Однако сестер хосписа специально обучали умению подбадривать родственников и привлекать их на помощь.

— Ну вот, — сказала Сара, — я приподниму тело, а вы просуньте руки ей под ноги, как я просунула под спину, и мы легонько повернем ее одновременно. Ясно? Готовы?

Джейн беспомощно лежала на двух парах рук. Потом Сара слегка согнула ей ноги в коленях, подвинула бедра — все это для того, чтобы снять напряжение с мускулов живота, поскольку именно там боль была сильнее всего. (Реакция Джейн на любое движение замечалась персоналом, ее состояние обсуждали на ежедневных летучках.) Сара плотно уложила подушки под спиной Джейн, чтобы та знала, что никуда не соскользнет и не окажется в неудобном положении. Беспомощного пациента всегда волнует вопрос, не сползет ли он, и медперсонал хосписа это учитывает.

Но девушке все было неудобно. Медсестра упорно искала для нее щадящую позу, опуская то изголовье кровати, то другой ее конец, все время спрашивая больную, не лучше ли ей.

Розмари помогала поворачивать дочь до тех пор, пока она опять не оказалась на левом боку. Снова Сара обложила девушку со всех сторон подушками, делая из них в одном месте подпорки, в другом прокладку, с бесконечным терпением пристраивая поудобнее руки и ноги больной.

Наконец-то Джейн улыбнулась.

— Вот так гораздо лучше. Теперь я могу заснуть.

Но боль вернулась, и Розмари снова пошла разыскивать медсестру. Сара вернулась тут же: врач и сестры твердо решили не оставлять Джейн без внимания. Немедленно был сделан укол.

На смену пришла Патриция, Розмари забеспокоилась, что Джейн снова будет нервничать.

Четыре дня назад, когда Джейн только что привезли, она почувство-

вала к Патриции враждебность. Теперь Джейн стало легче, она не была сплошным комком нервов и боли. И девушки подружились. Причесывая Джейн, Патриция заговорила о ее волосах, какие они густые и блестящие, несмотря на множество принятых лекарств.

— Я боялась, что они станут выпадать от химиотерапии,— ответила Джейн.— Каждый день смотрела, сколько их остается на расческе. Думала, что скоро стану настоящим пугалом. Может, это звучит глупо, но мне ужасно не хотелось лысеть.

Видимо, что-то было в манерах Пэт (вероятно, та самая прямолинейность, которая раздражала Джейн в первый день), что позволило задать простой вопрос:

— Как вы думаете, сколько мне осталось жить?

— Думаю, что недолго,— ответила Пэт в том же духе— просто и буднично. Джейн, казалось, удовлетворил ответ. Убирая волосы назад, Пэт сказала: — Все-таки как вы красивы...

— Трудно поверить,— усмехнулась Джейн, довольная, несмотря ни на что. Она всю жизнь следила за своей внешностью.

— Да, вы действительно хороши собой. Такая спокойная сейчас. Я еще тогда, когда вас привезли, подумала— какая красивая, несмотря на боль.

— Нет, правда?— В вопросе Джейн был скептицизм.— А я не видела себя уже сто лет.

Когда Джейн лежала дома, никому не приходило в голову подать ей зеркальце. Идя в ванную, она тоже не останавливалась перед зеркалом: боль, причиняемая ходьбой, заставляла ее как можно скорее снова лечь. Но сестры в хосписе знали, как много значит внешность для пациентов— молодых и старых, мужчин и женщин. По этой причине список вещей, которые больной должен взять из дома, обязательно включал ручное зеркальце.

— Где ваше зеркало, Джейн? Вы должны сами убедиться.— Патриция нашла его в тумбочке у кровати, потом подержала перед лицом больной.— Вы все видите? Зеркальце-то маленькое.

— А поближе не подвинете? Я не очень хорошо вижу.— Джейн молча изучала свое лицо, потом задумчиво произнесла: — Я хотела бы выглядеть так, когда умру. Глупо звучит, правда? Казалось бы, какая мне разница?

— Нет, не глупо, Джейн. Вы будете красавицей, я ручаюсь.

Джейн взглянула в зеркало еще раз, потом, улыбаясь, опустила голову на подушку.

Среди подруг, которых Джейн хотела повидать, была Энн, с которой они преподавали в одной школе. Когда Энн приехала, у Джейн в палате был доктор Меррей, а Розмари в кухне замешивала тесто. Свежий хлеб был любимой едой Джейн, и она научила мать выпекать его. В кухне вкусно пахло дрожжами. Энн говорила возбужденно, стараясь скрыть смущение.

— Понимаете, когда Ричард мне сообщил, что она хотела бы меня видеть, я представления не имела... я ведь не знала ничего. Это был удар для меня...— Она остановилась, не зная, продолжать ли.— Мне было страшно с вами встречаться, но я вижу, что вы... держитесь. Никогда не знаешь, как на человека подействует несчастье, а я с вами и знакома-то не была.

— Да, нам было тяжело,— ответила Розмари, усиленно вымешивая тесто.— Но Джейн вполне спокойна, вы сами увидите, и к нам здесь прекрасно относятся. Мы чувствуем себя как дома.

— А сестры не возражают? Вы ведь все время здесь.

— Никто не возражает, сколько бы друзей ни приезжало к Джейн. Сегодня понедельник, формально посещений нет. В этот день родные отдыхают, да и больным нужен покой. Кое-кому трудно каждый день приезжать издалека. Так что в понедельник и у родственников уважительная причина, и больные не обижаются.

— Я вижу, здесь все предусмотрено.

Вошел доктор Меррей.

— Патриция сказала, что вы здесь,— начал он.

Энн направилась в комнату Джейн.

— Доктор,— сказала Розмари,— я хотела спросить у вас об одной

вещи, которая беспокоит Джейн. Она заставляет себя пить, даже когда не хочет.— И рассказала о том, что в больнице девушку предупреждали: если в организме будет мало жидкости, придется выводить соли.— А она ужас как этого боится.

— Здесь этого не будет,— сказал доктор Меррей.— Мы же не даем внутривенного питания. Вы помните наш разговор о блокаде? Я и с Джейн об этом говорил. Нужно унять боль, которую она пока еще чувствует. Но думать о блокаде рано.

— Она иногда действительно жалуется на боль.

— Она сейчас больше движется, движения вызывают боль. Я ей все объяснил, и она как будто согласилась. Если мы хотим унять боль, нужно всего-навсего блокировать нервы, то есть сделать инъекцию препарата, отключающего нерв, например, фенола. Но ведь для этого нужен переезд? У Джейн бывают кошмары, она спрашивает: «Куда мы денемся, если придется отсюда уезжать?» Нам бы не хотелось ее тревожить.

— Но блокаду можно сделать здесь.

Был и еще вопрос, волновавший Розмари.

— В среду наш сын Ричард уезжает в Америку. Он проведет сегодняшний вечер с Джейн, а завтра привезет Арлока, своего сына. Завтра они будут здесь в последний раз.

— Да, это ей будет тяжело,— согласился доктор Меррей.— Сделаем все возможное, чтобы помочь.

Розмари думала об Арлоке, о том, как просто, естественно он ведет себя с Джейн. У мальчика не возникало мысли чураться ее потому, что она больна раком.

— Она будет скучать по мальчику не меньше, чем по брату,— сказала Розмари.— Вчера он просто сидел рядом, держал ее руку, и им не нужно было ничего говорить.

А в это время Джейн дружески болтала с Энн.

— Тебе разве не нужно сейчас быть в школе?— спросила больная.

— У меня полдня свободных,— ответила Энн.— Когда у нас услышали, что я еду к тебе, помогли мне пораньше освободиться. Не думала я, что увижу тебя такой бодрой.

— Мне делают укол, когда нужно, и я в порядке. Правда, меня мучают кошмары. Вчера ночью, например, я вообразила, что нахожусь в итальянском публичном доме, и пришла в ярость от того, что мафии достаются все мои доходы. Мама говорит, я старалась подбить ее на побег. Видимо, была не в себе.— Джейн зевнула.— Да, утомительная была ночь. Прости меня, так хочется спать.

— Если тебе хочется вздремнуть— пожалуйста,— сказала Энн.

— Тебе Ричард что-нибудь говорил?

— Да, говорил.

— Сказал, что я умираю?

— Да,— сказала Энн без колебаний.— Ты этого боишься?

Слова эти прозвучали буднично. Энн тут же подумала, что спрашивать это глупо. Ответ ее успокоил.

— Раньше я боялась,— сказала Джейн,— теперь нет, больше не боюсь.

Энн поняла, что все барьеры сняты. Все, что мешает говорить людям не очень близким, исчезло. Две женщины были сейчас роднее друг другу, чем когда-либо.

— Мне кажется, я как-то соскользнула вниз,— сказала Джейн.— Не подтянешь меня немножко? Сестры делают мне столько всего. Не хочется отрывать их по пустякам.

— Я не против,— сказала Энн, колеблясь,— но я боюсь сделать тебе больно.

Джейн сказала: ничего, попробуй. Энн продела руки под мышки Джейн и подтянула ее вверх. Обе посмеивались над своей неловкостью. Какое мягкое тело, думала Энн, и вялое. Ни костей, ни мускулов, ни сил.

— Тебе неприятно меня трогать?— спросила Джейн.— Есть люди, которых смущает голое тело.

— Нет, конечно, нет.

— Ты знаешь, что самое лучшее в этом хосписе? То, что персонал

не злится из-за пустяков. Они со мной обращаются как с человеком все время, а не по настроению.

Глядя на Джейн, Энн подумала, какой она кажется сейчас девственной и чистой. Возвышенное выражение лица. Говорит о смерти так, словно она ей рада, а не просто хочет избавиться от боли. Так же легко они говорили и о других вещах.

— А много птичек прилетает сюда? — спросила Энн, увидев через окно кормушку.

— Эта кормушка уже была, когда меня привезли. Арлок положил птичкам еду. По-моему, ее придвинули поближе, но я все равно плохо вижу.

— Вот сейчас птичка прилетела. По-моему, зеленушка.

— А мама говорит, что она не подпускает других птиц к корму.

Джейн откинулась на подушку, внимание ее стало угасать. Видно, она устала, подумала Энн и удалилась. Она решила рассказать о Джейн ребятам класса, в котором та когда-то преподавала. И попробовать передать им, как мужественно ждет смерть их учительница.

Пока Энн сидела у Джейн, Розмари смогла ненадолго отлучиться из хосписа. Сью, ее давняя подруга, живущая поблизости, пригласила ее на прогулку.

Сью и Розмари вместе выбирали растения с сильным запахом, но не обязательно сладким. Джейн и сама никогда не была «сладкой», она любила необычные, терпкие запахи, такие, как у одуванчика. Правда, цветущих одуванчиков уже не было, но стеблей с листьями было вдоволь.

Они принесли Джейн этот «букет ароматов» и подносили по очереди к ее носу каждый цветок и листок. Она вдыхала глубоко, с закрытыми глазами, пыталась угадать название, и улыбка озаряла ее лицо.

Ближе к вечеру Сью пришла снова, на этот раз с веткой апельсинового дерева. Комнату наполнил пьянящий аромат. И еще принесла пучок разных трав. Протягивая их Джейн, Сью растирала каждую травинку между пальцами. Когда-то Джейн пользовалась этими травками, когда готовила еду. Кое-что росло и у нее в саду. Теперь она вдыхала запахи медленно, глубоко, не сразу переходя к следующему растению. Она их узнавала: это были чебрец, душица, бергамот, полынь, розмарин, мята... С каждым растением связаны свои воспоминания. Вдыхая их запах, Джейн словно прощалась со старыми друзьями, которых знала в другие, счастливые времена.

Глава 14

Виктор злился при мысли о том, что через два дня Ричард отправится к себе в Бостон. Сестра его, можно сказать, лежит на смертном одре, а ему не терпится уехать. Он не сказал этого сыну прямо, потому что понимал, что сейчас нужно избегать семейных ссор, но пытался поделиться с ним своими тревогами.

Ричард был непоколебим. Он считал, что цель его приезда достигнута: в этом хосписе за сестрой хороший уход. Он предотвратил опасность того, что мать возьмется смотреть за Джейн и сама в конце концов сляжет. Он помог отцу и Джейн сгладить свои старые разногласия; они заговорили о них открыто и сейчас мирно их обсуждают. А главное — Джейн понимает свое положение. Кончился заговор молчания. Теперь она принимает неизбежность смерти со спокойствием, в которое раньше бы никто не поверил.

Логика Ричарда казалась несокрушимой, и Виктор стал взывать к чувствам сына. Да, говорил он, Джейн уже принимает мысль о смерти, но ведь такое настроение может измениться. А что если она опять перестанет с ними разговаривать и понадобится помощь брата? Это была угроза, почти шантаж. Но Ричард был уверен, что этого не произойдет. В откровенной атмосфере, царящей в хосписе, нет места лжи и обману. А правда поможет Джейн сохранить покой ее души.

Потом Виктор стал взывать к чувству порядочности сына: «Что скажут люди?» Друзья семьи начнут задавать вопросы, друзья Джейн придут в ужас. Почему Ричард уехал в такой решающий момент, когда семья — какая бы она ни была? — должна быть вместе? Они сочтут это дезертирством, предательством.

— Если они так думают, — ответил со злостью Ричард, — какие же это друзья? — Он считает, что никаких объяснений им давать не обязан, и совесть у него чиста. Он ведь думает не только о себе: Арлок пропускает занятия в школе, и никто не знает, сколько еще проживет Джейн. Может, несколько недель, а может, и месяцев. Если он останется, такие же проблемы возникнут снова. По ту сторону Атлантики его ждут обязательства, которые он должен выполнять. Конечно, Джоан говорит, что он может пробыть в Англии сколько нужно, но у него уйма работы, которую нельзя откладывать бесконечно.

— Как бы то ни было, — заключил он, — я сказал Джейн, что уезжаю. Объяснил почему, и она со мной согласилась.

Виктор подавил желание сказать: а что ей оставалось? И подумал: если он ей уже сказал, теперь дела не поправишь. Ни одна душа не знала истинной причины, по которой он противился отъезду Ричарда. Прощаясь с Джейн, Ричард как бы заставлял ее пережить смерть, причем самым резким, безжалостным образом. Тот факт, что она больше никогда не увидит брата, означал, что для него она умрет сейчас, немедленно. Значит, из-за отъезда брата они заставят ее умирать дважды.

Пока он размышлял, Джейн напрямую спросила у Дэвида Меррея: сколько ей осталось жить? Она и раньше задавала этот вопрос, чтобы убедить — она «готова уйти», как выразилась одна из медсестер. Виктору казалось, что она спрашивала об этом всех, кроме него. Он недоумевал, почему она его игнорирует. Ответ пришел к нему позже, когда он осознал: она не могла говорить с ним о смерти, пока он сам не смирился с этой мыслью. Он думал успокоить дочь, сказав, что ей не так уж долго осталось страдать. Доктор Меррей объяснил ей медицинскую сторону вопроса, из которой делал вывод, что пройдет «скорее несколько недель, чем месяцев», но Виктор считал, что это гораздо больший срок, чем хочет Джейн.

Надо узнать, думал Виктор, применяют ли в хосписе эвтаназию, то есть умерщвление без боли. Но прежде следовало посоветоваться с женой и сыном и сделать это срочно, поскольку Ричард уезжает.

— Может, мне следует уговорить Ричарда отложить отъезд? — спросил он доктора Меррея, надеясь получить в его лице союзника.

Врач спросил о причинах, и Виктор изложил их точно и объективно, насколько мог. Он объяснил и то, как сам к этому относится. Но скрыл свой страх перед тем, что отъезд брата будет для Джейн ударом и покажется ей репетицией смерти. Признаться в противоречиях, которые терзали его самого, Виктор не мог. Чего стоил, например, его страх перед самой мыслью о смерти — и, с другой стороны, желание прибегнуть к эвтаназии.

— Доводы вашего сына кажутся мне вескими, — сказал доктор Меррей. — Жизнь продолжается, и обязанности Ричарда по отношению к новой семье, его работа — причины реальные, их не сбросишь со счетов. — И добавил: — Ричард сделал, что мог. Своим присутствием он ничем не поможет сестре.

— Моя жена считает, что его отъезд может даже ей помочь, — заметил Виктор. — Может быть, Джейн держится за Ричарда, хотя бы подсознательно. А если он уедет, она как бы «отпустит» себя тоже.

— Очень возможно. Это прощание поможет ей уйти.

Виктор признал себя побежденным. Он не мог ставить под сомнение советы доктора Меррея. Собственно говоря, они ему облегчили жизнь, снимая ответственность с него самого.

Ричард появился с огромным букетом цветов.

— От кого это? — радостно спросила Джейн, и брат поднес цветы поближе, чтобы она могла рассмотреть и понюхать их.

— Не знаю. Лежали на тропинке сразу за нашим участком. Ничего, кроме цветов, никакой записки. Может, оставил сосед, который не нашел слов.

— Это садовые цветы, они не похожи на букет из магазина, — добавила Розмари.

— Может, удастся узнать, от кого они.

— Поднеси поближе, я хочу их нюхать...

Ричард устроился в постели рядом с кроватью Джейн. Оба заснули. Но когда Джейн разбудили для инъекции и сделали укол, ей захотелось поговорить. Было что обсудить до отъезда брата.

— Рич?

— Да. Что?

— Который час?

— Два часа.

— Ты спишь?

— Пытаюсь. Тебе что-то нужно?

— Мне приснился сон.

Ричард мгновенно проснулся.

— Хочешь его рассказать?

— Ты ведь знаешь, мы с мамой решили развеять мой прах по саду, когда я умру.

— Знаю.

— Вот это мне и снилось.— У Джейн вырвался нервный смешок.— Люди собрались в саду, там, где ручей впадает в пруд. Все они бродят по грязи, натыкаясь друг на друга, и разбрасывают мой пепел.

— Тебя это расстроило? Можно и не разбрасывать, если ты не хочешь.

— Нет, я этого не боюсь. Мне даже нравится мысль о том, что мой прах успокоится у ручья в нашем Дэри-коттедже. Помнишь, как мы копались там, строя дамбу через этот ручей?

— Плохая получилась дамба, все время протекала.

— Но нам было хорошо. И останкам моим будет хорошо там лежать. Красивое место: ручей, рядом с ним пруд. И цветочные клумбы под тисовыми деревьями.

Ричард стал снова засыпать.

— Рич.

— Ну что еще?—спросил он резко, пытаясь подавить раздражение.

— Не дашь мне сигарету?

— А ты уверена, что хочешь курить?—Он чувствовал, что разбит физически и выжат как лимон.

— Да, обычно я курю в это время, после укола. Это помогает мне уснуть.

Ричард вложил сигарету между ее губами, и Джейн зажала ее. Но пока брат зажигал спичку, сигарета выпала изо рта Джейн.

— Давай я раскурю,—сказал Ричард и сделал две-три затяжки, чтобы сигарета разгорелась, хотя вкус ему был противен. Джейн взглянула с такой благодарностью, что ему стало стыдно. Потом она жадно затянулась. Но вот на кончике сигареты угрожающе повис комок пепла.

— Постой, Джейн, я стряхну пепел,—сказал брат, но ее движения были теперь более уверенными. Джейн вынула сигарету изо рта, отдала брату и протянула руку, чтобы взять ее снова.

У Ричарда слипались глаза. Вошла медсестра Нора, спросила, не нужно ли чего больной, и сразу поняла, что помощь нужна брату.

— Знаете, Ричард, что вам не повредит? Чашка крепкого черного кофе,—сказала она и быстро ее принесла.

— Ну это же просто обслуживание по высшему разряду, да еще среди ночи,—сказал Ричард.

— Такого не получишь даже в лучших отелях, не говоря уже о больницах,—сказала Джейн.—Ты ведь знаешь, Рич, если бы не ты, я бы сюда не попала. Даже когда ты уедешь, они будут хорошо за мной смотреть, гораздо лучше, чем в любой больнице, лучше, чем смотрели бы за мной дома. Мама бы очень быстро выдохлась. Дэвид говорит, мне уж не так долго осталось, но ведь никто из них не знает точно. Я не хочу, чтобы это было долго. Я боюсь не за тебя, а за папу и маму. Для них это будет ударом.

— Ты их недооцениваешь. Мама становится очень сильной, когда знает точно, что нужно делать. А отец и сам через многое прошел. Он выдержит.

— Не знаю. Мы говорили с ним о военных годах. Может, это и помогло ему.

Сигарета погасла, речь Джейн становилась все более невнятной. Она как будто и засыпала, и боролась со сном. Каждый раз, когда глаза брата закрывались (несмотря на твердое решение поддерживать разговор), Джейн произносила какие-то бессвязные слова, словно нарочно не давая ему спать. «Она помнит, что мы последний раз вместе,— подумал Ричард,— и старается продлить это время». Но не мог преодолеть раздражения, хоть и чувствовал себя виноватым.

— Я плохо вижу, Ричард, ты что-то пьешь?

— Да, сестра принесла мне кофе.

— А может, и мне чего-нибудь выпить?

— Я попрошу сделать тебе питье.

— Нет, не надо. Ты знаешь, я ведь не ела ничего уже сто лет. Кажется, мне хочется есть.—Джейн нравилось это ощущение.

— Ну что ж,— он сомневался,— видимо, я могу попросить для тебя еду.

— Нет, не надо их беспокоить.

— Но они сами сказали: «Позовите, если что-нибудь надо».

— И все-таки я не хочу злоупотреблять. Мне просто хочется чего-нибудь пожевать. Я уверена, что здесь, в комнате, что-нибудь найдется, мама всегда припрятывает на всякий случай.

Ричард начал поиски по всей комнате, порылся на полках, заглянул в тумбочку у кровати Джейн.

— Ну вот, что-то нашел.

Сонливость Ричарда прошла, и он кормил сестру очень нежно, с ложечки. Еда навеяла на Джейн сон, и она наконец-то уснула. А Ричард на соседней кровати ворочался с боку на бок, думая о том, как он завтра будет прощаться с сестрой, и даже начал сочинять прощальную речь. Он хотел сказать слова, которые прозвучат легко, почти небрежно. Ну, например, о том, как много она для него значила. Без надрыва.

Утром Розмари встретила сына в холле, он направлялся на кухню, чтобы сварить себе чашку кофе.

— Как прошла ночь?—спросила она. Он выглядел сонным.—Тебе удалось отдохнуть?

— Не очень, но я в порядке. Она столько говорила. Видно, она в два часа ночи гораздо бодрее, чем днем.

— Да, и так каждую ночь. И, наверное, курила?

— Дымила, как паровоз.—Он поморщился.—Пришлось остановить ее. Но мы хорошо поговорили.

Розмари смотрела на сына сочувственно.

— Да, тебе сейчас, конечно, трудно. Джейн всегда была частью твоей жизни, кроме разве что двух лет до ее рождения, но тогда и ты был совсем маленьким. Даже не сможешь припомнить тех лет, когда ее не было. Когда с тобой рядом всегда есть какой-то человек, а потом ты его теряешь—это не так легко... Нам следовало приехать сюда раньше,— добавила мать.—Если бы ей помогли здесь, в хосписе, до резкого усиления болей, мы бы избавили ее от этой пытки переезда.

— Никто ведь не думал, что ухудшение пойдет так быстро. Мы можем не терзаться.

Теплая ванна, в которой Ричард нежился сколько хотел, помогла ему прийти в себя. Но когда он шел назад в комнату Джейн, то понял, что вся утренняя смена сестер знает от ночной, как плохо он спал.

— Вам стоит поспать в гостевой комнате,—сказала Патриция, когда он проходил мимо ее стола. Но сейчас гораздо больше, чем сон, ему был нужен дружеский разговор. Он знал, что Патриция всегда ему сочувствует и что Джейн с ней помирилась, но не был уверен, что помирился отец.

— Отцу нашему приходится хуже всех,—сказал он.—Понимаете, после того, что он видел на войне—смерть была со всех сторон,—ему здесь все напоминает те времена.

Разговаривая с Патрицией, Ричард все больше погружался в прошлое отца, переживая его заново, и оно как бы сливалось с его собственным настоящим.

Медсестра Элизабет остановилась у стола и тоже стала слушать. Она видела, что у Ричарда на душе камень. Его рассказ не о родителях,

а о своих собственных чувствах ее очень растрогал. Это были стенания брата по родной сестре. Она слышала его дрожащий голос, и, когда заговорила, у нее был такой же. «Если мы сейчас все поплачем, нам станет легче», — сказала Элизабет.

Как раз это и нужно было Ричарду. Раньше он пытался сдерживаться, но сейчас с огромным облегчением почувствовал, что слезы бегут у него по щекам. В Америке, при таких же обстоятельствах, он плакал бы запросто, но Англия — другая страна. Здесь принято сдерживаться. Только проницательность Элизабет и ее сочувствие позволили ему дать себе волю.

Утерев слезы, Патриция сказала:

— Скажите, чем помочь вашим родителям, когда вы уедете?

— Не слишком потворствуйте им, это не принесет пользы. Не давайте им сидеть неотлучно при Джейн. — Ричард уже вполне владел собой. — Время от времени выгоняйте их, не стесняйтесь.

— Да, но они жаждут быть при ней, ухаживать за ней. Это понятно, но теперь мы достаточно знаем Джейн. Больные бывают откровеннее, когда родственников нет рядом. А нам легче помочь, когда мы знаем пациента. Хотя, с другой стороны, Джейн приятно, что родители здесь.

— Наверное, вам больше жаль умирающих, которых вы хорошо узнали? — спросил Ричард.

— Конечно, но знание помогает нам в работе. Когда любишь человека, хочется больше для него сделать. Я не верю в абстрактную любовь, я не религиозна.

— Но ведь большинство персонала верующие? — Ричарда удивляло, как могут сестры справляться с такой тяжелой работой.

— Большая часть верит в бога, и даже очень, — ответила Патриция. Она знала, что Джейн — атеистка и ее семья этого стесняется. — Доктор Меррей тоже очень верующий, и, когда он начал здесь работать, нас это беспокоило. Мы боялись, что это будет мешать пациентам-атеистам, да и нам тоже. Но все как-то притерлось.

— Я могу понять, что верующие отдают себя этой работе безраздельно, — сказал Ричард. — Мой отец говорит, ее может делать лишь человек, посвятивший себя какой-то идее. Но какие нервы нужно иметь, чтобы день за днем видеть, как умирают люди. Где же их брать, как не в вере?

Патриция, видимо, обиделась.

— Необязательно верить в бога, чтобы здесь работать, — сказала она твердо. — Нужно и самому что-то получать. Я, например, получаю много радости от того, что я помогаю больным, я стараюсь, чтобы им было удобно, спокойно. Вот смотришь иногда на больного, страдающего, несчастного, а потом он засыпает спокойный, умиротворенный — так приятно это видеть, знать, что это я помогла ему заснуть. На это не жаль трудов.

Не так легко было убедить Ричарда.

— Но все-таки тяжело видеть столько смертей. Неужели вы никогда не падаете духом?

— Тяжело иногда, и есть люди, которые не выдерживают, уходят через несколько месяцев. Одни работают потому, что считают себя ангелами-хранителями. У других свои несчастья — в смысле личной жизни или психики, — и они думают, что, работая здесь, где люди намного несчастнее, они смогут забыть свои огорчения. Но это не получается: работа здесь требует много сил, и духовных и физических, и нужны крепкие люди.

— Какой бы ты ни был крепкий, все равно не выдержишь. Как вы с этим справляетесь?

— Если поможешь кому-то умереть мирно и спокойно — это лучшая награда. Нет ничего более важного для человека. Конечно, грустно, если за неделю умирают несколько человек. Но ведь это еще и значит, что они ушли без душевных мук, без той пытки, которую многие ожидают. И приятно сознавать, что в этом есть и твой маленький вклад. Так что одно компенсирует другое. Я, например, очень люблю свои обязанности, как говорят, каждая минута мне в радость. И не потому, что приношу себя в жертву: я получаю гораздо больше, чем даю, — произнесла она совсем тихо. — Если любишь пациента — даешь ему больше. Когда он откровенно рассказывает о себе, своей семье, своей боли и о счастье, которое было в прошлом, значит, ты приобрел настоящего друга. А много ли настоящих друзей у нас обычно в жизни? Умирающие ничего не скрывают. Они такие открытые, доверчивые, а потом — они так благодарны за все, как ваша Джейн, например. И говорят об этом так часто, что приходишь в смущение. — Патриция закончила свою речь с улыбкой.

— Я, кажется, все понял, — ответил Ричард. — А вам всегда удается помочь больному умереть легко и спокойно?

— Довольно часто. Этого добиваешься не просто любовью — она нужна, конечно, без нее ничего не выйдет, но любви и без нас хватило бы. Вот вы говорили о религии. Конечно, веками существовали монашеские ордена, и они помогали людям, хотя тоже могли мало что дать, кроме любви. А мы даем б о л ь ш е. Мы можем облегчить боль, даже прекратить ее, мы можем и родным больного помочь, хотя бы тем, что с ними поговорим.

— Когда Джейн лежала в разных больницах, я с медсестрами говорил раз в десять меньше, чем мы проговорили сейчас, — сказал Ричард. — А теперь об этом сожалею.

— Не жалейте. Сестры в больницах выматываются до смерти, у них нет времени и за больными-то смотреть как следует. Но нас учили, что иногда гораздо важнее поговорить с пациентом или с его родственником, чем сделать что-то другое. Для этого мы остаемся на час или два после смены. Что я и делаю сейчас, — добавила Патриция, широко и приветливо улыбнувшись.

Виктор хотел присутствовать при прощании Джейн с Ричардом. Он убедился, что Ричард прав в своем решении уехать, и сказал сыну об этом. По словам доктора Меррея, существенно то, что моральная травма, нанесенная расставанием, поможет Джейн умереть. Виктор сожалел, что раньше считал отъезд Ричарда эгоистическим: наоборот, оставаться здесь ему было легче. Чтобы решиться на отъезд, требовалось гораздо больше мужества и душевных сил. И главное — любви.

— Ты все преувеличиваешь, отец, — смущенно ответил Ричард.

— Нет, сынок. Мы не всегда понимаем даже собственные побуждения или признаемся в них. Только ты это можешь показать своей сестре. Мы же должны остаться.

На том и согласились. Когда Виктор, Ричард и маленький Арлок снова вошли в комнату Джейн, где уже была Розмари, вся семья оказалась в сборе. От Джейн веяло спокойствием, которое передавалось всем, и это облегчало задачу.

Виктор еще раньше предупредил Аделу, что, видимо, понадобится ее помощь. И спросил, как обычно проходит момент расставания, к которому сейчас готовилась его семья. Старые страхи заговорили в нем, но медсестра сумела его успокоить. Я видела много таких сцен, сказала она, и как она пройдет, зависит от вас — не от дочери, которая как будто смирилась. Если сделаете из этого целое событие, это очень расстроит Джейн. Для некоторых больных, для их родственников такая церемония очень важна: в этот момент говорят или не говорят слова, не сказанные раньше. Иногда проходят годы, и люди сожалеют о том, что не сказали чего-то вовремя. Что до Джейн и Ричарда, у них, кажется, такой проблемы нет, но кто знает.

Приближалось расставание. Решили сфотографироваться все вместе, и Джейн, которая никогда не любила сниматься, на сей раз быстро согласилась. Значит, расставание будет окончательным и бесповоротным. От этого щемило сердце.

Пока ждали медсестру, которая умела фотографировать, Арлок успел снять Джейн. Джейн улыбнулась: улыбка получилась не очень широкая, но естественная. Она светилась в ее глазах, играла на губах. В ней была горечь разлуки, а не острая боль, которую ожидал Виктор. Джейн сидела в кровати, все отошли в сторону. Одинокая Джейн улыбнулась, и мальчик щелкнул затвором фотоаппарата.

Сделать семейное фото оказалось более трудной задачей. Розмари приподняла дочь, чтобы она стала частью группы. Девушка сморщилась от боли, улыбка исчезла. Осталась гримаса, которую она тщетно пыта-

лась скрыть. Элизабет быстро щелкнула затвором, так, что не все успели занять свои места, и Розмари опустила Джейн на подушки. Пришло время Ричарду прощаться.

Все вышли из комнаты, оставив брата с сестрой. Вместо прощальной речи, которую он долго готовил, Ричард смог произнести всего несколько простых слов.

Джейн взяла инициативу в свои руки: может быть, хотела быстрее закончить тяжелую сцену.

— Вот ты и уезжаешь, Рич. Ведь так?

— Да, Джейн, мне пора.

— Ты был мне хорошим братом, Рич.

Ричард понял, что не она, а он расплачется.

— Ты была мне хорошей сестрой,— сказал он с отчаянием. Поцеловал ее в губы и быстро вышел.

Адела, стоявшая за дверью, влетела в комнату. Деланное спокойствие Джейн, ровный тон ее голоса мгновенно исчезли.

— Адела,— взмолилась она,— побудь со мной.—И простонала сквозь слезы:—Возьми меня на ручки, как маленькую.—Теперь она могла себе позволить больше не сдерживаться.

Адела колебалась: она не могла поднять девушку одна, а звать кого-то не хотела.

Но тут Джейн, сотрясаясь от рыданий, сделала огромное усилие, приподнялась в постели, подалась всем телом навстречу Аделе и полусидя прижалась к ней. (А только что она могла лишь слегка поворачивать голову и поднимать руки, да и то очень медленно.)

С волнением наблюдали родители эту сцену через окошко в двери и решились войти.

Джейн спрятала лицо в коленях Аделы, словно не хотела их видеть. Жестом повелительным, но не грубым Адела удалила их из комнаты.

Джейн больше не рыдала, она скулила, как ребенок.

— Он уехал, Адела, уе-е-хал...

Адела ласкала девушку, поддерживая ее слабое тело. Она гладила ее по волосам, но Джейн еще долго не могла успокоиться. Наконец рыдания стихли.

Адела сделала знак, что можно войти. Она вытерла слезы Джейн, расчесала ей волосы. Жизнь входила в обычную колею. Джейн стала спокойной и собранной, как будто ничего не случилось, но о Ричарде не говорила.

Боли усилились. Время для инъекции еще не настало, но Элизабет сделала укол не колеблясь. Она все время была рядом на случай, если бы тяжелая сцена вызвала нервный срыв. Весь персонал был наготове. Как только Джейн взяла себя в руки, к ней прошел доктор Меррей. Выйдя от больной, он объявил: «Ее страшит, что процесс умирания может затянуться».

Такая вероятность беспокоила Джейн и раньше, но теперь это беспокойство усилилось. По-видимому, отъезд Ричарда стал вехой, означающей конец одной стадии умирания и начало другой. Раньше она хотела прожить столько, сколько надо, чтобы попрощаться с братом и друзьями. Теперь Ричард уехал, а друзья навестят ее завтра. «Я буду готова уйти, когда увижу их всех и буду уверена, что с родителями все в порядке, что папа готов принять мою смерть». Она не хотела беспомощно лежать и ждать наступления смерти.

— В Африке есть одно племя,—однажды сказала Джейн,—я о нем читала. А может, в Индии. Когда человеку приходит пора умирать, он удаляется в джунгли и там тихо ждет смерти.

Было ясно, что Джейн хочет уйти, и отец ее понимал. Он считал своим долгом помочь ей и снова стал размышлять об эвтаназии. Если в хосписе эту проблему, как говорят, понимают, то пора доказать это на деле. Виктор пошел разыскивать кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить, и увидел у стола дежурной сестры Джулию.

Помощь, которую он хотел получить, рассматривалась законом как убийство. Поэтому Виктор решил «прозондировать почву». Были ли случаи, поинтересовался он, когда пациенты просили избавить их от жизни, ставшей им в тягость? А может быть, их родные поднимали такой вопрос?

Джулия слушала с большим терпением и сочувствием, прекрасно понимая, куда он клонит.

— Месяц назад ко мне подошел мальчик,—ответила она,—и сказал, что не может больше видеть, как страдает его отец, а из-за него и вся семья. Он считал, что нужно помочь ему умереть. Я спросила: «Если я дам тебе в руки шприц, ты сможешь его умертвить?»

Виктор все понял. Хотя медсестра косвенно ответила ему на заданный вопрос, это не изменило его намерений. Сам он этого сделать не сможет. Но если бы Джейн этого захотела... Он пошел искать доктора Меррея.

— Вы говорили,—сказал он тоном упрека,—что отъезд Ричарда поможет ей уйти. А теперь посмотрите, что с ней делается. Никогда не видел ее в таком отчаянии. Именно этого я и боялся.

Попытки доктора Меррея успокоить Виктора успеха не имели. Виктор не верил, что нервный срыв Джейн не повторится. Он чувствовал, что теперь Джейн считает свою смерть реальностью, а не далекой абстракцией. И, видимо, эта психическая травма для нее невыносима.

— Зачем же заставлять ее страдать дальше? Вы сами говорили, что долго это не продлится. Я знаю, что иногда врачи, учитывая желания больных, помогают пациентам умереть. Тем, кто к этому готов. Разве такой момент для Джейн не настал?

— Я понимаю вас,—медленно отвечал доктор Меррей,—и сочувствую. Уверяю вас: мы сделаем все, чтобы облегчить ей страдания. Естественно, облегчение душевных мук—тоже обязанность врача.—Доктор Меррей колебался, а Виктор думал, он подбирает слова, чтобы не брать на себя юридической ответственности.—Чтобы облегчить пациенту физические и душевные муки,—продолжал доктор Меррей,—иногда необходимо лишить его сознания. Это неотъемлемая часть медицинской практики. Если в данном случае будет необходимо, мы это сделаем.

Значит, лишат ее сознания, но не более. Врач деликатно отверг просьбу Виктора, выразил свое понимание, но и определил границы дозволенного в хосписах. В его словах Виктор не услышал отказа. Он понял, что Джейн не будет испытывать ненужных страданий, все будет сделано, чтобы их предотвратить. Понял и то, что эвтаназия неуместна.

В эту ночь Джейн опять не спала и была расположена к разговору. Отец напомнил ей, как она пыталась помочь ему, напоминая о его прошлом. Тогда он убедил ее, что больше не боится смерти.

— Думаю, что если бы мне пришлось умереть сейчас, я был бы готов. Так же, как ты. Это не значит, что я этого хочу. Ты не хочешь и я не хочу, но мы оба к этому готовы.

— Я давно жду от тебя этих слов. Я верю тебе.—Тень сомнения прозвучала в голосе Джейн, может, она хотела услышать подтверждение сказанному. Он вспомнил, как однажды сказал дочери, что смирился с ее смертью, а она заставила его признаться, что это не так.

В этот раз не было нужды в такой лжи.

— Ты не просто помогла мне заговорить об этом,—сказал отец,—вскрыла, так сказать, еврейскую сторону вопроса. Но ведь смерти боятся не только евреи. Есть вещи гораздо более важные.

Он подразумевал сопричастность родителей к смерти: они постоянно рядом с ней, ухаживают за ней, страдают вместе с ней. И хотя он, и Розмари, и Ричард сами не испытывали ее болей, но переживали их вместе с ней. Когда в Дэри-коттедже она узнала диагноз доктора Салливана, спокойствие, исходившее от нее, стало передаваться и ему. А потом, сказал отец, наступило такое ухудшение, что, казалось, она не выдержит. Помог только приезд в хоспис. Отец кончил говорить и взглянул на дочь с испугом. Пытаясь рассказать, как он смирился с ее смертью, он невольно вспомнил ее самые болезненные, самые безнадежные дни перед приездом в хоспис. Джейн лежала с полузакрытыми глазами, но слушала внимательно. И моментально поняла, почему он замолчал.

— Продолжай, пап. В тот момент я действительно думала, что умираю. Что эта боль никогда не стихнет, она будет делаться все страшнее. В таком состоянии я могла и...

— Да,—он закончил фразу за нее,—могла и скончаться, если бы мы не привезли тебя сюда.

— И тогда не было бы нашего разговора о том, что сделала с тобой война.

— А ты никогда не узнала бы, что помогла мне избавиться от моего страха.

— Папа,— это прозвучало твердо,— ты снова взялся за старое. Стараешься убедить, что это сделала я, чтобы мне было хорошо. Но ведь это сделал хоспис. Я пыталась «достучаться» до тебя еще в Дэри-коттедже и не смогла. А здесь — получилось. Я призналась медсестрам, что боюсь за тебя. А они стали твердить: «Поговори с ним».

— Ты что-нибудь хочешь сейчас, Джейн? Что я могу для тебя сделать?

— Поцелуй меня.

Виктор не был чувствительным. Он не часто ласкал детей, даже когда они были маленькими. Иногда, бывало, позволит взобраться им к себе на колени, погладит по головке. Сейчас он пожалел о своей сдержанности. Он наклонился и поцеловал Джейн в губы.

— А теперь спи,— сказал он тихо, когда она закрыла глаза. Пересек комнату и встал у окна. Светало. Тишину прервал неясный, приглушенный щебет, словно где-то просыпалась птица. На этот зов откликнулась другая, потом третья, но щебетали еще сонно. Вот перекличка кончилась, снова наступила тишина. Джейн не спала.

Снова запела птица — на сей раз громче. Ей откликнулись другие, пока пение не стало раздаваться со всех сторон. Чем больше птиц присоединялось к хору, тем громче он звучал. И вот наконец комнату захлестнула волна красоты и радости, бьющей через край. Пело много птиц, каждая вела свою мелодию, но все сливалось в гармоничное целое, словно играл хорошо слаженный оркестр. Виктор отвернулся от окна и посмотрел на Джейн.

Она слушала напряженно, с широко открытыми глазами. Отец подошел к ней, и они вместе слушали, как музыка возросла до торжествующего крещендо, а потом рассыпалась на отдельные нотки. Птицы словно воспевали радость жизни, приветствовали новый, зарождающийся день.

Джейн все еще ждала, вслушиваясь в отдельные обрывки песен; они раздавались все реже. Виктор был взволнован: о чем она думает сейчас? Но вот они встретились глазами.

— Как это было прекрасно,— сказал отец.

— Ты и раньше слышал такой хор на рассвете?

— Я не вслушивался и не слышал его по-настоящему до сегодняшнего дня,— ответил он.— А теперь стало так тихо.

Небо было мягко-серого цвета, с легким туманом.

— Они запоют снова,— сказала Джейн,— когда взойдет солнце. Но не так. Ты бы слушал их почаще, папа, смотрел бы вокруг себя, а не проводил всю жизнь среди книг и бумаг. Мир так прекрасен...

Она заснула.

Глава 15

Проснувшись в среду утром, Джейн заново ощутила боль разлуки с братом. В ответ на вопрос матери, хорошо ли она спала, Джейн медленно пошевелила губами, и ее «да» прозвучало очень невнятно.

— Где Ричард? — спросила она.— Он сегодня придет?

— Нет, милая,— ласково ответила Розмари,— ты сейчас все вспомнишь... Он уехал вместе с Арлоком. Они уже на пути в Америку. Ричард звонил из аэропорта, передавал тебе привет. И Арлок тоже.— Поскольку Джейн смотрела удивленно, Розмари добавила: — Помнишь, он прощался с тобой вчера вечером?

Джейн вспомнила.

— Уехал, уехал,— запричитала она,— я больше его не увижу.— Она отвернулась, чтобы скрыть слезы, и плакала тихо и горестно.

Розмари гладила ее по волосам и пыталась утешить: тяжело и грустно расставаться навсегда. Она напомнила Джейн, как любил ее Ричард, как привязался к ней маленький Арлок.

— Я хочу умереть поскорее. Покончить со всем этим,— отвечала Джейн.— Скоро это будет?

— Думаю, долго не продлится. Может, то, что Ричарда и мальчика здесь нет, поможет тебе уйти. В глубине души ты, наверное, и не хочешь больше жить. Ричарду было нелегко расстаться с тобой.— Мать зажгла для Джейн сигарету.— Нам это тоже тяжело. Ты будешь всегда с нами, Джейн. Многое будет напоминать о тебе.

Девушка понемногу успокоилась. Лежала, глядя на кусок неба, видневшийся в окне. Утро было холодным и серым, как часто бывает в Англии летом. Облака слились в сплошное одеяло, и не верилось, что скоро через разрывы проглянет свет.

И снова хоспис протянул больной руку помощи. Вошла Джулия и спросила, не принести ли Джейн ее собачку Банти. Девушка уже не надеялась увидеть Банти и обрадовалась. Джулия принесла маленького терьера.

— Пустить его к вам на кровать? Если будет вертеться и мешать, скажите мне.

Нет, он не мешал. Банти прыгал по кровати, а Джейн счастливо улыбалась: в порыве любви собака лизала ей лицо, руки, терлась мордой. Джулия стояла рядом на случай, если собачьи ласки выйдут за рамки дозволенного.

Многие считают, что животные предчувствуют смерть. Но у Банти не было никакого страха. И хотя смерть Джейн приближалась, собака весело прыгала по кровати, облизывая ей пальцы и ласкаясь.

В то же утро, чуть позже, Джейн попросила сделать ей еще один укол. Впервые за все время пребывания в хосписе помощи пришлось подождать. Лежа с закрытыми глазами, она ждала, потом спросила:

— Ты не можешь посмотреть, куда они все подевались? Мне нужен укол.

Розмари вышла из палаты. За столом дежурной сестры сидела Элизабет. При виде Розмари улыбка исчезла с ее лица.

— Какой ужас! Я совсем забыла. Сейчас прибегу! Как же я могла?

Она помчалась в комнату Джейн со шприцем в руке, многословно извиняясь на ходу. Укол она сделала быстрее, чем обычно, но мягко.

— Ну вот. Почувствовали?

— Совсем нет. Но мне как-то неудобно лежать.

— Потому что вы сползли вниз. Если ваша мама возьмется за другой конец простыни, мы подтянем вас выше, не беспокоя.

Так они и сделали и по команде «Раз, два, взяли» подтянули Джейн повыше.

— Больно было?

— Нет. Извините, что я вас побеспокоила, но мне, правда, был нужен этот укол. Вы, наверное, были заняты?

— Нет,— выпалила Элизабет.— Я просто забыла. Жутко глупо с моей стороны.

Такая откровенность обезоружила Джейн, и она улыбнулась в ответ. Розмари тоже умилило это умение честно признать свою вину. Она совсем не боялась того, что эта небрежность повторится. Вскоре укол начал действовать, Джейн успокоилась. После утреннего обхода доктор Меррей уделил внимание родителям Джейн. Он был спокоен, как обычно. Сегодня и Виктор был спокойнее. Как правило, он производил впечатление механизма, у которого пружина заведена так туго, что он может работать только на большой скорости. Сейчас это ощущение срочности его отпустило. Огромное внутреннее напряжение спало. Но он не мог расслабляться надолго. Розмари знала, что он не может сидеть сложа руки. Он был намерен продолжать драться и отстаивать право дочери на умиротворенную смерть. Из них двоих он был активным началом, она — пассивным.

Доктор Меррей принес новости о состоянии Джейн.

— Опухоль в брюшной полости все перекрыла,— сообщил он. Наши попытки очистить ей кишечник не имели успеха. Это говорит о том, что там все заблокировано.

— Значит,— сказала Розмари,— ей не следует больше есть. Она делает над собой усилие, но считает это своей обязанностью.

— Это не нужно,— ответил доктор Меррей.— Некоторых больных мы кормим вплоть до самого конца, но только по их желанию.

— Она будет рада не есть.

— Иногда пациент ест только для того, чтобы сделать приятное своим близким. Старается этим отблагодарить.

— Джейн уже ненавидит пищу. Мне кажется, она понимает, что смерть близка.— Розмари было легко говорить с врачом откровенно.

— Возможно. Есть люди, умеющие включать в этот процесс один простой механизм, которым когда-то владели все люди, потом разучились,— это способность «отключиться». Может, и она решит, что настал момент.— Он помолчал, потом добавил: — Иногда врач должен «разрешить» пациенту умереть. Звучит нескромно, будто я играю роль Всевышнего,— он виновато улыбнулся,— но у пациента бывает чувство ответственности, желание подчиняться указаниям врача в ответ на заботу. Он продолжает жить, чтобы показать, что ценит внимание врача. Такого пациента нужно подводить к мысли, что это больше не нужно: иногда врач просто обязан толкнуть стрелку весов в сторону смерти. А это и есть — разрешить пациенту умереть.— Он снова помолчал.— Наверное, это дерзко с моей стороны так говорить.

— А разве не более дерзко отказываться от смерти? — спросила Розмари.

— Может, вы и правы.

Мир Джейн предельно сузился, он был ограничен постелью. Единственными ее сокровищами теперь были: любимая пепельница, керамическая ваза, изготовленная матерью, ее шали и сумочка с косметикой. Однако личность ее не погибла, бесконечные уколы и боль не убили ее характер. Джейн не замкнулась в себе, она продолжала жить и с удовольствием общалась с людьми. Ее радовали новости, и она с интересом слушала их.

Однажды незнакомая девушка вызвалась посидеть около Джейн, чтобы ее родители могли позавтракать вместе. Когда Джулия ее привела, Розмари успела только подумать: как она молода, не старше семнадцати лет. О чем она сможет говорить со смертельно больным человеком?

Но девушка радостно улыбнулась, садясь у постели Джейн. Она стала говорить так живо и свободно, словно говорила со здоровой подругой, и Джейн отвечала тем же. Даже если она и завидовала энергии новой знакомой, то не подала виду.

Когда родители вернулись, она сказала:

— Мы хорошо поговорили.

В этот день Джейн сообщила Дороти и Джулии, что она вполне счастлива.

— Мир так прекрасен. Раньше я этого не замечала, а теперь знаю. Мне так повезло, что я попала к вам. Этот хоспис — лучшее место в мире.— Потом добавила, что для человека нет ничего важнее рождения и смерти.— Когда я родилась, я ничего не знала. Умирая, я знаю все. Все вокруг меня — добро, а не зло. Хорошо умирать с таким настроением.

Повернув ее, сестры искали для девушки удобную позу.

— Как вы добры ко мне,— продолжала Джейн.— Вы так со мной возитесь. Я уже разговариваю, как пластинка, застрявшая на одном месте: одно и то же... Вам не надоело?

— Не надоело, Джейн,— ответила Джулия,— нам приятно это слышать и ухаживать за вами.

Дороти выразила свое согласие улыбкой.

— Вы хорошо следите за своими ногами, Джейн, хотя и не можете свободно ими двигать. Это видно, когда мы меняем вам позу.

— До болезни я много занималась йогой. Очень помогало, особенно против бессонницы. Знаете, что меня волнует? Хотелось бы знать, как происходит умирание? Немного страшно. Я думаю, никто этого не знает.

Джулия посмотрела на нее серьезно.

— Я могу объяснить. Вы просто заснете и уйдете от нас, даже не просыпаясь.— Она говорила тихо, но убежденно.

Джейн молчала, усваивая услышанное. Потом сказала:

— Это меня устраивает.

Джулия продолжала:

— Я наблюдала за многими умирающими, видимо, и с вами произойдет то же самое.

Джейн это удовлетворило. Освободившись от страха перед будущим, от обязанностей, которые ее угнетали, и от тягостных поражений, ей оставалось иметь дело только с настоящим. Оно было вполне управляемым, лимитированным и подчинялось ей. У Джейн не осталось мучительных сомнений.

В тот день — он был жарким и солнечным — после обеда друзья снова приехали из Лондона навестить Джейн. Привезли клубнику, дыню и манго, не зная, что она уже ничего не ест. Очень быстро они поняли, что это свидание — последнее. Кейт, вошедшая первой, сразу увидела, как ослабела ее подруга по сравнению с тем, что было три дня назад. Джейн уже плохо видела, но узнала Кейт по голосу. Та обняла и поцеловала ее. А Джейн попросила:

— Расскажи мне, как ты одета. На тебе всегда такие красивые вещи. А что сегодня?

— Знаешь, я специально не наряжалась.— Кейт все же попробовала описать свой наряд: — На мне индийская юбка, помнишь ее? Коричневая, с таким узором. А еще — белая блузка и деревянные бусы. Вот вроде бы и все. Ах да, я не надела туфли, которые подходят к этой юбке — слишком жарко,— и на мне босоножки.

— Теперь мне ясно, как ты выглядишь. Хороший день сегодня, правда? Я чувствую, как греет солнце.

Вспомнив, что Джейн всегда любила солнце, Кейт отметила, что не услышала в ее словах никакой зависти. Она и сама старалась говорить бодро и спокойно:

— Ты рада, что тебя сюда привезли?

Когда Джейн ответила кивком головы, добавила:

— Знаешь, ты хорошо выглядишь. Словно ты счастлива.

Немного помолчали. Понимая, как слаба Джейн, Кейт мало говорила, давая возможность высказаться подруге. Вдыхая запах прекрасных фрезий, привезенных Кейт, Джейн сказала:

— Все же как прекрасен мир. Нужно действительно наслаждаться им, использовать каждую минуту.— Потом она сказала, что передать Майклу.

Еще двое приятелей ждали своей очереди на залитой солнцем террасе. Со стороны все могло показаться картиной, обычной для выходного дня: группа молодых людей беседует под навесом, любуясь ландшафтом, простирающимся позади сада. Но каждому, выходящему от Джейн, было ясно, что она угасает. Тело стало хрупким, глаза почти ослепли, голос упал до шепота. Оставались только ее уравновешенность, чувство покоя, исходившее от нее. Казалось, оно не уменьшалось, а увеличивалось.

Разговаривая с друзьями — тихо, по нескольку слов,— Джейн пыталась убедить их, что смерть не страшна. Если бы ей удалось доказать, что и они смогут умереть спокойно, когда настанет их черед, она сочла бы, что оставляет им моральное наследство. И своим пониманием друзья Джейн помогли бы ей самой умереть легко.

Родители по очереди заглядывали в комнату, следя за тем, чтобы друзья не переутомляли больную. Было ясно, что после каждой встречи ей нужно отдыхать. Мать или отец сидели рядом, давая ей подремать, потом входил следующий посетитель. Линда, школьная подруга Джейн, вышла из ее комнаты рыдая.

— Не могу поверить,— повторяла она,— я не могу в это поверить...— После приезда Джейн из Греции Линда навещала ее несколько раз в больнице. Она следила за течением болезни и, казалось, понимала происходящее. А теперь не могла смириться с мыслью, что надежды больше нет.

Джейн заметила, как расстроена Линда.

— Не позволяйте ей ехать одной,— сказала она матери.— Ей нельзя быть одной.

Забота подруги растрогала Линду еще больше, и она разрыдалась снова.

К вечеру Джейн, казалось, стала совершенно спокойна. Боль разлуки с Ричардом, видимо, прошла — она или забыла о ней, или смирилась. Она распрощалась с братом, с любимыми друзьями и подругами. И пришла к выводу.

— Я готова. Я хочу умереть сегодня.

Джейн лежала лицом к окну, глядя на тихое сияние вечернего неба. Солнце уже село, но было очень светло.

Это был один из тех моментов, когда мир казался Розмари наполненным смыслом. Если бы удалось разгадать его тайну — все встало на свои места. Она считала, что даже жизнь и смерть могут перестать быть тайной и смысл их станет понятен. Разгадка где-то близко. Все картины и звуки этого июньского вечера должны стать единым целым: все эти соловьи, поющие прекрасную песнь (а если разобраться, то это их боевой клич), серебряная луна в темном небе, ее умирающая дочь в постели — все это как бы узоры единой мозаики, нужно только ее сложить. Может быть, новая умиротворенность Джейн и есть признак того, что для нее эта тайна разгадана.

Позже родители нашли среди бумаг своей дочери стихи

Хочу наполнить мысли звездами
И плыть, ища покоя, в космосе.
Сегодня, впрочем, звезды далеки,
Покой нейдет, желаньям вопреки.

И вот теперь наконец она нашла покой.

Розмари пыталась описать дочери красоту вечера, свет, исходящий с неба, тени под живой изгородью. Потом уловила какое-то движение.

— Смотри, Джейн, там кролик. Пробрался сквозь изгородь. Щиплет травку у дороги...

— Кролик! — Джейн пришла в восторг. — Я хочу его видеть. Подними меня, мама.

— Но тебе будет больно, — колебалась мать.

— Мама, умоляю. Это последний кролик в моей жизни.

Розмари поняла: надо ей помочь, даже зная, что она плохо видит. Взяв дочь под мышки, она приподняла слабое тело в постели. Джейн напряженно смотрела в сторону изгороди, но ничего не увидела. Мир был расплывчатым пятном.

— Он убежал, доченька. Услышал мой голос. Но он был там, маленький, хорошенький кролик. Может, если тихо себя вести, он вернется.

Опустившись на подушки, Джейн лежала лицом к окну в ожидании зверька. Сумерки сгущались, темнело. Воздух, льющийся снаружи, приносил запах дневного солнца. Скоро совсем стемнело. Кролик так и не появился, но Джейн не сетовала. Она думала о кроликах, когда-то увиденных в жизни.

В комнату вошел Виктор, на лице его была тревога.

— Джейн, — начал он, — сейчас звонил Майкл, он хочет приехать и поговорить с тобой.

— Нет, — ответила она сразу. — Я слишком устала. Я не хочу его видеть.

— Но ведь ты говорила, что хочешь объясниться с друзьями. Ты должна его выслушать.

— Я устала, — огрызнулась Джейн. — И уже сказала Кейт, что ему передать.

— Джейн, — отец не мог смириться с ее отказом, — ты должна...

Розмари вмешалась в разговор:

— Ты же можешь поговорить с ним по телефону. Отдохнуть подольше, потом поговорить.

Джейн с минуту раздумывала.

— Я знаю, как разрешить спор, — сказал Виктор. — У нас есть «метод Зорза». Давай подбросим монетку.

Джейн как будто начала соглашаться.

— Ты прекрасно знаешь, что решение бывает обратным, даже когда мы помним, какой был уговор. Ладно. Если ты настаиваешь.

— Значит, если «орел» — ты с ним поговоришь.

— Какая разница, — проворчала Джейн, — ладно, «орел».

Монетка упала «орлом». Поколебавшись, Джейн начала сдаваться.

— Думаю, если курить все время, я выдержу этот разговор. Но я должна быть одна. Не хочу, чтобы кто-то слушал.

— Детка, тебя нельзя оставлять одну, — сказала Розмари. — Если ты уронишь сигарету, все заведение сгорит, как свечка.

— Но я не могу, чтобы кто-то меня слушал или наблюдал за мной. Значит, разговор отменяется.

— А если я заткну уши и буду только следить за сигаретой. Согласна?

Джейн согласилась. Включили в ее комнате телефон. Виктор вышел, чтобы с другого телефона позвонить Майклу. Он долго не возвращался, и Розмари пошла на розыски. Она застала его в крайнем смущении. Он как-то нервно посмеивался.

— Пойдем со мной, — сказал он жене. — Я один не могу ей сказать.

Ничего не понимая, Розмари последовала за мужем.

— Джейн, — сказал отец, — пока я дозванивался, он уже уехал сюда.

Успокоившаяся было Джейн вдруг взорвалась:

— Что за мерзость? Как он только мог? Очень на него похоже. Какая все-таки свинья!

— Когда я позвонил, он уже был в пути, его не вернешь. Наверное, будет здесь около часа ночи.

— Я не хочу его видеть. — Джейн дымила сигаретой, зажженной для нее отцом, в глазах ее были слезы. — Я хотела умереть сегодня ночью. А теперь не смогу — из-за него.

— Джейн, — уговаривал отец, — если настал твой час, Майкл не сможет его предотвратить. Ты умрешь в свое время. А не хочешь его видеть — не надо.

— Как ты не понимаешь! Мне придется его принять, если он проделает весь этот путь. А я слишком устала, чтобы с ним говорить. — Лицо ее исказилось мукой.

Сигарета выпала из дрожащих пальцев, горячий пепел обжег ей руку.

— Ну вот, я еще и обожглась! Боже мой, как больно. — В тоне было обвинение. Слабые руки Джейн беспомощно потирали обожженное место. Мать судорожно пыталась втереть крем в кожу, успокаивая Джейн.

Она ведет себя, как избалованный ребенок, подумали родители, но тут же устыдились этой мысли. Они подготовились к торжественной, тихой кончине. Джейн хотела положить голову на подушку, закрыть глаза и забыться легким сном, как ей обещали. Теперь этот мир и покой были под угрозой. Все наши усилия превращаются в фарс, со злостью подумал Виктор. Пришлось напомнить Джейн, что она всегда любила поговорить среди ночи. Она и сейчас может поспать, потом принять Майкла.

— Я не засну, — сказала она с вызывом. — Как можно спать после всего этого! Палец ужасно болит.

Терпение Розмари было готово иссякнуть, но она взяла себя в руки.

— Еще как заснешь, — стала она увещевать Джейн, словно маленькую девочку, капризную и упрямую. — Ты же каждую ночь засыпаешь. Тебе сделают укол, даже больше, если нужно.

— Тогда дайте мне еще сигарету.

— Нет! — вскричали в один голос родители. — Никаких сигарет.

В это время Элизабет успела сообщить доктору Меррею, что равномерное движение Джейн навстречу смерти внезапно прервалось. Он вошел к ней, дав родителям возможность выскользнуть из комнаты и прийти в себя. Они отправились на кухню заварить себе чай.

Когда врач, успокоив Джейн, присоединился к ним, Виктор спросил:

— Что же нам делать? Все разваливается на части.

Врач был невозмутим.

— Раз мы построили какую-то схему, мы будем ей следовать, — ответил он. — Бывают и непредвиденные случаи. Но ситуация выправит себя сама. Вы убедитесь, что по сути ничего не изменилось.

Розмари была расстроена меньше: она даже была рада, что бурные события и стрессы реальной жизни все еще действовали на ее дочь.

— Вы знаете, мне даже легче стало. Уж очень все выглядело красиво, прямо сцена из викторианского романа: луна, соловьи, умирает очаровательная девушка. А то, что происходит, — вот это настоящая Джейн!

— Понимаю вас, — врач сочувственно улыбнулся. — А что вы думали раньше? Что она теряет из-за всех этих наркотиков индивидуальность, превращается в зомби? Или считали, что это настоящая Джейн?

— Та же самая Джейн, совершенно определенно. Она стала спокойнее, это верно, но нельзя сказать, что у нее изменился характер. И, ко-

нечно, она не зомби. Просто сегодня вечером все пошло наперекос. И взбудоражило ее.

Розмари стала устраиваться на ночь рядом с Джейн, упрямо повторяющей, что она не сможет заснуть. Однако спала спокойно всю ночь. Ее не смог разбудить даже приход ночной медсестры, которая прошептала:

— Укольчик, Джейн.

Не слышала она и того, как под окном проехала машина и остановилась у входа. Это на такси приехал Майкл.

Позже Майкл рассказал, что решение навестить Джейн пришло к нему после разговора с Кейт. Услышав, что Джейн осталось жить совсем мало, он понял, что должен с ней увидеться.

— Может, мой внезапный приезд напомнит ей наши отношения,— сказал он.— Мы вечно мчались куда-то, чтобы увидеться: то на машине, то в поезде...

Юношу не остановило даже сомнение Виктора в том, следует ли ему приезжать. Он решил, что родителям нужна поддержка и он ее окажет. Позже, вспоминая события той ночи, он говорил:

— Может, это и неприлично вмешиваться в семейные дела, но вот такими мы и были с Джейн... неорганизованными, я бы сказал. Упустили слишком много случаев, когда могли быть вместе. А последний случай я не мог упустить.

«Успею ли я?—думал Майкл.—Сможет ли она меня увидеть? Захочет ли меня видеть? А может, в душе у нее еще горечь и злость, о которых говорила Кейт?» Недовольство тем, что ни разу за эти несколько недель он не приехал один? Всегда с ним кто-то был. Сейчас уже поздно выяснять причины, почему он брал с собой Рут: все было слишком сложно.

Выйдя из такси у входа, Майкл колебался, можно ли звонить в дверь: разбудишь весь дом. Однако оказалось, что медсестра специально ждала его.

— Мы слышали, как подъехало такси,— сказала она и добавила, что Джейн спит, но ее отец ждет Майкла, и провела его внутрь.

— Я не хотел вас беспокоить...— начал юноша неуверенно.

Виктор объяснил: единственное, что его беспокоит,—это нарушение ритма приближающегося конца Джейн. Конечно, нужно дать ей возможность привести в порядок свои отношения с людьми, но нельзя забывать, что она измотана и не в состоянии говорить с кем-то еще.

— Надо сказать, однако, что вы сняли с нас ответственность, сами приняв решение—ехать вам или не ехать,—закончил Виктор. Услышав это, Майкл почувствовал себя еще более виноватым.

Когда Майклу предложили провести эту ночь в гостевой комнате, он, поколебавшись, согласился.

В шесть утра Виктор постучал к нему и сообщил, что Джейн проснулась. Он должен пойти к ней немедленно: другого случая может не быть. Майкл вошел, но контакта с девушкой не получалось. Он заговорил с ней, но она не отвечала, глядя прямо перед собой, не узнавая его. Он взял ее руку в свою, она не ответила на пожатие. Теперь он убедился, что она умирает.

«Поздно»,—билось в его мозгу. Слишком поздно. И все же был рад, что приехал. Он молча сидел у постели Джейн, пока Виктор не позвал его завтракать.

Дежурившая у постели Адела увидела, что больная стала приходить в себя.

— Джейн, вы хотите видеть Майкла?—спросила медсестра.—Он ждет уже несколько часов, такой терпеливый.

— Он был здесь? Я не помню...

— Он подходил к вам, но вы еще не проснулись.

— Да?—Сознание Джейн быстро прояснилось.—Хотелось бы его увидеть. Но не впускайте больше никого, ладно? Я должна с ним поговорить наедине, это для меня важно.—Она явно делала усилие, чтобы проснуться и говорить четко.

Гнев ее прошел. Увидев Майкла рядом с собой, Джейн забыла о своем раздражении против него. Наоборот, она сожалела, что причиняла ему зло, а ведь они любили друг друга. «Прости меня, прости меня»,—повторяла Джейн.

Они снова стали близкими людьми, говорили мало и без слов понимали друг друга. Он взял ее руку в свою. Их споры были забыты, осталось единение душ.

Настал момент прощания.

— Скажи мне, я умираю?—вдруг спросила Джейн.

«Она еще сомневается»,—подумал Майкл. Он смотрел в ее большие, все еще светящиеся глаза и не знал, что сказать.

— Да,—наконец проговорил он и выбежал из комнаты.

Адела стояла у двери, чтобы никто не вошел. Она знала, что ее помощь будет нужна, как только Майкл уйдет. Джейн будет расстроена, но захочет скрыть это от родителей. «Они заслуживают счастья»,—говорила Джейн несколько дней назад. И вот теперь Адела спешила к ней.

— Я попросила у него прощения,—сказала Джейн.

Через некоторое время Джейн пришла в себя и смогла встретить родителей улыбкой. Виктор стал ее обслуживать, выражая свою любовь, как всегда, действием.

— Хочешь послушать музыку?—спросил он. Джейн кивнула.

Отец вставил в магнитофон кассету с последним струнным квартетом Моцарта, самым умиротворенным из всей классики. Музыка звучала ясно, мягко и нежно, словно падали прозрачные капли дождя.

— Как это прекрасно!—Голос Джейн звучал тоже нежно.—Вы делаете мою смерть такой красивой...

Она примирилась с миром и людьми, подумала Розмари. Словно живет вне времени: дремлет, потом спит, просыпается, совсем не заботясь о том, который час. Иногда спрашивает: «Как вы думаете, сколько я еще проживу?»—и вопрос звучит спокойно, без тени страха.

Мать объяснила ей:

— Вряд ли это имеет для тебя значение. Ты словно на другой волне, где неважно, какой сегодня день недели и который час. Если тебе скажут, что ты проживешь «еще шесть часов», ты можешь их проспать.

— Да, наверное,—сонно отвечала Джейн, снова впадая в дремоту.

Прошло время с тех пор, как Джейн просила в последний раз инъекцию, сигарету или глоток апельсинового сока. Казалось, у нее уже нет никаких желаний. Но вдруг память снова вернулась к Джейн, и она сказала:

— Мне хочется одну вещь... но, видимо, это невозможно.—Голос звучал так, словно его заглушили плотной тканью.—Вы помните, я всегда любила бархат? Перед смертью так хочется потрогать его еще раз. Можно?

— Ну конечно,—ответила Адела.—Когда я вернусь с обеда, я принесу вам лоскутик.

Джейн была довольна и обещанием, но Виктор ждать не хотел.

Вскоре весь хоспис был занят поисками бархата: кто-то звонил по телефону, кто-то съездил в торговый центр, кто-то сбегал в дом, где живут медсестры. Джейн совершенно не почувствовала этого «водоворота», но очень скоро перед ней лежали три кусочка бархата — на выбор. Дороти протягивала их по одному, чтобы Джейн могла потрогать, и она улыбалась от удовольствия. Девушка выбрала самый мягкий образец—это был продолговатый лоскуток густо-розового панбархата. Медсестра положила его на плечо Джейн, чтобы та могла насладиться его мягким прикосновением. Там он и остался до конца ее дней.

Однажды Сью, собиравшая когда-то полевые цветы вместе с Розмари, принесла свежесрезанный бутон розы из своего сада и положила его на подушку рядом с Джейн.

— Так красиво смотрится рядом с твоими волосами,— сказала она.— Как раз твой цвет.

Бутон был густого темно-красного оттенка.

— Мне всегда хотелось носить в волосах розу,—ответила девушка,—но не хватало нахальства...

Сью осторожно продела стебелек сквозь волосы Джейн, сначала убедившись, что нет колючек.

С этого дня у Джейн всегда была роза в волосах. Если сестры переворачивали Джейн, чтобы кровь не застаивалась, чтобы сделать укол или

придать ей более удобную позу, они всегда возвращали розу на место. С лоскутом панбархата и розой обращались с величайшей осторожностью и даже нежностью, словно на свете не было ничего драгоценнее этих предметов.

Девушка теперь спала по многу часов. Когда просыпалась, было видно, что мозг ее отдохнул и ее больше не мучают кошмары. Однажды она спросила:

— Мам, это ты?

Розмари подвинулась поближе, наклонилась над Джейн.

— Да, дочка. Папа скоро вернется.

— Полежи со мной рядом.—Это был не приказ, а смиренная просьба.

Розмари хотелось обнять дочь, прижать ее к себе, но она колебалась. Тело дочери было таким слабым, что, казалось, может сломаться от одного прикосновения.

— Боюсь сделать тебе больно,—ответила она.

Но, выполняя желание дочери, она пристроилась рядом полулежа. На узкой койке и не хватило бы места для двоих.

Мать осторожно обвила рукой неподвижное тело Джейн. Потом Джейн стала сама придвигаться, очень медленно и с трудом, поближе к матери. Она подняла бессильную руку движением неуклюжим, но исполненным бесконечной любви и обняла Розмари.

— Я так люблю тебя, мам,—сказала она.

Этот миг запомнился матери на всю жизнь. Минута, когда исчезли навсегда все расхождения и ревность прошлого, все разочарования и страсти.

Между матерью и дочерью никогда не было таких противоречий, как между дочерью и отцом. Матери часто приходилось лавировать между ними, играть роль буфера, пытаясь объяснить что-то то одному, то другому ради обоюдного согласия. Но Джейн знала, что мать не переходит с одной стороны «фронта» на другую, и уважала ее за это. С тех пор как бури подросткового возраста улеглись, они с матерью всегда были близки.

Ближе к вечеру навестить Джейн перед уходом домой зашла Патриция.

— У меня смена кончилась, я зашла... Может, вас уже не будет в субботу... Я хочу, конечно, чтобы вы были, но я знаю, вам хотелось бы избавиться от всего...—бормотала она, не умея выразить свои чувства.—Но мне так хотелось попрощаться с вами как следует.

Всю свою жизнь Джейн ценила теплые чувства со стороны семьи и друзей, несмотря на то что иногда и восставала против обязательств, которые налагает любовь. Но ее не переставало удивлять то, что ее полюбили люди, еще неделю назад совершенно ей чужие. Она не знала, как их благодарить, она раздавала подарки, чтобы выразить свою признательность. Она старалась изо всех сил довести до сознания каждого, как много это значит для нее—быть в таком «хорошем месте».

— Когда-то я думала, что все эти слова звучат банально,—говорила она.—Вообще-то все, что я говорю в последние месяцы, казалось мне раньше слащаво-сентиментальным.

Розмари сказала доктору Меррею:

— Поскольку Джейн неверующая, я не знаю, как это назвать, но она ведет себя так, словно на нее снизошла благодать.

— Вы имеете полное право так говорить,—ответил врач.

Родителей больше не тошнило от сигаретного дыма. Ведь скоро его не будет совсем, и казалось невероятным, что такая мелочь их раздражала. Правда, возрастала беспомощность Джейн, ее курение делалось все более опасным. Кто-то всегда должен был следить за сигаретой, слабо зажатой между пальцами, держать наготове пепельницу и ловить пепел. Стоило сиделке отвлечься хотя бы на минуту, Джейн могла обжечь себе грудь или плечо. Однажды такое уже случилось.

Розмари как-то выразила опасение, что они спалят весь хоспис.

— У нас есть несгораемые простыни,—ответил доктор Меррей без всякой паники,—а если хотите, поставим ведро с песком у ее кровати.

У Виктора была другая забота, более серьезная, и об этом он беседовал с врачом наедине.

— Что такое предсмертный хрип? Он очень пугает? Я где-то читал, что этот страшный звук может длиться довольно долго.—Он боялся, что Джейн в полусознательном состоянии услышит свой предсмертный хрип и все поймет. Испугается.

— Его можно предотвратить,—ответил врач.—Этот хрип производит жидкость, идущая по задней стенке гортани с противным булькающим звуком. Соответствующий укол высушит гортань.

В пять часов вечера того дня, когда Джейн попрощалась с Майклом, доктор Меррей вошел в комнату Джейн. Теперь она просыпалась все реже и на более короткие сроки. Прошло много часов с тех пор, как она открыла глаза в последний раз. Она лежала спокойно, дышала легко и ритмично. Это был очень глубокий сон,—может быть, и потеря сознания.

Врач сделал родителям знак последовать за ним на террасу. Его явно растрогала спящая Джейн.

— Она уходит?—спросила мать, хотя, казалось, сомнений не было.

— Как вы думаете, сколько ей осталось?—спросил Виктор, поколебавшись.

— Трудно сказать. Может, всего-навсего часа два.

Даже теперь, когда Джейн, казалось, ничего не слышала, медперсонал всегда говорил так, словно включая ее в каждый разговор. Они рассказывали ее отцу и матери, что больные и умирающие очень часто слышат отчетливо все, что говорится вокруг.

Теперь было легко сдержать обещание о том, что рядом с Джейн всегда кто-нибудь будет. Приезжали старые друзья, знавшие ее с детства и открывшие для всей семьи двери своего дома, когда Джейн вернулась из Греции. Они сидели рядом с ней подолгу. Иногда родители говорили с друзьями, иногда сидели молча. Не потому, что стеснялись говорить, а потому, что молчание казалось более естественным. Присутствие их очень помогало матери и отцу Джейн. Все вместе они как бы возрождали ночные бдения прошлых столетий, когда друзья и родственники молча сидели около постели умирающего и ждали. Это было напоминание о том, что смерть неминуема, что она неотъемлемая часть жизненного цикла. Не отдельное событие, сразившее Джейн, а удел всего живущего на земле.

Доктор Меррей предупредил родителей, что поскольку кишечник девушки забит, может начаться рвота. Хотя это и поможет ей умереть, но ощущения будут неприятными.

— Нужно следить за симптомами,—продолжал он,—чтобы принять меры, предотвращающие рвоту.

С тех пор родители всегда были готовы к такому приступу. Доктор Браун, в свое время принимавший Джейн в хоспис, снова вернулся к своим обязанностям.

— Она выглядит такой спокойной,—сказал он однажды,—мы должны сделать все, чтобы она осталась такой.

Слова, эти, однако, расстроили Розмари. Они должны этого добиться, думала она, даже сомнений не может быть. А доктор Браун и не сомневался, он просто подтверждал всеобщее намерение.

В тот день Джейн спала все так же спокойно. Ночь с ней провел Виктор, а Розмари спала в гостевой комнате.

Внезапно она проснулась среди ночи и, не размышляя, пошла по коридору, к комнате дочери. Было темно и тихо, в коридоре тускло горели лампочки на столе медсестер. Обе сестры, видимо, были в палатах.

В комнате Джейн горел слабый свет. Медсестра Нора и Виктор склонились над Джейн. Муж удивился, увидев жену.

— Как странно... Джейн только что проснулась. Может, ты расслышишь, что она просит?

Розмари наклонилась над дочерью, боясь, что у той начинается тошнота.

— Деточка,—спросила она,—что с тобой?

Ответ был невразумителен.

Розмари спросила настойчивее:

— Тебя тошнит, Джейн?

На сей раз все ясно услышали:

— Тошнота... больно.

Этого было достаточно: Нора стояла наготове со шприцем. И снова Джейн погрузилась в глубокий сон.

На следующее утро дыхание Джейн изменилось. Резкий вдох сопровождался тишиной, длившейся несколько секунд. Затем следовал долгий выдох. Хотя промежуток между ними продолжался всего несколько секунд, он казался бесконечным. Тишина была абсолютной, это казалось репетицией смерти.

Медсестры регулярно входили в комнату: делали уколы, поворачивали Джейн, влажной салфеткой протирали губы. Говорили с ней, хотя она была без сознания, ровными, спокойными голосами, объясняя, что они делают. Мучительно тянулись задержки дыхания. Но сонная артерия пульсировала очень сильно.

Когда Джейн перестала пить, из комнаты незаметно унесли кувшин с водой. Еще раньше перестали предлагать еду. Пыль оседала в комнате на полу и мебели, но уборку никто не решался делать. Все внимание было сосредоточено на Джейн.

Тишину нарушали только приглушенные голоса сестер, которые неторопливо увлажняли рот, протирали тело приятно пахнущим лосьоном.

Днем дыхание девушки опять изменилось: стало резким и хриплым, воздух со страшным шумом входил в дыхательные пути и вырывался назад. Это было похоже на предсмертный хрип. Лицо покраснело от прилива крови, но выражение его было умиротворенным.

— У нее началось воспаление легких, — сказал доктор Браун, — это ее спасет.

Он хотел сказать: поможет ей быстрее умереть. Он прописал лекарства, очищающие легкие. Антибиотики, которые могли продлить ее жизнь, не вводились. Пульс на шее бился все так же сильно. Доктор Браун наблюдал все с состраданием.

— Вот она, молодость, — наконец произнес он, — у Джейн слишком сильный организм.

Когда родители выходили из комнаты, Джулия спросила:

— Может, вы хотите остаться? Мы собираемся ее поворачивать, и, если вдруг жидкость в легких переместится, она может отойти моментально.

Медсестры подняли слабое, податливое тело и снова бережно положили в постель. Тяжелое, затрудненное дыхание продолжалось. Сонная артерия пульсировала так же отчетливо.

— Может отойти в любую минуту, — сказала Джулия.

Был вечер пятницы. Прошли целые сутки, как доктор Меррей сказал, что ей осталось жить не более двух часов.

Дверь в комнату Джейн стала почему-то жутко скрипеть.

— Чертова дверь! Элизабет, у вас нет смазки? — прошептала Розмари.

Медсестра кивнула и вышла. Еще раз дверь устрашающе заскрипела, когда через несколько минут она вернулась со знакомым шприцем на подносе.

— Спасибо, Элизабет, — с этими словами Джулия протянула руку за шприцем.

— Нет, нет! — Ужас в голосе Элизабет заставил Джулию замереть на месте. — Это не для Джейн. Это для двери.

Как хотелось Розмари, чтобы дочь ее слышала все это. Нелепость положения, смех сквозь слезы она смогла бы оценить.

— Я надеюсь, вы не будете колоть пациентов тем же шприцем? — спросила Розмари.

— Да нет. Обычно мы их сразу выбрасываем. А это старый, — ответила Элизабет.

Пришел привратник Фрэнк, спросил разрешения посмотреть на Джейн. Постоял несколько минут, держа ее руку в своей. Потом повернулся к отцу и матери:

— Спасибо. — И молча вышел из комнаты.

Июньские вечера в Англии очень длинны, светло бывает почти до одиннадцати вечера. Была середина лета. Этой ночью современные жрецы должны были собраться в Стонхендже * для своих бдений и ждать часа, когда первые лучи солнца пробьются между древними камнями и осветят развалины древнего алтаря.

Пришла Сью, старая подруга, чтобы поддержать Розмари. Она сидела до поздней ночи, женщины тихо разговаривали, прислушиваясь к тяжелому дыханию Джейн. Вспоминали войну, детство Джейн. Было странно говорить о тех временах, когда дочери еще не было на свете. Последние пять месяцев было не до воспоминаний: шла борьба за спасение Джейн, душу матери терзал страх. А теперь при воспоминании той давней жизни Розмари стало немного легче.

Около двух часов ночи она нажала кнопку звонка. Через минуту появилась Эмили, ночная сестра.

— У нее изменилось дыхание, — сказала Розмари, — вдруг... оно стало таким тихим, я его почти не слышу... Что это значит?

Джейн была похожа на беломраморную статую на средневековом надгробии: руки скрещены на груди, дыхание почти неуловимо.

Эмили, выпрямившись, спокойно улыбнулась:

— Еще немного побудет...

С началом нового дня дыхание Джейн почти не изменилось, сонная артерия пульсировала спокойнее. Врачи и сестры удивлялись, как долго борется организм, но это была уже не борьба, а лишь ее отголоски. Не было ни намека на боль или страдание. Лицо Джейн было умиротворенным, руки и ноги — в позе полного покоя.

Днем вокруг губ девушки появилась белая кромка. Она начала медленно разрастаться, и вот уже рот побледнел, как и все лицо. Только волосы, брови и ресницы остались, как прежде, черными.

Джулия предложила родителям не оставлять Джейн. Завтрак им принесли к ней в комнату.

Последнюю розу в жизни Джейн сорвали у нее в саду, там, где на заброшенной клумбе под окном расцвел один цветок. Эта была только что начавшая распускаться белая роза, без малейшего изъяна на лепестках и листьях. Розмари срезала ее хирургическими ножницами и увидела между лепестками каплю росы. Джейн сказала бы об этой розе: слишком хороша. Так красива, что даже не верится. Мать положила розу на подушку, около лица дочери.

Теперь уже признаки смерти стали явными. Тело Джейн час за часом становилось более вялым и хрупким. На нем появились глубокие борозды и белые пятна. Поворачивая ее и как ни в чем не бывало тихонько разговаривая с ней, сестры смазывали пролежни.

Виктор был на террасе, когда дыхание Джейн снова изменилось: появился звук на высокой тонкой ноте, бесконечно печальный и далекий. Это было явное предупреждение. Розмари показалось, что точно такой же звук она уже слышала. Но звать Виктора не решилась.

Дыхание снова изменилось. Теперь оно стало мягким, с низким звуком, еле слышным. Розмари позвала мужа.

Родители встали около постели, и каждый взял дочь за руку. Вдохи и выдохи становились все легче и тише. Голова Джейн очень медленно поворачивалась, словно ей не хватало воздуха, глаза были чуть-чуть приоткрыты, виднелась лишь тоненькая полоска белка.

Потом все стихло. Пульс на шее исчез. Все кончилось.

И отец и мать видели изображения людей, погибших насильственно: жертвы убийств, аварий, войны. Их страшные облики запечатлелись у них в памяти: изуродованные тела, искаженные лица.

У тех, кто видел, как умирала Джейн, навсегда останется в памяти ее лицо, застывшее в полном покое. Кожа была еще теплой, когда родители ее поцеловали. Такая неспешная и кроткая смерть была естественным завершением жизни. Это был красивый уход. Он не оставил в душе страха.

---

* Стонхендж — доисторическое сооружение из огромных каменных глыб, служило для ритуальных церемоний, расположено близ города Солсбери.

Эпилог

Нам, родителям, осталось выполнить завещание Джейн.

«Моему пеплу будет приятно покоиться здесь»,— сказала она однажды в саду Дори-коттеджа. Было тяжело открыть маленькую шкатулку и тревожить бледно-серый порошок. И мы откладывали это со дня на день. Но в одно прекрасное утро солнце прорвало тучи, и после проливного дождя сад заиграл всеми красками, трава засверкала дождевыми каплями, водяная лилия раскрыла лепестки навстречу теплу. Мы решили, что час настал.

Мы шли по саду рука об руку по тем местам, которые дочь больше всего любила: вот поросший травой склон, где так хорошо было загорать, пруд, у которого Джейн сидела часами, наблюдая за рыбками, ручей, у которого она играла с Ричардом. Вспоминали, как Джейн гуляла здесь в последний раз, после того, как доктор Салливан сказал ей правду. Мы шли по ее следам, останавливаясь там, где стояла она, словно стараясь запомнить это место навсегда. Мы брали горсть пепла и рассыпали его полукругом, как крестьянин-сеятель рассыпает зерно. Мы рассыпали пепел на цветочных клумбах, под старыми тисовыми деревьями, над прудом. Ветер разносил частички пепла по воздуху. Маленькие хлопья оседали на розах, кружились над прудом, около плакучей ивы, которую Джейн помогала сажать. Потом пепел скрылся под водой, и все кончилось.

Мы немного поплакали. Джейн умоляла не слишком горевать по ней. «Я не хочу причинять кому-то страдания»,— говорила она. «Все это, конечно, так,— сказала одна из ее подруг, утирая слезы,— но не горевать невозможно».

Для того, чтобы организовать вечер, о котором говорила Джейн, понадобилось несколько недель. Она хотела, чтобы он прошел весело, как ее день рождения, который пришлось пропустить из-за болезни. Джейн успела составить и список гостей: ее друзья и все те, кто помогал ей во время болезни. Приехали все — доктор Салливан, управляющий банком из Брайтона, составлявший тот проект, который так и не осуществился. Приехали люди, которые открыли для нас свои дома и свои сердца в те дни, когда Джейн, покидавшей больницу, было необходимо человеческое тепло, а не просто снятые комнаты. Приехали врачи и сестры хосписа, не занятые в тот вечер, и, конечно, друзья Джейн. Один из них спросил:

— Угощение, конечно, будет вегетарианским?

Однако другие приглашенные не получили бы от такой пищи никакого удовольствия. А если это испортит им весь праздник? И сумеет ли Розмари приготовить вегетарианские блюда, которые так мастерски готовила Джейн?

Но все трудности отпали, когда несколько друзей Джейн заявили, что приедут в субботу и приготовят угощение, уберут дом и сад, сварят пунш.

Так вот и получилось, что вечер этот начался задолго до назначенного времени, как бывает со всеми лучшими вечерами. На кухне толпились повара. В холле одни готовили пунш (без рецепта, но с изобилием компонентов и с большим энтузиазмом), другие расставляли в саду столы, стулья и скамейки.

Когда работа кипела вовсю, появился сосед с розами из собственного сада. Он был едва виден из-за огромного букета, помещенного в ведро. Цветы были на длинных стеблях, красивые и сильные, со множеством бутонов.

— Принести еще? — спросил он, и скоро весь дом и сад расцвели яркими красками и благоухали ароматом. Розы лежали на столах, на стульях, на полу. Все знали историю о последней розе, что покоилась в волосах Джейн. Сестры рассказывали о той Джейн, которую они знали в конце жизни, а друзья — о молодой, прежней Джейн, которую знали они. Виктор произнес короткую речь: он подчеркнул, что Джейн ничем особенно не отличалась и только хоспис сделал для нее возможной такую мирную смерть. Всего лишь восемь дней пробыла она там, но это были дни, полные смысла.

Вечер удался. Никто не рыдал, гости разбились на небольшие группки и говорили не только о Джейн, но и о смерти, о том, как облегчить ее, говорили о своих страхах и надеждах. Друзья Джейн гордились ею. Не было на этом вечере натянутой официальности. Никто не произносил слов соболезнования. Это не были похороны или поминки. Это был вечер благодарения — Джейн хотела этого и сама предложила его провести.

Вернувшись в конце лета в Вашингтон, мы обнаружили перемену в нас самих. Мы гораздо больше, чем раньше, думали о том, что важнее всего в этой жизни, о своих чувствах, о непреходящих ценностях и о людях — о каждом как о личности. В последние дни своей жизни Джейн говорила обо всем этом. Это стало для нас истинными ценностями. Она получала удовольствие от того, что дарила вещи, которыми дорожила, своим друзьям. Она продумывала, что кому подарить, и с удовольствием это делала.

— Мне не нужен подарок, чтобы помнить Джейн,— сказала одна из ее подруг.— Она научила меня печь хлеб. Каждый раз, выпекая его, я думаю о ней.

Перед смертью дочери мы думали о людях, продолжающих жить в своих поступках. В памяти тех, кого чему-то научили. Джейн тоже надеялась остаться в наших сердцах. И осталась.

Послесловие

Книга Виктора и Розмари Зорза вводит нас в круг вопросов, которые в нашей стране еще не разрабатывались. Очевидные вещи порой приходится больше всего доказывать. Казалось бы, так ясно — с момента прихода в мир человеческая жизнь защищается и поддерживается медициной. Но сколько бы она ни продолжалась, неизбежен конец. Естественно, что общество, несущее на себе заботу о каждом своем члене, должно обеспечить отсутствие боли, страданий уходящему человеку. Во всяком случае, должна существовать служба помощи умирающим, которая могла бы разрешать самые необходимые проблемы как медицинского, так психологического и социального характера.

Трудный, болезненный вопрос о смерти должен все-таки получить разрешение еще до того, как неумолимое время рано или поздно приведет нас к нему. Пусть каждый задаст себе вопрос, как бы он хотел умереть, будь в его руках возможность выбора. Не надо быть психологом, чтобы предвидеть ответ — легко, безболезненно, быстро. Иные добавят к этому эстетический момент красоты или героики обстоятельств. Но никто наверняка не пожелает себе мучений. Тем не менее многолетний опыт медицинской работы показывает жестокую реальность. Отсутствие организации помощи умирающим приводит к тому, что многие больные, особенно онкологические, испытывают мучительные страдания (независимо от того, находятся ли они дома или в стационаре). Проблемы ухода, обслуживания, добывания обезболивающих средств, помноженные на отсутствие или лимиты многих препаратов, дефицит среднего и младшего персонала, нехватка транспорта, осуществляющего вызовы на дом,— все это обостряет проблему. И здесь наряду со страданиями самого больного мы сталкиваемся со страданиями родственников, с переживаниями медиков, которые порой не знают, что и как говорить безнадежному больному. Ложь во спасение нередко становится глупой, нелепой и неуместной. Мы играем «роль» для больного, лжем ему, а он, прекрасно видя это, тоже вынужден «играть», тоже лгать, только уже нам.

Пожалуй, весь основной смысл поставленной в книге супругов Зорза проблемы заключается в очень простой истине — человек в момент ухода должен быть избавлен от страданий.

Если попытаться реализовать эту идею в наших условиях, то мы непременно должны выйти на те пути, которые прошли наши коллеги в зарубежных странах.

Разрешение медицинского аспекта проблемы должно вылиться в создание в нашей стране хосписов, ориентированных на оказание помощи безнадежным больным, и их задача в первую очередь будет заключаться в снятии боли. Только после этого возможно решение других проблем, ибо боль подавляет личность человека, ставит его в зависимость от любых случайностей, может, наконец, спровоцировать самоубийство. Конечно же, мы не должны ограничивать понятие боли чисто физиологическим аспектом, требующим помощи анестезиолога. Психологический аспект, заключающийся в тревоге, страхе, депрессии, потребует участия и психотерапевта и, порой, священнослужителя. Причем осуществление этой помощи не должно ограничиваться стационаром. Выездная служба позволила бы решить и вопрос свободного режима в хосписе, куда можно приходить на время установления дозировки лекарства, а затем возвращаться домой. Эта же

служба могла бы обучать родственников первой медицинской помощи, инъекциям и т. д. Возможно в дальнейшем создание службы сиделок. Мы с коллегой были на обучении в Англии, в том же хосписе, который описан в книге супругов Зорза, и убеждены, что подобную службу заботы о больных возможно осуществить и у нас, хотя и со своими особенностями.

Из наших намерений не следует представлять создание некоего объемного учреждения, готового обслуживать весь город. Зарубежный опыт показывает, что хосписы должны быть рассчитаны на 20 — 30 коек с минимумом персонала, хотя последний должен обладать максимумом специальных знаний. В Англии, например, такой хоспис может обеспечить потребность 400 000 человек. Таким образом, видно, что создание службы хосписов не требует гигантских усилий и затрат. Наше начинание в Ленинграде (первый хоспис открылся уже в сентябре нынешнего года) при успехе может явиться образцом для создания других хосписов, а также для разработки научно-практической помощи безнадежным больным.

Вторая сторона проблемы умирающих может быть условно выделена как психологическая. Время религиозной модели жизни в значительной мере ушло из нашего сознания, как бы это ни объясняли. Но та забота об умирающих, которая лежала на плечах церкви, повисла в воздухе, и наша медицина не вправе уклониться, оставив человека наедине со своими страхами, сомнениями, переживаниями. Используя опыт наших зарубежных коллег, опираясь на гуманистическую философию, оставленную нам Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским и другими, мы, вероятно, смогли бы помочь больному перестроить его систему ценностей, увидеть позитивные моменты жизни даже в таких тяжелых обстоятельствах. Наконец, возможно создать с помощью родственников ту эстетику, красоту, которая могла бы в какой-то мере оправдать приход смерти. Вспомним фразу Достоевского: «Красота спасет мир». Как ни парадоксально, порой эта идея реально «работает» и спасает рушащийся мир умирающего человека. Насколько же нравственнее смерть, которая не унижает личность и позволяет передать близким созданный ею мир с его любовью и ценностями. Мне представляется отошедшей от христианских, нравственных традиций наша практика «отвлечения» больного от мыслей о смерти во что бы то ни стало... Но мы должны служить людям, а не навязывать им своих рецептов, решений, — принцип индивидуального подхода к каждому больному ни в коей мере не может нарушаться. Здесь не может быть дилетантского подхода, необходим профессионализм врача-специалиста.

Итак, необходимо создание службы помощи неизлечимым больным. И мыслится она не как очередное административное здание с железобетонными конструкциями. Каждому из нас предстоит пройти через «врата смерти», пусть же каждый вложит в них хоть каплю своего творчества, каплю своего участия в этом деле. Не может быть корысти в великий момент смерти. Здесь итог всей жизни, средоточие надежд свершившихся и неосуществленных, проверка тех истин, которым служил. Для этого момента нельзя обществу скупиться и считать выгоды или расходы. Нужно создать те условия, при которых не было бы места унижению личности ни болью, ни бедностью, ни убогостью. Трагизм ухода можно трансформировать заботой и вниманием всего общества, чтобы в самом деле «конец венчал дело», венчал саму жизнь.

А. ГНЕЗДИЛОВ, кандидат медицинских наук

Перевод с английского Э. БАШИЛОВОЙ, Н. ВЫСОЦКОЙ и И. МАКАРОВОЙ

А. И. ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

ТОМ ПЕРВЫЙ

Выпуск второй

КРУШЕНИЕ ВЛАСТИ И АРМИИ

февраль — сентябрь 1917

Глава XVIII. ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ: ГЕНЕРАЛИТЕТ И ИЗГНАНИЕ СТАРШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА

Одновременно с подготовкой к наступлению в армии шли реформы и так называемая «демократизация». На всех этих явлениях необходимо остановиться теперь же, так как они предрешили как исход летнего наступления, так и конечные судьбы армии.

Военные реформы начались с увольнения огромного числа командующих генералов — операция, получившая в военной среде трагишутливое название «избиение младенцев». Началось с разговора военного министра Гучкова и дежурного генерала Ставки Кондзеровского. По желанию Гучкова, Кондзеровский, на основании имевшегося материала, составил список старших начальников с краткими аттестационными отметками. Этот список, дополненный потом многими графами различными лицами, пользовавшимися доверием Гучкова, и послужил основанием для «избиения». В течение нескольких недель было уволено в резерв до полутораста старших начальников, в том числе 70 начальников пехотных и кавалерийских дивизий.

Гучков приводит такие мотивы этого мероприятия [1]:

«В военном ведомстве давно свили себе гнездо злые силы — протекционизма и угодничества. С трибуны Государственной Думы я еще задолго до войны указывал, что нас ждут неудачи, если мы не примем героических мер... для изменения нашего командного состава... Наши опасения к несчастью оправдались. Когда произошла катастрофа на Карпатах, я снова сделал попытку убедить власть сделать необходимое, но вместо этого меня взяли под подозрение... Нашей очередной задачей (с началом революции) было дать дорогу талантам. Среди нашего командного состава было много честных людей, но многие из них были неспособны проникнуться новыми формами отношений, и в течение короткого времени в командном составе нашей армии было произведено столько перемен, каких не было, кажется, никогда ни в одной армии... Я сознавал, что в данном случае милосердия быть не может, и я был безжалостен по отношению к тем, которых я считал неподходящими. Конечно, я мог ошибаться. Ошибок, может быть, было даже десятки, но я советовался с людьми знающими и принимал решения лишь тогда, когда чувствовал, что они совпадают с общим настроением. Во всяком случае все, что есть даровитого в командном составе, выдвинуто нами. С иерар-

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 10 с. г.
[1] Речь на съезде делегатов фронта 29 апреля 1917 года.

хией я не считался. Есть люди, которые начали войну полковыми командирами, а сейчас командуют армиями... Этим мы достигли не только улучшения, но и другого, не менее важного: провозглашение лозунга «дорогу таланту»... вселило в души всех радостное чувство, заставило людей работать с порывом, вдохновенно»...

Гучков был прав в том отношении, что армия наша страдала и протекционизмом, н угодничеством; что командный состав ее комплектовался не из лучших элементов и в общем далеко не всегда был на высоте своего положения. Что «чистка» являлась необходимой и по мотивам принципиальным и по практическим соображениям: многое сокровенное после «свобод» стало явным, дискредитируя и лиц, и символ власти. Но несомненно также, что принятый порядок оценки боевой пригодности старшего генералитета, отражавший не всегда беспристрастные мнения, заключал в себе элементы случайностн и субъективности. Ошибки были несомненно. В список попали и средние начальники, не выделявшиеся ни в ту, ни в другую сторону, каких большинство во всех армиях; попали и некоторые достойные генералы.

Я должен, однако, признать, что многие из уволенных вряд ли представляли особенную ценность для армии. Среди них были имена одиозные и анекдотические, державшиеся только благодаря инертности и попустительству власти. Я помню, как потом по разным поводам генералу Алексееву вместе со мной приходнлось перебирать списки старших чинов резерва, в поисках свободных генералов, могущих получнть то или иное серьезное назначение или ответственное поручение. Поиски обыкновенно были очень нелегки: хорошие генералы — обиженные увольнением или потрясенные событиями — отказывались, прочие были неподходящими. В частности, когда явилась надобность послать нечто вроде военно-сенаторской ревнзин на Кавказ, то из огромных списков извлекли всего две фамилии: одна принадлежала генералу, рапортовавшемуся больным, другая... была н е м е ц к о й[2]. Ревизия не состоялась. Помню и такой эпизод: когда в вагоне Гучкова обсуждалось раз замещение какой-то открывшейся вакансии, в его списках нашли имена 2—3 генералов — ранее не особенно двигавшихся по службе — ныне же отмеченных решительно во всех графах выдающимися.

Что же дали столь грандиозные перемены армии? Улучшился ли действительно в серьезной степени командный состав? Думаю, что цель эта достнгнута не была. На сцену появились люди новые, выдвинутые установившимся правом избнрать себе помощников — не без участия прежних наших знакомых — свойства дружбы и новых связей. Разве революция могла переродить или исправить людей? Разве механическая отсортировка могла вытравить из военного обихода систему, долгие годы ослаблявшую импульс к работе и самоусовершенствованию? Быть может, выдвинулось несколько единичных «талантов», но наряду с ними двинулись вверх десятки, сотни людей случая, а не знания и энергии. Эта случайность назначений усилилась впоследствии еще больше, когда Керенский отменил на все время войны как все существовавшие ранее цензы, так и соответствие чина должностн при назначениях (июнь), в том числе, конечно, и ценз знания и опыта.

Передо мною лежит список старших чинов русской армии к середине мая 1917 г., т. е. как раз к тому времени, когда гучковская «чистка» была окончена. Здесь — Верховный Главнокомандующий, главнокомандующие фронтами, командующие армиями и флотами и нх начальники штабов. Всего 45 лнц[3]. Мозг, душа и воля армии! Трудно оценивать их боевые способности соответственно нх последним должностям, ибо стратегия и вообще военная наука в 1917 году потеряла в значнтельной степени свое применение, став в подчиненную, рабскую зависимость от солдатской стихии. Но мне прекрасно известна деятельность этих лнц п о б о р ь б е с «д е м о к р а т и з а ц и е й», т. е. р а з в а л о м а р м и н. Вот численное соотношение трех различных группировок:

[2] С этим обстоятельством приходилось сильио считаться ввиду иастроения солдат.
[3] Пяти не знаю, поэтому нсключил их вовсе

Группировки / Командный состаа	Оппортунисты: поощрявшие демократизацию	Оппортунисты: не боровшиеся против демократизации	Воровшиеся против демократизации	Всего
Верховиый Главноком.				
Команд. арм.				
Комаид. флот.	9	5	7	
Начальники штабов	6	6	7	
Всего	15	11	14	40

Из них впоследствии, с 1918 года участвовало или не участвовало в борьбе:

Группировки / Комаидный состав	Оппортунисты: поощрявшие демократизацию	Оппортунисты: не боровшиеся против демократизации	Боровшиеся против демократизации	Всего
В антибольшев. организац.	2	7	10	19
У большевиков	6	—	1	7
Отошли в сторону	7	4	3	14

Таковы результаты реформы наверху военной иерархии, где люди находились на виду, где деятельность их привлекала к себе критическое внимание не только власти, но н военной и общественной среды. Думаю, что не лучше обстояло дело на низших ступенях иерархии.

Но еслн вопрос о с п р а в е д л и в о с т и мероприятия может считаться спорным, то лично для меня не возникает никакого сомнения в крайней н е ц е л е с о о б р а з н о с т и его. Массовое увольнение начальников окончательно подорвало веру в командный состав и дало внешнее оправдание комитетскому и солдатскому произволу и насилию над отдельными представителями командования. Необычайные перетасовки и перемещення оторвали большое количество лиц от своих частей, где они, быть может, пользовались приобретенными боевыми заслугами, уважением и влнянием; переносили их в новую, незнакомую среду, где для приобретения этого влияния требовалось и время, и трудная работа в обстановке, в корне изменившейся. Если к этому прибавить продолжавшееся в пехоте формирование третьих дивнзий, вызвавшее в свою очередь очень большую перетасовку командного состава, то станет понятным тот хаос, который воцарился в армии.

Такой хрупкий аппарат, каким была армия в дни войны и революции, мог держаться только по инерции и не допускал никаких новых потрясений. Допустимо было только изъять безусловно вредный элемент, в корне изменить систему назначений, открыв дорогу достойным, и предоставить затем вопрос естественному его течению, во всяком случае без излишнего подчеркивания и не делая его программным.

Кроме удаленных этнм путем начальников, ушло добровольно несколько генералов, не сумевших помириться с новым режимом, в том числе Лечицкий и Мищенко, и много командиров, изгианных в революционном порядке — прямым или косвенным воздействием комитетов или солдатской массы. К числу последних принадлежал и адмирал Колчак[4].

[4] Колчак Алексаидр Васильевич (1873—1920) — адмирал, комаидовал Черноморским флотом, после Февральской революции изгнан матросами. Осенью 1918 г. объявлен в Омске «верховным правителем». Расстрелян в феврале 1920 г. по постановлеиию Иркутского ревкома. (Прим. ред.).

Перемены шли и в дальнейшем, исходя из различных, иногда прямо противоположных взглядов на систему ведения армии, нося поэтому необыкновенно сумбурный характер и не допуская отслоения определенного типа командного состава.

Алексеев уволил главнокомандующего Рузского и командующего армией Радко-Дмитриева за слабость военной власти и оппортунизм. Он съездил на Северный фронт и, вынеся отрицательное впечатление о деятельности Рузского и Радко-Дмитриева, деликатно поставил вопрос об их «переутомлении». Так эти отставки и были восприняты тогда обществом и армией. По таким же мотивам Брусилов уволил Юденича.

Я уволил командующего армией (Квецинского) — за подчинение его воли и власти дезорганизующей деятельности комитетов в области «демократизации» армии.

Керенский уволил Верховного Главнокомандующего Алексеева, главнокомандующих Гурко и Драгомирова за сильную оппозицию «демократизации» армии; по мотивам прямо противоположным уволил и Брусилова — чистейшего оппортуниста.

Брусилов уволил командующего 8 армией генерала Каледина — впоследствии чтимого всеми Донского атамана — за то, что тот «потерял сердце» и не пошел навстречу «демократизации». И сделал это в отношении имевшего большие боевые заслуги генерала в грубой и обидной форме, сначала предложив ему другую армию, потом возбудив вопрос об удалении. «Вся моя служба,— писал мне тогда Каледин,— дает мне право, чтобы со мной не обращались как с затычкой различных дыр и положений, не осведомляясь о моем взгляде».

Генерал Ванновский, смещенный с корпуса командующим армией Квецинским по несогласию на приоритет армейского комитета, немедленно вслед за этим получает, по инициативе Ставки, высшее назначение — армию на Юго-западном фронте.

Генерал Корнилов, отказавшийся от должности главнокомандующего войсками петроградского округа, «не считая возможным для себя быть невольным свидетелем и участником разрушения армии... Советом рабочих и солдатских депутатов», назначается потом главнокомандующим фронтом и Верховным Главнокомандующим. Меня Керенский отстраняет от должности начальника штаба Верховного Главнокомандующего по несоответствию видам правительства и за явное несочувствие его мероприятиям и тотчас же допускает к занятию высокого поста главнокомандующего Западным фронтом.

Были и обратные явления: Верховный Главнокомандующий, генерал Алексеев долго и тщетно делал попытки сместить стоявшего во главе Балтийского флота выборного командующего, адмирала Максимова, находившегося всецело в руках мятежного исполнительного комитета Балтийского флота. Необходимо было фактическое изъятие из окружающей среды этого принесшего огромный вред командующего, так как комитет его не выпускал, и Максимов на все предписания прибыть в Ставку отвечал отказом, ссылаясь на критическое положение флота...

Только в начале июня Брусилову удалось избавить от него флот, ценою... назначения начальником морского штаба Верховного Главнокомандующего!..

И много еще можно было бы привести примеров невероятных контрастов в идейном руководстве армией, вызванных столкновением двух противоположных сил, двух мировоззрений, двух идеологий.

Я уже говорил раньше, что весь командующий генералитет был совершенно лоялен в отношении Временного правительства. Сам позднейший «мятежник» — генерал Корнилов говорил когда-то собранию офицеров: «Старое рухнуло! Народ строит новое здание свободы, и задача народной армии всемерно поддержать новое правительство в его трудной, созидательной работе»... Командный состав, если и интересовался вопросами общей политики и социалистическими опытами коалиционных правительств, то не более, чем все культурные русские люди, не считая ни своим правом, ни обязанностью привлечение войск к разрешению социальных проблем. Только бы сохранить армию и то направление внешней политики, которое способствовало победе. Такая связь командного элемента с правительством — сначала «по любви», потом «из расчета» — сохранилась вплоть до общего июньского наступления армии, пока еще теплилась маленькая надежда на перелом армейских настроений, так грубо разрушенная действительностью. После наступления и командный состав несколько поколебался...

Я скажу более: весь старший командный состав армии совершенно одинаково считал ту «демократизацию армии», которую проводило правительство, недопустимой. И, если в таблице, приведенной мною выше, мы встретили 65% начальников, не оказавших достаточно сильного протеста против «демократизации» (разложения армии), то это зависело от совершенно других причин: одни делали это по тактическим соображениям, считая, что армия отравлена и ее надо лечить такими рискованными противоядиями, другие — исключительно из-за карьерных побуждений. Я говорю не предположительно, а исходя из знания среды и лиц, со многими из которых вел откровенную беседу по этим вопросам. Генералы, широко образованные и с большим опытом, не могли, конечно, проводить искренно и научно такие «военные» взгляды, как например: Клембовский, предлагавший поставить во главе фронта триумвират из главнокомандующего, комиссара и выборного солдата; Квецинский — «снабдить армейские комитеты особыми полномочиями от военного министра и Центрального комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, дающими им право действовать от имени комитета». Вирановский, предлагавший весь командный состав обратить в «технических советников», передав всю власть комиссарам и комитетам!»...

Керенский в своей книге рассказывает про «разгром Юго-западного фронта», который начался, якобы, «как только генерал Корнилов перевел туда Деникина[5] и Маркова. Там началось генеральное уничтожение всех командующих, сочувственно относившихся к войсковым организациям»... Это не вполне точно: я на Юго-западном фронте удалил только одного генерала Вирановского, желая и армии иметь полководцев, а не «технических советников». Этот эпизод вызвал ряд «обличительных» телеграмм правительству комиссаров Гобечию и Иорданского, грозное постановление исполнительного комитета Юго-западного фронта и по совокупности «явно отрицательного отношения моего к выборным войсковым организациям» (последнее вполне справедливо) — требование, предъявленное Корнилову управляющим военным министерством Савинковым и верховным комиссаром Филоненко о моем отчислении[6]...

Как все это странно. Передо мною интересный документ, характеризующий тот сумбур, который должен был происходить в умах солдат и войсковых организаций: письмо от 30 июня генерала Духонина, бывшего начальником штаба Юго-западного фронта, к генералу Корнилову — тогда командующему 8-й армией:

«Милостивый Государь, Лавр Георгиевич! Главнокомандующий по долгу службы приказал сообщить Вам ниже следующие сведения о деятельности командира 2-го гвардейского корпуса, генерала Вирановского и штаба этого корпуса, полученные от войсковых организаций и относящиеся к двадцатым числам июня сего года.

В корпусе создалось настроение против наступления. Генерал В., будучи сам противником наступления, заявил дивизионным комитетам, что он ни в каком случае не поведет гвардию на убой. Ведя собеседование с дивизионными комитетами, генерал В. разъяснял все невыгоды и трудности наступления, выпавшие на долю корпуса, и указывал на то, что ни справа, ни слева, ни сзади никто не поддержит корпус. Чины штаба корпуса вообще удивлялись, как главнокомандующий мог давать такие задачи, неразрешимость которых ясна даже солдатам-делегатам. Штаб корпуса был занят не тем, чтобы изыскать способы выполнить поставленную корпусу трудную задачу, а старался доказать, что эта задача невыполнима».

Бедная революционная демократия! Как трудно ей было разбираться в истин-

---

[5] Я был назначен главнокомандующим Юго-западным фронтом в конце июля.
[6] 25 августа 1917 года в Ставке.

ной сущности военных вопросов, за разрешение которых она взялась, и отличить «врагов» от «друзей»...

Позднее к тем рубрикам, которые приведены в моей таблице, прибавилась еще одна графа — чистых демагогов, как, например, Черемисов[7], Верховский[8], Вердеревский[9], Егорьев[10], Сытин[11], Бонч-Бруевич[12], и другие. Первые три успели выйти кратковременно на верх иерархической лестницы в период заката Временного правительства, прочие — нет. Но все они, за исключением Вердеревского, как и следовало ожидать, заняли довлеющие им крупные посты в большевистском командовании.

Насколько лоялен был высший командный состав, можно судить по следующему факту: в конце апреля генерал Алексеев, отчаявшись в возможности самому лично остановить правительственные мероприятия, ведущие к разложению армии, перед объявлением знаменитой декларации прав солдата послал главнокомандующим шифрованный проект сильного и резкого коллективного обращения от армии к правительству: обращение указывало на ту пропасть, в которую толкают армию; в случае одобрения проекта обращения, его должны были подписать все старшие чины до начальников дивизии включительно.

Фронты, однако, по разным причинам отнеслись отрицательно к этому способу воздействия на правительство. А временный главнокомандующий Румынским фронтом, генерал Рагоза — позднее украинский военный министр у гетмана — ответил, что, видимо, русскому народу Господь Бог судил погибнуть, и потому не стоит бороться против судьбы, а, осенив себя крестным знамением, терпеливо ожидать ее решения!.. Это — буквальный смысл его телеграммы.

Таковы были настроения и нестроения на верхах армии.

Что касается категории начальников, неуклонно боровшихся против развала армии, то многие из них, независимо от большей или меньшей веры в успех своей работы, независимо от ударов судьбы, шаг за шагом разрушавшей надежды и иллюзии, независимо даже от предвидения некоторыми того темного будущего, которое уже давало знать о своем приближении тлетворным дыханием разложения,— шли по тернистому пути, против течения, считая, что это их долг перед своим народом. Шли с поднятой головой, встречая непонимание, клевету и дикую ненависть, до тех пор, пока хватало сил и жизни.

Глава XXII. «ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ АРМИИ»: ИСТОРИЯ «ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ СОЛДАТА»

Печальной памяти закон, вышедший из поливановской комиссии[13] и известный под именем «декларации прав солдата», утвержден Керенским 9 мая.

Приказ по армии и флоту

Приказываю ввести в жизнь армии и флота следующие, согласованные с п. 2 декларации Временного правительства от 7 марта с. г. положения об основных правах военнослужащих:

1) Все военнослужащие пользуются всеми правами граждан. Но при этом каждый военнослужащий обязан строго согласовать свое поведение с требованиями военной службы и воинской дисциплины.

2) Каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, национальной, религиозной, экономической или профессиональной организации, общества или союза.

3) Каждый военнослужащий во внеслужебное время имеет право свободно и открыто высказывать устно, письменно или печатно свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды.

[7] Главнокомандующий Северным фронтом.
[8] Военный министр.
[9] Морской министр.
[10] [11] Начальники дивизий.
[12] Генерал для поручений на Северном фронте и в Ставке.
[13] Имеется в виду комиссия, работавшая под началом военного министра Поливанова. (Прим. ред.).

4) Все военнослужащие пользуются свободой совести, а потому никто не может быть преследуем за исповедуемое им верование и принуждаем к присутствию при богослужениях и совершении религиозных обрядов какого-либо вероисповедания. Участие в общей молитве не обязательно.

5) Все военнослужащие в отношении своей переписки подчиняются правилам, общим для всех граждан.

6) Все без исключения печатные издания (периодические или непериодические) должны беспрепятственно передаваться адресатам.

7) Всем военнослужащим предоставляется право ношения гражданского платья вне службы; но военная форма остается обязательною во всякое время для всех военнослужащих, находящихся в действующей армии и в военных округах, расположенных на театре военных действий.

Право разрешать ношение гражданского платья военнослужащим в некоторых крупных городах, находящихся на театре военных действий, предоставляется главнокомандующим армиями фронтов или командующим флотами. Смешанная форма ни в коем случае не допускается.

8) Взаимоотношения военнослужащих должны основываться при строгом соблюдении воинской дисциплины на чувстве достоинства граждан свободной России и на взаимном доверии, уважении и вежливости.

9) Особые выражения, употребляющиеся как обязательные для ответов одиночных людей и команд вне строя и в строю как, например, «так точно», «никак нет», «не могу знать», «рады стараться», «здравия желаем», «покорно благодарю» и т. п. заменяются общеупотребительными: «да», «нет», «не знаю», «постараемся», «здравствуйте» и т. п.

10) Назначение солдат в денщики отменяется.

Как исключение, в действующей армии и флоте, в крепостных районах, в лагерях, на кораблях и на маневрах, а также на окраинах, в тех местностях, в которых нет возможности нанять прислугу (в последнем случае невозможность этого определяется полковым комитетом), офицерам, военным врачам, военным чиновникам и духовенству разрешается иметь вестового для личных услуг, назначаемого по обоюдному соглашению вестового и лица, к которому он назначается, с платой также по соглашению, но не более одного вестового на каждого из упомянутых чинов.

Вестовые для ухода за собственными офицерскими лошадьми, положенными по должности, сохраняются как в действующей армии, так и во внутренних округах и назначаются на тех же основаниях, как и вестовые для личных услуг.

11) Вестовые для личных услуг не освобождаются от боевой службы.

12) Обязательное отдание чести, как отдельными лицами, так и командами отменяется.

Для всех военнослужащих взамен обязательного отдания воинской чести устанавливается взаимное добровольное приветствие.

Примечание: 1. Отдание воинских почестей командами и частями при церемониях, похоронах и т. п. случаях сохраняется; 2. Команда «смирно» остается во всех случаях, предусмотренных строевыми уставами.

13) В военных округах, не находящихся на театре военных действий, все военнослужащие в свободное от занятий службы и нарядов время имеют право отлучаться из казармы и с кораблей в гавани, но лишь осведомив об этом соответствующее начальство и получив надлежащее удостоверение личности.

В каждой части должна оставаться рота или вахта (или соответствующая ей часть) и кроме того, в каждой роте, сотне, батарее и т. д. должна оставаться еще и ее дежурная часть.

С кораблей, находящихся на рейдах, увольняется такая часть команды, какая не лишает корабля возможности, в случаях крайней необходимости, немедленно сняться с якоря и выйти в море.

14) Никто из военнослужащих не может быть подвер-

гнут наказанию или взысканию без суда. Но в боевой обстановке начальник имеет право под своей личной ответственностью принимать все меры, до применения вооруженной силы включительно, против неисполняющих его приказания подчиненных. Эти меры не почитаются дисциплинарными взысканиями.

15) Все наказания, оскорбительные для чести и достоинства военнослужащего, а также мучительно и явно вредные для здоровья, не допускаются [14].

Примечание: из наказаний, упомянутых в уставе дисциплинарном, постановка под ружье отменяется.

16) Применение наказаний, не упомянутых в уставе дисциплинарном, является преступным деянием, и виновные в нем должны предаваться суду. Точно так же должен быть предан суду всякий начальник, ударивший подчиненного в строю или вне строя.

17) Никто из военнослужащих не может быть подвергнут телесному наказанию, не исключая и отбывающих наказания в военно-тюремных учреждениях.

18) Право назначения на должности и, в указанных законом случаях, временного отстранения начальников всех степеней от должностей принадлежит исключительно начальникам. Точно также они одни имеют право отдавать распоряжения, касающиеся боевой деятельности и боевой подготовки части, ее обучения, специальных ее работ, инспекторской и хозяйственной частей. Право же внутреннего самоуправления, наложения наказания и контроля в точно определенных случаях (приказы по воен. ведомству 16 апр. № 213 и 8 мая с. г. № 274) принадлежит выборным войсковым организациям.

Объявляя настоящее общее положение, предписываю принять его (как и правила, установленные приказом по военному ведомству с. г. № 114) в основание при пересмотре уставов и законоположений, определяющих внутренний быт и служебную деятельность военнослужащих, а равно дисциплинарную и уголовную их ответственность.

Военный и морской министр А. Керенский.

Эта «декларация прав», давшая законное признание тем больным явлениям, которые распространились в армии — где частично, где в широких размерах, путем бунта и насилия, или, как принято было выражаться, «в порядке революционном»,— окончательно подорвала все устои старой армии. Она внесла безудержное политиканство и элементы социальной борьбы в неуравновешенную и вооруженную массу, уже почувствовавшую свою грубую физическую силу. Она оправдывала и допускала безобразно широкую проповедь — устную и печатную — антигосударственных, антиморальных и антиобщественных учений, даже таких, которые по существу отрицали и власть и само бытие армии. Наконец, она отняла у начальников дисциплинарную власть, передав ее выборным коллегиальным организациям и лишний раз, в торжественной форме бросив упрек командному составу, унизила и оскорбила его.

«Пусть самые свободные армия и флот в мире,— сказано было в послесловии Керенского,— докажут, что в свободе сила, а не слабость, пусть выкуют новую железную дисциплину долга, поднимут боевую мощь страны».

И «великая молчальница», как образно и верно характеризуют французы существо армии, заговорила, зашумела еще громче, подкрепляя свои требования угрозами, оружием и пролитием крови тех, кто имел мужество противостоять ее безумию.

«Декларация» — творчество коллективное, зародившееся в недрах Совета, но в котором повинен и офицерский элемент — преимущественно тот, что в содружестве и в угодничестве перед революционной демократией искал выхода своему «непротивлению» или честолюбивым помыслам. Первый раз декларация почти в той же редакции, которая приведена в приказе, была оглашена еще 13 марта

[14] Закон и раньше предусматривал и карал эти правонарушения.

на совещании офицеров и солдат петроградского гарнизона, под председательством подполковника генерального штаба Гущина. В силу угодничества или забитости петроградского офицерства, ошеломленного событиями и еще не разобравшегося в них, чтение декларации не вызвало ни страстных речей, ни сколько-нибудь сильного протеста. Были внесены лишь некоторые поправки и принята «при общем энтузиазме» резолюция об «установленном прочном братском единении между офицерами и солдатами»...

Проект декларации поступил в поливановскую комиссию, которая разрабатывала его совместно с военной секцией Исполнительного комитета совета рабочих и солдатских депутатов в течение почти двух месяцев, причем офицерский состав комиссии проявил преступный оппортунизм, который не раз приводил в удивление случайных участников заседаний.

В конце апреля проект в окончательной редакции был прислан Гучковым на заключение в Ставку. Мы дали горячую отповедь, в которой излили все свои душевные муки — Верховный Главнокомандующий и я — всю скорбь за беспросветное будущее армии. «Декларация — последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии»,— таков был окончательный наш вывод. Гучков 1 мая сложил с себя звание военного министра, «не желая разделять ответственности за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины», в частности не желая подписывать декларацию.

Ставка разослала проект декларации главнокомандующим фронтами для ознакомления, после чего генерал Алексеев вызвал их в Могилев, чтобы совместно обсудить создавшееся роковое положение.

Историческое заседание это состоялось 2 мая [15]. Безысходной грустью и жутью повеяло от всех спокойных по форме и волнующих по содержанию речей, рисующих крушение русской армии. Генерал Брусилов тихим голосом, в котором звучала искренняя, непритворная боль, закончил свою речь словами: «Но все это можно перенести, есть еще надежда спасти армию и даже двинуть ее в наступление, если только не будет издана декларация... Но если ее объявят — нет спасения. И я не считаю тогда возможным оставаться ни одного дня на своем посту»...

Последняя фраза, помню, вызвала горячий протест генерала Щербачева, который доказывал, что уходить с поста нельзя; что, как бы ни было тяжело и даже безысходно положение, вожди не могут бросить армию...

Кто-то подал мысль — всем главнокомандующим ехать немедленно в Петроград и обратиться к правительству с твердым предостерегающим словом и с решительными требованиями. Такая демонстрация должна была по мысли предлагающего произвести большое впечатление и, может быть, остановить разрушающее течение военного законодательства. Ему возражали: прием опасный, это наша последняя ставка, и неудача выступления может дискредитировать окончательно военное командование... Но предложение было все-таки принято, и 4 мая состоялось в Петрограде соединенное заседание всех главнокомандующих [16], Временного правительства и Исполнительного комитета с. р. и с. д.

У меня сохранился отчет об этом заседании, который я привожу ниже в подробных извлечениях, ввиду большого его интереса: в нем нарисована картина состояния армии в том виде, как она представлялась всем вождям ее, непосредственно во время хода событий вне, следовательно, влияния меняющего перспективу времени; в нем же вырисовываются некоторые характерные черты лиц, стоявших у власти.

Речи главнокомандующих — почти те же по содержанию, что и в Ставке, только гораздо менее выпуклы и менее откровенны. А генерал Брусилов значительно смягчил свои обвинения, потерял пафос, «приветствовал от всего сердца коалиционное правительство» и не повторил уже своей угрозы выйти в отставку.

[15] Присутствовали: Верховный Главнокомандующий генерал Алексеев, генералы: Брусилов, Щербачев, Гурко, Драгомиров, Юзефович и несколько чинов Ставки.
[16] Кроме Кавказского фронта.

Отчет

Генерал Алексеев. Я считаю необходимым говорить совершенно откровенно. Нас всех объединяет благо нашей свободной родины. Пути у нас могут быть различны, но цель одна — закончить войну так, чтобы Россия вышла из нее хотя бы и уставшею и потерпевшею, но отнюдь не искалеченной.

Только победа может дать нам желанный конец. Тогда только возможна созидательная работа. Но победу надо добыть; это же возможно только в том случае, если выполняются приказания начальства. Если начальству не подчиняются, если его приказания не выполняются, то это не армия, а толпа.

Сидеть в окопах — не значит идти к концу войны. Противник снимает с нашего фронта и спешно отправляет на англо-французский — дивизию за дивизией, а мы продолжаем сидеть. Между тем, обстановка наиболее благоприятна для нашей победы. Но для этого надо наступать.

Вера в нас наших союзников падает. С этим приходится считаться в области дипломатической, а мне особенно в области военной.

Казалось, что революция даст нам подъем духа, порыв и следовательно победу. Но, к сожалению, в этом мы пока ошиблись. Не только нет подъема и порыва, но выплыли самые низменные побуждения — любовь к своей жизни и ее сохранению. Об интересах родины и ее будущем забывается. Причина этого явления та, что теоретические соображения были брошены в массу, истолковавшую их неправильно. Лозунг — «без аннексий и контрибуций» приводит толпу к выводу — «для чего жертвовать теперь своею жизнью».

Вы спросите,— где же власть, где убеждения, где, может быть, даже физическое принуждение? Я должен сказать, что реформы, которые армия еще не успела переварить, расшатали ее, ее порядок и дисциплину. Дисциплина же составляет основу существования армии. Если мы будем идти по этому пути дальше, то наступит полный развал. Этому способствует и недостаток снабжения. Надо учесть еще и происшедший в армии раскол. Офицерство угнетено, а, между тем, именно офицеры ведут массу в бой. Надо подумать еще и о конце войны. Все захотят хлынуть домой. Вы уже знаете, какой беспорядок произвела недавно на железных дорогах масса отпускных и дезертиров. А ведь тогда захотят одновременно двинуться в тыл несколько миллионов человек. Это может внести такой развал в жизнь страны и железных дорог, который трудно учесть даже приблизительно. Имейте еще в виду, что возможен при демобилизации и захват оружия.

Главнокомандующие приведут вам ряд фактов, характеризующих положение армий. Затем я дам заключение и выскажу наши пожелания и требования, выполнение которых является необходимым.

Генерал Брусилов. Прежде всего я должен нарисовать вам, что представляет собою офицерский и солдатский состав армий в данное время. Кавалерия, артиллерия и инженерные войска сохранили до 50% кадровых. Но совершенно иное в пехоте, которая составляет главную массу армий. Большие потери — убитыми, ранеными и пленными, значительное число дезертиров — все это привело к тому, что попадаются полки, где состав обернулся 9—10 раз, причем в ротах уцелело только от 3 до 10 кадровых солдат. Что касается прибывающих пополнений, то обучены они плохо, дисциплина у них еще хуже. Из кадровых офицеров в полках уцелело по 2—4, да и то зачастую раненых. Остальные офицеры — молодежь, произведенная после краткого обучения и не пользующаяся авторитетом, ввиду неопытности.

И вот на эту среду выпала задача переустроиться на новый лад. Задача эта оказалась пока непосильной. Переворот, необходимость которого чувствовалась, который даже запоздал, упал все-таки на неподготовленную почву. Мало развитой солдат понял это, как освобождение «от офицерского гнета». Офицеру же нанесли обиду — его лишили прав воздействия на подчиненных. Начались недоразумения. Были, конечно, виноватые из старых начальников, но все старались идти навстречу перевороту. Если и были шероховатости, то объясняется это влиянием со стороны. Приказ Совета № 1 смутил армию. Приказ № 2 отменил этот приказ для фронта. Но у солдат явилась мысль, что начальство что-то скрывает — одни хотят дать права, другие отнимают.

Офицеры встретили переворот радостно. Если бы мы не шли навстречу перевороту так охотно, то, может быть, он не прошел бы так гладко. А между тем оказалось, что свобода дана только солдатам, а офицерам осталось довольствоваться только ролью каких-то париев свободы.

Свобода на несознательную массу подействовала одуряюще. Все знают, что даны большие права, но не знают какие, не интересуются и обязанностями. Офицерский состав оказался в трудном положении. 15—20% быстро приспособились к новым порядкам по убеждению; вера в них солдат была раньше, сохранилась и теперь. Часть офицеров начала заигрывать с солдатами, послаблять и возбуждать против своих товарищей. Большинство же, около 75% не умело приспособиться сразу, обиделось, спряталось в свою скорлупу и не знает, что делать. Мы принимаем меры освободить их из этой скорлупы и слить с солдатами, так как офицеры нужны нам для продолжения войны, а других офицеров у нас сейчас нет. Многие из офицеров не подготовлены политически, многие не умеют говорить — все это мешает взаимному пониманию. Необходимо разъяснить и внушить массе, что свобода дана всем. Я знаю солдата 45 лет, люблю его и постараюсь слить с офицерами, но Временное правительство, Государственная Дума и особенно Совет солдатских и рабочих депутатов также должны приложить все силы, чтобы помочь этому слиянию, которое нельзя отсрочивать во имя любви к родине.

Это необходимо еще и потому, что заявление «без аннексий и контрибуций» необразованная масса поняла своеобразно.

Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Комитеты пошли против этого течения, но им заявили, что их сместят. Я долго убеждал полк и когда спросил, согласны ли со мною, то у меня попросили разрешения дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат — «мир во что бы то ни стало, долой войну».

При дальнейшей беседе одним из солдат было заявлено: «Сказано без аннексий, зачем же нам эта гора». Я ответил: «Мне эта гора тоже не нужна, но надо бить занимающего ее противника».

В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так: «Неприятель у нас хорош и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей; зачем же калечиться?»

Но этот случай единичный. Чаще войска, особенно находящиеся в резерве, отзывчиво относятся ко взглядам о необходимости продолжать войну.

Воззвания противника, написанные хорошим русским языком, братанье с противником и распространяемая в большом количестве экземпляров газета «Правда» приводят к тому, что несмотря на то, что офицерский состав желает драться, влияния он не имеет. Наступление является поэтому делом чрезвычайно трудным.

Необходима дисциплина; нежелательна старая, но нужно подтвердить авторитет офицеров правительству и Совету. Если этого не будет, то исчезнет, что есть.

Наступление или оборона? Успех возможен только при наступлении. При пассивной обороне всегда прорвут фронт. Если войска дисциплинированны, то прорыв можно еще ликвидировать. Но не надо забывать, что теперь дисциплинированных войск нет, они не обучены, офицеры не имеют власти. Успех противника при таких условиях легко может повести к катастрофе. Поэтому необходимо внушить массе взгляд, что надо не обороняться, а наступать.

Один из выдающихся корпусов занимал пассивный участок. Когда его хотели сменить, с целью поставить на активный участок, то корпус отказался уйти, желая остаться на прежнем участке, и одновременно разослал телеграммы «всем».

Армия должна знать, что неисполнения приказов никто не одобряет, и тогда дисциплина, в размерах необходимых нам для войны, восстановится. Я делаю все. Но взываю к Совету помочь мне выполнить долг, так как мои усилия недостаточны.

Кроме того, наступлению мешают неподготовленность тыла: запасов продовольствия нет — мы живем изо дня в день; конский состав в ужасающем виде,— есть даже падеж от бескормицы; не хватает обозов; отпущены рабочие руки, благодаря этому дороги в отчаянном состоянии; нехватает людей, когда как противник увеличивает срок службы, мы же его уменьшаем.

Итак, нам недостает многого. Но все-таки численное превосходство на нашей стороне. Если противник справится с французами и англичанами, то затем бросится на нас и тогда нам будет нехорошо.

Нам нужно сильное правительство, на которое мы могли бы опираться, и мы приветствуем от всего сердца коалиционное правительство. Власть только тогда крепка, когда опирается на армию, олицетворяющую вооруженную силу народа.

Генерал Драгомиров. Я дополню картину, нарисованную генералом Брусиловым, оценкой положения на Риго-Двинском фронте, прикрывающем Петроград. Распоряжения к нам приходили всегда позже, опережаемые живой почтой. В армиях создалось впечатление, что начальство скрывает получаемые приказы, и создался раскол между офицерами и солдатами. После больших усилий удалось привести армию в более или менее нормальное состояние. Под словом «нормальное состояние» я понимаю лишь прекращение эксцессов.

Господствующее настроение в армии — жажда мира. Популярность в армии легко может завоевать всякий, кто будет проповедовать мир без аннексий и предоставление самоопределения народностям. Своеобразно поняв лозунг «без аннексий», не будучи в состоянии уразуметь положение различных народов, темная масса все чаще и чаще задает вопрос: «почему к нашему заявлению не присоединяется демократия наших союзников?» Стремление к миру является настолько сильным, что приходящие пополнения отказываются брать вооружение — «зачем нам, мы воевать не собираемся». Работы прекратились. Необходимо принимать даже меры, чтобы не разбирали обшивку в окопах и чинили дороги.

В одном из отличных полков на принятом участке оказалось красное знамя с надписью «мир во что бы то ни стало». Офицер, разорвавший это знамя, должен был спасаться бегством. Целую ночь группы солдат пятигорцев разыскивали по Двинску этого офицера, укрытого штабом.

Ужасное слово «приверженцы старого режима» выбросило из армии лучших офицеров. Мы все желали переворота, а между тем много офицеров хороших, составляющих гордость армии, ушли в резерв только потому, что старались удержать войска от развала или же не умели приспособиться.

Но еще более опасны медленные, тягучие настроения. Страшно развился эгоизм. Каждая часть думает только о себе. Ежедневно приходит масса депутаций — о смене, о снабжении и т. п. Всех приходится убеждать и это чрезвычайно затрудняет работу командного состава. То, что раньше выполнялось беспрекословно, теперь вызывает целый торг. Приказание о переводе батареи на другой участок сейчас же вызывает волнение — «Вы ослабляете нас, значит изменники». Когда оказалось необходимым вывести в резерв на случай десанта противника, ввиду слабости Балтийского флота, один корпус, то сделать это было нельзя, все заявляли — «мы и без того растянуты, а если еще растянемся, то не удержим противника». А между тем раньше перегруппировки удавались нам совершенно легко. В сентябре 1915 года с Западного фронта было выведено 11 корпусов, и это спасло нас от разгрома, который мог бы решить участь всей войны. Теперь это невозможно. Каждая часть реагирует на малейшее изменение.

Трудно заставить сделать что-либо во имя интересов Родины. От смены частей, находящихся на фронте, отказываются под самыми разнообразными

предлогами: плохая погода; не все вымылись в бане. Был даже случай, что одна часть отказалась идти на фронт под тем предлогом, что два года тому назад уже стояла на позиции под Пасху. Приходится устранвать торговлю комитетов заинтересованных частей.

Наряду с этим сильно развилось искание места полегче. Когда распространился слух о формировании армии в Финляндии, то были устранены солдатами командиры нескольких полков, отказавшиеся будто бы идти в Финляндию и пожелавшие, ради личных выгод, занять позицию.

При известии о том, что в одной из казачьих областей было наводнение, причем сильно пострадали несколько станиц, целый полк казаков потребовал отправления на родину. После переговоров удалось прийти к соглашению — отправить по два человека на взвод.

Гордость принадлежности к великому народу потеряна, особенно в населении поволжских губерний. «Нам не надо немецкой земли, а до нас немец не дойдет; не дойдет и японец».

С отдельными лицами можно говорить и удается добиваться желательных результатов. Но с общим настроением удается справляться лишь с большим трудом.

Недостойно ведет себя лишь очень незначительная часть офицеров, стараясь захватить толпу и играть на ее низменных чувствах. В одном из полков был вынесен приговор суда общества офицеров об удалении из полка одного из офицеров. Офицер этот, собрав группу солдат, апеллировал к ним, призывая заступиться за него, изгоняемого из полка за то будто бы, что он защищал солдатские интересы. С большим трудом удалось успокоить собравшуюся толпу солдат, но офицера пришлось оставить в полку.

Выборное право нигде не было проведено полностью, но явочным порядком местами вытесняли неугодных, обвинив их в приверженности к старому режиму, а местами оставили начальников, признанных безусловно непригодными и подлежащими увольнению. Не было никакой возможности заставить отказаться от просьб об оставлении таких непригодных лиц.

Что касается эксцессов, то были отдельные попытки стрельбы по своим офицерам.

Это факты тяжелые. Но нужно помнить, что вот уже два месяца армии наносятся тяжелые удары и вместо пользы армии, переворот принес колоссальный вред. Если так будет продолжаться дальше, то это — начало конца, армия прекратит существование, так как нельзя будет думать не только о наступлении, но даже и об обороне.

Чувство самосохранения развивается до потери самого элементарного стыда, принимает панический характер.

Из 14 дивизий описанные явления наблюдались в шести.

Немцы учли и отлично использовали появившееся у нас стремление к миру. В период развала и разрухи началось братание, поддерживавшее это мирное направление, а затем уже, с чисто провокационными целями, германцы стали присылать парламентеров.

Но есть явления и отрадные, и если мы получим поддержку, то разовьем их. Хорошо настроены отдельные национальности — латыши, поляки, украинцы.

Самое главное — вернуть командному составу авторитет. Во всех последних актах проглядывает забота только о солдате.

Мой отец еще в 60-х годах прошлого столетия начал борьбу за раскрепощение солдата и введение разумной, а не палочной дисциплины. Ему, тогда еще капитану генерального штаба, Александр II сказал: «Я требую от тебя дисциплины, а не либеральных мыслей». Не мне — его сыну — стоять за сохранение старого порядка, но я не могу сочувствовать развалу армии. Все, что теперь делается, губит армию. Единственное упоминание об офицерах — благодарность Гучкова — явилось как бы насмешкой над офицерами, попавшими в резерв.

Так больше продолжаться не может. Нам нужна власть. Мы воевали за

Родину. Вы вырвали у нас почву из-под ног, потрудитесь ее теперь восстановить. Раз на нас возложены громадные обязательства, то нужно дать власть, чтобы мы могли вести к победе миллионы порученных нам солдат.

Генерал Щербачев. Нас привело сюда сознание важности момента и лежащей на нас громадной ответственности. Нам необходимо воскресить былую славу русской армии, и мы глубоко убеждены, что уедем отсюда с твердой уверенностью, что наши доводы приняты во внимание.

Недавно назначенный, я успел объехать все подчиненные мне русские армии, и впечатление, которое составилось у меня о нравственном состоянии войск и их боеспособности, совпадает с теми, которые только что были вам подробно изложены.

Главнейшая причина этого явления — неграмотность массы. Конечно, не вина нашего народа, что он необразован. Это всецело грех старого правительства, смотревшего на вопросы просвещения глазами министерства внутренних дел. Но с фактами малого понимания массой серьезности нашего положения, с фактами неправильного истолкования даже верных идей необходимо считаться.

Я не буду приводить вам много примеров, я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войсках название «железной» и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать.

Подобный же случай произошел на днях в соседней с этой дивизией, тоже очень хорошей стрелковой дивизии. Начатые в этой дивизии подготовительные работы были прекращены после того, как выборными комитетами, осмотревшими этот участок, было вынесено постановление,— прекратить их, так как они являются подготовкой для наступления.

Если мы не хотим развала России, то мы должны продолжать борьбу и должны наступать. Иначе получается дикая картина. Представители угнетенной России доблестно дрались; свергнув же правительство, стремившееся к позорному миру, граждане свободной России не желают драться и оградить свою свободу. Дико, странно, непонятно! Но это так.

Причина — исчезла дисциплина; нет доверия к начальникам; Родина — для многих пустой звук.

Эти условия тяжелы вообще, но особенно тяжелы они на румынском фронте, где приходится считаться не только с более тяжелыми, чем на других фронтах, военными условиями, но и с очень запутанной политической обстановкой.

Горный, непривычный для равнинного жителя театр войны угнетающе давит на психику войск; часто слышатся голоса «уберите нас из этих проклятых гор». Продовольственные затруднения, создавшиеся благодаря тому, что приходится базироваться на одну железнодорожную линию, усиливают это недовольство. То, что мы ведем борьбу на территории Румынии, истолковывается как борьба «за Румынию», что также не встречает сочувствия. Не всегда доброжелательное отношение местных жителей истолковывается как нежелание помочь тем, кто сражается за них же. Возникают трения, иногда разрастающиеся вследствие того, что часть румын считает нас виновниками тех поражений, которые они понесли и из-за которых они лишились большей части своей территории и достояния.

Румынское правительство и представители союзников знают и учитывают происходящее у нас в армии брожение, и отношение к нам союзников меняется. Я лично замечаю, что между нами и союзниками пробежала кошка: нет прежнего уважения к нам, нет веры в мощь русской армии.

Я высоко держу власть, но, если развал армии продолжится, то мы не только потеряем союзников, но и сделаем из них врагов. А это грозит нам тем, что мир будет заключен на наш счет.

В 1914 году мы прошли всю Галицию. В 1915 году при отступлении мы забрали на Юго-западном фронте 100 000 пленных,— сами судите, что это было за отступление и каков был дух войск. Летом 1916 года мы спасли от

разгрома Италию. Неужели же теперь мы изменим общему делу союзников и принятым на себя обязательствам?

Развал армии налицо, но он поправим. И если бы нам это удалось, то через $1^1/_2$ месяца наши доблестные офицеры и солдаты снова пойдут вперед. История будет поражена, с какими ничтожными средствами мы добились блестящих результатов в 1916 году. Если вы хотите поднять русскую армию и превратить ее в мощный организм, который продиктует условия мира, то вы должны нам помочь. Дело поправимо, но лишь в том случае, если начальники получат одобрение и доверие. Мы надеемся, что вся верховная власть в армии будет передана Верховному Главнокомандующему, который один может распоряжаться войсками. Мы исполним волю Временного правительства, но дайте нам могучую поддержку.

Генерал Гурко. С чувством грусти пришли мы сюда. Вы видите, что авторитет военных начальников глубоко подорван. Я думал, что волна революции уже достигла верха и дальше пойдет улучшение, но — я ошибся.

Если вы хотите продолжать войну до желательного нам конца, то необходимо вернуть армии власть.

А между тем мы получили проект декларации. Гучков не нашел возможным подписать ее и ушел. Я должен сказать, что, если штатский человек ушел, отказавшись ее подписать, то для нас, начальников, она неприемлема. Она создаст полное разрушение всего уцелевшего.

А ведь она должна дойти до самой маленькой ячейки — до роты.

Коснусь вопроса об отдании чести. Можете назвать его приветствием, но оно должно быть обязательным. В самом элементарном обществе установлено взаимное приветствие и считается оскорблением, если один из знакомых умышленно не приветствует другого. Войдите в шкуру тех, кто на этой почве столкнется в бою. Какие отношения признаются декларацией нормальными, если узаконить это неуважение к начальнику.

Дом не строят из одних кирпичей. Если вы введете декларацию, то армия рассыплется в песок.

Надо торопиться. Время не терпит. Необходимо создать нормальные условия для совместной работы тех, кто вместе отдает Родине свою жизнь и свое здоровье. Если вы не сделаете этого теперь, то скоро уже ничего не будет.

Я расскажу вам один эпизод из периода, когда я временно исполнял должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего.

13 февраля с. г. я долго убеждал бывшего царя дать ответственное министерство. Как последний козырь я выставил наше международное положение, отношение к нам союзников, указал на возможные последствия, но тогда моя карта была бита.

Наше международное положение я хочу охарактеризовать теперь.

Прямых указаний, как реагируют наши союзники на наш отказ от продолжения борьбы, нет. Мы не можем потребовать, чтобы они высказали свои сокровенные мысли, но, подобно тому, как на войне нам часто приходится решать вопрос «за противника», так и здесь пытаемся разобраться, решая «за союзников».

Начать было легко, но волна революции захлестнула нас. Я надеюсь, что благодаря здравому смыслу мы переживем все. Если же этого не будет, если союзники убедятся в нашем бессилии, то при принципах реальной политики у них будет единственный выход — заключить сепаратный мир. И при этом они даже не нарушат обязательств, так как ведь мы обязались драться совместно, а теперь стоим. Если же один дерется, а другой, как какой-то китайский дракон, сидящий в окопах, ожидает результата драки, то согласитесь, что у того, кто дерется, может возникнуть мысль о сепаратном мире. И этот мир будет заключен, конечно, на наш счет. От наших союзников австро-германцы ничего получить не могут — финансы расстроены, а естественных богатств нет; наши финансы тоже расстроены, но у нас есть огромные нетронутые естественные богатства. Но к такому решению союзники придут, конечно, в крайности, так как это

будет не мир, а длительное перемирие. Отъевшись за наш счет, воспитанные на идеалах XIX века, германцы вновь обрушатся на нас и наших бывших союзников.

Вы, может быть, возразите — если это возможно, то отчего бы не заключить нам сепаратный мир раньше. Тут я прежде всего затрону нравственную сторону. Ведь обязалась Россия, а не ее бывший самодержец. Мне был известен, когда вы этого еще не знали, факт двоедушия Романова, заключившего вскоре после 1904—1905 года союз с Вильгельмом, когда еще действовал франко-русский союз. Свободный русский народ, сам ответственный за свои поступки, не может отступиться от своих обязательств. Но если даже откинуть моральную сторону, то остается сторона физическая. Если только мы начнем переговоры, то в тайне это остаться не может. Через 2—3 дня об этом узнают наши союзники. Они тогда также вступят в переговоры, и начнется аукцион — кто больше даст. Союзники, конечно, богаче нас, но борьба там еще не кончена, а кроме того за наш счет наши противники могут получить значительно больше.

С точки зрения именно международного положения нам надо доказать, что мы еще можем воевать. Я не буду продолжать революционирования армии, так как, если это продолжится, то мы можем оказаться не в состоянии не только наступать, но даже и обороняться. Оборона еще гораздо труднее. В 1915 году мы отступали — начальники приказывали и их слушали; вы могли требовать с нас, так как мы воспитали армию. Теперь положение иное — вы создали нечто совершенно новое и отняли у нас власть; накладывать теперь ответственность на нас нельзя — она ляжет всецело на ваши головы.

Вы говорите — «революция продолжается». Послушайте нас — мы больше знакомы с психологией войск, мы пережили с ними и славные и печальные страницы. Приостановите революцию и дайте нам, военным, выполнить до конца свой долг и довести Россию до состояния, когда вы можете продолжать свою работу. Иначе мы вернем вам не Россию, а поле, где сеять и собирать будет наш враг, и вас проклянет та же демократия. Так как именно она пострадает, если победят германцы; именно она останется без куска хлеба. Ведь крестьяне всегда просуществуют своей землей.

Про прежнее правительство говорили, что оно «играет в руку Вильгельма». Неужели то же можно сказать про вас? Что же это за счастье Вильгельму! Играют ему в руку и монархи, и демократия.

Армия накануне разложения. Отечество в опасности и близко к гибели. Вы должны помочь. Разрушать легче, и если вы умели разрушить, то умейте и восстановить.

Генерал Алексеев. Главное сказано, и это правда. Армия на краю гибели. Еще шаг — и она будет ввергнута в бездну, увлечет за собою Россию и ее свободы, и возврата не будет. Виноваты — все. Вина лежит на всем, что творилось в этом направлении за последние 2½ месяца. Мы сделали все возможное, отдаем и теперь все силы, чтобы оздоровить армию. Мы верим А. Ф. Керенскому, что он вложит все силы ума, влияния и характера, чтобы помочь нам. Но этого недостаточно. Должны помочь и те, кто разлагал. Тот, кто издавал приказ № 1, должен издать ряд приказов и разъяснений.

Армия — организм хрупкий; вчера она работала; завтра она может обратиться против России. В этих стенах можно говорить о чем угодно, но нужна сильная твердая власть; без нее невозможно существовать. До армии должен доходить только приказ министра [17] и главнокомандующего, и мешать этим лицам никто не должен.

Мы все отдаем себя Родине. Если мы виноваты, предавайте суду, но не вмешивайтесь. Если хотите, то назначьте таких, которые будут делать перед вами реверансы.

Скажите здоровое слово, что без дисциплины армия не может существовать. Дух критики заливает армию и должен прекратиться, иначе он погубит ее.

[17] Ген. Алексеев мирился даже с установлением официально власти военного министра над армией в военное время.

Если будет издана декларация, то, как говорил генерал Гурко, все оставшиеся маленькие устои, надежды рухнут. Погодите, время будет. То, что уже дано, не переварено за эти 2½ месяца. У нас есть уставы, где указаны и права и обязанности; все же появляющиеся теперь распоряжения говорят только о правах.

Выбейте идею, что мир придет сам по себе. Кто говорит — не надо войны, тот изменник; кто говорит — не надо наступления, тот трус.

У вас есть люди убежденные; пусть приедут к нам и не метеором промелькнут, а поживут и устранят сложившиеся предрассудки. У вас есть печать — пусть поднимет она любовь к Родине и потребует исполнения каждым его обязанностей.

Материальные недостатки мы переживем; духовные же требуют немедленного лечения. Если в течение ближайшего месяца мы не оздоровеем, то вспомните, что говорил генерал Гурко о нашем международном положении. Работать мы будем; помогите же нам и вы.

Кн. Львов. Мы выслушали слово главнокомандующих, понимаем все сказанное и исполним свой долг, во имя родины, до конца.

Церетели. Тут нет никого, кто способствовал бы разложению армии, кто играл бы в руку Вильгельма.

Я слышал упрек, что Совет способствовал разложению армии. Между тем, все признают, что если у кого в настоящее время и есть авторитет, то только у Совета. Что было бы, если бы его не было? К счастию, демократия помогла делу, и у нас есть вера в спасение.

Как идти вам? У вас могут быть два пути: один — отвергнуть политику Совета, но тогда у вас не будет никакого источника власти, чтобы собрать армию и направить ее для спасения Родины; другой путь — это путь верный, испытанный нами, путь единения с народными желаниями и чаяниями.

Если командный состав не объяснил ясно, что вся сила армии, поставленной для защиты страны, в наступлении, то нет такой магической палочки, которая могла бы это сделать.

Говорят, что лозунг «без аннексий и контрибуций» внес разложение в армию, в массы. Возможно, что он был понят неправильно, но надо было разъяснить, что это — конечная цель; отказаться же от этого лозунга нельзя. Мы сами сознаем, что Родина в опасности, но защита ее — дело всего русского народа.

Власть должна быть единой и пользоваться доверием, но путь для этого — разрыв со старой политикой. Единение может быть основано только на доверии, которого ничем нельзя купить.

Идеалы Совета не есть идеалы отдельных кучек; это идеалы всей страны; отказаться от них, значит отказаться от всей страны.

Вам, может быть, был бы понятен приказ № 1, если бы вы знали обстановку, в которой он был издан. Перед нами была неорганизованная толпа, и ее надо было организовать.

Масса солдат хочет продолжать войну. Те, кто не хочет этого, не правы, и я не хочу думать, чтобы не хотели они из-за трусости. Это результаты недоверия. Дисциплина должна быть. Но если солдат поймет, что вы не боретесь против демократии, то он поверит вам. Этим путем можно спасти армию. Этим путем Совет укрепил свой авторитет.

Есть только один путь спасения — путь доверия и демократизации страны и армии. Совет заслужил доверие этим путем и имеет теперь возможность проводить свои взгляды, и пока это так, еще не все потеряно. Укрепляйте же доверие к Совету!

Генерал Алексеев. Не думайте, что 5 человек, которые говорили здесь, не присоединились к революции. Мы искренно присоединились и зовем вас к совместной работе. Я сказал — посылайте к нам лучших людей, пусть они работают вместе с нами. Мои слова звучали горечью, но не упреком. Не упрек, а призыв я посылаю вам.

Скобелев. Мы пришли сюда не для того, чтобы слушать упреки. Что про-

исходит в армии, мы знаем. То положение, которое вы описали, действительно внушает тревогу. Достигнуть при всем этом конечных целей, выйти с честью из создавшегося положения, будет зависеть от величия духа русского народа.

Я считаю необходимым разъяснить ту обстановку, при которой был издан приказ № 1. В войсках, которые свергли старый режим, командный состав не присоединился к восставшим и, чтобы лишить его значения, мы были вынуждены издать приказ № 1. У нас была скрытая тревога, как отнесется к революции фронт. Отдаваемые распоряжения внушали опасения. Сегодня мы убедились, что основания для этого были. Необходимо сказать правду: мероприятия командного состава привели к тому, что за 2½ месяца армия не уразумела происшедшего переворота.

Мы понимаем, что вам нелегко. Но когда нам говорят — прекратите революцию, то мы должны ответить, что революция не может начинаться и прекращаться по приказу. Революция может войти в свое нормальное русло, когда мозговой процесс революции, как верно здесь было определено, охватит всю Россию, когда ее уразумеют 70% неграмотных.

Мы отнюдь не домогаемся выборного командного состава.

Мы согласны с вами, что у нас есть власть, что мы сумели ее заполучить. Но когда вы поймете задачи революции и дадите уразуметь народу объявленные лозунги, то получите ее и вы.

Народ должен знать, для чего он воюет. Вы ведете армию, чтобы разгромить врага, и вы должны разъяснить, что стратегическое наступление необходимо для осуществления заявленных принципов.

Мы возлагаем надежды на нового военного министра и надеемся, что министр-революционер продолжит нашу работу и ускорит мозговой процесс революции в тех головах, в которых он протекает слишком медленно.

Военный министр Керенский. Я должен сказать присутствующим, как министр и как член правительства, что мы стремимся спасти страну и восстановить активность и боеспособность русской армии. *Ответственность мы берем на себя, но получаем и право вести армию и указывать ей путь дальнейшего развития.*

Тут никто никого не упрекал. Каждый говорил, что он перечувствовал. Каждый искал причину происходящих явлений. Но наши цели и стремления — одни и те же. Временное правительство признает огромную роль и организационную работу Совета солдатских и рабочих депутатов, иначе я не был бы военным министром. Никто не может бросить упрек этому Совету. Но никто не может упрекать и командный состав, так как офицерский состав вынес тяжесть революции на своих плечах так же, как и весь русский народ.

Все поняли момент. Теперь, когда мои товарищи входят в правительство, легче выполнить то, к чему мы совместно идем. Теперь одно дело — спасти нашу свободу.

Прошу ехать на ваши посты и помнить, что за вами и за армией — вся Россия.

Наша задача — освободить страну до конца. Но этот конец сам не придет, если мы не покажем всему миру, что мы сильны своей силой и духом.

Генерал Гурко. Мы с вами (возражение Скобелеву и Церетели) рассуждаем в разных плоскостях. Главное, основное условие существования армии — дисциплина. Мерило стойкости части, это тот процент потерь, который она может понести, не теряя боеспособности. Я 8 месяцев пробыл в южноафриканских республиках и видел там части двух родов: 1) небольшие, дисциплинированные и 2) добровольческие, недисциплинированные. И вот, в то время, как первые при потерях даже до 50% продолжали вести бой и не теряли боеспособности, вторые, несмотря на то, что составлены были из добровольцев, отдававших себе отчет, за что они сражаются, уже после 10% потерь оставляли ряды и бросали поле битвы: и не было силы, которая могла бы заставить их драться. Вот разница между войсками дисциплинированными и недисциплинированными.

Мы просим дать дисциплину. Мы все делаем и убеждаем. Но необходим и ваш авторитетный голос.

Надо помнить, что если противник перейдет в наступление, то мы рассыплемся, как карточный дом.

Если вы не откажетесь от революционирования армии, то возьмите сами власть в свои руки.

Князь Львов. Цели у нас одни и те же, и каждый выполнит свой долг до конца. Позвольте поблагодарить вас, что вы приехали и поделились с нами.

Заседание окончилось. Главнокомандующие разъехались по фронтам, унося с собою ясное сознание в том, что последняя ставка проиграна. Вместе с тем с того же дня началась травля советскими ораторами и печатью генералов Алексеева, Гурко и Драгомирова, предрешившая оставление ими армии.

9 мая, как я уже говорил, Керенский, отдав предварительно приказ о недопущении ухода со своих постов старших начальников «из желания уклониться от ответственности», утвердил «декларацию».

Какое же впечатление произвело опубликование этого рокового акта?

Керенский *впоследствии* оправдывался тем, что закон был составлен до принятия им поста военного министра и одобрен как Исполнительным комитетом, так и «военными авторитетами», и он не имел никакого основания не утверждать его; словом, был вынужден сделать это. Но я помню не одну из речей Керенского, когда он, считая свой путь наиболее верным, *гордился* своею смелостью, выразившейся в издании закона, «который не осмелился подписать Гучков», — закона, против которого протестовал весь командный состав.

Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов 13 мая отозвался на декларацию восторженным воззванием, в котором убогая мысль остановилась исключительно на вопросе — об отдании чести: «...два месяца мы ждали этого дня... Теперь солдат стал гражданином по закону... Отныне солдат-гражданин освободился от рабского отдания чести, и как равный, свободный, будет приветствовать того, кого желает... Дисциплина в революционной армии будет существовать народным энтузиазмом..., а не обязательным отданием чести»...

Люди с таким кругозором взялись перестраивать армию!

Впрочем, большинство революционной демократии Советов не удовлетворилось декларацией. Ее называли «новым закрепощением солдата». Началась устная и печатная борьба за дальнейшее расширение солдатских прав. Всероссийский съезд Советов признал, что приказ, дав прочную основу для демократизации армии, не подтвердил, однако, еще многих существенных прав солдата-гражданина. Докладчики оборончеcкого блока требовали отвода и аттестации командного состава войсковыми комитетами, свободы слова и в служебное время, а главное, отмены § 14 декларации, предоставляющего начальнику применять в боевой обстановке оружие против подчиненных, не исполняющих приказание... Об отрицательном отношении к закону левого, пораженческого сектора Совета и съезда не приходится уж и говорить.

Либеральная печать, не вникнув в значение закона, отнеслась к нему совершенно несерьезно. А кадетский официоз [18] отозвался даже статьей, в которой выражалось живейшее удовлетворение тем, что декларация «дает каждому солдату возможность участвовать в политической жизни страны, раскрепощает его окончательно от оков старого режима, выводит из затхлой атмосферы прежней казармы на свежий воздух свободы...» Что «армии всех стран мира стоят вдали от политической жизни, тогда как русская армия становится первой армией, живущей всей полнотой политических прав!..» Даже «Новое Время» писало в передовой статье: «Знаменательный день! Сегодня великая армия могучей России стала действительно армией революции!.. Отношения воинов всех степеней отныне слагаются на общей основе — *сознании долга*, равно обязательном

[18] «Речь», 11 мая.

для каждого гражданина. И революционная армия обновленной России пойдет на великое испытание кровью — с верой в победу и мир».

Как трудно было бороться за сохранение армии командному составу, встречавшему даже в кругах, которые считались оплотом попираемой русской государственности, такое грубое непонимание основных начал существования армии!..

Начальники еще ниже опустили головы.

А армия... с удвоенной быстротой покатилась в пропасть.

Глава XXIII. ПЕЧАТЬ И ПРОПАГАНДА ИЗВНЕ

Наряду с аэропланами, танками, удушливыми газами и прочими чудесами военной техники в последней мировой войне появилось новое могучее средство борьбы — пропаганда. Собственно говоря, оно не совсем новое, ибо еще в 1826 г. в заседании английской палаты депутатов министр Каннинг [19] говорил: «Если нам придется участвовать когда-либо в войне, мы соберем под наши знамена всех мятежных, всех основательно или без причины недовольных в каждой стране, которая пойдет против нас». Но теперь это средство достигло необычайного развития, напряжения и организованности, поражая наиболее болезненные и восприимчивые места народной психики. Широко поставленные технически, снабженные огромными средствами органы пропаганды Англии, Франции и Америки, в особенности Англии, вели страшную борьбу словом, печатью, фильмами и... валютой, распространяя эту борьбу на территории вражеские, союзнические и нейтральные, внося ее в области военную, политическую, моральную и экономическую. Тем более что Германия в особенности давала достаточно поводов для того, чтобы пропаганда обладала обильным и неопровержимо уличительным материалом.

Трудно перечислить, даже в общих чертах, тот огромный арсенал идей, которые шаг за шагом, капля по капле углубляли социальную рознь, подрывали государственную власть, подтачивали духовные силы врагов и веру их в победу, разъединяли их союз, возбуждали против них нейтральные державы, наконец, поднимали падающее настроение своих собственных народов. Тем не менее придавать исключительное значение этому моральному воздействию извне, как это делают теперь вожди немецкого народа в оправдание свое, ни в коем случае не следует: Германия потерпела поражение политическое, экономическое, военное и моральное. Только взаимодействие всех этих факторов предрешило фатальный для нее исход борьбы, обратившейся под конец в длительную агонию. Можно было лишь удивляться жизнеспособности немецкого народа, который в силу интеллектуальной мощи и устойчивости политического мышления продержался так долго, пока, наконец, в ноябре 1918 г., «двойной смертельный удар как на фронте, так и в тылу» не сразил его. При этом история, несомненно, отметит большую аналогию в той роли, которую сыграли «революционные демократии» России и Германии в судьбах этих народов. Вождь немецких независимых социал-демократов после разгрома познакомил страну с той большой и систематической работой, которую они вели с начала 1918 г. для разрушения немецкой армии и флота во славу социальной революции. В этой работе поражает сходство приемов и методов с теми, которые практиковались в России.

Не будучи в силах бороться против пропаганды английской и французской, немцы с большим, однако, успехом применяли это средство в отношении своего восточного противника, тем более что «Россия творила свое несчастье сама,— говорил Людендорф,— и работа, которую мы вели там, не была слишком трудным делом». Результаты взаимодействия искусной немецкой руки и течений, возникавших не столько из факта революции, сколько из самобытной природы русского бунта, превзошли самые смелые ожидания немцев.

---

[19] Каннинг Джордж (1770—1827) — министр иностр. дел (1807—1809 гг. и с 1822), премьер-министр (1827) Великобритании, лидер тори. (Прим. ред.).

Работа велась в трех направлениях — в политическом, военном и социальном. В первом необходимо отметить совершенно ясно и определенно поставленную и последовательно проводимую немецким правительством идею расчленения России. Осуществление ее вылилось в провозглашение 5 ноября 1916 г. Польского королевства [20], с территорией, которая должна была распространяться в восточном направлении «как можно далее»; в создании «независимых», но находящихся в унии с Германией — Курляндии и Литвы; в разделе Белорусских губерний между Литвой и Польшей и, наконец, в длительной и весьма настойчивой подготовке отпадения Малороссии, осуществленного позднее, в 1918 г. Поскольку первые факты имели лишь принципиальное значение, касаясь земель, фактически оккупированных немцами, и предопределяя характер будущих «аннексий», постольку позиция, занятая центральными державами в отношении Малороссии, оказывала непосредственное влияние на устойчивость важнейшего нашего Юго-западного фронта, вызывая политические осложнения в крае и сепаратные стремления в армии. К этому вопросу я вернусь впоследствии.

В состав немецкой главной квартиры входило прекрасно организованное «бюро прессы», которое, помимо воздействия и направления отечественной печати, руководило и пропагандой, проникавшей преимущественно в Россию и Францию. Милюков приводит циркуляр германского министерства иностранных дел всем представителям его в нейтральных странах: «Доводится до вашего сведения, что на территории страны, в которой вы аккредитованы, основаны специальные конторы для организации пропаганды в государствах, воюющих с германской коалицией. Пропаганда коснется возбуждения социального движения и связанных с последним забастовок, революционных вспышек, сепаратизма составных частей государства и гражданской войны, а также агитации в пользу разоружения и прекращения кровавой бойни. Предлагаем вам оказывать всемерное покровительство и содействие руководителям означенных пропагандистских контор».

Любопытно, что летом 1917 г. английская печать ополчилась на посла Бьюкенена и свое министерство пропаганды за полную инертность их в деле воздействия на русскую демократию и в отношении борьбы против немецкой пропаганды в России. Одна из газет указывала, что английское бюро русской пропаганды возглавляется романистом и начинающими писателями, которые «о России имеют такое же понятие, как о китайских метафизиках».

У нас ни в правительственном аппарате, ни в Ставке не было совершенно органа, хоть до некоторой степени напоминающего могучие западноевропейские учреждения пропаганды. Одно из отделений генерал-квартирмейстерской части ведало техническими вопросами сношения с печатью и не имело ни значения, ни влияния, ни каких-либо активных задач. Русская армия — плохая ли, хорошая ли — воевала первобытными способами, не прибегая никогда к так широко практиковавшемуся на Западе «отравлению души» противника. И платила за это лишними потоками крови. Но если относительно моральной стороны разрушительной пропаганды существуют два мнения, то нельзя не отметить нашей полной инертности и бездеятельности в другой, совершенно чистой области. Мы не делали решительно ничего, чтобы познакомить зарубежное общественное мнение с той исключительной по значению ролью, которую играла Россия и русская армия в мировой войне; с теми огромными потерями и жертвами, которые приносил русский народ, с теми постоянными и, быть может, непонятными холодному рассудку наших западных друзей и врагов величественными актами самопожертвования, которое проявляла русская армия каждый раз, когда фронт союзников был на волоске от поражения... Такое непонимание роли России я встречал почти повсюду в широких общественных кругах даже долгое время спустя после заключения мира, скитаясь по Европе. Карикатурным, но весьма характерным показателем его служит мелкий эпизод: на знамени — хоругви,

---

[20] Восстановление Польши в этнографических границах предусматривалось и Россией.

поднесенной маршалу Фошу «от американских друзей», изображены флаги всех государств, мелких земель и колоний, так или иначе входивших в орбиту Антанты в великую войну; флаг России поставлен на... 46-е место, после Гаити, Уругвая и непосредственно за Сан-Марино...

Невежество или пошлость?

Мы не сделали ничего, чтобы заложить прочный нравственный фундамент национального единства за время оккупации Галиции, не привлекли к себе общественного мнения занятой русскими войсками Румынии, не предприняли ничего, чтобы удержать от предательства славянских интересов болгарский народ, наконец, не использовали вовсе пребывание на русской территории огромной массы пленных для того хотя бы, чтобы дать им правильное представление о России.

Императорская Ставка, наглухо замкнувшаяся в сфере чисто военных вопросов ведения кампании, не делала никаких попыток, чтобы приобрести влияние на общий ход политических событий, что совершенно соответствует идее *служебного* существования народной армии. Но вместе с тем Ставка решительно уклонилась от воздействия на общественное настроение страны, чтобы привлечь этот могущественный фактор к моральному содействию в борьбе. Не было никакой связи с большою печатью, которая представлена была в Ставке лицами, не имевшими ни влияния, ни значения.

Когда грянула революция и политический вихрь захватил и закружил армию, Ставка не могла долее оставаться инертной. Надо было откликнуться. Тем более что в России вдруг не оказалось вовсе источника моральной силы, охраняющего армию: правительство, в особенности военное министерство, шло неудержимо по пути оппортунизма; Совет и социалистическая печать разрушали армию; буржуазная печать то взывала к консулам, «чтобы империя не потерпела ущерба», то наивно радовалась «демократизации и раскрепощению»... Даже в компетентных, казалось бы, кругах петроградской высшей военной бюрократии шел полный разброд мысли, ставивший в недоумение и растерянность общественное мнение страны.

Оказалось, однако, что в Ставке для борьбы нет ни аппарата, ни людей, ни техники, ни знания и опыта. А главное, что Ставка оказалась как-то оттертой, отброшенной в сторону бешено мчавшейся колесницей жизни. Голос ее ослабел и затих.

2-му генерал-квартирмейстеру, генералу Маркову, предстояла большая работа — создать аппарат, установить связь с крупной прессой, дать «рупор» Ставке и поднять влачившую жалкое существование армейскую печать, на которую уже посягали войсковые организации. Марков горячо взялся за это дело, но в течение менее чем двух месяцев своего пребывания в должности, ничего серьезного сделать не успел. Всякое начинание Ставки в этом направлении подвергалось со стороны революционной демократии злостному обвинению в контрреволюционности. А либерально-буржуазная Москва, к которой он обратился за содействием в смысле интеллектуальной и технической помощи делу, ответила широковещательными обещаниями и абсолютно ничего не сделала.

Таким образом, у Ставки не было никаких средств не только для ведения активной борьбы против разложения армии, но и для противодействия немецкой пропаганде, все более и более разраставшейся.

Людендорф откровенно, с доходящим до высокого цинизма национальным эгоизмом говорит: «Я не сомневался, что разгром русской армии и русского народа представляет большую опасность для Германии и Австро-Венгрии... Наше правительство, *послав Ленина в Россию*, взяло на себя огромную ответственность! Это путешествие оправдывалось с военной точки зрения: *нужно было, чтобы Россия пала*. Но наше правительство должно было принять меры, чтобы этого не случилось с Германией»...[21].

Бесконечные страдания русского народа, уже «вышедшего из строя», даже

[21] Mes souvenirs de guerre.

теперь не вызывали ни слова сожаления и раскаяния у духовных его растлителей...

С началом кампании немцы изменили направление своей работы в отношении России: не нарушая связей с известными реакционными кругами двора, правительства и Думы, используя все средства воздействия на эти круги и все их побуждения — корысть, честолюбие, немецкий атавизм, иногда своеобразно понимаемый патриотизм,— немцы вступили одновременно в тесное содружество с русскими революционерами в стране и в особенности за границей, среди многочисленной эмигрантской колонии. На службу немецкому правительству прямо или косвенно привлечены были все: крупные агенты шпионажа и вербовки, вроде Парвуса (Гельфанда); провокаторы, причастные к русской охранке, вроде Блюма; агенты-пропагандисты — Ульянов (Ленин), Бронштейн (Троцкий), Апфельбаум (Зиновьев), Луначарский, Озолин, Кац (Камков) и много других[22]. А за ними шла целая плеяда недалеких или неразборчивых людей, выброшенных за рубеж, фанатически ненавидевших отринувший их режим — до забвения Родины, или сводящих с ним счеты, служа подчас слепым орудием в руках немецкого генерального штаба. Из каких побуждений, за какую плату, в какой степени, это уже детали: важно, что они продавали Россию, служа тем именно целям, которые ставил им наш враг. Все они тесно переплетались между собою и с агентами немецкого шпионажа, составляя неразрывный комплот.

Началось с широкой революционной и сепаратистской пропаганды (украинской) в лагерях военнопленных. По свидетельству Либкнехта, «германское правительство не только способствовало этой пропаганде, но и само вело таковую». Этим целям служил «Комитет революционной пропаганды», основанный в 1915 году в Гааге; «Союз освобождения Украйны» — в Австрии, «Копенгагенский институт» (организация Парвуса) и целый ряд газет революционного и пораженческого направления, частью издаваемых всецело на средства немецкого штаба, частью субсидируемых: «Социал-демократ» (Женева — газета Ленина), «Наше Слово» (Париж — газета Троцкого), «На чужбине» (Женева — с участием Чернова, Каца и др.), «Русский вестник», «Родная речь», «Неделя» и т. д. Такого же рода деятельностью — распространением одновременно пораженческой и революционной литературы, наряду с чисто благотворительным делом, занимался «Комитет интеллектуальной помощи русским военнопленным в Германии и Австрии» (Женева), находившийся в связи с официальной Москвою и получавший оттуда субсидии...

Чтобы определить характер этих изданий, достаточно привести две-три фразы, выражающие взгляды их вдохновителей. Ленин в «Социал-демократе» писал: «Наименьшим злом будет поражение царской монархии — наиболее варварского и реакционного из всех правительств»... Чернов, будущий министр земледелия, в «Мысли» объявил, «что у него есть одно отечество — интернационал»...

Наряду с печатным словом немцы приглашали сподвижников Ленина и Чернова, особенно из редакционного комитета «На чужбине», читать сообщения в лагерях, а немецкий шпион, консул фон-Пельхе занимался широкой вербовкой агитаторов для пропаганды в рядах армии — среди русских эмигрантов призывного возраста и левого направления.

Но все это была лишь подготовка. Русская революция открыла необъятные перспективы для немецкой пропаганды. Наряду с чистыми людьми, гонимыми некогда и боровшимися за народное благо, в Россию хлынула и вся та революционная плесень, которая впитала в себя элементы «охранки», интернационального шпионажа и бунта.

Петроградская власть больше всего боялась обвинения в недостаточной демократичности. Министр Милюков неоднократно заявлял, что «правительство признает безусловно возможным возвращение в Россию всех эмигрантов, без различия их взглядов на войну и независимо от нахождения их в международ-

[22] А. И. Деникин сознательно смешивает действительных агентов немецкого империализма (например, Парвуса) и большевиков (Ленина, Зиновьева и др.). (Прим. ред.)

ных контрольных списках»[23]. Министр вел спор с англичанами, требуя пропуска задержанных ими большевиков Бронштейна (Троцкого), Зурабова и др.

Но с Лениным и его единомышленниками дело было сложнее. Их, невзирая на требование русского правительства, союзники, несомненно, не пропустили бы. Поэтому, по признанию Людендорфа, немецкое правительство командировало Ленина и его спутников (в первой партии 17 человек) в Россию, предоставив им свободный проезд через Германию. Предприятие это, сулившее необычайно важные результаты, было богато финансировано золотом и валютой через Стокгольмский (Ганецкий-Фюрстенберг) и Копенгагенский (Парвус) центры и через русский Сибирский банк. Тем золотом, которое, по выражению Ленина, «не пахнет»...

В октябре 1917 года Бурцев напечатал список 159 лиц, провезенных через Германию в Россию распоряжением немецкого генерального штаба. Почти все они, по словам Бурцева, революционеры, в течение войны ведшие пораженческую кампанию из Швейцарии, а теперь «вольные или невольные агенты Вильгельма». Многие из них заняли немедленно выдающееся положение в социал-демократической партии, в Совете, Комитете[24] и большевистской прессе. Имена Ленина, Цедербаума (Мартова), Луначарского, Натансона, Рязанова, Апфельбаума (Зиновьева) и др. стали скоро наиболее роковыми в русской истории.

Немецкая газета «Die Woche» ко дню прибытия Ленина в Петроград посвятила этому событию статью, в которой он был назван «истинным другом русского народа и честным противником». А кадетский официоз «Речь», который вел потом неизменно смелую борьбу с ленинцами, почтил приезд его словами: «Такой общепризнанный глава социалистической партии должен быть теперь на арене борьбы, и его прибытие в Россию, какого бы мнения ни держаться о его взглядах, можно приветствовать».

Ленин приехал 3 апреля в Петроград, встреченный весьма торжественно, и через несколько дней объявил свои тезисы, часть которых составляла основные темы германской пропаганды:

— Долой войну, и вся власть Советам!

Первоначальные выступления Ленина казались такими нелепыми и такими явно анархическими, что вызвали протест не только во всей либеральной, но и в большей части социалистической печати.

Но мало-помалу левый сектор революционной демократии, усиленный немецкими агентами, присоединился явно и открыто к проповеди своего главы, не находя решительного отпора ни в двоедушном Совете, ни в слабом правительстве. Широкая волна немецкой и бунтарской пропаганды охватывала все более и более Совет, Комитет, революционную печать и невежественную массу, находя отражение — подневольное или сознательное — даже среди лиц, стоявших у кормила власти...

С первых же дней организация Ленина, как сказано было впоследствии, в июле, в сообщении прокурора петроградской судебной палаты, «в целях способствования находящимся в войне с Россией государствам во враждебных против нее действиях, вошла с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла, для чего на полученные от этих государств денежные средства организовала пропаганду среди населения и войск... а также в тех же целях в период времени 3—5 июля организовала в Петрограде вооруженное восстание против существующей в государстве верховной власти».

Ставка давно и тщетно возвышала свой предостерегающий голос. Генерал Алексеев и лично, и письменно требовал от правительства принятия мер против большевиков и шпионов. Несколько раз я обращался в военное министерство, послав, между прочим, уличающий в шпионстве материал в отношении Раковского и документы, свидетельствовавшие об измене Ленина, Скоропись-Иолтуховского и других. Роль «Союза освобождения Украины» (в состав которого в числе других входили Меленевский и В. Дорошенко)[25], как организации центральных держав для пропаганды, шпионажа и вербовки в «сечевые украинские части», не подлежала никакому сомнению. В одном из моих писем (16 мая), на основании допроса русского пленного офицера Ермоленко, принявшего на себя роль немецкого агента, с целью обнаружения организации, между прочим, раскрывалась такая картина: «Ермоленко был переброшен к нам в тыл на фронт 6-й армии для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Поручение это Ермоленко принял по настоянию товарищей. Офицеры германского генерального штаба Шидицкий и Любар ему сообщили, что такого же рода агитацию ведут в России агенты германского генерального штаба — председатель секции «Союза освобождения Украйны» А. Скоропись-Иолтуховский и Ленин. Ленину поручено всеми силами стремиться к подорванию доверия русского народа к Временному правительству. Деньги на операцию получаются через некоего Свендсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве»... Такие приемы практиковались и до революции. Наше командование обратило внимание на слишком частое появление «бежавших из плена». Многие из них, предавшись врагам, проходили определенный курс разведывательной службы и, получив солидное вознаграждение и «явки», пропускались к нам через линию окопов. Не имея никакой возможности определить, где доблесть и где измена, мы почти всегда отправляли всех бежавших из плена с европейских фронтов на Кавказский.

Все представления верховного командования, рисующие невыносимое положение армии перед лицом такого грандиозного предательства, не только оставались безрезультатными, но не вызвали ни разу ответа. Тогда я предложил генералу Маркову пригласить в Ставку В. Бурцева и предоставить ему секретный материал по немецкой пропаганде для использования. А тем временем революционная демократия чествует в Одессе Раковского. Керенский ведет свободные диспуты в Совете с Лениным на тему, нужно или не нужно разрушать страну и армию, исходя из взгляда, что он — «военный министр революции» и что «свобода мнений для него священна, откуда бы она ни исходила»... Церетели горячо заступается за Ленина: «с Лениным, с его агитацией я не согласен. Но то, что говорит депутат Шульгин, есть клевета на Ленина. *Никогда Ленин не призывал к выступлениям, нарушающим ход революции. Ленин ведет идейную пропаганду*»[26].

Эта пресловутая свобода мнений до крайности упрощала немецкую пропаганду, вызвав такое небывалое явление, как открытая проповедь на немецком языке в столичных собраниях и в Кронштадте сепаратного мира и недоверия к правительству агентом Германии, председателем циммервальдовской и кинтальской конференции Робертом Гриммом!.. Какую моральную прострацию и потерю всякого национального достоинства, сознания и патриотизма представляет картина, как Церетели и Скобелев «ручаются» за агента-провокатора, Керенский «добивается» перед правительством права въезда Гримма в Россию, Терещенко разрешает, а русские люди слушают речи Гримма... без возмущения, без негодования.

Во время июльского восстания большевиков чины министерства юстиции, возмущенные попустительством руководящей части правительства, с ведома министра Переверзева, решили предать гласности мое письмо военному министру и другие документы, обличавшие Ленина в предательстве Родины. Документы, в виде заявления, подписанного двумя социалистами — Алексинским и Панкратовым, даны были в печать. Это обстоятельство, преждевременно обнаруженное, вызвало страстный протест Чхеидзе, Церетели и страшный гнев министров

[23] В такие списки вносились лица, заподозреные в сношениях с враждебными правительствами.

[24] Членами Комитета были, например, Зурабов и Перзич, служивший у Парвуса.

[25] Любопытно, что Бронштейн (Троцкий) — лицо достаточно компетентное в деле тайных сношений со штабами наших противников, в «Известиях» 8 июля 1917 г. писал: «Мною были разоблачены в газете «Наше Слово» и пригвождены к позорному столбу Скоропись-Иолтуховский, Потон и Меленевский, как агенты австрийского генерального штаба».

[26] Сборник речей. Речь, произнесенная 27 апреля на заседании членов Государственной Думы.

Некрасова и Терещенко. Правительство воспретило помещение в печати сведений, порочащих доброе имя товарища Ленина, и прибегло к репрессиям... против чинов судебного ведомства. Заявление, однако, на страницах печати появилось. В свою очередь, Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов проявил трогательную заботливость не только о неприкосновенности большевистских лидеров, но даже об их чести, специальным воззванием 5 июля «предлагая воздержаться от распространения позорящих обвинений» против Ленина и «других политических деятелей» впредь до расследования дела особой комиссией. Это внимание получило откровенное объяснение в резолюции центральных исполнительных комитетов (8 июля), которая, осуждая попытку анархо-большевистских элементов свергнуть правительство, вместе с тем выражала опасение, что «неизбежные меры, к которым должны были прибегнуть правительство и военные власти... создают почву для демагогической агитации контрреволюционеров, выступающих пока под флагом установления революционного порядка, но могущих проложить дорогу к военной диктатуре».

Как бы то ни было, обнаруженное прямое преступное участие главарей большевизма в бунте и измене заставило правительство приступить к репрессиям. Ленин и Апфельбаум (Зиновьев) бежали в Финляндию, Бронштейн (Троцкий), Козловский, Раскольников, Ремнев и многие другие были арестованы. Несколько анархо-большевистских газет закрыто.

Впрочем, эти репрессии не имели серьезного характера. Многие заведомые руководители выступлений не привлекались вовсе к ответственности, и их работа разрушения продолжалась с последовательностью и энергией. Министр юстиции Переверзев, осмелившийся начать борьбу с большевизмом, по несогласию с другими членами правительства и под давлением Совета, принужден был выйти в отставку. Его преемники Зарудный и Малянтович приступили к выпуску из тюрем арестованных большевиков, а последний и к ликвидации всего их дела. Малянтович на совещании высших чинов министерства и прокуратуры высказал даже такой преступный взгляд, что в деяниях большевиков не усматривается «злого умысла» и что во время японской войны «многие передовые люди откровенно радовались успеху Японии и, однако, никто их не думал привлечь к ответственности!..» [27].

Попустительство, проявленное в отношении большевиков,— самая темная страница в истории деятельности Временного правительства. Ни связь большевиков с враждебными державами, ни открытая беззастенчивая, разлагающая проповедь, ни явная подготовка восстания и участие в нем, ничто не могло превозмочь суеверного страха правительства перед обвинением его в реакционности, ничто не могло вывести правительство из рабского подчинения Совету, покровительствовавшему большевикам.

Внося войну внутрь нашей страны, немцы также настойчиво и методично проводили другой лозунг — мир на фронте. Братание случалось и раньше, до революции, и имело даже традиционный характер в дни святой Пасхи; но вызывалось оно исключительно беспросветно-нудным стоянием в окопах, любопытством, просто чувством человечности даже в отношении к врагу — чувством, проявлявшимся со стороны русского солдата не раз и на полях Бородина, и на бастионах Севастополя, и в Балканских горах. Братание случалось редко, преследовалось начальством и не носило опасной тенденции. Теперь же немецкий генеральный штаб поставил это дело широко, организованно и по всему фронту, с участием высших штабов и командного состава, с подробно разработанной инструкцией, в которой предусматривались: разведка наших сил и позиций; демонстрирование внушительного оборудования и силы своих позиций; убеждение в бесцельности войны; натравливание русских солдат против правительства и командного состава, в интересах которого якобы исключительно продолжается эта «кровавая бойня». Груды пораженческой литературы, заготовленной в Германии, передавались в наши окопы. А в то же время по фронту совершенно свободно разъезжали партизаны из Совета и Комитета с аналогичной проповедью, с организацией «показного братанья» и с целым ворохом «Правд», «Окопных правд», «Социал-демократов» и прочих творений отечественного социалистического разума и совести,— органов, оставлявших далеко позади, по силе и аргументации, иезуитскую элоквенцию их немецких собратов. А в то же время общее собрание наивных «делегатов фронта» в Петрограде выносило постановление допустить братание с целью... революционной пропаганды в неприятельских армиях!..

[27] «Утро России», 14 октября 1917 года.

Правда, и правительство, и военный министр, и резолюции большинства Совета и Комитета осуждали братание. Но успеха их воззвания не имели. Фронт представлял зрелище небывалое. Загипнотизированный немецко-большевистской речью, он забыл все: и честь, и долг, и Родину, и горы трупов своих братьев, погибших бесцельно и бесполезно. Беспощадная рука вытравляла в душе русских солдат все моральные побуждения, заменяя единственным, доминирующим над всем, животным чувством — желанием сохранить свою жизнь.

Нельзя читать без глубокого волнения о переживаниях Корнилова, столкнувшегося впервые после революции, в начале мая, в качестве командующего 8-й армией, с этим фатальным явлением фронтовой жизни. Они записаны капитаном (тогда) генерального штаба Нежинцевым, впоследствии доблестным командиром Корниловского полка, в 1918 году павшим в бою с большевиками, при штурме Екатеринодара.

«Когда мы втянулись в огневую зону позиции,— писал Нежинцев,— генерал (Корнилов) был очень мрачен. Слова «позор, измена» оценили гробовое молчание позиции. Затем он заметил:

— Вы чувствуете весь ужас и кошмар этой тишины? Вы понимаете, что за нами следят глаза артиллерийских наблюдателей противника и нас не обстреливают. Да, над нами, как над бессильными, издевается противник... Неужели русский солдат способен известить противника о моем приезде на позицию...

Я молчал, но святые слезы на глазах героя глубоко тронули меня. И в эту минуту... я мысленно поклялся генералу, что умру за него, умру за нашу общую Родину. Генерал Корнилов как бы почувствовал это. И, резко повернувшись ко мне, пожал мою руку и отвернулся, как будто устыдившись своей минутной слабости».

«Знакомство нового командующего с его пехотой началось с того, что построенные части резерва устроили митинг и на все доводы о необходимости наступления указывали на ненужность продолжения «буржуазной» войны, ведомой «милитарщиками»... Когда генерал Корнилов, после двухчасовой бесплодной беседы, измученный нравственно и физически, отправился в окопы, здесь ему представилась картина, какую вряд ли мог предвидеть любой воин эпохи.

Мы вошли в систему укреплений, где линии окопов обеих сторон разделялись, или, вернее сказать, были связаны проволочными заграждениями... Появление генерала Корнилова было приветствуемо... группой германских офицеров, нагло рассматривавших командующего русской армией; за ними стояло несколько прусских солдат... Генерал взял у меня бинокль и, выйдя на бруствер, начал рассматривать район будущих боевых столкновений. На чье-то замечание, как бы пруссаки не застрелили русского командующего, последний ответил:

— Я был бы бесконечно счастлив — быть может, хоть это отрезвило бы наших затуманенных солдат и прервало постыдное братание.

На участке соседнего полка «командующий армией был встречен... бравурным маршем германского егерского полка, к оркестру которого потянулись наши «братальщики» — солдаты. Генерал со словами — «это измена!» повернулся к стоящему рядом с ним офицеру, приказав передать братальщикам обеих сторон, что если немедленно не прекратится позорнейшее явление, он откроет огонь из орудий. Дисциплинированные германцы прекратили игру... и пошли к своей линии окопов, по-видимому, устыдившись мерзкого зрелища. А наши солдаты —

о, они долго еще митинговали, жалуясь на «притеснения контрреволюционными начальниками их свободы».

Я не питаю чувства мести вообще. Но все же крайне сожалею, что генерал Людендорф оставил немецкую армию раньше времени, до ее развала, и не испытал непосредственно в ее рядах тех невыразимо тяжелых нравственных мучений, которые перенесли мы — русские военачальники.

Кроме братания, неприятельское главное командование практиковало в широких размерах с провокационной целью посылку непосредственно к войскам, или вернее к солдатам, парламентеров. Так, в конце апреля на Двинском фронте появился парламентер — немецкий офицер, который не был принят. Однако он успел бросить в солдатскую толпу фразу: «Я пришел к вам с мирными предложениями и имел полномочия даже к Временному правительству, но ваши начальники не желают мира». Эта фраза быстро распространилась, вызвала волнения в солдатской среде и даже угрозу оставить фронт. Поэтому, когда через несколько дней на том же участке вновь появились парламентеры (командующий бригадой, два офицера и горнист), то их препроводили в штаб 5-й армии. Конечно, оказалось, что никаких полномочий они не имели, и не могли указать даже сколько-нибудь определенно цели своего прибытия, так как «единственною целью появлявшихся на фронте лжепарламентеров,— как говорилось в приказе Верховного Главнокомандующего,— было разведать наше расположение и настроения, и лживым показом своего миролюбия склонять наши войска к бездействию, спасительному для немцев и гибельному для России и ее свободы»... Подобные выступления имели место и на фронтах 8-й, 9-й и других армий.

Характерно, что в этой провокации счел возможным принять личное участие главнокомандующий восточным германским фронтом, принц Леопольд Баварский, который в двух радиограммах, носящих выдержанный характер обычных прокламаций и предназначенных для солдат и Совета, сообщал, что главное командование идет навстречу «неоднократно высказанным желаниям русских солдатских депутатов окончить кровопролитие»; что «военные действия между нами (центральные державы) и Россией могут быть окончены **без отпадения России от своих союзников**», что «если Россия желает знать частности наших условий, пусть откажется от требования публиковать об них»... И заканчивал угрозой: «Желает ли новое русское правительство, подстрекаемое своими союзниками, убедиться в том, стоят ли еще на нашем восточном фронте дивизионы тяжелых орудий?»

Ранее, когда вожди делали низость во спасение армии и Родины, то по крайней мере стыдились ее и молчали. Ныне военные традиции претерпели коренное изменение.

К чести Совета нужно сказать, что он надлежаще отнесся к этому провокационному призыву, ответив: «Главнокомандующий немецкими войсками на восточном фронте предлагает нам «сепаратное перемирие, тайну переговоров!».. Но «Россия знает, что разгром союзников будет началом разгрома ее армии, а разгром революционных войск свободной России — не только новые братские могилы, но и гибель революции, гибель свободной России»...

Глава XXIV. ПЕЧАТЬ И ПРОПАГАНДА ИЗНУТРИ

С первых же дней революции, естественно, произошла резкая перемена в направлении русской печати. Выразилась она, с одной стороны, в известной дифференциации всех буржуазных органов, принявших направление либерально-охранительное, к т а к т и к е которого примкнула и небольшая часть социалистической печати типа плехановского «Единства»; с другой стороны — нарождением огромного числа социалистических органов.

Правые органы претерпели значительную эволюцию, характерным показателем которой может служить неожиданное заявление известного сотрудника «Нового Времени» Меньшикова: «Мы должны быть благодарными судьбе, что тысячелетие изменявшая народу монархия наконец изменила себе и сама над собой поставила крест. Откапывать ее из-под креста и заводить великий раздор о кандидатах на рухнувший престол было бы, по-моему, роковой ошибкой». В течение первых месяцев правая печать частью закрылась, не без давления и насилия со стороны Советов, частью же усвоила мирно-либеральное направление. Только с сентября 1917 года тон ее становится крайне приподнятым, в связи с окончательно выяснившимся бессилием правительства, потерей надежды на легальный выход из создавшегося тупика и отголосками корниловского выступления. Нападки на правительство крайних органов превращаются в сплошное поношение его.

Расходясь в большей или меньшей степени в понимании социальных задач, поставленных к разрешению революцией, повинная, быть может, вместе с русским обществом во многих ошибках, русская либеральная печать проявила, однако, исключительное единодушие в важнейших вопросах государственно-правового и национального характера: полная власть Временному правительству; демократические реформы в духе программы 2 марта [28], война до победы в согласии с союзниками, Всероссийское учредительное собрание как источник верховной власти и конституции страны. Либеральная печать еще в одном отношении оставила о себе добрую память в истории: в дни высокого народного подъема, как и в дни сомнений, колебаний и всеобщей деморализации, знаменующих собою революционный период 1917 года, в ней, как равно и в правой печати, не нашлось почвы для размещения немецкого золота...

Широкое возникновение новой социалистической прессы сопровождалось рядом неблагоприятных обстоятельств. У нее не было нормального прошлого, не хватало традиции. Долгая жизнь подполья, усвоенный им исключительно разрушительный метод действий, подозрительное и враждебное отношение ко всякой власти наложили известный отпечаток на все направление этой печати, оставляя слишком мало места и внимания для творческой, созидательной работы. Полный разброд мысли, противоречия, колебания, проявленные как в недрах Совета, так и между партийными группировками и внутри партии, находили в печати соответственное отражение, точно так же, как и стихийный напор снизу безудержных, узкоэгоистических, классовых требований; ибо невнимание к этим требованиям создавало угрозу, высказанную однажды «красой и гордостью революции», кронштадтскими матросами министру Чернову: «Если ничего не дадите вы, то нам даст... Михаил Александрович!» Наконец, не осталось без влияния появление в печати множества таких лиц, которые внесли в нее атмосферу грязи и предательства. Газеты пестрят именами, которые вышли из уголовной хроники, охранного отделения и международного шпионажа. Все эти господа Черномазовы (провокатор-охранник — руководитель дореволюционной «Правды»), Бертхольды (тоже; редактор «Коммуниста»), Деконские, Малиновские, Мстиславские, соратники Ленина и Горького — Нахамкес, Стучка, Урицкий, Гиммер (Суханов) и многое множество других лиц, не менее известных, довели русскую печать до морального падения еще небывалого.

Разница была лишь в размахе. Одни органы, близкие к советскому официозу «Известия рабочих и солдатских депутатов», р а с ш а т ы в а л и, в то время как другие, типа «Правды» (орган соц.-демократ. большев.) р а з р у ш а л и страну и армию.

В то время, когда «Известия» призывают к поддержке Временного правительства, держа, однако, камень за пазухой, «Правда» заявляет, что «правительство контрреволюционно, и потому с ним не может быть никаких сношений. Задача революционной демократии — диктатура пролетариата». А социал-революционный орган Чернова «Дело народа» находит нейтральную формулу: всемерная поддержка коалиционному правительству, но «нет и не может быть в этом вопросе единодушия, скажем более, и не должно быть — в интересах двуединой обороны»...

В то время, как «Известия» начали проповедовать наступление, только без окончательной победы, не оставляя, впрочем, намерения «через головы прави-

[28] См. главу IV. Конечно, 7-я и 8-я статьи вызывали к себе в обществе отрицательное отношение.

тельства и господствующих классов установить условия, на которых может быть прекращена война», «Правда» требует повсеместного братания: социал-революционная «Земля и Воля» то сокрушается, что Германия желает по-прежнему завоеваний, то требует сепаратного мира. Черновская газета, в марте считавшая, что «если бы враг победил, тогда конец русской свободы», в мае в проповеди наступления видит «предел беззастенчивой игры на судьбе отечества, предел безответственности и демагогии». Газета Горького «Новая жизнь» устами Гиммера (Суханова) договаривается до такого цинизма: «Когда Керенский призывает очистить русскую землю от неприятельских войск, его призывы далеко выходят за пределы военной техники. Он призывает к политическому акту, при этом совершенно не предусмотренному программой коалиционного правительства. Ибо очищение пределов страны силою наступления означает «полную победу»... Вообще «Новая жизнь» особенно горячо отстаивала немецкие интересы, повышая голос во всех тех случаях, когда со стороны союзников или нашей немецким интересам угрожала опасность.

А когда наступление разложившейся армии окончилось неудачей — Тарнополем, Калушем, когда пала Рига, левая пресса повела жестокую кампанию против Ставки и командного состава, и черновская газета, в связи с предполагавшимися преобразованиями в армии, истерически взывала: «Пусть пролетарии знают, что их снова хотят отдать в железные объятия нищеты, рабского труда и голода... Пусть солдаты знают, что их снова хотят закабалить в «дисциплине» господ командиров и заставить лить кровь без конца, лишь бы восстановилась вера союзников в «доблесть» России»... Прямее всех, однако, поступила впоследствии «Искра» — орган меньшевиков-интернационалистов (Мартов — Цедербаум), которая в день занятия немецким десантом острова Эзеля напечатала статью «Привет германскому флоту!».

Даже по вопросу об разгорающейся в стране анархии левые газеты не отличались единомыслием и постоянством. Наряду с демагогическими призывами к немедленному и насильственному разрешению экономического, рабочего, земельного вопросов мы на страницах тех же газет встречаем нередко призывы «не торопиться, ибо провинция отстает»; рабочим умерить свои несдержанные требования и употребить все усилия, чтобы не было оснований обвинять их в небрежном отношении к фронту; крестьянам воздержаться от самовольных захватов земли и т. д. Только «Правда» оставалась верной себе, раз навсегда определив: «То, что намечается в «самочинных» захватах рабочих, крестьян и беднейшего городского населения, это не «анархия», а «дальнейшее развитие революции».

Вопрос о русской печати в годы революции — большой и важный, требующий специального изучения. Здесь я хотел лишь приведением нескольких характерных цитат отметить, какой сумбур должен был получиться в умах полуобразованных или темных читателей социалистической литературы, в особенности в армии.

Россия пользовалась свободой печати — ничем не ограниченной. Собственно — печати социалистической. Ибо правые и либеральные газеты попали под жестокий гнет петроградского и местных Советов, которые проявляли свою власть, закрывая газеты, не допуская выхода новых и применяя при этом грубую вооруженную силу, захват типографий или терроризирование типографских рабочих. Одновременно крайняя левая печать пользовалась неизменной защитой Советов во имя «свободы слова», хотя официально подвергалась иногда критике и осуждению. Так, в воззвании «К солдатам» (после событий 3—5 июля) Всероссийский съезд Советов осудил «необдуманные статьи и воззвания этой прессы: «Знайте, товарищи, что эти газеты, как бы они ни назывались — «Правда» ли, «Солдатская правда» ли, идут вразрез с ясно выраженной волей рабочих, крестьян и солдат, собравшихся на съезде»...

Военная цензура, в сущности, никогда не отмененная, просто игнорировалась. Только 14 июля правительство сочло себя вынужденным напомнить существование закона о военной тайне, а перед этим, 12 июля, предоставило в виде

временной меры министрам военному и внутренних дел право закрывать повременные издания, «призывающие к неповиновению распоряжениям военных властей, к неисполнению воинского долга и содержащие призывы к насилию и к гражданской войне», с одновременным привлечением к суду редакторов. Керенский действительно закрыл несколько газет в столице и на фронте. Закон тем не менее имел лишь теоретический характер. Ибо в силу сложившихся взаимоотношений между правительством и органами революционной демократии суд и военная власть были парализованы, ответственность фактически отсутствовала, а крайние органы, меняя названия («Правда» — «Рабочий и солдат» — «Пролетарий» и т. д.), продолжали свое разрушительное дело.

Так или иначе вся эта социалистическая и, в частности, большевистская литература на основании пункта 6-го декларации хлынула беспрепятственно в армию. Частью — стараниями всевозможных партийных «военных бюро» и «секций» Петрограда и Москвы, частью — при посредстве «культурно-просветительных комиссий» войсковых комитетов. Средства были разнообразные: одни исходили из темных источников, другие — взяты полупринудительно из войсковых экономических сумм, третьи — легально отпущены старшими военными начальниками из числа оппортунистов. Так, один из моих предшественников по командованию Юго-западным фронтом, генерал Гутор, открыл фронтовому комитету на эту цель кредит в 100 000 рублей, который я по ознакомлении с характером распространяемой комитетом литературы немедленно закрыл. Главнокомандующий Северным фронтом, генерал Черемисов, субсидировал из казенных средств ярко большевистскую газету «Наш Путь», объясняя так свой поступок: «Если она (газета) и делает ошибки, повторяя большевистские лозунги, то ведь мы знаем, что матросы — самые ярые большевики, а сколько они обнаружили героизма в последних боях (?). Мы видим, что и большевики умеют драться. При этом — у нас свобода печати[29]...» Впрочем, этот факт имел место уже в начале октября, и «перелеты» — явление чрезвычайно характерное еще для Смутного времени 1913 г. — начинали уже седлать коней и готовиться в путь... к новому режиму.

В армии существовала и военная печать. Возникавшие и раньше, до революции, органы фронтовых и армейских штабов имели характер чисто военных бюллетеней. Со времени революции газеты эти своими слабыми литературными силами начали добросовестно, честно, но не талантливо вести борьбу за сохранение армии. Встречая равнодушие или озлобление со стороны солдат, уже отвернувшихся от офицерства, и особенно со стороны параллельно существовавших комитетских органов «революционной» мысли, они начали мало-помалу хиреть и замирать, пока, наконец, в начале августа приказом Керенского не были закрыты вовсе; исключительное право издания армейской печати было передано фронтовым и армейским комитетам. Такая же участь постигла и «Известия действующей армии» — орган Ставки, затеянный генералом Марковым и не поддержанный солидными силами столичной прессы.

Комитетская печать, широко распространяемая в войсках на казенный счет, отражала те же настроения, о которых я говорил ранее в главе о комитетах, с амплитудой колебания от государственности до анархии, от полной победы — до немедленного, явочным порядком, заключения мира. Отражала — только в худшей, более убогой, в смысле литературного изложения и содержания, форме — тот разброд мысли и влечения к крайним теориям, которые характеризуют столичную социалистическую печать. При этом в зависимости от состава комитетов, отчасти от близости Петрограда фронты несколько отличались друг от друга. Умереннее был Юго-западный, хуже Западный и сильно большевистским — Северный. Кроме местных произведений, страницы комитетской печати были во многих случаях широко открыты для постановлений и резолюций не только крайних политических партий отечественных, но даже и немецких.

---

[29] Разговор Черемисова с военным корреспондентом Купчинским («Общее Дело» 1917 года).

Ко времени принятия мною должности главнокомандующего Западным фронтом (июнь), фронтовым комитетом издавалась газета «Фронт» в количестве 20 тысяч экземпляров. Чтобы дать представление о характере того нездорового воздействия, которое оказывала газета на войска, приведу краткий перечень некоторых статей, извлеченный из 29 номеров, выпущенных комитетом до оставления мною фронта.

1) 14 статей, доказывающих, что продолжение войны выгодно только для врагов демократии — «буржуев, помещиков, фабрикантов».

2) Призывы прекратить войну. В том числе резолюция фронтового комитета против наступления (№ 15).

3) Развитие идей интернационала, с призывом к немедленному заключению мира и ко всемирному господству пролетариата (№ 25, меморандум германских «независимых с.-д.»).

4) Ряд резолюций комитета и статей, выражающих недоверие начальникам и штабам и требующих замены последних комиссиями из состава комитетов (в пяти номерах).

5) 5 статей и протоколов комитета, требующих для солдатских организаций права отвода, назначений начальников и суда над ними.

6) Протест против признания министром внутренних дел незаконным постановления харьковского Совета о захвате частных земель (№ 24).

7) Резолюция одного из комитетов о «контрреволюционности» командира корпуса, осудившего в приказе большевиков: в ней говорилось, что расхождение идей большевизма со взглядами военного министра и большинства Совета не может служить основанием для воспрещения пропаганды и ареста агитаторов. Репрессивные меры против большевиков являются грубым и противозаконным нарушением прав свободных граждан и т. д. (№ 27).

Такой липкой паутиной идей и мыслей — глубоко противогосударственных и антинациональных — опутывала комитетская печать темную солдатскую массу; в такой удушливой атмосфере недоверия, непонимания, извращения всех начал военной традиции и этики жило несчастное офицерство. В такой же атмосфере приходилось жить, работать и готовить большое наступление главнокомандующему... Я сообщил Керенскому о деятельности комитета и о направлении его печати, но безрезультатно. Тогда, на 29-м номере, нарушив приказ Керенского, я приказал прекратить отпуск денег на газету, которую, впрочем, после моего ухода возобновил новый главнокомандующий, генерал Балуев.

Балуев относился совершенно иначе, чем я, к войсковым организациям, в такой степени питая к ним доверие, что сделал однажды представление военному министру: «Литература должна быть допущена в войска только та, которую признает возможным допустить Совет р. и с. депутатов и комитеты фронтов и армий». Такое разномыслие, вернее, коренное различие в тактике на верхах командования, еще более запутывало отношения.

Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было, как не было вовсе и популярных газет, доступных ее пониманию. Печать оказывала влияние главным образом на полуинтеллигентскую часть армейского состава. Эта среда оказалась ближе к солдату, и к ней перешла известная доля того авторитета, которым пользовался раньше офицерский корпус. Идеи, воспринятые из газет и преломленные сквозь призму понимания этой среды, поступали уже в упрощенном виде в солдатскую массу, состоявшую, к сожалению, в огромной части своей из людей невежественных и безграмотных. А в массе все эти понятия, обнаженные от хитросплетенных аргументаций, предпосылок, обоснований, претворялись в простые до удивления и логичные до ужаса выводы.

В них преобладало прямолинейное отрицание:

— Долой!

Долой буржуазное правительство, долой контрреволюционное начальство, долой «кровавую бойню», вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее «свободную волю» — все долой!

Так элементарно разрешала армия на бесчисленных солдатских митингах все волнующие человечество политические и социальные вопросы.

. . . .

Занавес опущен. Версальский мир остановил на время вооруженную борьбу в средней Европе. Для того, очевидно, чтобы, собравшись с силами, народы взялись за оружие вновь с целью разорвать цепи, наложенные на них поражением.

Идея «мира всего мира», которую 20 веков проповедуют христианские церкви, похоронена надолго.

Какими детски-наивными кажутся нам теперь усилия гуманистов XIX века, долгой, горячей проповедью добивавшихся смягчения ужасов войны и введения ограничивающих норм международного права. Теперь, когда мы знаем, что можно не только нарушать нейтралитет мирной культурной страны, но и отдать ее на поток и разграбление; когда мы умеем подводными лодками топить мирные корабли с женщинами и детьми, отравлять людей удушливыми газами, бороздить тело их осколками разрывных пуль; когда целую страну, нацию холодный политический расчет котирует только как «барьер» против вторжения вооруженной силы и вредных идей и периодически то выручает, то предает...

Но ужаснейшее из всех орудий, когда-либо изобретенных человеческим умом, постыднейшее из всех средств, допускавшихся в последнюю мировую войну,— это

О т р а в л е н и е д у ш и н а р о д а.

Германия отдает приоритет в этом изобретении Англии. Предоставим им разрешить этот спор полюбовно. Но я вижу родную страну — раздавленной, умирающей среди темной ночи ужаса и безумия. И я знаю ее палачей.

Перед человечеством во всей своей грозной силе, во всей бесстыдной наготе встали два положения:

В с е д о з в о л е н о д л я п о л ь з ы о т е ч е с т в а!

В с е д о з в о л е н о д л я т о р ж е с т в а п а р т и и, к л а с с а!

Даже моральная и физическая гибель страны противника, даже предательство своей Родины и производство над живым телом ее с о ц и а л ь н ы х о п ы т о в, неудача которых грозит параличом и смертью.

Германия и Ленин без колебания разрешили эти вопросы положительно. Мир их осудил. Но полно, так ли единодушны и искренни в своем осуждении все те, кто об этом говорит? Не слишком ли глубокий след оставили эти идеи в сознании, быть может, не столько народных масс, сколько их вождей? По крайней мере к такому выводу приводит меня вся современная бездушная мировая политика правительств, в особенности в отношении России, вся современная беспросветно-эгоистическая тактика классовых организаций.

Это страшно.

Я верю, что каждый народ имеет право с оружием в руках защищать свое бытие; знаю, что долго еще война будет обычным средством разрешения спорных международных вопросов; что приемы борьбы будут и честные, и, к сожалению, бесчестные. Но существует известная грань, за которою и низость перестает быть просто низостью, а переходит в безумие. До такой грани мы уже дошли. И если религия, наука, литература, философы, гуманисты, учителя человечества не подымут широкого идейного движения против привитой нам готтентотской морали, то мир увидит закат своей культуры.

Г л а в а XXV. СОСТОЯНИЕ АРМИИ КО ВРЕМЕНИ ИЮЛЬСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Очертив целый ряд внешних факторов, оказывавших влияние на жизнь, взаимоотношения и боевую службу некогда славной русской армии, перейду к скорбным страницам ее падения.

Я родился в семье армейского офицера, прослужил до европейской войны 22 года в строю скромных армейских частей и малых войсковых штабов, в том

числе 2 года русско-японской войны, жил одной жизнью, одними радостями и печалями с офицером и солдатом, посвятив родному мне быту их много страниц в военной печати; почти непрерывно с 1914-го по 1920 год стоял во главе войск и водил их в бой на полях Белоруссии, Волыни, Галиции, в горах Венгрии, в Румынии, потом... потом в жестокой междоусобной войне, бороздившей кровавым плугом родную землю.

Я имею более оснований и права говорить об армии и от армии, чем все те чуждые ей люди из социалистического лагеря, которые в высокомерном самомнении, едва коснувшись армии, ломали устои ее существования, судили вождей и воинов, определяли диагноз ее тяжелой болезни, которые и теперь еще, после тяжелых опытов и испытаний, не оставляют надежду на превращение этого могущественного и страшного орудия государственного самосохранения — в средство для разрешения партийных и социальных вожделений. Для меня армия не только историческое, социальное, бытовое явление, но почти вся моя жизнь, где много воспоминаний, дорогих и незабываемых; где все связано и переплетено в один общий клубок быстро протекших тяжелых и радостных дней; где сотни дорогих могил, похороненные мечты и... неугасшая вера.

К армии нужно подходить осторожно, не забывая, что не только исторические устои, но даже кажущиеся, быть может, странными и смешными мелочи ее быта имеют смысл и значение.

Когда началась революция, старый ветеран, любимец офицеров и солдат, генерал Павел Иванович Мищенко, не будучи в состоянии примириться с новым режимом, ушел на покой. Жил в Темирханшуре, не выходил из-за ограды своего сада и носил всегда генеральскую форму и георгиевские кресты, даже в дни большевистской власти. Как-то раз пришли к нему большевики с обыском и, между прочим, пожелали снять с него погоны и кресты. Старый генерал вышел в соседнюю комнату и... застрелился.

Пусть, кто может, посмеется над «отжившими предрассудками». Мы же почтим его светлую память.

Итак, грянула революция.

Не было никакого сомнения, что подобный катаклизм в жизни народа не пройдет даром. Революция *должна была* сильно встряхнуть армию, ослабив и нарушив все ее исторические скрепы. Такой результат являлся закономерным, естественным и непредотвратимым независимо от того состояния, в котором находилась тогда армия, независимо от взаимоотношений командного и служебного начал. Мы можем говорить лишь об обстоятельствах, сдерживавших или толкавших армию к распаду.

Явилась власть.

Источником ее могли быть три элемента: верховное командование (военная диктатура), буржуазная Государственная Дума (Временное правительство) и революционная демократия (Совет). Властью признано Временное правительство. Но два других элемента отнеслись к нему различно: Совет фактически отнял власть у правительства, тогда как верховное командование подчинилось ему безоговорочно и, следовательно, вынуждено было исполнять его предначертания.

Власть могла поступить двояко: бороться с отрицательными явлениями, начавшимися в армии, мерами суровыми и беспощадными или потворствовать им. В силу давления Совета, отчасти же по недостатку твердости и понимания законов существования вооруженной силы власть пошла по второму пути.

Этим обстоятельством была предрешена конечная судьба армии. Все остальные факты, события, явления, воздействия могли только повлиять на продолжительность процесса разложения и глубину его.

Праздничные дни трогательного, радостного единения между офицерством и солдатами быстро отлетели, заменившись тяжелыми, нудными буднями. Но ведь они были, эти радостные дни и, следовательно, не существовало вовсе непроходимой пропасти между двумя берегами, меж которыми неумолимая логика жизни давно уже перебрасывала мост. Сразу отпали как-то сами собой

все наносные, устарелые приемы, вносившие элемент раздражения в солдатскую среду; офицерство как-то подтянулось, сделалось серьезнее и трудолюбивее.

Но вот хлынули потоком газеты, воззвания, резолюции, приказы какого-то неведомого начальства, а вместе с ними целый ряд новых идей, которые солдатская масса не в состоянии была переварить и усвоить. Приехали новые люди, с новыми речами — такими соблазнительными и многообещающими, освобождающими солдата от повиновения и дающими надежду на немедленное устранение смертельной опасности. Когда один полковой командир наивно запросил, нельзя ли этих людей предать полевому суду и расстрелять, телеграмма, прошедшая все инстанции, вызвала ответ из Петрограда, что эти люди неприкосновенны и посланы Советом в войска именно затем, чтобы разъяснить им истинный смысл происходящих событий...

Когда теперь руководители революционной демократии, еще не утратившие чувства ответственности за распятую Россию, говорят, что движение, обусловленное глубоким классовым расхождением офицерского и солдатского составов и «рабским закрепощением» последнего, имело стихийный характер, которому они не в состоянии были противостоять,— это глубокая неправда. Все основные лозунги, все программы, тактика, инструкции, руководства, положенные в основу «демократизации» армии, были разработаны военными секциями подпольных социалистических партий задолго до войны, вне давления «стихии», исходя из ясного и холодного расчета, как продукт «социалистического разума и совести».

Правда, офицеры убеждали не верить «новым словам» и исполнять свой долг. Но ведь Советы с первого же дня объявили офицеров врагами революции, во многих городах их подвергли уже жестоким истязаниям и смерти; при этом — безнаказанно... Очевидно, основание есть, когда даже из недр «буржуазной» Государственной Думы вышло такое странное и неожиданное «объявление»: «Сего 1 марта среди солдат Петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат. Слухи эти были проверены в двух полках и оказались ложными. Как председатель военной комиссии Временного Комитета Государственной Думы я заявляю, что *будут* приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров вплоть до расстрела виновных. Полковник Энгельгардт»...

Потом получены были приказ № 1, декларация и пр., и пр.

Быть может, однако, со всем этим словесным морем лжи и лицемерия, которые текли из Петрограда и из местных Советов и находили отклик среди своих местных демагогов, можно было бы еще бороться, если бы не одно явление, парализовавшее все усилия командного состава: охватившее всецело солдатскую массу животное чувство самосохранения. Оно было всегда. Но таилось под спудом и сдерживалось примером исполнения долга, проблесками национального самосознания, стыдом, страхом и принуждением. Когда все эти элементы отпали, когда для успокоения засыпающей совести явился целый арсенал новых понятий, оправдывающих шкурничество и дающих ему идейное обоснование, армия жить долее не могла. Это чувство опрокинуло все усилия командного состава, все нравственные начала и весь военный строй.

И вот началось [30].

...На широком поле, насколько видно глазу, тянутся бесконечные линии окопов, то подходя друг к другу вплотную, переплетаясь своими проволочными заграждениями, то отходя далеко и исчезая за зеленым гребнем. Солнце поднялось уже давно, но в поле мертвая тишина. Первыми встали немцы. То там, то тут из-за окопов выглядывают их фигуры, кой-кто выходит на бруствер развесить на солнце свою отсыревшую за ночь одежду... Часовой в нашем передовом окопе раскрыл сонные глаза, лениво потянулся, безучастно поглядев на неприятельские окопы... Какой-то солдат в грязной рубахе, босой, в накину-

[30] Я облек картину армейского быта в форму рассказа. Но всякий дальнейший эпизод, в нем приведенный, есть реальный факт, взятый в жизни.

той на плечи шинели, ежась от утреннего холода, вышел из окопа и побрел в сторону немецкой позиции, где между линиями стоял «почтовый ящик»; в нем свежий номер немецкой газеты «Русский Вестник» и предложение товарообмена.

Тишина. Ни одного артиллерийского выстрела. На прошлой неделе вышло постановление полкового комитета против стрельбы и даже против пристрелки артиллерийских целей; пусть исчисляют необходимые данные по карте. Артиллерийский подполковник — член комитета, вполне одобрил такое постановление... Когда вчера командир полевой батареи начал пристрелку нового неприятельского окопа, наша пехота обстреляла свой наблюдательный пункт ружейным огнем; ранили телеграфиста. А ночью, на строящемся пункте вновь прибывшей тяжелой батареи, пехотные солдаты развели костер...[31].

9 часов утра. 1-я рота начинает понемногу вставать. Окопы загажены до невозможности; в узких ходах сообщения и во второй линии, более густо населенной, стоит тяжелый, спертый воздух. Бруствер осыпается. Никто не чинит — не хочется, да и мало людей в роте. Много дезертиров; более полусотни ушло легально: уволены старшие сроки, разъехались отпускные с самочинного разрешения комитета; кто попал в члены многочисленных комитетов или уехал в делегации (недавно, например, от дивизии послана была большая делегация к товарищу Керенскому проверить, действительно ли он приказал наступать); наконец, угрозами и насилием солдаты навели такой страх на полковых врачей, что те дают увольнительные свидетельства даже «тяжело здоровым»...

В окопах тянутся нудные, томительные часы. Скука, безделье. В одном углу играют в карты, в другом лениво, вяло рассказывает что-то вернувшийся из отпуска солдат; в воздухе висит скверная брань. Кто-то читает вслух «Русский Вестник»:

«Англичане хотят, чтобы русские пролили последнюю каплю крови для вящей славы Англии, которая ищет во всем барыша... Милые солдатики, вы должны знать, что Россия давно бы заключила мир, если бы этому не помешала Англия... Мы должны отшатнуться от нее — этого требует русский народ — такова его святая воля»...

Кто-то густо выругался:

— Как же, помирятся, ... и... м.... подохнешь тут, не видавши воли...

По окопам прошел поручик Альбов, командующий ротой. Он как-то неуверенно, просительно обращался к группам солдат:

— Товарищи, выходите скорей на работу. В три дня мы не вывели ни одного хода сообщений в передовую линию.

Игравшие в карты даже не повернулись; кто-то вполголоса сказал «ладно». Читавший газету привстал и развязно доложил:

— Рота не хочет рыть, потому что это подготовка к наступлению, а комитет постановил...

— Послушайте, вы ни черта не понимаете, да и почему вы говорите за всю роту? Если даже ограничиться одной обороной, то ведь в случае тревоги мы пропадем: вся рота по одному ходу не успеет выйти в первую линию.

Сказал и, махнув рукой, прошел дальше. Безнадежно. Каждый раз, когда он пытается говорить с ними подолгу и задушевно — они слушают внимательно, любят с ним беседовать и вообще своя рота относится к нему по-своему хорошо. Но он чувствует, что между ним и ими стала какая-то глухая стена, о которую разбиваются все его добрые порывы. Он потерял дорогу к их душе, запутавшись в невылазных дебрях темноты, грубости и той волны недоверия и подозрительности, которая влилась в солдатскую среду. Не те слова, может быть, не умеет сказать? Как будто бы нет. Еще незадолго до войны, будучи студентом и увлекаясь народничеством, он бывал и в деревне, и на заводе и находил «настоящие» слова, всем доступные и понятные. А главное, какими словами заставишь людей идти на смерть, когда у них все чувства заслонило одно чувство — самосохранения.

[31] Вообще специальные роды оружия, и в особенности артиллерия, сохранили гораздо дольше пехоты человеческий облик и известную дисциплину.

Мысли его прервало внезапное появление командира полка.

— Черт знает, что такое! Дежурный не встречает. Люди не одеты. Грязь, вонь. За чем вы смотрите, поручик?

Седой полковник суровым взглядом, невольно импонирующим, окинул солдат. Все повскакали. Он поглядел в бойницу и, отшатнувшись, нервно спросил:

— Это что такое?

На зеленом поле, между проволочными заграждениями шел настоящий базар. Группа немецких и наших солдат обменивали друг у друга водку, табак, сало, хлеб. Поодаль, на траве полулежал немецкий офицер — красный, плотный, с надменным выражением лица и вел беседу с солдатом Соловейчиком. И странно: фамильярный и дерзкий Соловейчик стоял перед лейтенантом прилично и почтительно.

Полковник оттолкнул наблюдателя и, взяв у него ружье, просунул в бойницу. Среди солдат послышался ропот. Стали просить не стрелять. Один вполголоса, как бы про себя, промолвил:

— Это провокация...

Полковник, красный от бешенства, повернулся на секунду к нему и крикнул:

— Молчать!

Все притихли и прильнули к бойницам. Раздался выстрел, и немецкий офицер как-то судорожно вытянулся и замер; из головы его потекла кровь. Торговавшие солдаты разбежались.

Полковник бросил ружье и, процедив сквозь зубы — «мерзавцы»,— пошел дальше по окопам. «Перемирие» было нарушено.

Поручик ушел к себе в землянку. Тоскливо и пусто на душе. Сознание своей ненужности и бесполезности в этой нелепой обстановке, извращавшей весь смысл служения Родине, которое одно только оправдывало и все тяжелые невзгоды, и, может быть, близкую смерть, давило его. Он бросился на постель; лежал час, два, стараясь не думать ни о чем, забыться...

А из-за земляной стены, где было убежище, полз чей-то заглушенный голос и словно обволакивал мозг грязной мутью:

— Им хорошо, с. с-ам,— получает, как стеклышко, сто сорок целковеньких в месяц, а нам — расщедрились — семь с полтиной отпустили. Погоди, будет еще наша воля...

Молчание.

— Слышно, землицу делят у нас в Харьковской. Домой бы...

Стук в дверь. Пришел фельдфебель.

—Ваше благородие (он всегда звал так своего ротного командира без свидетелей), рота сердится, грозится уйти с позиций, если сейчас не сменят. 2-й батальон должен был сменить нас в 5 часов, а его и доселе нет. Нельзя ли спросить по телефону.

— Не уйдут, Иван Петрович... Хорошо, спрошу, да только теперь уже все равно поздно — после утреннего происшествия немцы смениться днем нам не позволят.

— Позволят. Комитетчики уже знают. Я так думаю,— он понизил голос,— Соловейчик успел сбегать объяснить. Слышно, что немцы обещали помириться, только чтобы следующий раз, когда придет в окопы командир, им дали знать — бросят бомбу. Вы бы доложили, а то не ровен час...

— Хорошо.

Фельдфебель хотел уйти. Поручик остановил его.

— Плохо, Петрович, не верят нам...

— Да уж Бог его знает, кому они верят; вот на прошлой неделе в 6-й роте сами фельдфебеля выбрали, а теперь над ним же измываются, слова сказать не дают...

— Что же будет дальше?

Фельдфебель покраснел и тихо ответил:

— А будет то, что Соловейчики над нами царствовать будут, а мы у них

на положении, значит, скота бессловесного,— вот что будет, ваше благородие!..

Пришла, наконец, смена. Зашел в землянку командир 5-й роты капитан Буравин. Альбов предложил ознакомить его с участком и объяснить расположение противника.

— Пожалуй, хоть это не имеет значения, ибо я по существу ротой не командую — нахожусь под бойкотом.

— Как?

— Так. Выбрали ротным прапорщика, моего субалтерна, а меня сместили за приверженность к старому режиму — два раза в день, видите ли, занятия назначал — ведь маршевые роты приходят абсолютно необученные. Прапорщик первый и голосовал за мое удаление. «Довольно,— говорит,— нами помыкали. Теперь наша воля. Надо почистить всех, начиная с головы. С полком сумеет справиться и молодой, лишь бы был истинный демократ и стоял за солдатскую волю». Я бы ушел, но командир полка категорически воспротивился и не велит сдавать роты. Вот теперь у нас два командира, значит. Пять дней терплю это положение. Послушайте, Альбов, вы не торопитесь? Ну, прекрасно, поболтаем немного. Что-то тяжело на душе... Альбов, вам не приходила еще мысль о самоубийстве?

— Пока нет.

Буравин вскочил.

— Поймите, душу всю проплевали, над человеческим достоинством надругались — и так каждый день, каждый час, в каждом слове, взгляде, жесте видишь какое-то сплошное надругательство. Что я им сделал? Восемь лет служу, нет ни семьи, ни кола, ни двора. Все — в полку, в родном полку. Два раза искалечили, не долечился, прилетел в полк — на тебе! И солдата любил — мне стыдно самому говорить об этом, но ведь они помнят, как я не раз ползком из-под проволочных заграждений раненых вытаскивал... И вот теперь... Ну да, я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я приемлю революцию. Но для меня Россия бесконечно дороже революции. Все эти комитеты, митинги, всю ту наносную дрянь, которую развели в армии, я органически не могу воспринять и переварить. Но ведь я никому не мешаю, никому не говорю об этом, никого не стараюсь разубедить. Лишь бы окончить честно войну, а потом хоть камни бить на дороге, только не в демократизованной таким манером армии! Вот мой прапорщик — он с ними обо всем рассуждает: национализация, социализация, рабочий контроль... А я не умею — некогда было этим заниматься, да, признаться, и не интересовался никогда. Помните, приезжал командующий армией и в толпе солдат говорит: «Какой там «господин генерал» — зовите меня просто товарищ Егор...» А я этого не могу, да и все равно мне не поверят. Вот и молчу. А они понимают и мстят. И ведь при всей своей серости какие тонкие психологи! Умеют найти такое место, чтобы плевок был побольнее. Вот вчера, например...— Он наклонился над ухом Альбова и шепотом продолжал:— Возвращаюсь из собрания. У меня в палатке у изголовья карточка стоит — ну там одно дорогое воспоминание. Так нарисовали похабщину!..

Буравин вытер платком лоб.

— Ну, пойдем посмотрим позицию... Даст Бог, недолго уже терпеть. Никто из роты не хочет идти на разведку. Хожу сам каждую ночь; иногда вольноопределяющийся один со мной,— охотничья жилка у него. Если что-нибудь случится, пожалуйста, Альбов, присмотрите, чтобы пакетик один — он у меня в чемодане — отправили по назначению.

Рота, не дождавшись окончания смены, ушла вразброд. Альбов побрел вслед. Ход сообщения кончался в широкой лощине, где стоял полковой резерв. Словно большой муравейник, раскинулся бивак полка рядом землянок, палаток, дымящихся походных кухонь и коновязей. Когда-то их тщательно маскировали искусственными посадками, которые теперь засохли, облетели и торчали безлистыми жердями. На поляне кой-где учились солдаты — вяло, лениво, как будто затем, чтобы создать какую-нибудь видимость занятий: все-таки совестно было

абсолютно ничего не делать. Офицеров мало: хорошим опостылела та пошлая комедия, в которую превратилось теперь настоящее дело; у плохих есть нравственное оправдание их лени и безделия. Вдали, по дороге, в направлении к полковому штабу шла не то толпа, не то колонна, над которой развевались красные флаги. Впереди огромный транспарант, на котором белыми буквами красовалась видная издалека надпись:

«Долой войну!»

Это подходило пополнение. Тотчас же все занимавшиеся на поляне солдаты, словно по сигналу, оставили ряды и побежали к колонне.

— Эй, земляки, какой губернии?

Начался оживленный разговор на обычные, животрепещущие, волнующие темы: как с землицей, скоро ли замирение. Интересовались, впрочем, и вопросом, нет ли ханжи, так как «своя, полковая» самогонка, выгоняемая в довольно большом количестве «на заводе» 3-го батальона, была уж очень противна и вызывала болезненные явления.

Альбов направился в собрание. Офицеры собирались к обеду. Где былое оживление, задушевная беседа, здоровый смех и целый поток воспоминаний из бурной, тяжкой, славной боевой жизни! Воспоминания поблекли, мечты отлетели, и суровая действительность придавила всех своей тяжестью.

Говорили вполголоса, иногда прерывая разговор или выражаясь иносказательно: собранская прислуга могла донести, да и между своими появились новые люди... Еще недавно полковой комитет по докладу служителя разбирал дело кадрового офицера, георгиевского кавалера, которому полк обязан одним из самых славных своих дел. Подполковник этот говорил что-то о «взбунтовавшихся рабах». И хотя было доказано, что говорил он не свое, а цитировал лишь речь товарища Керенского, комитет «выразил ему негодование»; пришлось уйти из полка.

И состав офицерский сильно переменился. Кадровых офицеров осталось 2—3 человека. Одни погибли, другие калеки, третьи, получив «недоверие», скитаются по фронту, обивают пороги штабов, поступают в ударные батальоны, в тыловые учреждения, а иные, слабее духом, просто разъезжаются по домам. Не нужны стали армии носители традиции части, былой славы ее — этих старых буржуазных предрассудков, сметенных в прах революционным творчеством.

В полку уже все знают об утреннем событии в роте Альбова. Расспрашивают подробности. Подполковник, сидевший рядом, покачал головой.

— Молодчина наш старик. Вот и с 5-й ротой тоже. Боюсь только, что плохо кончит. Вы слышали, что сделали с командиром Дубовского полка за то, что тот не утвердил выбранного ротного командира и посадил под арест трех агитаторов? Р а с п я л и. Да-с, батенька! Прибили гвоздями к дереву и начали поочередно колоть штыками, обрубать уши, нос, пальцы...

Он схватился за голову.

— Боже мой, и откуда в людях столько зверства, столько низости этой берется...

На другом конце среди прапорщиков идет разговор на вечную больную тему — куда бы уйти...

— Ты записался в революционный батальон?

— Нет, не стоит: оказывается, формируется под верховным наблюдением исполкома, с комитетами, выборами и «революционной» дисциплиной. Не подходит.

— Говорят, у Корнилова ударные войска формируются и в Минске тоже. Хорошо бы...

— А я подал рапорт о переводе в нашу стрелковую бригаду во Францию. Вот только с языком не знаю как быть.

— Увы, батенька, опоздали,— отозвался с другого конца подполковник.— Уже давно правительство послало туда «товарищей-эмигрантов» для просвещения умов. И теперь бригады где-то на юге Франции на положении не то военнопленных, не то дисциплинарных батальонов.

Впрочем, эти разговоры в сознании всех имели чисто платонический характер ввиду безнадежности и безвыходности положения. Так, помечтать немного, как некогда мечтали чеховские «Три сестры» о Москве. Помечтать о таком необычайном месте, где не ежедневно топчут в грязь человеческое достоинство, где можно спокойно жить и честно умереть — без насилия и без надругательства над твоим подвигом. Так ведь немного...

— Митька, хлеба! — прогудел могучий бас прапорщика Ясного.

Он большой оригинал, этот Ясный. Высокий, плотный, с большой копной волос и медно-красной бородой, он весь — олицетворение черноземной силы и мужества. Имеет четыре георгиевских креста и произведен из унтер-офицеров за боевые отличия. Он нисколько не подлаживается под новую среду, говорит «леворюция» и «метинк» и не может примириться с новыми порядками. Несомненная «демократичность» Ясного, его прямота и искренность создали ему исключительную привилегию в полку: он, не пользуясь особым влиянием, может, однако, грубо, резко, иногда с ругательством осуждать и людей, и понятия, находящиеся под ревнивой охраной и поклонением полковой «революционной демократии». Сердятся, но терпят.

— Хлеба, говорю, нет.

Офицеры, занятые своими мыслями и разговорами, не обратили даже внимания, что суп съеден без хлеба.

— Не будет сегодня хлеба,— ответил служитель.

— Это еще что? Сбегай за хозяином собрания — духом.

Пришел хозяин собрания и растерянно стал оправдываться: послал сегодня утром требование на 2 пуда; начальник хозяйственной части сделал пометку «выдать», а писарь Федотов — член хозяйственной комиссии комитета написал «не выдавать». В цейхгаузе и не отпустили.

Никто не стал возражать. До того мучительно стыдно было и за хозяина собрания, и за ту непроходимую пошлость, которая вдруг ворвалась в жизнь и залила ее всю какой-то серою, грязною мутью. Только бас Ясного прогудел отчетливо под сводом барака:

— Экие свиньи!

Альбов только что собирался заснуть после обеда, как приподнялась пола палатки, и в щель просунулась лысая голова начальника хозяйственной части — старенького, тихого полковника, поступившего вновь на службу из отставки.

— Можно?

— Виноват, господин полковник...

— Ничего, голубчик, не вставайте. Я к вам на одну секунду. Сегодня, видите ли, в шесть часов состоится полковой митинг. Назначен доклад хозяйственной проверочной комиссии, и меня, по-видимому, распинать будут. Я не умею говорить всякие там речи, а вы мастер. В случае надобности заступитесь.

— Слушаюсь. Не собирался идти, но раз надо, пойду.

— Ну вот, спасибо, голубчик.

...К 6 часам площадка возле штаба полка была сплошь усеяна людьми. Собралось не менее двух тысяч. Толпа двигалась, шумела, смеялась — такая же русская толпа, как где-нибудь на Ходынке или на Марсовом поле в дни гулянья. Революция не могла преобразить ее сразу ни умственно, ни духовно. Но, оглушив потоком новых слов, открыв пред ней неограниченные возможности, вывела ее из состояния равновесия, сделала нервно восприимчивой и бурно реагирующей на все способы внешнего воздействия. Бездна слов — морально высоких и низменно-преступных — проходила сквозь их самосознание, как через сито, отсеивая в сторону всю идеологию новых понятий и задерживая лишь те крупицы, которые имели реальное прикладное значение в их повседневной жизни, в солдатском, крестьянском, рабочем обиходе. И притом непременно — значение положительное, выгодное. Отсюда — полная безрезультатность потоков красноречия, наводнивших армию с легкой руки военного министра, нелепые явления горячего сочувствия двум ораторам явно противоположного направления и совершенно неожиданные — приводившие в недоумение и ужас говорившего — выводы, которые толпа извлекала из его слов.

Какое же прикладное значение могли иметь для толпы при этих условиях такие идеи, как долг, честь, государственные интересы по одной терминологии,— аннексии, контрибуции, самоопределение народов, сознательная дисциплина и прочие темные понятия по другой?

Вышел весь полк — митинг привлекал солдат, как привлекает всякое зрелище. Прислал делегатов и 2-й батальон, стоявший на позиции — чуть не треть своего состава. Посреди площадки стоял помост для ораторов, украшенный красными флагами, полинявшими от времени и дождя — с тех пор, как помост был выстроен для смотра командующего армией. Теперь уже смотры делаются не в строю, а с трибуны. Сегодня в отлитографированной повестке митинга поставлены были два вопроса: «1) отчет хозяйственной комиссии о неправильной постановке офицерского довольствия, 2) доклад специально выписанного из Московского совдепа оратора — товарища Склянки о политическом моменте (образование коалиционного министерства)».

На прошлой неделе был бурный митинг, едва не окончившийся большими беспорядками, по поводу заявления одной из рот, что солдаты едят ненавистную чечевицу и постные щи потому, что вся крупа и масло поступают в офицерское собрание. Это был явный вздор. Тем не менее постановили тогда расследовать дело комиссией и доложить общему собранию полка. Докладывал член комитета, подполковник Петров, смещенный в прошлом году с должности начальника хозяйственной части и теперь сводящий счеты. Мелко, придирчиво, с какой-то пошлой иронией перечислял он не относящиеся к делу небольшие формальные недочеты полкового хозяйства — крупных не было — и тянул без конца своим скрипучим, монотонным голосом. Притихшая было толпа опять загудела, перестав слушать; с разных сторон послышались крики:

— Довольна-а-а!

— Буде!

Председатель комитета остановил чтение и предложил «желающим товарищам» высказаться. На трибуну взошел солдат — рослый, толстый и громким истерическим голосом начал:

— Товарищи, вы слышали? Вот куда идет солдатское добро! Мы страдаем, мы обносились, обшивели, мы голодаем, а они последний кусок изо рта у нас тащут...

По мере того как он говорил, в толпе нарастало нервное возбуждение, перекатывался глухой ропот и вырывались отдельные возгласы одобрения.

— Когда же все это кончится? Мы измызгались, устали до смерти...

Вдруг из далеких рядов раздался раскатистый бас прапорщика Ясного, заглушивший и оратора, и толпу:

— Ка-кой-ты-ро-ты?

Произошло замешательство. Оратор замолк. По адресу Ясного послышались негодующие крики.

— Ро-ты-ка-кой, те-бя-спра-ши-ваю?

— Седьмой!

Из рядов раздались голоса:

— Нет у нас такого в седьмой...

— Постой-ка, приятель,— гудел Ясный,— это не ты сегодня с маршевой ротой пришел — еще плакат большой нес? Когда же ты успел умаяться, болезный?..

Настроение толпы мгновенно изменилось. Начался свист, смех, крики, остроты, и неудачный оратор скрылся в толпе. Кто-то крикнул:

— Резолюцию!

На подмостки взошел опять подполковник Петров и стал читать заготовленную резолюцию о переводе офицерского собрания на солдатский паек. Но его уже никто больше не слушал. Два-три голоса крикнули — «Правильно!». Петров помялся, спрятал в карман бумажку и сошел с подмостков. Пункт второй о сме-

щении начальника хозяйственной части и о немедленном выборе нового (предполагалось — автора доклада) так и остался непрочитанным. Председатель комитета огласил:

— Слово принадлежит члену исполнительного комитета московского Совета рабочих и солдатских депутатов, товарищу Склянке.

Свои надоели, всегда одно и то же; приезд нового лица, сопровожденный некоторой рекламой комитета, возбудил общий интерес. Толпа пододвинулась к помосту и затихла. На трибуну не взошел, а быстро вбежал маленький, черненький человек, нервный и близорукий, ежесекундно поправлявший сползавшее с носа пенсне. Он стал говорить быстро, с большим подъемом и сильной жестикуляцией.

— Товарищи солдаты! Вот уже прошло более трех месяцев, как петроградские рабочие и революционные солдаты сбросили с себя иго царя и всех его генералов. Буржуазия в лице Терещенко — известного киевского сахарозаводчика, фабриканта Коновалова, помещиков Гучковых, Родзянко, Милюковых и других предателей народных интересов, захватив власть, вздумала обмануть народные массы. Требование всего народа немедленно приступить к переговорам о мире, который нам предлагают наши немецкие братья, рабочие и солдаты,— такие же обездоленные, как и мы,— кончились обманом — телеграммой Милюкова к Англии и Франции, что-де, мол, русский народ готов воевать до победного конца. Обездоленный народ понял, что власть попала в еще худшие руки, то есть к заклятым врагам рабочего и крестьянина. Поэтому народ крикнул мощно: «Долой, руки прочь!» Содрогнулась проклятая буржуазия от мощного крика трудящихся и лицемерно приманила к власти так называемую демократию — эсеров и меньшевиков, которые всегда якшались с буржуазией для продажи интересов трудового народа...

Очертив таким образом процесс образования коалиционного министерства, товарищ Склянка перешел более подробно к соблазнительным перспективам деревенской и фабричной анархии, где «народный гнев сметает иго капитала» и где «буржуазное добро постепенно переходит в руки настоящих хозяев — рабочих и беднейших крестьян».

— У солдат и рабочих есть еще враги,— продолжал он.— Это друзья свергнутого царского правительства, закоренелые поклонники расстрелов, кнута и зуботычины. Злейшие враги свободы, они сейчас нацепили красные бантики, зовут вас «товарищами» и прикидываются вашими друзьями, но таят в сердце черные замыслы, готовясь вернуть господство Романовых. Солдаты, не верьте волкам в овечьей шкуре! Они зовут вас на новую бойню. Ну что же — идите, если хотите! Пусть вашими трупами устилают дорогу к возвращению кровавого царя! Пусть ваши сироты — вдовы и дети, брошенные всеми, попадут снова в кабалу к голоду, нищете и болезням!

Речь имела большой и несомненный успех. Накаливалась атмосфера, росло возбуждение — то возбуждение «расплавленной массы», при котором невозможно предвидеть ни границ, ни силы напряжения, ни путей, по которым хлынет поток. Толпа шумела и волновалась, сопровождая криками одобрения или бранью по адресу «врагов народа» те моменты речи, которые особенно задевали ее инстинкты, ее обнаженный, жестокий эгоизм.

На помосте появился бледный, с горящими глазами Альбов. Он о чем-то возбужденно говорил с председателем, который обратился потом к толпе. Слов председателя не слышно было среди шума; он долго махал руками и сорванным флагом, пока, наконец, не стало несколько тише.

— Товарищи, просит слова поручик Альбов!

Раздались крики, свист.

— Долой! Не надо!

Но Альбов стоял уже на трибуне, крепко стиснув руками перила, наклонившись вниз, к морю голов. И говорил:

— Нет, я буду говорить, и вы не смеете не слушать одного из тех офицеров, которых здесь при вас бесчестил и позорил этот господин. Кто он, откуда, кто платит за его полезные немцам речи,— никто из вас не знает. Он пришел, отуманил вас и уйдет дальше сеять зло и измену. И вы поверили ему. А мы, которые вместе с вами вот уже четвертый год тяжелой войны несем тяжелый крест,— мы стали вашими врагами. Почему? Потому ли, что мы не посылали вас в бой, а вели за собою, усеяв офицерскими телами весь путь, пройденный полком? Потому ли, что из старых офицеров не осталось в полку ни одного не искалеченного?

Он говорил с глубокой искренностью и болью. Были минуты, когда казалось, что слово его пробивает черствую кору одеревеневших сердец, что в настроении опять произойдет перелом...

— Он — ваш «новый друг» — зовет вас к бунту, к насилиям, захватам. Вы понимаете, для кого это нужно, чтобы в России встал брат на брата, чтобы в погромах и пожарах испепелить последнее добро не только «капиталистов», но и рабочей и крестьянской бедноты? Нет, не насилием, а законом и правом вы добьетесь и земли, и воли, и сносного существования. Не здесь враги ваши, среди офицеров, а там — за проволокой. И не дождемся мы ни свободы, ни мира от постыдного, трусливого стояния на месте, пока в общем могучем порыве наступления...

Слишком ли живо еще осталось впечатление от речи Склянки, обиделся ли полк на эпитет «трусливый» — самый отъявленный трус никогда не прощает подобного напоминания,— или же, наконец, виною было произнесенное сакраментальное слово «наступление», которое с некоторых пор стало нетерпимым в армии, но больше говорить Альбову не позволили.

Толпа ревела, изрыгая ругательства, напирала все сильнее и сильнее, подвигаясь к помосту, сломала перила. Зловещий гул, искаженные злобой лица и тянущиеся к помосту угрожающие руки. Положение становилось критическим. Прапорщик Ясный протиснулся к Альбову, взял его под руку и насильно повел к выходу. Туда же со всех сторон сбегались уже солдаты 1-й роты, и при их помощи, с большим трудом Альбов вышел из толпы, осыпаемый отборной бранью. Кто-то крикнул вслед ему:

— Погоди, с. с.,— мы с тобой сосчитаемся!

Ночь. Бивак затих. Небо заволокло тучами. Тьма. Альбов, сидя на постели в тесной палатке, освещаемой огарком, писал рапорт командиру полка: «Звание офицера — бессильного, оплеванного, встречающего со стороны подчиненных недоверие и неповиновение, делает бессмысленным и бесполезным дальнейшее прохождение в нем службы. Прошу ходатайства о разжаловании меня в солдаты, дабы в этой роли я мог исполнить честно и до конца свой долг».

Он лег на постель. Сжал голову руками. Какая-то чуткая и непонятная пустота охватила, словно чья-то невидимая рука вынула из головы мысль, из сердца боль... Что это? Послышался какой-то шум, повалилось древко палатки, потухла свеча. На палатку навалилось много людей. Посыпались сильные, жестокие удары по всему телу. Острая невыносимая боль отозвалась в голове, в груди. Потом все лицо заволокло теплой, липкой пеленой, и скоро стало опять тихо, покойно, как будто все страшное, тяжелое оторвалось, осталось здесь, на земле, а душа куда-то летит и ей легко и радостно.

...Очнулся Альбов от чьего-то холодного прикосновения: рядовой его роты, пожилой уже человек Гулькин сидит в ногах на кровати и мокрым полотенцем смывает у него с лица кровь. Заметил, что Альбов очнулся.

— Ишь, как разделали человека, сволочи. Это не иначе, как пятая рота — я одного приметил. Очень больно вам? Доктора, может, позвать?

— Нет, голубчик, ничего. Спасибо! — Альбов пожал ему руку.

— Вот и с ихним командиром, капитаном Буравиным, несчастье случилось. Ночью пронесли мимо нас на носилках, в живот ранен; говорил санитар, что не выживет. Возвращался с разведки, и у самой нашей проволоки пуля угодила. Немецкая ли, свои ли не признали,— кто его знает.

Помолчал.

— Что с народом сделалось, прямо не понять. И все это напускное у нас. Все это неправда, что против офицеров говорят,— сами понимаем. Всякие, конечно, и промеж вас бывают. Но мы-то их знаем хорошо. Разве мы сами не видим, что вы вот к нам всей душой? Или, скажем, прапорщик Ясный. Разве такой может продаться? А вот поди ж ты, попробуй сказать слово, заступиться — самому житья не будет. Озорство пошло большое. Только озорников и слушают... Я так думаю, что все это самое происходит потому, что люди Бога забыли. Нет на людей никакого страху...

Альбов от слабости закрыл глаза. Гулькин торопливо поправил сползшее на пол одеяло, перекрестил его и потихоньку вышел из палатки.

Но сна не было. На душе неизбывная тоска и гнетущее чувство одиночества. Так захотелось, чтобы около было живое существо, чтобы можно было молча, без слов только чувствовать его близость и не оставаться наедине со своими страшными мыслями. Пожалел, что не задержал Гулькина.

Тишина. Весь лагерь спит. Альбов сорвался с постели, зажег снова свечу. Овладело тупое, безнадежное отчаяние. Нет уже больше веры ни во что. Впереди беспросветная тьма. Уйти из жизни? Нет, это была бы сдача... Нужно идти в нее, стиснув зубы и скрепя сердце, пока какая-нибудь шальная пуля — своих или чужая — не прервет нить опостылевших дней.

Занималась заря. Начинался новый день, новые армейские будни, до ужаса похожие на прожитые.

. . . .

Потом?

Потом «расплавленная стихия» вышла из берегов окончательно. Офицеров убивали, жгли, топили, разрывали, медленно, с невыразимой жестокостью молотками пробивали им головы.

Потом — миллионы дезертиров. Как лавина, двигалась солдатская масса по железным, водным, грунтовым путям, топча, ломая, разрушая последние нервы бедной бездорожной Руси.

Потом — Тарнополь, Калуш, Казань... Как смерч, пронеслись грабежи, убийства, насилия, пожары по Галиции, Волынской, Подольской и другим губерниям, оставляя за собой повсюду кровавый след и вызывая у обезумевших от горя, слабых духом русских людей чудовищную мысль: «Господи, хоть бы немцы поскорее пришли...»

Это сделал солдат.

Тот солдат, о котором большой русский писатель с чуткой совестью и смелым сердцем говорил: [32]

«...Ты скольких убил в эти дни, солдат? Скольких оставил сирот? Скольких оставил матерей безутешных? И ты слышишь, что шепчут их уста, с которых ты навеки согнал улыбку радости?

Убийца! Убийца!

Но что матери, что осиротевшие дети. Настал еще более страшный миг, которого не ожидал никто,— и ты предал Россию, ты всю Родину свою, тебя вскормившую, бросил под ноги врага!

Ты, солдат, которого мы так любили и... все еще любим».

Глава XXVIII. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Национального вопроса в старой русской армии почти не существовало. В солдатской среде представители народностей, населявших Россию, испытывали несколько большую тягость службы, обусловленную незнанием или плохим знанием ими русского языка, на котором велось обучение. Только на этой почве — технических затруднений обучения — быть может, общей грубости и некультурности, но отнюдь не национальной нетерпимости — возникали много раз

[32] Леонид Андреев. Статья «К тебе, солдат!»

трения, отяжелявшие положение инородных элементов, тем более что, в силу системы смешанного комплектования, они были обыкновенно оторваны от родных краев: территориальная система комплектования армии признавалась технически нерациональной и политически не безопасной. В частности, малорусский вопрос не существовал *вовсе*. Малорусская речь вне официального обучения, песни, музыка приобрели полное признание и ни в ком не вызывали впечатления обособленности, воспринимаясь как свое, русское, родное. В армии, кроме евреев, все остальные элементы ассимилировались довольно быстро и прочно; армейская среда не являлась вовсе проводником ни принудительной русификации, ни национального шовинизма.

Еще менее национальное расслоение заметно было в офицерской среде. За корпоративными, военными, товарищескими или просто человеческими качествами и достоинствами отходили на задний план или стирались вовсе национальные перегородки. Лично мне в течение 25 лет службы до революции и в голову не приходило вносить когда-либо этот элемент в отношения командные, служебные, товарищеские. Именно интуитивно, а не в результате известных взглядов и убеждений. Возбуждаемые *вне армии*, в политической жизни страны национальные вопросы интересовали, волновали, разрешались в ту или другую сторону, иногда резко и непримиримо, не переходя, однако, за грань военной жизни.

Несколько иное положение занимали евреи. К вопросу этому я вернусь впоследствии. В отношении же старой армии можно сказать, что он имел значение скорее бытовое, нежели политическое. Нельзя отрицать, что в армии известная тенденция к угнетению евреев была, но она отнюдь не входила в систему, не инспирировалась свыше, а возникла в низах и в силу сложных причин, далеко выходивших за рамки жизни, быта и взаимоотношений военной среды.

Евреи не имели доступа в офицерскую среду до третьего колена. Закон этот, однако, не соблюдался, и в офицерском корпусе состояли не только прапорщики запаса, но и генералы генерального штаба, принявшие до службы христианство.

Правительственная политика среди офицерского состава всех народностей русского государства выделяла одних только поляков. Это традиционное недоверие имело формы несправедливые и обидные. Секретными циркулярами был установлен целый ряд ограничений в отношении офицеров-поляков: определенный процент их в составе войск западных и юго-западных округов, воспрещение назначений на должности полкового штаба, лишение права поступления в академии генерального штаба и даже интендантскую, курсовыми офицерами в военные училища и т. д. Для лиц, обладавших влечением к военной службе и желавших расчистить себе широкий путь через академию, был единственный выход — сделка с собственной совестью и перемена религии. Через это испытание должны были пройти, между прочим, покойный генерал Пузыревский, составивший себе в военном мире большое имя, и один из генералов, занимающий ныне высокий пост в польской армии. Имена других поляков, сохранивших религию и дошедших до высших степеней военной иерархии, исчисляются единицами. Среди командовавших войсками, например, я знал одного только поляка — генерала Гурчина, тогда как немцы насчитывались десятками.

Нужно отдать справедливость офицерской среде — в ней в общем совершенно отсутствовали те начала нетерпимости и предубеждения, которые проводились правительством. В военном быту тяготились этими стеснениями, осуждали их и, когда было возможно, обходили закон в пользу поляков. Это обстоятельство должно сгладить горечь некоторых воспоминаний среди той большой части офицерства польской армии, которое нашло себе некогда приемную семью в русской офицерской среде, вместе с нею прошло крестный путь войны и смуты и раньше ее выбилось на дорогу к воссозданию Родины.

Война, во всяком случае, опрокинула всякие перегородки, а революция принесла и в порядке законодательном отмену всех вероисповедных и национальных ограничений.

Еще до 1917 года были созданы национальные части по различным соображениям. Несколько латышских стрелковых батальонов, пользовавшихся до революции хорошей боевой репутацией. Кавказская туземная дивизия, которою командовал великий князь Михаил Александрович. Она более известна под названием «Дикой» и состояла из добровольцев — северокавказских горцев. Едва ли не стремление к изъятию с территории Кавказа наиболее беспокойных элементов было исключительной причиной этого формирования. Во всяком случае, эпические картинки боевой работы «Дикой» дивизии бледнеют на общем фоне ее первобытных нравов и батыевских приемов. Сербская дивизия (потом корпус), составленная из пленных юго-славян, которая после неудач и потерь, понесенных в Добрудже, в задунайском отряде генерала Зайончковского [33] в 1916 году, не могла оправиться. На почве общего упадка дисциплины, отчасти же ввиду возникшей политической распри между родственными, но не очень дружными славянскими племенами («Великая Сербия» противополагалась «Юго-Славии»), пришлось сербский корпус летом 1917 года расформировать. Наконец, чехословацкая бригада — из пленных, к осени 1917 года развернутая в целый корпус, сыгравший впоследствии такую исключительную и двойственную роль в антибольшевистской борьбе Сибири.

С началом революции и ослаблением власти проявилось сильнейшее центробежное стремление окраин и наряду с ним стремление к национализации, то есть расчленению армии. Несомненно, потребность такого расчленения тогда не исходила от сознания массы и не имела никаких реальных обоснований (я не говорю о польских формированиях). Единственные мотивы национализации заключались тогда в стремлении политических верхов возникавших новообразований создать реальную опору для своих домогательств и чувство самосохранения, побуждавшее военный элемент искать в новых и длительных формированиях временного или постоянного освобождения от боевых операций. Начались бесконечные национальные военные съезды, вопреки разрешению правительства и главного командования. Заговорили вдруг все языки: литовцы, эстонцы, грузины, белорусы, малороссы, мусульмане — требуя провозглашенного «самоопределения» — от культурно-национальной автономии до полной независимости включительно, а главное — немедленного формирования отдельных войск. В конце концов более серьезных результатов, несомненно отрицательных в смысле целости армии, достигли формирования украинское и польское, отчасти закавказские. Прочие попытки были пресечены. Лишь в последние дни существования русской армии, в октябре 1917 года, генерал Щербачев с целью удержания Румынского фронта приступил к широкому расслоению войск по национальным признакам — попытка, окончившаяся полной неудачей. Должен добавить, что только одна национальность не требовала самоопределения в смысле несения военной службы — это еврейская. И каждый раз, когда откуда-нибудь вносилось предложение — в ответ на жалобы евреев — организовать особые еврейские полки, это предложение вызывало бурю негодования в среде евреев и в левых кругах именовалось злостной провокацией.

Правительство отнеслось резко отрицательно к расслоению армии по признакам национальности. Керенский в письме на имя польского съезда (1 июня 1917 года) высказал такой взгляд: «Великий подвиг освобождения России и Польши может быть совершен лишь при условии, что организм русской армии не будет ослаблен, что никакие организационные изменения не нарушат ее единства... Выделение национальных войск... в настоящий тяжелый момент растерзало бы ее тело, подорвало бы ее мощь и было бы гибелью как для революции, так и для свободы России, Польши и других народностей, населяющих Россию».

Командный элемент относился к вопросу национализации двойственно. Большая часть — совершенно отрицательно, меньшая — с некоторой надеждой, что, порывая связь с Советом рабочих и солдатских депутатов, создаваемые заново национальные части могут избегнуть ошибок, увлечений демократизации

[33] Командует армией у большевиков.

и стать здоровым ядром для укрепления фронта и создания армии. Генерал Алексеев решительно противился всем попыткам национализации, но поощрял польские и чехословацкие формирования. Генерал Брусилов самовольно разрешил первое украинское формирование, прося затем Верховного Главнокомандующего «не отменять и не подрывать тем его авторитета» [34]. Полк оставили. Генерал Рузский также самовольно приступил к эстонским формированиям [35] и т. д. Вероятно, по тем же мотивам, по которым некоторые начальники допускали формирования, но в обратном их отражении, вся русская революционная демократия в лице советов и войсковых комитетов восстала против национализации армии. Целый ряд резких резолюций и постановлений посыпался со всех концов. Между прочим, и киевский Совет рабочих и солдатских депутатов в середине апреля в резких и возмущенных выражениях охарактеризовал явление украинизации как просто дезертирство и шкурничество и большинством 264 голосов против 4 потребовал отмены образования украинских полков. Интересно, что таким же противником национализации явилась польская «левица», отколовшаяся от военного съезда поляков в июне из-за постановления о формировании польских войск.

Правительство недолго сохраняло свое первоначальное твердое решение против национализации. Декларация 2 июля, наряду с предоставлением Украине автономии, разрешила и вопрос национализации войск: «Правительство считает возможным продолжать содействовать более тесному национальному объединению украинцев в рядах самой армии или комплектования отдельных частей исключительно украинцами, насколько такая мера не нарушит боеспособности армии... и находит возможным привлечь к осуществлению этой задачи самих воинов-украинцев, командируемых Центральной радой в военное министерство, генеральный штаб и Ставку».

Началось великое «переселение народов».

Еще ранее «представитель украинского войскового генерального комитета» Петлюра [36] разослал своих агентов — к сожалению, русских офицеров — по всем фронтам в качестве военных представителей комитета. Помню, такой полковник — не то Павленко, не то Василенко — был и в Ставке и неоднократно обращался ко мне, скрывая свое официальное назначение, за разрешением украинских формирований, вкрадчиво уверяя, что он — только русский офицер, глубоко предан идее русской государственности и вместе с своими единомышленниками стремится лишь ввести в надлежащее русло «стихийное, народное стремление к самоопределению» и дать русской армии здоровые части. Другие агенты разъезжали по фронту, организуя в войсках украинские громады и комитеты, проводя постановления, резолюции о переводе в украинские части, о нежелании идти на фронт под предлогом «удушения Украины» и т. д. К октябрю украинский комитет Западного фронта призывал уже к вооруженному воздействию на правительство для немедленного заключения мира...

В качестве главнокомандующего Западным и Юго-западным фронтами (июнь — сентябрь) я категорически воспретил начальствующим лицам входить в какое-либо сношение с «войсковым генеральным комитетом» и его агентами. Но работа комитета продолжалась почти официально, помимо и параллельно командованию, внося неизмеримые затруднения в мобилизацию, комплектование, перевозку и перемещение войск.

Петлюра уверял, что в его распоряжении имеется 50 тысяч украинских воинов. А командовавший войсками Киевского военного округа полковник Оберучев [37] свидетельствует: «В то время, когда делались героические усилия для

[34] Генерал Алексеев приказал расформировать. Керейский разрешил не расформировывать.

[35] Были расформированы.

[36] Петлюра Симон Васильевич (1879—1926) — украинский социал-демократ, стоял за самостийную Украину. В 1918 г. сотрудничал с немцами, после их ухода фактический глава Директории, командующий ее вооруженными силами. В 1920 г. сотрудничал с поляками. Убит в Париже в 1926 г. (Прим. ред.)

[37] Соц.-рев. эмигрант и деятельный партийный работник. Назначен на должность Керенским по желанию киевского Совета солдатских депутатов.

того, чтобы сломить врага (июньское наступление)... *я не мог послать ни одного солдата на пополнение действующей армии*... Чуть только я посылал в какой-либо запасный полк приказ о высылке маршевых рот на фронт, как в жившем до того времени мирною жизнью и не думавшем об украинизации полку созывался митинг, поднималось украинское желто-голубое знамя и раздавался клич:

— Пийдем пид украинським прапором!

И затем — ни с места. Проходят недели, месяц, а роты не двигаются ни под красным, ни под желто-голубым знаменем».

Возможно ли было бороться с этим неприкрытым шкурничеством? Ответ на этот вопрос дает тот же Оберучев — ответ чрезвычайно характерный своим безжизненным партийным ригоризмом:

«Само собой разумеется, что можно было силой заставить исполнять свои распоряжения. И сила такая в руках у меня была». Но «выступая силой против ослушников, действующих под флагом украинским, рискуешь заслужить упрек, что ведешь борьбу не с анархическими выступлениями.., а борешься против национальной свободы и самоопределения народностей. А мне, социалисту-революционеру,— заслужить такой упрек, да еще на Украине, с которой я связан всей своей жизнью, было невозможно. И я решил уйти».[38]

И он ушел. Правда, только в октябре, незадолго до большевистского переворота, пробыв в должности командующего войсками важнейшего прифронтового округа почти пять месяцев.

В развитие распоряжений правительства Ставка назначила на всех фронтах определенные дивизии для украинизации, а на Юго-западном фронте, кроме того, 34-й корпус, во главе которого стоял генерал Скоропадский. В эти части, стоявшие обыкновенно в глубоком резерве, двинулись явочным порядком солдаты со всего фронта. Надежды оптимистов, с одной стороны, и страхи левых кругов — с другой, что национализация создаст «прочные части» (по терминологии слева — контрреволюционные), быстро рассеялись. Новые украинские войска носили в себе все те же элементы разложения, что и кадровые.

Между тем среди офицерства и старослуживых многих славных полков, с большим историческим прошлым, переформированных в украинские части, эта мера вызвала острую боль и сознание, что теперь уже близок конец армии[39]. В августе, когда я командовал Юго-западным фронтом, из 34-го корпуса ко мне начали приходить дурные вести. Корпус как-то стал выходить из прямого подчинения, получая непосредственно от «генерального секретаря Петлюры» и указания, и укомплектования. Комиссар его находился при штабе корпуса, над помещением которого развевался «жовтоблакитный прапор». Старые русские офицеры и унтер-офицеры, оставленные в полках за неимением щиро-украинского командного состава, подвергались надругательствам со стороны поставленных над ними зачастую невежественных украинских прапорщиков и солдат. В частях создавалась крайне нездоровая атмосфера взаимной ненависти и отчуждения.

Я вызвал к себе генерала Скоропадского[40] и предложил ему умерить резкий ход украинизации и, в частности, восстановить права командного состава или отпустить его из корпуса. Будущий гетман заявил, что об его деятельности составилось превратное мнение, вероятно, по историческому прошлому фамилии Скоропадских[41]; что он истинно русский человек, гвардейский офицер и совершенно чужд самостийности; исполняет только возложенное на него начальством поручение, которому сам не сочувствует... Но вслед за сим Скоропадский поехал в Ставку, откуда моему штабу указано было... содействовать скорейшей украинизации 34-го корпуса.

Несколько иначе обстоял вопрос с польскими формированиями. Временное правительство объявило независимость Польши, и поляки считали себя уже

[38] Оберучев. «В дни революции».
[39] Среди других украинизации подверглась моя бывшая 4-я стрелковая дивизия.
[40] Скоропадский Павел Петрович (1873—1945) — генерал-лейтенант старой армии. С окт. 1917 г.— глава военных формирований Цент. Рады. Весной 1918 г. избран гетманом Украины. Установил бурж.-помещичий режим. С концом нем. оккупации Украины (дек. 1918 г.) бежал в Германию. (Прим. ред.)
[41] Один из предков — Скоропадский, украинский гетман.

«иностранцами»: польские формирования существовали фактически давно — на Юго-западном фронте, правда, разлагающиеся (кроме польских улан); дав разрешение украинцам, правительство не могло уже отказать полякам. Наконец, центральные державы, создавая видимость польской независимости, также предусматривали образование польской армии... окончившееся, впрочем, неудачно; формировала польскую армию и Америка на французской территории.

В июле 1917 г. формирование польского корпуса было возложено Ставкой на Западный фронт, в бытность мою там главнокомандующим. Во главе корпуса я поставил ген. Довбор-Мусницкого[42], ныне командующего польской армией в Познани. Сильный, энергичный, решительный, бесстрашно ведший борьбу с разложением русских войск и с большевизмом в них, он сумел создать в короткое время части, если не вполне твердые, то, во всяком случае, разительно отличавшиеся от русских войск дисциплиной и порядком. Дисциплиной старой, отметенной революцией — без митингов, комиссаров и комитетов. Такие части вызывали и иное отношение к себе в армии, невзирая на принципиальное отношение к национализации. Передача имущества расформированных мятежных дивизий и полная предупредительность начальника снабжений дали возможность корпусу вскоре поставить и свою хозяйственную часть. По приказу офицерский состав польского корпуса комплектовался путем перевода желающих, солдатский — исключительно добровольцами или запасными батальонами; фактически началась ничем не устранимая тяга с фронта по тем же побуждениям, которыми руководствовались русские бойцы, опустошая поределые ряды армии.

В результате польские формирования для нас оказались совершенно бесполезными. Еще на июньском войсковом съезде поляков довольно единодушно и недвусмысленно прозвучали речи, определявшие цели формирований. Их синтез был выражен одним из участников: «ни для кого не секрет, что война уже кончается, и польская армия нам нужна не для войны, не для борьбы — она нам необходима, чтобы на будущей международной мирной конференции с нами считались, чтобы мы имели за собою силу».

Действительно, корпус на фронт не выходил — правда, формирование не закончилось, во «внутренние дела» русских (октябрь и позже — борьба с большевизмом) не пожелал вмешиваться и вскоре перешел совершенно на положение «иностранной армии», поступив в ведение и на содержание французского командования.

Но и надежды польских националистов также не сбылись: на фоне общей разрухи и падения фронта корпус в начале 1918 г., после вторжения германцев внутрь России, частью был захвачен и обезоружен, частью разошелся, и остатки польских войск нашли впоследствии гостеприимный приют в Добровольческой армии.

Лично я не могу не вспомнить добрым словом 1-й польский корпус, частям которого, расположенным в Быхове, мы во многом обязаны сохранением жизни генерала Корнилова и прочих быховских узников в памятные сентябрьские — ноябрьские дни.

. . . .

Центробежные силы разметали страну и армию. К нетерпимости классовой и партийной прибавилось обострение национальной розни, отчасти имевшее основание в исторически сложившихся взаимоотношениях между племенами, населяющими Россию, и императорским правительством, отчасти же совершенно беспочвенное, нелепое, питавшееся причинами, ничего общего не имевшими со здоровым национальным чувством. Скрытая или подавленная ранее, эта рознь резко проявилась, к сожалению, в тот именно момент, когда общерусская власть добровольно и добросовестно выходила на путь широкой децентрализации, признания исторических прав и культурно-национального самоопределения составных элементов русского государства.

[42] Командовал ранее 38-м корпусом.

Глава XXXII. НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ АРМИЙ ЛЕТОМ 1917 Г. РАЗГРОМ

Наступление русских армий, предположенное на май, все откладывалось. Первоначально имелась в виду одновременность действий на всех фронтах; потом, считаясь с психологической невозможностью сдвинуть армии с места одновременно, перешли к плану наступления уступами во времени. Но фронты, имевшие значение второстепенное (Западный) или демонстративное (Северный) и которым надлежало начинать операцию раньше, для отвлечения внимания и сил противника от главных направлений (Юго-западный фронт), не были готовы психологически. Тогда верховное командование решило отказаться от всякой стратегической планомерности и вынуждено было предоставить фронтам начинать операцию по мере готовности, лишь бы не задерживать ее чрезмерно и тем не давать противнику возможности дальних крупных перебросок.

Даже и такая упрощенная революцией стратегия могла дать большие результаты в мировом масштабе войны, если даже не прямым разгромом Восточного фронта, то по крайней мере *восстановлением его прежнего грозного значения*, потребовав от центральных держав притока туда больших сил, средств, огромного количества боевых припасов, создавая опять вечное беспокойство и совершенно сковывая оперативную свободу Гинденбурга.

В результате начало операций определилось следующими датами: 16 июня — на Юго-западном фронте; 7 июля — на Западном; 8 июля — на Северном и 9 июля — на Румынском. Последние три даты почти совпадают с началом крушения (6—7 июля) Юго-западного фронта.

Как я уже говорил, к июню 1917 г. большинство революционной демократии, хотя и с весьма существенными оговорками, восприняло идею необходимости наступления. Таким образом, в активе своего морального обоснования эта идея имела Временное правительство, командный состав, все офицерство, либеральную демократию, оборонческий блок советов, комиссаров, почти все высшие войсковые комитеты и много низших. В пассиве — меньшинство революционной демократии в лице большевиков, левых социал-революционеров, группы Чернова, Цедербаума (Мартова) и еще один маленький привесок... *демократизацию армии*.

У меня нет под рукой боевого расписания русских армий, но, во всяком случае, во всех районах наступления мы обладали превосходством сил и технических средств над противником и, в частности, небывалым доселе количеством тяжелой артиллерии. Юго-западному фронту предстояло первому испытать боевые свойства революционной армии.

Между верхним Серетом и Карпатами (Броды-Надворна), на позициях, достигнутых нами после победоносного наступления Брусилова, к осени 1916 г., севернее Днестра располагалась группа генерала Бем-Эрмоли, состоявшая из 4-й австрийской армии генерала Терстянского (на Буском направлении, вне главного удара), 2-й австрийской армии, непосредственно подчиненной Бем-Эрмоли — на Злочевском направлении и Южной германской армии графа Ботмера — на Бржезанском[48]. Южнее Днестра 3-я австрийская армия генерала Кирхбаха, составлявшая левое крыло Карпатского фронта эрцгерцога Иосифа. Три последние армии противостояли нашим ударным корпусам. Эти австро-германские войска испытали уже летом и осенью 1916 г. удары русских армий, нанесших им ряд тяжких поражений. С тех пор потрепанные дивизии Ботмера частично заменены были менее уставшими частями с севера; австрийские армии, несколько приведенные в порядок немецким командованием и подкрепленные влитыми в них германскими дивизиями, все же не представляли из себя особенно серьезной силы и по оценке главной немецкой квартиры обладали в очень слабой степени активными свойствами.

Со времени занятия немцами Червищенского плацдарма (на Стоходе) главной квартирой Гинденбурга всякие операции были воспрещены в надежде на естественное развитие развала страны и русской армии, которому должна была

[48] В состав ее входили и 2 турецких дивизии.

содействовать немецкая пропаганда. Удельный вес нашей армии оценивался немцами чрезвычайно низко. Тем не менее, когда в начале июня обозначилась серьезная возможность нашего наступления, Гинденбург счел необходимым снять с Западного европейского фронта 6 дивизий и направил их на усиление группы Бем-Эрмоли: противнику хорошо известны были наши операционные направления.

Главное направление удара армий Юго-западного фронта, под начальством генерала Гутора, намечено было — Каменец-Подольск — Львов. Армии были двинуты обоими берегами Днестра: 11-я генерала Эрдели — на Злочов, 7-я генерала Селивачева — на Бржезаны и 8-я генерала Корнилова — на Галич. Успех наступления приводил к овладению Львовом, к разрыву связи между фронтами Бем-Эрмоли и эрцгерцога Иосифа и опрокидывал в Карпаты, отрезая от естественных путей сообщения, левое крыло последнего. Прочие армии Юго-западного фронта (1-я и Особая) стояли растянутыми на широком фронте от реки Припяти до Брод, имея задачей активную оборону и демонстрацию.

16 июня на фронте ударных корпусов 7-й и 11-й армий началась артиллерийская канонада еще неслыханного никогда напряжения. После двухдневной непрерывной артиллерийской подготовки, разрушившей сильные укрепления противника, русские полки двинулись в атаку. Между Зборовым и Бржезанами и у последнего пункта, на протяжении нескольких верст, фронт противника был прорван; мы овладели двумя-тремя укрепленными линиями. 19-го атаки повторились на 60-верстном фронте, между верхней Стрыпой и Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 офицеров, 18.000 солдат, 29 орудий и много другой военной добычи; овладели неприятельскими позициями на многих участках и проникли в расположение противника на 2—5 верст, отбросив его, на Злочевском направлении, за Малую Стрыпу.

Разнесенное телеграфом по всей России известие о нашей победе вызвало всеобщее ликование и подняло надежды на возрождение былой мощи русской армии. Керенский доносил Временному правительству: «Сегодня великое торжество революции. 18 июня русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление и доказала России и всему миру свою беззаветную преданность революции и любовь к свободе и родине... Русские воины утверждают новую, основанную на чувстве гражданского долга, дисциплину... *Сегодняшний день положил предел злостным клеветническим нападкам на организацию русской армии, построенную на демократических началах*»... Человек, который сказал это, имел смелость впоследствии оправдываться, что не он разрушал армию, а получил ее организацию как роковое наследие...

После трех дней затишья, на фронте 11-й армии возобновился горячий бой по обе стороны ж. д. линии на фронте Баткув-Конюхи. К этому времени начался подход из резерва к угрожаемым участкам германских частей, и бой принял упорный, ожесточенный характер. 11-я армия овладела рядом укрепленных линий, неся, однако, тяжелые потери; местами окопы, после горячих схваток, переходили из рук в руки; требовалось новое большое напряжение, чтобы сломить упорство усилившегося и оправившегося противника... Этим боем по существу закончилась наступательная операция 7-й и 11-й адмий. Порыв исчез, началось нудное стояние на позиции, оживлявшееся лишь местными боями, контратаками австро-германцев и артиллерийским огнем «переменного напряжения».

Между тем 23 июня началась подготовка наступления и в армии Корнилова. 25 июня его войска западнее Станиславова прорвали позиции Кирхбаха и вышли на линию Иезуполь-Лысец; 26-го, после упорного кровопролитного боя, войска Кирхбаха, разбитые наголову, повернули, увлекая в своем стремительном бегстве и подоспевшую на помощь германскую дивизию. 27-го правая колонна генерала Черемисова овладела Галичем, перебросив часть сил через Днестр, а 28-го левая колонна, преодолевая упорное сопротивление австро-германцев, взяла с боя Калуш. В последующие два-три дня 8-я армия устраивалась с боями на реке Ломнице и впереди ее.

В этой блестящей операции армия Корнилова, прорвав фронт 3-й австрий-

ской армии на протяжении 30 верст, захватила в плен 150 офицеров, 10.000 солдат и около ста орудий. Выход на Ломницу открывал пути на Долину-Стрый и на сообщения армии графа Ботмера. Немецкая главная квартира считала положение главнокомандующего Восточным фронтом критическим.

Генерал Бем-Эрмоли в это время все свои резервы стягивал на Злочовское направление. Туда же двигались и перебрасываемые с Западного европейского фронта германские дивизии. Пришлось, однако, часть резервов перебросить за Днестр, против 8-й русской армии. Они подоспели ко 2 июля, внесли некоторую устойчивость в расстроенные ряды 3-й австрийской армии, и с этого дня на Ломнице начинаются позиционные бои, достигающие иногда большого напряжения, с переменным успехом. Сосредоточение германской ударной группы между верхним Серетом и ж. д. линией Тарнополь — Злочов закончилось 5 июля.

6-го после сильной артиллерийской подготовки эта группа атаковала 11-ю армию, прорвала ее фронт и начала безостановочное движение на Каменец-Подольск, преследуя корпуса 11-й армии, обратившиеся в паническое бегство. Штаб армии, за ним Ставка и печать, презрев перспективу, обрушились на 607-й Млыновский полк, считая его виновником катастрофы. Развращенный, скверный полк самовольно ушел с позиции, открыв фронт. Явление весьма прискорбное, но слишком элементарно было бы считать его даже поводом. Ибо уже 9-го комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали Временному правительству «всю правду о совершившихся событиях»: «Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу — на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку обсуждалось часами на митингах, почему поддержка опаздывала на сутки. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника... На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части... Положение требует самых крайних мер... Сегодня главнокомандующим с согласия комиссаров и комитетов отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду... содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию».

11-я армия «при огромном превосходстве сил и техники уходила безостановочно» [44]. 8-го она была уже на Серете, пройдя без задержки сильные укрепленные позиции западнее этой реки, которые служили исходным положением для нашего славного наступления 1916 г. Бем-Эрмоли, преследуя нас частью сил на Тарнополь, главные силы двинул в южном направлении, между Серетом и Стрыпой, угрожая отрезать пути сообщения 7-й армии, сбросить ее в Днестр и, может быть, затем перехватить пути отхода и 8-й армии. 9 июля австро-германцы достигли уже Микулинце, в переходе к югу от Тарнополя... Армии генералов Селивачова и Черемисова [45] попали в очень тяжелое положение: рассчитывать на маневренное противодействие противнику они не могли и поэтому оставалось форсированными маршами выйти из-под его ударов. В особенности тяжко было 7-й армии, отступавшей под двойным напором — с фронта — корпусов гр. Ботмера, с обнаженного правого фланга (с севера) — войск ударной группы Бем-Эрмоли. 8-й армии предстояло пройти под напором противника более 140 верст.

10 июля австро-германцы продвинулись на линию Микулинце — Подгайце — Станиславов. 11-го германцы заняли Тарнополь, брошенный без боя 1-м гвардейским корпусом, а на другой день прорвали наши позиции на реке Гнездо и на Серете, южнее Трембовли, развивая свое наступление к востоку и юго-востоку.

[44] Сводка Ставки.

[45] Заменил генерала Корнилова, назначенного 7 июля главнокомандующим Юго-западным фронтом.

В тот же день, преследуя 7-ю и 8-ю армии, противник занял линию от Серета (между Трембовлей и Чертковым) на Монастержиско-Тлумач.

12 июля ввиду полной безнадежности положения главнокомандующий отдал приказ об отступлении от Серета, и к 21-му армии Юго-западного фронта, очистив всю Галицию и Буковину, отошли к русской государственной границе.

Путь их был обозначен пожарами, насилиями, убийствами и грабежами. Но среди них были немногие части, доблестно дравшиеся с врагом и своею грудью, своею жизнью прикрывавшие обезумевшие толпы беглецов. Среди них было и русское офицерство, своими трупами устилавшее поля сражений.

Армии в полном беспорядке отступали. Те самые армии, которые год тому назад в победном шествии своем взяли Луцк, Броды, Станиславов, Черновицы... Отступали перед теми самыми австро-германскими армиями, которые год тому назад были разбиты наголову и усеяли беглецами поля Волыни, Галиции, Буковины, оставляя в наших руках сотни тысяч пленных. Мы не забудем никогда, что 7-я, 8-я, 9-я и 11-я армии в Брусиловском наступлении 1916 года взяли 420 тысяч пленных, 600 орудий, $2^1/_2$ тысячи пулеметов и т.д. Этого обстоятельства, вероятно, не забудут и наши союзники: они знают хорошо, что Галицийская битва отозвалась громким эхом на Сомме и Горице...

Комиссары Савинков и Филоненко телеграфировали Временному правительству: «Выбора не дано: смертная казнь изменникам... смертная казнь тем, кто отказывается жертвовать жизнью за Родину»...

В начале июля, когда обозначился неуспех русского наступления, в главной квартире Гинденбурга решено было предпринять новую большую операцию против Румынского фронта одновременно наступлением 3-й и 7-й австрийских армий через Буковину в Молдавию и правой группы Макензена на нижнем Серете. Целью ставилось овладение Молдавией и Бессарабией. Но еще 11 июля 4-я русская армия генерала Рагозы и румынская — Авереско перешли в наступление между реками Сушицей и Путной против 9-й австрийской армии. Атака их увенчалась успехом; армии овладели укрепленными позициями противника, продвинулись на несколько верст, взяли 2000 пленных и более 6 орудий, но развития операция эта не получила. По условиям театра и направления, эти действия имели скорее характер демонстрации для облегчения положения Юго-западного фронта, и кроме того, войска 4-й русской армии вскоре утратили наступательный порыв. В течение июля и до 4 августа войска эрцгерцога Иосифа и Макензена вели атаки в направлении Радауцком, Кимполунгском, Окненском и севернее Фокшан, имели местные успехи, но серьезных результатов не достигли. Хотя русские дивизии не раз отказывали в повиновении и иногда бросали позиции во время боя, но все же несколько лучшее общее состояние Румынского фронта — периферии по отношению к Петрограду, наличие более прочных румынских войск и естественные условия театра позволили удержать фронт.

Это обстоятельство, в связи с выяснившейся неустойчивостью австрийских армий, в особенности 3-й и 7-й [46], и полным расстройством сообщений группы Бем-Эрмоли и левого крыла эрцгерцога Иосифа, заставило главную квартиру Гинденбурга отложить на неопределенное время операцию, и на всем протяжении Юго-западного фронта наступило затишье; на Румынском же до конца августа шли бои местного значения. Вместе с тем началась переброска германских дивизий от Збруча на север, на Рижское направление. Гинденбург имел целью, не напрягая чрезмерно сил и не расходуя больше резервов, столь нужных на Западно-европейском фронте, наносить нам частные удары и тем давать моральные толчки к ускорению естественного падения русского фронта, на чем основывались все оперативные расчеты и даже сама возможность продолжения центральными державами кампании в 1918 году. Попытки нашего наступления на прочих фронтах окончились также полной неудачей.

7 июля началась операция у меня на Западном фронте. Подробности изложены в следующей главе. По поводу этой операции Людендорф говорит [47]: «Из всех атак, направленных против прежнего Восточного фронта (Эйхгорна), атаки

[46] В Буковине и северных Карпатах.

[47] «Souvenirs de guerre».

9 июля, южнее Сморгони, у Крево были особенно жестоки... Положение в течение нескольких дней представлялось очень тяжелым, пока наши резервы и артиллерийский огонь не восстановили фронта. Русские оставили наши траншеи. Это не были уже русские — прежних дней».

На Северном фронте, в 5-й армии все окончилось в один день: юго-западнее Двинска «наши части,—говорит сводка,— после сильной артиллерийской подготовки овладели немецкой позицией по обе стороны железной дороги Двинск — Вильно. Вслед за сим целые дивизии без напора со стороны противника самовольно отошли в основные окопы». Сводка отмечала геройское поведение некоторых частей, доблесть офицеров и их огромную убыль. Это событие, ничтожное в стратегическом отношении, представляет, однако, большой бытовой интерес. Дело в том, что 5-й армией командовал генерал Данилов [48], пользовавшийся исключительным признанием революционной демократии. По словам комиссара Северного фронта Станкевича, генерал Данилов был «единственным генералом, который, несмотря на революцию, остался полным хозяином в армии, сумев наладить так отношения, что все новые учреждения — и комиссар, и комитеты — не ослабляли, а лишь усиливали его власть... И он умел пользоваться этими силами, с полным самообладанием и уверенностью устраняя все препятствия. В 5-й армии все работало, училось, просвещалось... так как весь лучший и культурный элемент армии был двинут в дело»...

Таким образом, и полное восприятие революционных учреждений командующим не могло служить гарантией боеспособности его войск.

Еще 11 июля генерал Корнилов, после назначения главнокомандующим Юго-западного фронта, послал Временному правительству, с копией верховному командованию, известную свою телеграмму («Армия обезумевших темных людей бежит»...) [49], требуя введения смертной казни; в телеграмме он, между прочим, писал: «...Я заявляю, что отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть лучшие дни».

Невзирая на своеобразную форму этого обращения, идея прекращения наступления была немедленно принята верховным командованием, тем более что фактическая приостановка всех операций явилась независимо от директив, как результат нежелания драться и утраченной способности русской армии к наступательным действиям, так и вследствие планов германской главной квартиры.

Смертная казнь и военно-революционные суды были введены на фронте. Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных с соответствующими надписями на дорогах и видных местах; сформировал особые ударные батальоны из юнкеров и добровольцев для борьбы с дезертирством, грабежами и насилиями; наконец, запретил в районе фронта митинги, требуя разгона их силою оружия.

Эти мероприятия, введенные генералом Корниловым самочинно, его мужественное, прямое слово, твердый язык, которым он, в нарушение дисциплины, стал говорить с правительством, а больше всего решительные действия — все это чрезвычайно подняло его авторитет в глазах широких кругов либеральной демократии и офицерства; даже революционная демократия армии, оглушенная и подавленная трагическим оборотом событий, в первое время после разгрома увидела в Корнилове единственный выход из отчаянного положения.

Можно сказать, что день 8 июля [50] предрешил судьбу Корнилова: в глазах многих он стал народным героем, на него возлагались большие надежды, от него стали ждать спасения страны.

Находясь в Минске и имея очень плохое осведомление о неофициальных взаимоотношениях военного мира, я все же ясно почувствовал, что центр тяже-

[48] Эксперт большевистской делегации при заключении Брест-Литовского мира. В 1920 году служил в русской армии в Крыму.
[49] См. главу XIX.
[50] Вступление в должность главнокомандующего Юго-западным фронтом и посылка первого «требования» Временному правительству.

сти морального влияния переносится в Бердичев [51]; Керенский и Брусилов как-то сразу потускнели. В служебном обиходе появился новый, странный способ руководительства: из Бердичева получалось в копии «требование» или уведомление о принятом сильном и ярком решении, а через некоторое время оно повторялось Петроградом или Могилевом, облеченное в форму закона или приказа...

На солдат июльская трагедия произвела несомненно несколько отрезвляющее впечатление. Во-первых, появился стыд — слишком гнусно и позорно было все случившееся, чтобы его могла оправдать даже заснувшая совесть и сильно притупленное нравственное чувство. Я помню, как впоследствии, в ноябре, мне пришлось под чужим именем переодетым в штатское платье, в качестве бежавшего из Быховского плена, несколько дней провести в солдатской толпе, затопившей все железные дороги. Шли разговоры, воспоминания. И я не слышал ни разу циничного откровенного признания солдатами их участия в июльском предательстве; все находили какие-либо оправдания событиям, главным образом в чьей-либо «измене» — преимущественно... офицерской; о своей — никто не говорил. Во-вторых,— появился страх. Солдаты почувствовали какую-то власть, какой-то авторитет и поэтому присмирели, заняв выжидательное положение. Наконец, прекращение боевых операций и вечно нервного напряжения вызвало временно реакцию, проявившуюся в некоторой апатии и непротивлении.

Это был второй момент в жизни армии (первый— в начале марта), который, будучи немедленно и надлежаще использован, мог стать поворотным пунктом в истории русской революции.

Создавшиеся благоприятные условия для перелома в настроении армии многие поверхностные наблюдатели армейской жизни сочли за совершившийся факт перелома. Так, например, отнеслись к августовскому периоду комиссары Северного и Юго-западного фронтов. Уже 18 июля Гобечио, комиссар последнего фронта, доносил, что «в настроении войск наступает решительный перелом, который дает основание надеяться, что армия выполнит возложенный на нее революцией долг». Для людей, потерявших перспективу, слишком уж разительна была разница между армией в ее бешеном, паническом бегстве и армией, несколько отдышавшейся и устраивающейся на Збруче... Но по мере того, как замирали последние выстрелы на фронте наступления, люди, ошеломленные грозными событиями, начали мало-помалу приходить в себя.

Первым опомнился г. Керенский. Не было уже того ужаса, бьющего по нервам, заставлявшего терять голову, под влиянием которого изданы были первые суровые приказы. Страх перед Советом, опасение потерять окончательно авторитет среди революционной демократии, обида за резкий, оскорбительный тон корниловских обращений и призрак грядущего диктатора — тяготели над волей Керенского. Военные законопроекты, которые должны были вернуть власть вождям и силу армии, безнадежно тонули в канцелярской волоките, в пучине личных столкновений, подозрений и антипатий.

Революционная демократия стала вновь в резкую оппозицию к новому курсу, видя в нем посягательство на свободы и угрозу своему бытию. Точно такое же положение заняли войсковые комитеты, ограничением деятельности которых и должны были начаться преобразования. Новый курс получил в глазах этих кругов значение прямой контрреволюции.

А солдатская масса вскоре разобралась в новом положении, увидела, что «страшные слова» — только слова, что смертная казнь — только пугало, ибо нет той действительной силы, которая могла бы сломить их своеволие.

И страх вновь был потерян.

Пронесшаяся гроза не разрядила душной, напряженной атмосферы; нависали новые тучи, вот-вот готовые разразиться оглушительным громом.

[51] Штаб Юго-западного фронта.

(Продолжение следует).

Борис САДОВСКОЙ

«Еще на миг ожив...»

Ясный духом поэт, прозаик с четким чувством стиля, умный критик и открыватель забытых за давностью лет талантов — таким был Борис Александрович Садовской. В первые пятнадцать лет нашего века он печатался в лучших журналах — в «Весах», «Золотом руне», «Аполлоне», «Русской мысли», «Русском архиве» и еще в десятках периодических изданий и в альманахах. Его книги выходили одна за другой: сборники стихов, рассказов, статей.

Ему посвящали стихи такие большие поэты, как Блок и Белый; и в то время еще не большие, как Георгий Иванов; и малые, теперь неизвестные, как Ю. Сидоров; и — сверхбогемный Тиняков. Критик Айхенвальд писал о нем статьи; Гиппиус, Гумилев, Г. Иванов — рецензии. Портрет его нарисовал в своих мемуарах Белый; Брюсов откликался на его стихи, Блок писал о Садовском в своем дневнике. И тем не менее спросите профессоров русской литературы: девять из десяти не скажут, кто был Садовской, будто вопрос задан не о друге Ходасевича, не о добром знакомом Ремизова и Блока, а о каком-то неприметном современнике протопопа Аввакума.

Он родился в Ардатове Нижегородской губернии, рос «в лесах», описанных Мельниковым-Печерским в известном романе. Семья была дворянская, с трехсотлетней историей. Отец, краевед-историк, выискал в старых бумагах подробности родословной. Основателем рода был литовец, прибывший в Россию в свите Марины Мнишек. В числе предков были выходцы из Золотой Орды и византийцы. Но «преобладающий элемент,— писал Садовской,— великорусский». Прочный интерес к истории запал в него с детства — на целую жизнь. В дальнейшем его рассказы, романы, исследования и немало стихов посвящены истории. Он начал писать с девяти лет.

В начале 1901 года газета «Волгарь» напечатала стихотворение Садовского «Иоанн Грозный». Факт провиденциальный, ибо уже первая его публикация была на историческую тему. Впоследствии — это не единственная тема в его творчестве, но важная и постоянная. Директор гимназии попросил прочесть «Грозного» на школьном вечере. После чтения Садовского подвели к человеку «с нездоровым бледным лицом». Оказалось, что на вечере присутствовал Горький. «Великий буревестник» пожал руку юному поэту и обещал дать письменный отзыв о стихах. И в самом деле он прислал письмо. Горький наставлял Садовского, что политическое убийство, даже массовое, не есть преступление; что Иван Грозный затеял боярский геноцид не с личной целью, и поэтому он не преступник; что Садовской ошибается, приписывая Грозному способность раскаиваться, ибо он — сильный человек, а каются только слабые. Удивительно, как взгляды Горького в 1901 году походят на взгляды Сталина, высказанные им позднее по поводу фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».

Судьба еще раз свела его с Горьким: случайно столкнулись на лестнице. Горький пригласил к себе в кабинет. Тоном мэтра наговорил благоглупостей. Читая его наставления, не знаешь, стыдиться или смеяться. Чему мог научить сорокалетний знаменитый Горький неизвестного двадцатилетнего поэта? Реальность для Горького — рутинные человеческие отношения. Реальность Садовского и шире, и утонченнее, и древнее. В его стихах присутствует живая интуиция вечности — без умозрений, зато пронзительно и непредвзято. Садовской напечатал восемь страничек воспоминаний о Горьком в 1941 году. Насколько известно, это последняя прижизненная публикация. Поражает, с каким тактом написаны эти страницы, предназначенные для печати в сталинском 1941 году. Ни единой интонации фальшивого пиетета перед Горьким, ни единой ноты приспособленчества.

Поступив в Московский университет, Садовской близко сошелся со своим однокурсником Андреем Белым и стал работать в «Весах» у Брюсова, которого он боготворил. Противники обзывали его то цепным псом «Весов», то брюсовским

пажем — за преданность учителю и за зубастую полемику в журнале. «Весы» боролись (в данном случае точное слово) за модернизм в литературе. Журнал издавался шесть лет. В нем активен был Садовской все эти годы.

Старая Москва стала для него мировоззрением. Его неославянофильские привязанности находили почву в московской истории. Любовь к оригинальному русскому быту получила здесь опору. Вкус к старине с точки зрения знатока, а не ученого-педанта искал пищу в московских слободах, трактирах, церквах, хлебосольстве, пьянстве, московских чудаках и предметах быта былых эпох. Вот его восклицания в одном из рассказов: «Как хороша старая Москва! Сколько в ней милых сердцу полузабытых образов, смутных далеких воспоминаний! Сколько дорогих страниц развертывают памяти ее улицы... Но скоро пробьет ее последний час. Конец дремотной родимой неге... На обломках прадедовских хором нелепые громады чуждых небоскребов дико упрутся в небо» (1914). Вспоминаются строки М. Кузмина:

> Бывают странными пророками
> Поэты иногда...

Конечно, это вздохи ретрограда. Его любовь обращена на прошлое. Он противник железобетонного прогресса. Ошибка ли это? Как в тройственном божестве индийской мифологии — в литературе всегда есть разрушители, созидатели и охранители. Садовской по духу был хранителем древностей. Гумилев сказал о нем: «В роли конквистадоров, завоевателей, наполняющих сокровищницу поэзии золотыми слитками и алмазными диадемами, Борис Садовской, конечно, не годится, но из него вышел недурной колонист в уже покоренных и расчищенных областях». Блок, ни в чем не согласный с Гумилевым, разделил бы это мнение. Но для него Садовской — человек более крупный. В дневнике Блок пишет: «Садовской, скромно остающийся стихослагателем, тем самым оказывается иногда больше самого себя».

Относительно же литературных статей отклик Блока просто восторженный. «Оценки Ваши,— говорится в его письме Садовскому,— в большинстве случаев должны стать классическими. Меня эта книга и научила и вдохновила». Таким был отзыв Блока о первом сборнике статей «Русская камена». Очерки, собранные в ней,— о Веневитинове, Фете, Державине, Полежаеве и др.— действительно читаются как психологические новеллы. «Очень запоминаются отдельные афоризмы и замечания»,— добавляет Блок в том же письме.

Георгий Иванов, живя уже в эмиграции, вспоминая Садовского, писал, что две другие книги статей забыты совершенно несправедливо. Эти книги («Озимь» и «Ледоход»), «право, стоят многих «почтенных» критических трудов». По его воспоминаниям, у Садовского «был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца».

В своих эссе Садовской всегда умел нарисовать личность поэта в ежедневной жизни. Поэтому его очерки о Денисе Давыдове, Языкове, Лермонтове, Бенедиктове говорят не только уму, но и сердцу запоминаются. Каким же он был в обыденной жизни сам? Вопрос не совсем простой: у него была маска, и, кажется, не одна. В воспоминаниях писал о нем Белый с дружелюбием, несвойственным ему как мемуаристу; впрочем, вышел не портрет — шарж. «Борис Садовской, мальчик с нравом, с талантами, с толком, спец в технике ранних стихов... Поджарый, преострый студентик; походка — с подергом, а в голове — ржавчина; лысинка метилась в желтых волосиках в стиле старинных портретов, причесанных крутой дугой на виски... Сжатые губы с готовностью больно куснуть те две книги, которые он получил для рецензий; их взяв, грудку выпятив... бодрой походкой гвардейского прапорщика удалялся».

Самая известная его книга — «Самовар», а самое известное стихотворение в ней, которое бессчетно цитировалось,— «Страшно жить без самовара»:

> Если б кончить с жизнью тяжкой
> У родного самовара,
> За фарфоровою чашкой,
> Тихой смертью от угара!

Когда Г. Иванов разыскал меблированные комнаты, в которых жил Садовской, первое, что он увидел,— был самовар в руках коридорного... Так, вслед за самоваром, вошел он в номер, где обосновался Садовской. В комнате толпилось человек двадцать поэтов, пожалуй, все моложе Садовского. «На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым потасканным лицом... рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел... Он сделал приглашающий жест в сторону стола и снова запел... Помню надменно-деревянные черты Николая I, глядящие со всех стен, мундир Садовского, залитый вином, его сухой желтый палец, поднесенный к моему лицу... и наставительный шепот: «Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой (ударение на «ы») мироздания».

И еще один словесный портрет Садовского — лаконичный, но схватывающий суть: «Борис Александрович Садовской, значительный, четкий, странный и несчастный». Так записал в дневнике Блок 13 ноября 1912 года.

«Самовар» был третьей по счету поэтической книгой. Критических отзывов последовало множество — то ли тема была экзотической, то ли автор, казавший-ся консервативным монстром на фоне торжествующего либерализма, раздражал. Затем последовало еще три книги поэзии. Последняя под мрачным названием «Обитель смерти» вышла в 1917 году. В ней можно найти и подведение итогов, своеобразный «памятник» в традиции Горация, Державина и Пушкина:

> Но всюду и везде: на чердаке ль забытый
> Или на городской бушующей тропе,
> Не скроет идол мой улыбки ядовитой
> И не поклонится толпе.

Он действительно был человеком, более всего ценившим личную и творческую независимость. За независимость он платился многократно и порой весьма жестоко. «Кстати,— писал Г. Иванов,— карьера Садовского — пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и писать стихи еще куда ни шло. Но Садовской, когда его связь, случайная и непрочная, с московскими «декадентами» оборвалась, попытался «поплыть против течения», подавая «свободный глас» из своего «хутора Борисовка Садовской тож». И его съели без остатка. Это отлучение от литературы произошло в 1915 году после выхода книги статей «Озимь», в которой автор имел смелость выступить против авторитетов тогдашнего дня.

На обложке следующей после «Озими» книги значилось крупным шрифтом: Издание автора. Так продолжалось до 1918 года. Нового режима он не принял; зато принял обет литературного молчания, которого не нарушал на протяжении четырех лет. Жил он то в Москве, то в Нижнем, где преподавал литературу в Археологическом институте, то в своем имении, которое у него отобрали, но крестьяне, помня старое добро, отнеслись к нему великодушно и даже защитили от новых властей. В 1921 году он собирался уехать за границу. Писал Блоку, прося о содействии. Блок в ответном письме уговаривал одуматься, что-то обещал и, болея, обещания не выполнил. Писал он Луначарскому и в другие инстанции — не выпустили. Тогда он снял обет литературного молчания и издал в начале нэпа книгу рассказов. Перебрался в Москву и жил в Новодевичьем монастыре в помещении, которое еще недавно было склепом. А через некоторое время, кажется, в 1925 году, в эмигрантских газетах появились сообщения о его смерти. Сообщения были ложные. Он был болен, его парализовало, но литературных занятий он не бросил. Печатался крайне редко; мне удалось найти за период между 1922 и 1928 годами только два его рассказа, несколько стихотворений и отрывок из романа «Приключения Карла Вебера», показывающего петровскую Россию глазами иностранца. В 1928 году благодаря старым связям роман был опубликован целиком. С тех пор, насколько мне известно, Садовского не печатают до 1941 года, когда журнал «Звезда» поместил его короткие воспоминания о Горьком. С другой темой ему не дали бы открыть рот. Неизвестно, как он сводил концы с концами, полностью лишенный литературного заработка. Однако молчание уберегло его от концлагеря. Садовской продолжал писать в стол. Судя по цитатам из его неопубликованных «Воспоминаний» и «Записок», которые в последнее время стали приводить в статьях о Брюсове и Блоке, литературное мастерство Садовского не зачахло — напротив, возросло и шлифовалось. В 1945 году его похоронили опять. Откройте, например, лучшее из существующих изданий Блока; там в последнем томе этого восьмитомника есть справки о всех писателях, упоминаемых Блоком. Рядом с именем Садовского стоят даты: 1881—1945. Эти неверные сведения переползли и в эмигрантскую литературу. Итак, несколько раз похороненный и отпетый при жизни, он прожил еще семь лет. Но об этих годах почти ничего не известно, как и об обстоятельствах смерти. Похоронен он на Новодевичьем кладбище, а в центральном архиве литературы и искусства похоронены его произведения, никогда не выходившие в свет. В последнем прижизненно опубликованном стихотворении (1927) он писал:

> С красным туземцем я в прятки играю,
> Бегаю с ним у неведомых мест.
> Оба кричим и смеемся, но знаю:
> Скоро меня он заколет и съест.

Вадим КРЕЙД

* * *

Когда застынут берега
И месяц встанет величавый,
Иду в туманные луга,
Где никнут млеющие травы,

Где бродят трепетные сны,
Мелькают призрачные лики,
И там, в сиянии луны,
Внимаю сов ночные крики.

Понятны мне мечты лугов,
Они с моей тоскою схожи:
О взор луны! О крики сов!
О ночь, исполненная дрожи!

1905

* * *

Знакомый ресторанный гул,
Гирлянды ламп и скрипок говор.
Лакей, сгибаясь, ставит стул,
Промчался в кухню белый повар.

Гляжу, как прыгают смычки
В руках малиновых испанцев,
Как ярких люстр огни-крючки
Дрожат под хохот модных танцев.

Растрепан, галстук на боку,
Смеешься ты, мой друг влюбленный.
Вот золотого коньяку
Сжег горло мне металл топленый.

Под вальс припомнились на миг
Реки далекие извивы,
Вечерний лес, орлиный крик,
К ручью склонившиеся ивы.

Зачем ко мне вернулись вспять
И манят плакать детства зори?
Зачем в слезах гляжусь опять
В его лазоревое море?

Ах, если б вновь! Очнулся я.
Рукой дрожащей мну фуражку,
Уж кофе медная струя
Бежит в фарфоровую чашку.

Пора! Еще на миг ожив,
Стою один в тоске бесплодной
И скоро, смутно-молчалив,
Лечу в санях, как труп холодный.

1907

* * *

Царица желтых роз и золотистых пчел,
В лугах полуденных расцветшая под солнцем,
Струи медовых кос я сам тебе заплел,
Украсив их концы червонцем.

Вот подвели коня к высокому крыльцу.
Вступаешь медленно ты в стремя золотое.
Фата твоя блестит и льется по лицу,
Как желтое вино густое.

Поводья тронула горячая ладонь.
Ты мчишься. Далеко, под тканью золотистой,
Как будто розовый колышется огонь,
Как будто мед струится чистый.

1910

* * *

Уж поезд, обогнув вокзал,
Шипел и ждал, как змей, крылатый,
Когда застенчивая в зал
Походкой скромною взошла ты.

Улыбки свежей серебро
В румяных розах затаилось,
И страусовое перо
Над черной шляпою струилось.

Ты чай рассеянно пила,
Но синий взор смотрел все строже,
И в этот миг ты мне была
И жизни, и мечты дороже.

Свисток прощальный жадно взвыл
И, медленно плывя в пространство,
Я понял вдруг, что полюбил
Со всем упорством постоянства.

За мной глаза твои цвели,
Лучился тихий свет улыбки,

А между тем вагоны шли,
Уверенны и мерно-зыбки.

Как грустно под колесный гром
Любимое лицо мелькнуло!
Как серебристое перо
Любовно к черной шляпе льнуло!

1912

* * *

Что мне взор, Мария, твой,
Что мне нож разбойника?
Я везде ношу с собой
Двойника-покойника.

Солнце жизнями кипит,
Солнце всепобедное!
А покойник говорит:
Солнце — дело вредное.

Страсть весенняя горит,
Май плывет торжественно,
А покойник говорит:
Это так естественно.

На плечо прильнув твое,
Жажду вылить душу я,
А покойник все свое:
Что за малодушие.

Мир, волнуйся! Жизнь, лети!
А от рукомойника
Никуда мне не уйти,
Я двойник покойника.

1917

Публикация Вадима КРЕЙДА

Григорий ПОМЕРАНЦ

Корзина цветов нобелевскому лауреату

У Илюши Шмаина не хватило денег, и он забежал к нам занять несколько тогдашних десяток. Таким образом мы оказались втянуты в демонстрацию солидарности с отщепенцем, которого клеймил весь советский народ.

Дом Житомирских, где жил Илюша, был одним из немногих интеллигентских гнезд, не разоренных при Сталине. Там стояли томики Роллана со статьями о Рамакришне и Вивекананде (от них Илюшу в конце 40-х годов потянуло к идеализму). Там я в апреле 1953 года, прямо из лагеря, увидел на столе стихи Мандельштама. А Пастернака все Житомирские боготворили: его стихи, его прозу, его поворот к христианству. Кажется, Машенька (на которой Илюша женился) уже была тогда крещена. Эта семья не могла не заявить о солидарности с поэтом. Но не оказалось денег, и Илюша забежал к нам (мы жили ближе других).

Заказав цветы, Илюша проследил, как посыльный пронес корзину через комсомольские пикеты на квартиру поэта в Лаврушинском переулке, и вернулся к нам рассказать. За ним тоже проследили. Вечером, когда я вернулся из библиотеки и собрались друзья, в дверь постучали. Вошел паспортист из домоуправления; толстая тетка (сказала, улыбаясь: из избирательной комиссии) осталась в дверях: дальше ей трудно было протиснуться. В связи с предстоящими выборами проводится проверка паспортов. Почему, зачем? Выборы — по месту прописки, а прописан на Зачатьевском один я. Но все растерянно подчинились. Пробежал холодок испуга: с требования паспорта начинаются обыск и арест.

Я люблю смотреть на выражения лиц в минуты опасности, люблю слушать об этом и запоминаю чужие рассказы. И сейчас, после корзины цветов поэту, лица моих друзей были такие, как будто на нас надвигались танки.

Леонид Ефимович Пинский мрачен, как туча. У Иры Муравьевой, рывшейся в сумочке, дрожали пальцы. Кажется, только Володя Муравьев совершенно равнодушно, через плечо, сунул свой паспорт. Володе было 19; он ни разу не пережил обыска.

Когда проверка кончилась, Женя Федоров, на которого это подействовало нестерпимо сильно, сразу распрощался и выскочил на улицу, а мы продолжали обсуждать открытку Пастернаку. Илюша мог как-то, через знакомых, передать ее (сам он, помнится, ушел еще до проверки. Но все равно он обещал все сделать завтра). Ира написала, что мы любим стихи Бориса Пастернака и поздравляем с премией. «Надо было бы написать о романе,— сказала она.— Это ему было бы дороже. Но я не могу: роман мне не понравился». Мы прочли первые две части, и текст показался очень рыхлым. Помедлив немного, Ира ничего не прибавила и подписалась. За ней подписались я, Володя, Леонид Ефимович. Не знаю, как другие, но я подписывался с некоторым усилием. Хотя после Иры готов был подписать себе смертный приговор.

Задним числом все это меня ужасно возмутило. Я почувствовал себя униженным своим страхом. Так откликаться на травлю поэта — заведомо беспомощно. Если мы не можем не вылезать, то надо подумать, как действовать с каким-то планом и целью.

В эти годы я с упоением повторял стихи Пастернака:

> Быть знаменитым некрасиво.
> Не это подымает ввысь...

Стихи Пастернака вели прочь от подмостков истории, а дело Пастернака втягивало в нее назад. По силе впечатления кампания травли сравнивалась с событиями в Венгрии. Я вспомнил, как в 56-м чувство протеста было подавлено сознанием беспомощности и все вылилось в звоне рюмок.

Пепел стучал в сердце, но сделать ничего нельзя было. Только пить. И потому

Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли,
Все равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.

Прошло два года; что-то изменилось. Поползли слухи о политических процессах, о каких-то группах молодежи. Может быть, начинается новое общественное движение? Не попробовать ли сомкнуться с ним?

Ира горячо откликнулась, сказала, что мечтает об этом с 17 лет, с тех пор как арестовали ее брата Володю. Опять случай, хотя довольно частый, в 1937 году. Но еще и характер: помнить свой бессильный гнев двадцать лет. И помнить его именно так. Моя теща, Людмила Степановна, запомнила, что следователи Володи были евреи, и с этих пор недолюбливала евреев. Ира возненавидела чекистов. Мы стали сочинять программу движения и целую ночь — единственную такую ночь в нашей жизни — занимались политикой. Придуманное я срифмовал в мнемоническое двустишие, которое через несколько лет забыл. Помню из него только рифмы: кот — год *. Впрочем, небольшая беда, что половина забылась. Политика не была нашим ремеслом. И, схватившись за нее, мы просто свалили в кучу все, что слышали здесь и там. Какая-то мешанина из лозунгов, мелькнувших в Венгрии, в Польше, с некоторыми домашними прибавлениями (сократить сроки военной службы, восстановить суд присяжных). Центральной идеей были советы производителей (в сельском хозяйстве, промышленности, культуре). Так что, пожалуй, можно назвать это анархо-синдикализмом. Но никакого нового духа, никакой новой веры.

Один из наших старых друзей, выслушав меня, скептически покачал головой и сказал: нужна новая идеология. Я ответил (примерно): разве не достаточно воли к свободе? Но опять сказался характер: сомнение пустило во мне корни. И за одним вопросом пошли другие: например, не приведет ли подполье к бесовщине? Я достаточно хорошо знал Достоевского. Но любое действие казалось мне лучше, чем бездействие. Чтобы покончить с сомнениями, я решил поставить эксперимент.

Армянское радио спросили: был ли Ленин ученым? Радио ответило, что вряд ли: ученый попробовал бы сперва на собаках. У меня не было собак, и я поставил эксперимент на самом себе: вошел в кружок молодежи, не знавшей, что делать, и стал приглядываться к лицам, характерам, дышать кружковой атмосферой. Я как бы привил себе вакцину подполья и переживал ее действие. Вправду ли эта лихорадка непременно кончается бесовщиной? Или «Бесы» — полемическая гипербола? Может ли замкнутый кружок рождать и распространять идеи, способные захватить общество? Будет ли кружок расти или, наоборот, распадаться?

Перво-наперво я объяснил мальчикам, что пока не надо высовываться. Будем думать, обтачивать свои новые идеи. И получилось то, что Владимир Осипов назвал философским семинаром. Слегка законспирированным, но без всякой организации. Одни приходили, другие уходили. Кажется, никогда не было более восьми — десяти человек. В старину это называлось — кружок.

Толковали о социальной структуре, о возможностях общественного движения, о проблеме насилия, о философских альтернативах. Иногда я читал лекции (сейчас уже не помню, о чем: может быть, о философии экзистенциализма?)

Постоянно ходили двое: Володя Осипов и Саша Иванов. Осипов — просто Осипов, он себя не выдумывал (по крайней мере тогда). У него был какой-то нравственный дар возмущения ложью, фальшью, и он постоянно попадал в истории. Собственная фигура его при этом (тогда) мало занимала. По характеру это был боец за права человека. Держался независимо, с достоинством. Иванов, напротив, был совершенно переполнен собой. Тщеславный литератор, он болезненно жаждал славы. Свои опусы Саша подписывал «Рахметов» и требовал, чтобы его называли Рахметовым: при этом подлизывался ко мне (совсем не похоже на героя Чернышевского) и оттирал Осипова на второе место. Оба они были не очень образованны, но в Володе решало чувство, а Саша философствовал, и его невежество кололо глаза.

Через год я решил изменить условия эксперимента и оставить кружок сам по себе, без моего участия (посмотрим, что ребята сами могут), а раз в месяц стану встречаться с кем-то одним. И собрался избрать для этого Володю. Мне хотелось сойтись с ним покороче — без Саши. Не тут-то было! Выскочил Саша и предложил в собеседники себя. Я согласился. Мелькнула мысль, что это ведь тоже эксперимент, такое выскакивание самого тщеславного на первое место... И стал раз в месяц встречаться с Сашей, а он мне врал про какие-то интереснейшие дискуссии и доклады. Чем дальше, тем больше меня тошнило от его подобострастного вранья. Как-то раз я попытался прямо отговорить его от политической оппозиции. «Зачем,— спросил я его,— вы втягиваетесь в такое опасное дело?» Саша горячо ответил, что задыхается в интеллектуальной пустоте; без хороших книг и т. п. Я посоветовал ему выучить английский язык: в библиотеках множество хороших книг, их не переводят, но читателям выдают. Ответ Саши я запомнил на всю жизнь. Надо представить себе, с каким чувством он воскликнул:

— Но ведь это очень трудно!

Я онемел и минуты три молчал, пока нашел, что сказать. Выучить английский язык так трудно, а изменить порядки

* Кот — Окуджавы. Черный. Который ловит нас на честном слове.

в России легче? Как он представлял себе политический успех? Вроде удачного дебюта Синичкиной (из водевиля «Лев Гурыч Синичкин»)? Главное — чтобы его все увидели, чтобы любовались, а там хоть трава не расти.

Впоследствии мне говорили друзья, которых пускали на Вече *, что отношение к английскому языку было там примерно такое же, как у Саши Иванова. Но я забегаю вперед. В 1959 году ни Володя, ни Саша не были националистами. Они хотели свободы для всех. Только Володя — из чувства справедливости, а Саша — скорее из личного чувства непризнанности, неудовлетворенности и со вспышками злобы, как только задето было его тщеславие. От него так и пахло героями «Бесов».

Этот запах примерно в то же время почувствовал и Петр Григорьевич Григоренко, хотя имел дело с другими людьми. Книга его воспоминаний так и называется: «В подполье можно встретить только крыс». Конечно, не все подпольщики крысы. Но подполье раскармливает именно крыс. И если будет успех, если крысы сожрут кота — что потом делать с крысами?

Общение с Сашей Ивановым раз навсегда отучило меня от мысли попробовать подполья. Страх за себя я легко преодолел. Но страх перед крысами, по-моему, не нужно подавлять. Это умный страх. В чем-то он перекликается со страхом Божьим, в котором начало премудрости.

Подполье, с его риском, с его готовностью на жертву, воспитывало племенную мораль — мораль племени героев, преодолевших тварный страх. И очень легко возникало презрение к племени обывателей. Такие герои легко становились палачами. Хотя это вовсе не значит, что они не были героями, что они родились или по крайней мере из колыбели вылезли бандитами...

В 1949 году на Малой Лубянке (во внутренней тюрьме областного управления МГБ) я сидел в одной камере с повторниками, бывшими революционерами: они выжили в лагерях и вернулись к своим семьям. Теперь, по инструкции 1947 года, надо было очистить от них и от прочих вредных элементов Москву. Очистили нашу столицу и от меня. Моими соседями стали эсеры, три анархиста, один дашнак и один сионист. Я провел с ними месяца три, и никто не выбьет из меня живого опыта: это хорошие люди. Несколько ограниченные, съеденные своей идеей (как сказал бы Достоевский), но благородно верные ей. Одного из них, Декслера, старика лет семидесяти, ставили на допросе под двухсотсвечовую лампу в глаза, чтобы вытянуть из него фамилии единомышленников. Он напряженно думал и называл человека, давно покоившегося на еврейском кладбище. Тогда пытка прекращалась, но через несколько дней начиналась по новой. Ни одного живого Декслер не назвал. И это был общий уровень. Я впервые увидел, что такое революционная идейность. Средний советский обыватель, попавший в каталажку по доносу соседей, или журналист-космополит — держались несравненно хуже.

Прошлое революции смыкалось с ее настоящим. Рядом с живыми эсерами сидел Володя Гершуни, внучатый племянник Григория Гершуни, создававшего эсеровскую партию. Будущий диссидент начал с тайной организации молодежи. Ребята сочинили листовку, из которой Володя сообщил мне одну фразу: советское правительство скомпрометировало себя в глазах всех простых людей. И еще заговорщики собирались в Тулу — достать там пистолет. На этом уровне преступная деятельность была пресечена. Сейчас Ан. Жигулин пишет историю антисталинских «молодых гвардий» (их были десятки). Жесткий характер режима, не допускавший никакого собственного мнения, толкал молодежь в подполье. А раз подполье, то все начиналось сызнова. Некоторые организации так и назывались: «Юные ленинцы».

Перелом наступил вместе с «оттепелью». Сперва совершенно незаметно, без всяких новых идей,— как новое настроение, стиль жизни, еще не выраженный в понятиях. Понятия пришли потом и сложились в теорию, согласно которой всякое политическое движение — бесовщина и всякая революция — зло. На самом деле, революция вряд ли хуже войны. Ни одна революция (даже Пол Пота) не нанесла народам таких тяжких физических ран, как Тридцатилетняя война (она уменьшила население Германии втрое, а Богемии — вчетверо). И католики, и протестанты, воцерковленные до ушей и воюя за веру, очень далеко отступили от десяти заповедей. Но вот что отличает нашу революцию и именно нашу (а не английскую или американскую): она попросту отменила нравственный опыт трех тысяч лет. Грешат все, но катастрофой была отмена самого понятия «грех». Как ни страшно любое насилие, еще страшнее насилие «по совести»: «нравственно то, что полезно революции». Никакая цель не оправдывает средств. Дурные средства пожирают любую цель. Прав Лев Толстой (ошибавшийся тысячу раз), когда говорил, что средства важнее цели.

Вот это именно разнеслось в воздухе где-то около 1960 года.

Можно критиковать диссидентство с нескольких точек зрения. Как донкихотство, как гордыню разума, не желающего прислушиваться к истории, но прежде всего это форма преодоления политической безнравственности, попытка создать движение чисто этническое (так я стою и не могу иначе). Сергей Алексеевич Желудков (царствие ему небесное), хорошо знавший диссидентов, на-

* Организация правых почвенных диссидентов в начале 70-х годов.

звал их анонимными христианами. Христианами в ортопраксии (а не в ортодоксии).

Такие люди, как Татьяна Великанова, несколько лет стоявшая в самом центре борьбы с тоталитаризмом (за которой напряженно следил Запад), была глубоко убеждена (и убеждена до сих пор), что все это не имело ничего общего с политикой. В ее убеждении было то, что Гегель назвал «неразвитой напряженностью принципа», принципа незыблемой шкалы ценностей, на которой этика выше политики, настолько выше, что и спрашивать нельзя, оправдывает ли цель средства.

Но я забегаю вперед. Никакого диссидентства в 1960-м еще не было. Было общее брожение и среди этого брожения первое разумное дело: собирание ненапечатанных стихов, по пять штук каждого автора, и тиражирование в 30 экземплярах. Рассеялось облако страха, и 24-летний Алик Гинзбург раньше, чем я и люди моего поколения, понял, что можно делать, не спрашивая разрешения, пусть немногое, но открыто, не прячась, не занимаясь конспирацией.

Можно легко представить себе восторг, с которым я принял «Синтаксис». Дело было не в одних стихах, которые Алик собирал. Т. е. стихи были живые, и я охотно окунулся в собрание стихов, но главное — обстановка, в которой делался «Синтаксис»,— совершенная открытость и свобода от страха.

Летом 60-го я стал ездить в Лианозово, к Оскару Рабину и другим художникам, работавшим без оглядки на официальные вкусы. И здесь был дух свободы, живой ритм света, переворачивавший вверх дном застывшие стереотипы вместе со стенами бараков, которые на полотнах Рабина шатались и разваливались, уступая место небу, солнцу, ветру.

Между тем кончился контрольный срок, и я зашел на заседание кружка. Присутствовало всего трое: Володя, Саша и какой-то зелененький новичок. Знакомые лица исчезли. Мерзость запустения, а в «гинзбургятнике» — каждый день поэты, художники, целые толпы людей разных возрастов (больше молодых, но не только), каждый день споры о стихах, о направлениях живописи. Там я чувствовал себя как дома.

«У меня нет двух чувств,— говорил мне Алик,— страха и собственности». Этим духом он буквально заражал, и первый встречный, поднявшись на шестой этаж в Толмачевском переулке, против задов Третьяковской галереи, чувствовал себя в Гайд-парке. Не только полицейской власти не было: деньги тоже теряли свою власть. Художники даром приносили свои картины, девушки на одном энтузиазме перестукивали стихи, «Синтаксис» размножался без всяких средств.

Я еще раз встретился с Володей Осиповым и Сашей Ивановым и произнес горячую речь о чувстве жизни. Современная жизнь не хочет повторения старого, поток истории выбрал другое русло, мимо всех замкнутых кружков. Пусть очень немногое можно делать в открытую,— главное все-таки в открытости. Самая скромная, но открытая жизнь помогает обществу освободиться от страха. А это сейчас главное. Люди устали от зацикленности на политике, от политических программ и тактик. Они хотят просто жить, как живет Алик. Я посоветовал пойти посмотреть, как делается «Синтаксис», и подумать, что сами они могут в этом роде (для отбора стихов и Володя и Саша были не очень подкованы). Потом мы расстались. Я не знал, что Рахметов, обратившись в национализм, выберет себе псевдоним имя Малюты Скуратова; но он и без этого был мне гадок. Во всем его существе дремала способность расколоться, нагадить, предать (потом это испытал Володя). И так как ссорить друзей я не умел, то скрепя сердце расстался с обоими.

К несчастью, Володя и несколько других молодых людей, приходивших на сходки у памятника Маяковскому, дали себя спровоцировать на разговоры, что Никиту, дескать, надо убить как поджигателя войны. За это самых горячих схватили и упрятали в лагерь, а остальных напугали и прекратили таким образом сходки (что и требовалось). В лагере прямодушный и прямолинейный Осипов узнал впервые, как много людей и как сильно ненавидят русских. Для нас, старых лагерников, это не было секретом. Я сам с этим сталкивался, сталкивались мои друзья. Так что Володя Осипов не один был сбит с толку. «Попав в лагерь, мы, русские, оказывались в окружении врагов, потому что националисты всех мастей (украинцы, прибалты, армяне, узбеки и прочие), не поняв исторической уникальности марксистской диктатуры, пошли по пути наименьшего умственного сопротивления, отождествляя интернациональную власть с православной монархией и обвиняя нас, русских, в шовинизме. Таким образом, не видишь нигде спасения: с одной стороны, коммунисты нас уничтожают, с другой стороны, националисты готовят нам то же самое» (Юрий Машков, «Голос с родины». «Русское возрождение». Париж — Нью-Йорк, 1978, № 4, с. 15). Если не понять и не простить ненависть к имперской нации (то есть к империи) и не отделить себя от империи, остается одно: перенести ненависть на жидо-масонов. Юрий Машков и Владимир Осипов выбрали второе.

Какой-то эстонец, сражавшийся добровольцем в финской армии, рассказывал, как он косил из пулеметов русские цепи. Раскаленный металл обжигал руки, а идиот генерал посылал цепь за цепью на доты, и новая волна трупов падала на снег. Бедного Володю всю ночь трясло. Он понимал, что финны за-

щищали свою независимость и по-своему были правы. Но он не мог отделить себя от тех, кто выполнял неправый приказ, и утром решил, что будет всегда за русских, правы они или не правы. Это формула английского патриотизма (my country, wright or wrong).

В лагере тогда тянули срок молодые русские нацисты. Откуда они взялись? Я думаю, от внезапной отмены дела врачей. Раздували его со страшной силой; и вдруг, 4 апреля, лаконичное сообщение о незаконных методах следствия. Точка и — ша. Считайте, что ничего не было. Это было достаточно для тех, кто втихомолку не принимал чудовищного вымысла, не верил ему. Но кто поверил — тому никак не помогли разувериться. Общего идейного поворота не было. Примерно в 1955 году управление культуры Черновицкой области получало инструкцию об уничтожении устарелых патефонных пластинок (с еврейскими народными песнями). Космополитизм по-прежнему считался злом (а под этим именем уничтожались остатки интернационализма). Как же во всем разобраться простому человеку?

4 апреля Шура Богданова, добрейшая вольняшка, работавшая бухгалтером на лагерном предприятии, рыдала и всхлипывала: «Кому же теперь верить?» Пару месяцев спустя холодный сапожник в Иванове спрашивал меня: «Может быть, они взятку дали?» И даже шесть лет спустя Ира Муравьева не смогла переубедить свою однопалатницу, верившую, что евреи отравили гематоген раком, а рыбий жир туберкулезом.

Особая статья — школьники. Они легко втягиваются в жестокие игры. Если вы забыли, как это делается, перечитайте «Братьев Карамазовых». Или воспоминания Ларисы Моллер о 1953 годе. Один парень рассказывал мне в 1959-м, как загонял мальчиков-евреев под парту. Рассказывал, каясь. Но не все покаялись. Некоторые слишком втянулись в игру, в психологию борьбы с Мировым Злом и не захотели из нее выходить. Взрослые отступили от знамени — и около него встали молодогвардейцы. Порыв был искренний, героический, с готовностью пострадать. И сперва действительно пострадали. Первые нацистские группы попадали в лагеря. Начальство еще не поняло, что воинствующее юдофобство нацистов можно приручить, вернуть в лоно русского патриотизма и при случае использовать.

Вадим Козовой, тянувший срок одновременно с Осиповым, рассказывал, что основы будущего Веча, единого фронта всех русских, были заложены еще в лагере. Фронт был защитой от лагерной русофобии (которую было бы правильнее назвать имперофобией). И, во-вторых,— попыткой найти козла отпущения за все грехи, наделанные с 1917 года, утвердиться в собственной правоте и освободиться от мучительного чувства стыда за Россию, от чувства национальной вины.

Вопрос об ответственности евреев за революцию я обсуждал с Михаилом Николаевичем Лупановым году в 52-м, прогуливаясь по бревенчатому настилу между вахтой и столовой. Лупанов рассказывал, какое впечатление производили на него и других красноармейцев речи Троцкого и Зиновьева. Несомненно, евреи, гораздо больше склонные к риторике, чем русские, в этот период сыграли очень важную роль. Но потом нужда в ораторах исчезла и евреи тоже исчезли с высоких постов; а лучше от этого не стало. У всех были на слуху слова и поговорки явно не еврейского происхождения: «вертухай», «вологодский конвой шутить не любит»...

Этническая история российской империи, а потом советской империи — очень интересная тема. Отчасти ее уже коснулся Андрей Амальрик; я тоже об этом писал. Время от времени логика империи выталкивала наверх какие-то неславянские группы: варягов, татар, немцев, евреев; потом первые становились последними, и оставалась только привычка ненависти — к вчерашним фаворитам. Но на очереди уже стоял следующий фаворит... Какие-то могучие силы, вырвавшиеся наружу, делали людей своими «человекоорудиями» (как называл это Даниил Андреев), а затем губили. Но не щепки, подброшенные волной, а затем ввергнутые в пучину, создавали саму волну. Я склонен думать, что начинается эта волна в нашей общей ауре, созданной общими грехами, и все мы друг перед другом виноваты, но все это трудно доказать, скорее даже невозможно, и поэтому умолкаю. А на поверхности, доступной моему взгляду, сталкиваются не столько этносы, сколько типажи. Хлестаков может быть русским, как увидел его Гоголь, может быть евреем или армянином, но прежде всего это — Хлестаков. В 1918 году господствовали не евреи, а хлестаковы (отменяли деньги и т. п.), буянили ноздревы и подбирались потихоньку к власти смердяковы. Это первым заметил Бердяев, в «Духах русской революции», а потом, ничего не зная о его открытии, я заново построил тот же велосипед («Квадрильон», 1963). Типаж — категория, по крайней мере не менее важная, чем этнос (см. мою статью в журнале «Общественные науки и современность», 1990, № 2)... В 1952 году, разговаривая с Михаилом Николаевичем, я все это не мог сформулировать, но кое-что мне пришло в голову, и мы внимательно прислушивались к аргументам друг друга. Ничего похожего на спор В. Кожинова с Б. Сарновым. Слишком очевидно, все мы сидели в одном лагере по одной и той же статье: 58—10, ч. 1.

Интеллигенты держались дружно, все готовы были выручить вас, если вы попали в беду. Я это дважды испытал и поверил, что так должно быть всегда. Это

мой миф об интеллигенции, который в 1967 году столкнулся с солженицынским мифом о народе и дал последний всплеск в «Человеке ниоткуда» (1967—1969).

В 1981—1982 годах в связи со смертью моего приятеля Виталия Рубина готовился какой-то израильский сборник. Меня попросили написать статью. То, что получилось, я назвал «За поворотом». Впоследствии (кажется, в начале 1985 г.) статья была опубликована в журнале «Страна и мир» (Мюнхен; номера никогда не видел). Мне кажется, стоит привести несколько цитат по машинописи, сохранившейся в моем архиве. Ради связности я кое-где прибавил по два-три слова и переставил два абзаца. Остальное — как в журнале.

«Долгое время каждый номер «Вече» вызывал у меня чувство боли. Но постепенно пришло понимание. До перекрестка мы шли вместе, а потом должны были разойтись.

Представим себе на минуту, что советская система развалилась и на миллионы русских в союзных и автономных республиках обрушилась волна долго сдерживаемой ненависти. Их будут резать, как ингуши, вернувшись из ссылки, резали нефтяников Грозного, не уходивших немедленно из ингушских домов (этот эпизод сталинской политики дружбы народов и ее хрущевского исправления вызвал в 1958 г. бунт колонов, подавленный войсками)... У Менахема Бегина и Осипова разные мифы, но мне хочется взглянуть сквозь миф, в сердце. А там — инстинкт самосохранения, оправданного, как все живое. Что касается мифов, то миф Осипова прост и практичен: во всем виноваты не мы, русские. Нас ненавидят напрасно. Виноваты они! Такая идеология легко и просто дает чувство уверенности в своей правоте. С национальным покаянием Барабанова или запутанным раскаянием и самоограничением Солженицына трудно было бы вдохновить будущих русских фалангистов... Я все могу понять, но мне от этого не легче. Вспоминаю благородного порывистого Володю — и мне жаль, что его так далеко занесло.

...Чуть позже, чем с Володей Осиповым, я познакомился с Виталием Рубиным. Кажется, с Володей осенью 58-го, а с Виталием — летом 59-го. Оба были тогда (как потом это назвали) демократы, т. е. хотели расширения человеческих прав и не замыкались ни в какие национальные проблемы. Чистый случай, что я не пригласил Виталия на свой философский семинар и они не встретились.

Володя был почти мальчик; Виталий — старше, ироничнее (хотя за иронией его скрывался неисчерпаемый энтузиазм). Очень чувствовалась в нем традиция семьи. Я еще застал в живых его отца и непременно сошелся бы с ним поближе, если бы тот вскоре не умер. В старике было какое-то редкое сочетание легкости и глубины. Философское образование, немыслимое в наше время, проскальзывало, но не давило. Почти танцующее «ученое незнание». Мне кажется, Виталий унаследовал от отца легкость характера, бодрость, быстроту ума — но в Ароне Рубине было еще что-то...

Отношения с Виталием складывались просто и естественно, без всяких домашних семинаров. Когда я поступил в сектор Востока ФБОН (Фундаментальная библиотека общественных наук), мы очень скоро подружились. Виталий был захвачен переоценкой роли Конфуция, и я охотно слушал его рассказы о конфликте конфуцианского гуманизма с принципом государственной пользы в учениях школы фа-цзя (легистов). Легизм превозносился в сталинские годы и легко ассоциировался со сталинизмом, отчасти даже персонально (апологеты фа-цзя были нераскаявшиеся сталинисты). Я вполне сочувствовал пафосу Виталия и перенес его в свою речь 3 декабря 1965 года, на которую рассердился Семичастный (см. «Нравственный облик исторической личности». «Знание — сила», 1990, № 5).

Я спросил Виталия: «Где будет какой-нибудь интересный доклад или дискуссия?» Он ответил: «Сегодня в Институте истории доклад Елены Михайловны Штаерман о циклических теориях исторического процесса». Циклические так циклические. Мы отпросились у заведующей отделом и пошли в буфет...

Пока Виталий стоял в очереди за винегретом, я присел за столик и набросал на каталожной карточке несколько мыслей по поводу циклических теорий. С этим идейным багажом мы поехали в Институт истории и стали слушать. Елена Михайловна долго, часа полтора, крутилась вокруг высказываний Маркса, Энгельса, Ленина. Кончила она примерно на том, с чего начала: что классики марксизма кое-что о циклических теориях говорили, но ничего определенного из их высказываний не вытекло. А отойти от цитат и прямо сказать, что она сама думает, докладчица не решилась.

Когда Елена Михайловна кончила, председатель спросил: «Кто хочет выступить?» Все молчали. Никто не решался ступить на не огороженное цитатами поле. Я поднял руку — и мне сейчас же дали слово.

Опыт публичных выступлений у меня был только один: капустный. И в Институте истории после архиосторожного доклада я выступил так:

По-моему, есть два типа циклических движений. Первый случай: обезьяна накладывает друг на друга ящики, чтобы достать банан. Накладывает неумело, ящики разваливаются, и приходится начинать заново. Это модель циклизма на основе невыполненной исторической задачи. Второй случай — колебания моды. Юбки укорачиваются до предела, а когда предел мини достигнут, начинается движение в обратную сторону, до предела

макси. Это модель циклизма на основе выполненной исторической задачи.

Председатель, М. Я. Гефтер, спросил: «Нельзя ли поближе к истории?» «Пожалуйста»,— ответил я и дал несколько заранее припасенных примеров: из истории доколумбовой Америки, Французской революции, Древнего Китая и т. п. Когда я кончил и сходил с трибуны, Виталий сидел затылком к кафедре. Потом он мне объяснил: я смотрел, не собираются ли тебя линчевать. Но линчевать меня не стали. Только удивленный Гефтер спросил во время перерыва Виталия: откуда Померанц знает про Цинь Шихуанди? Виталий откровенно ответил: «Это я ему рассказал».

Так начались мои попытки вклиниться в дискуссии, которые велись в институтах Академии наук, и превратить их вялое течение во что-то вроде французской банкетной кампании 1847 года. Это была проба, эксперимент. Либо начнется цепной процесс, либо мой расчет неверен. Проверкой мог быть только опыт. Я приходил, садился, слушал. На что-то хотелось возразить. Начнут в голове мелькать мысли, я их набрасываю на каталожные карточки и прошу слова. Иногда выходило хорошо, иногда не очень, но своего я добился. В ноябре 1965 года меня пригласили сделать двадцатиминутный доклад на конференции «Личность и общество» в Институте философии.

Никакого сговора ни с кем у меня не было. Я не знал, что будут говорить другие и кто будет в зале. Но обстановка сама по себе сложилась такая, как надо. Лед растопил Виталий своей речью о совести историка. Это была именно речь, а не научное сообщение. Он говорил, что ему стыдно назвать свою профессию: историк; что слово «история» стало синонимом лжи, бессовестной фальсификации, духовной продажности... Говорил горячо, проводили его аплодисментами, и, когда я начал с известных стихов Наума Коржавина, зал сразу откликнулся (я это почувствовал)...

А потом, когда кто-то попытался возражать с позиций всепобеждающего учения, Лена Огородникова-Романова сравнила моих оппонентов с Шигалевым: и они, дескать, начинают с идеи свободы, а приходят к рабству.

Любопытно, что все три острые речи произнесли сотрудники ФБОН, библиографы, а не члены официального корпуса советской науки. «Библиограф — профессия неудачника»,— часто говорила Лена Огородникова. Судя по ней, профессия человека, и не искавшего удачи. Она умерла несколько лет спустя, от инсульта, оставив несколько эссе, написанных в стол. И только три опубликованные статьи (в сборнике «Август 1914-го» читают на родине»).

Я до сих пор помню некоторые ее реплики в коридорах ФБОН. Лена была поэт реплики, т. е. самого бескорыстного слова, брошенного, чтобы прозвучать и исчезнуть. Так и вся ее жизнь.

В 1966 году наши надежды подогрела культурная революция в Китае. Я еще раз использовал рубинскую концепцию раннего конфуцианства в статье «Размышляю о Циньском огне» (оставшейся ненапечатанной и впоследствии включенной в мою книжку «Неопубликованное», Мюнхен, 1972). Какие-то надежды подавала и хозяйственная реформа. Либо она должна была провалиться (что и случилось), либо захватить и политику, и культуру. Что получится — было не совсем ясно. Разочаровала меня только весна 1967 года. Очень сильным ударом было чтение в апреле романа А. Солженицына «В круге первом». Многое в романе захватывало, радовало, было то самое, что мне хотелось увидеть высказанным, напечатанным. И в то же время... Именно чужое в своем было невыносимо. Началось то направление оппозиционной мысли, которое сегодня господствует в эмиграции и которое меня глубоко отталкивает...*

Второй травмой была реакция Москвы на шестидневную войну. Прага ликовала, в Варшаве интеллигенция завалила посольство Израиля цветами. В Москве — вялое и скорее враждебное недоумение.

В 1956 году я негодовал на Израиль за то, что он расколол мировое общественное мнение в дни будапештского кризиса. Но в 1967 году не было рабочих советов в Венгрии, не было союза Израиля с Англией и Францией, да и колонизация почти не было... На Синайском полуострове в шестидневной войне столкнулись демократия и тоталитаризм, и демократия победила. Это было ошеломительно, как Марафон. Но в Москве (за исключением очень узкого круга) не было самого *желания* свободы, тоски по свободе, радости за успех свободы. По этим впечатлениям легко было предсказать события 1968 года: всеобщий порыв к свободе в Чехии, движение интеллигенции в Польше, не поддержанное (тогда) народом, и отсутствие всякого движения в России (несколько диссидентских ласточек не делают весны).

Виталий дольше сохранял оптимизм. Помню, как он с Василием Николаевичем Романовым пытался использовать профсоюзное собрание для выступления против директора В. И. Шункова, запретившего вечер Солженицына в нашей библиотеке. Председатель тогда бросил свой колокольчик и таким образом призвал публику расходиться (поскольку повестка дня была исчерпана). Я взял колокольчик и заявил, что собрание продолжается (хотелось довести эксперимент до конца, до голосования резолюции). Кто просит слова?

* Я попробовал завести переписку с Солженицыным, но из этого ничего не вышло. Началась полемика: «Человек ниоткуда» (в моей книге «Неопубликованное», Мюнхен, 1972) — «Образованщина» — «Сон о справедливом возмездии» (в моей книге «Сны земли», Париж, 1985) — «Наши плюралисты» — «Стиль полемики» (в «Вестнике РХД») и «Проблема Воланда» (в «Гласности»).

Заместительнице директора И. Ходаш пришлось произнести демагогическую речь. Потом я поставил рубинско-романовский вотум недоверия на голосование... Против дирекции голосовали трое (авторы предложения и я; с этих пор нам не платили премиальных). Остальные голосовали по обычным советским нормам.

Следующий раз Виталий воодушевился, когда Лариса Богораз и Павел Литвинов дали пресс-конференцию иностранным корреспондентам. Помню, это и меня поразило. Но я никак не мог согласиться со словами Павла, что «у щуки выпали зубы». А Виталий был совершенно захвачен. О своих поездках к Павлу он рассказывал с неподдельным энтузиазмом. События в Москве шли так, что для энтузиазма оставалось все меньше места, зато в Праге... Иногда и мне казалось, что Прага вызовет цепной процесс в Восточной Европе, а там — чем черт не шутит...

Но наступил август. Оставалось или отказаться от оптимизма, или от своих корней в России. Я выбрал первое, Виталий — второе. Думаю, что и в этом случае, как и в спорах о Конфуции и Чжуан-цзы, оба были правы.

Тут самое трудное — это понять самого себя. Период колебаний занял у меня года два. Он отразился в «Неуловимом образе», в «Двух принцах» и в первых двух частях «Снов земли». Победило желание не суетиться, принять свою судьбу во внешнем и двигаться по мере сил внутрь.

В этом решении сказалось много обстоятельств. Я не мог представить себя в другом языковом облике. А если за мною всюду потащится русский язык, то зачем, без крайней нужды, уезжать из России? Писать пока не мешают. А печататься... Я уже привык, что книги печатаются спустя четверть века. Это отчасти даже хорошо: отсеивается литературная суета. Можно ли писать в гниющем обществе? Можно. Империя, ради которой Сервантес потерял руку, развалилась, а «Дон Кихот» остался, и «Жизнь есть сон», и Эль Греко, и Сурбаран... Всюду можно вживаться в жизнь до любой посильной тебе глубины. А уникальный исторический опыт утопии неотразимо привлекателен для историка...

Какую-то роль играли и личные связи, и диалог со спорадически возникавшей аудиторией, и то, что у меня нет детей (которых надо спасти). Все это важно для меня — и совершенно неважно для другого. Виталия неудержимо потянуло туда, где его деятельный, рациональный и гуманный оптимизм получил новый смысл. Я его вполне понимал...

Текст, написанный в 1981—1982 годах, заставил меня заскочить вперед, в глухие годы, когда внешнее движение почти прекратилось и шли глубокие духовные сдвиги. Вернемся теперь назад, к началу шестидесятых, в компанию Алика Гинзбурга, в комнатку на шестом этаже, где стучала на машинке, перепечатывая стихи, Наташа Горбаневская (в 1968-м — на Лобном месте), где почти каждый вечер можно было встретить романтически красивого Юру Галанскова, чем-то напоминавшего мне Ленского (через несколько лет он умрет в лагерной больнице). Любви, надежды, тихой славы недолго тешил их обман...

В «Синтаксисе» было что-то уникальное, неповторимо личное, невозможное без авантюрного характера, беспечности и организаторского напора Гинзбурга, действовавших в нем как-то бессознательно и непреодолимо. Этот авантюрный дух создал «Синтаксис», и он же его провалил — из-за глупой шалости, из-за попытки сдать за товарища экзамен на аттестат зрелости. Алика поймали на подлоге (своя карточка была временно подклеена в чужой паспорт). Ошеломленный Рустем — приятель Алика — составил список: кто мог об этом знать? Вышло около 80 человек! Стукачи роились вокруг, как комары в июне. Немедленно был произведен второй обыск, список изъят, и по нему вызывали свидетелей. Словом, глупостей хватало. Но исправить их и продолжать «Синтаксис» иначе, без Алика, никто бы не смог. А сам Алик, выйдя из лагеря, не пытался этого сделать. Что-то изменилось в нем самом и во времени.

Бывает, что яйца учат курицу, и выход трех номеров «Синтаксиса» меня чему-то научил: ждать совпадения исторического мига с каким-то мигом в развитии личности. А пока «завязать», сидеть тихо, присматриваться и думать. Я продолжал ходить в гости к Людмиле Ильиничне, узнавал, как идет следствие, при случае давал неумелые советы (те, кто их выслушивал, еще меньше моего понимали); сходил и на Лубянку, когда меня туда вызвали, и хвалил творческую инициативу Гинзбурга в отборе поэтических талантов (за этот отзыв меня лишили допуска к спецхрану),— но ни к чему больше не тянуло.

Чтобы стать деятелем, мне всегда не хватало завороженности одной какой-то идеей. Слишком захватывал процесс рождения новых идей, и каждая попытка активности оказывалась действием для понимания (а не пониманием для действия). У деятеля свой особый, деятельный ум — вроде прожектора, направленного в одну точку: создать паровую машину, открыть путь в Индию, захватить власть... Следующего вопроса: зачем? — деятель себе не ставит, т. е. не ставит его всерьез, так, как поставил бы его мыслитель. Деятелю достаточно отговорки: для счастья человечества, для блага родины... Дальше ставится точка. А для меня точка немедленно становится запятой, за которой 5000 как, 7000 что и 100 000 почему. И пауза между двумя порывами деятельности разрастается, наполняется самостоятельным смыслом, и подлинным моим делом становится новая рукопись.

После ареста Алика я мог бы себе найти другое поприще. Например, толкаться на площади Маяковского, прислушиваться к спорам, участвовать в них... Почему мне этого не захотелось?

Позже, когда начались молчаливые манифестации у памятника Пушкину, я объяснял свое нежелание участвовать тактически: рано нам бороться за улицу. Начинать надо с аудитории. Однако за этим рациональным доводом стояло непосредственное чувство. В аудитории я чувствовал себя сильным, на площади — слабым. Площадь — это народ. А с народом я был только во время войны. Тогда я мог звать за собой любую группу солдат. Во мне был разум войны: не медлить под огнем, вперед! Но потом между интеллигенцией и народом легла пропасть. Работая в школе, я медленно наводил мост, передавая ребятам что-то из традиций русской литературы. Но как это сделать на площади с первыми попавшимися?

Я мог бы разок сходить, послушать и уйти — как в толпу у Мавзолея, когда выносили Сталина. Ничего не возразив грузину, твердившему, как попугай: «Если бы не Сталин, то победил бы кто? Троцкий!» Но не получилось и такое созерцательное присутствие.

Примерно в ноябре 61-го мне позвонили на работу: зайдите, мол, такого-то в гостиницу «Урал». «Урал»? — переспросил я. «Не повторяйте»,— сказал неизвестный джентльмен. Да, в гостиницу, в номер такой-то. Я мог бы и не пойти. Это ведь не официальный вызов, не повестка. Но было любопытно: что они обо мне знают? Стоит ли где-то под потолком аппарат для подслушивания?

Разговор вышел из рук вон нелепым. Джентльмен (немолодой, обрюзгший, из старых сталинских кадров) привык только к двум формам беседы: с информатором или подследственным; он не нашел ничего остроумнее, как спросить меня для начала: «Что вы можете рассказать о настроениях молодежи, в особенности еврейской молодежи?» Я с удивлением уставился на него и ответил, что ничего (за кого он меня принимает?). Потоптавшись вокруг да около, подполковник (или кто он там был) наконец прямо спросил, бываю ли я на площади Маяковского. Нет, мол. А почему? Там очень интересно... Я подумал: если вам надо, чтобы я туда пошел, то мне этого заведомо не надо,— и ответил: жена у меня больная, некогда мне ходить на площадь. Я недавно женился.

— На Вале? — лукаво спросил собеседник.

Ради этого я и пришел. Ни черта они не подслушивают. Даже и знает, на ком я женат. Валя была сотрудница, избравшая меня своим конфидентом (у нее был роман с иностранцем, ее вызывали, я провожал ее на Кузнецкий мост).

— Нет, на Зине! — ответил я еще более лукаво.

— А кто она такая? — растерянно спросил джентльмен.

Я благодушно ответил, что Зина — поэт-переводчик, сейчас работает над переводом Тагора для издательства «Художественная литература». Джентльмен что-то бормотал, но нить разговора была потеряна, я распрощался и ушел, еще раз лукаво улыбнувшись (мол, дурак ты, мой батенька).

Месяца через два или три я узнал об аресте Осипова и почувствовал себя остолопом: можно было понять, что против активистов площади Маяковского готовится что-то серьезное, и по крайней мере попытаться сорвать провокацию. А я ничего серьезного не ждал. Я позабыл, что и в царствие кроткое Елисавет всякое случалось. Венценосцы, у которых семь пятниц на неделе, приходят и уходят, а Тайная канцелярия остается, и пальцы ей в рот не клади — откусит.

Поговорив с тупицей, я впал в эйфорию. Мое впечатлéние можно было бы выразить стихом Маяковского: «Вымирающие сторожа аннулированного учреждения». Я ошибся почти так же грубо, как Маяковский, говоря о церкви. Оба учреждения подлежали аннулированию только в интеллигентских головах, а система построена так, что туповатый сталинский кадр, мало на что годный (думаю, Андропов отправил его на пенсию),— даже этот кадр мог наделать пакостей; и наделал. В том числе таких пакостей, которые государству были ни к чему, из личного желания навредить — если не мне, то кому-то около меня... Но об этом ниже, а сейчас опять об Осипове.

Каждый раз, читая «Вече», я вспоминал тот нелепый разговор и мою еще более нелепую беспечность и говорил себе: эх, предупреди я Володю, не писал бы он воззваний к соплеменникам.

Я не только не предотвратил несчастья. Я его прямо навлек на двух женщин, одной из которых была Зина. В начале 1962 года позвонила редакторша и спросила, почему Владыкин — директор издательства — вдруг запретил давать ей работу. Лично Зину директор не знал и вообще в такие мелочи не вмешивался. Рита Кафитина ничего не понимала. Никакого намека на государственный смысл. Чистый произвол. И бедная женщина решилась вступить в борьбу за разум и справедливость. Она была убеждена, что философскую лирику Тагора никто, кроме Зины, не сумеет хорошо перевести. Кончилось тем, что после запутанной истории Дон Кихота в юбке уволили. От нервного напряжения ее разбил паралич. Через четыре месяца последствия удара смягчились, я помог ей устроиться к нам в библиотеку на работу и еще около полугода делал за нее примерно половину карточек. Рита гораздо лучше меня знала английский язык, но ее бедная голова очень медленно приходила в норму. Ну, а издание

было поручено некому Ибрагимову, не знавшему и не чувствовавшему Тагора. Зину из этого дела успешно вытолкнули. Она кричала по ночам, читая опубликованные переводы,— настолько они были плохи. Заодно рухнула возможность одним махом войти в корифеи по переводу религиозно-философской лирики. Отношения с издательством были испорчены, создавать их заново не было ни сил, ни охоты. Так и не пришлось набрать нужное число строк, чтобы попасть в Союз писателей и на законных основаниях получать путевки в Коктебель или в Малеевку. Это, впрочем, судьба, только прорисованная случаем. Нам обоим на роду не написаны привилегии. Но я некстати помог судьбе, и хорошо бы — ради долга, ради принципа... нет —просто по глупости, по беспечности.

Много раз меня пронзало острое чувство боли — за Володю, за Риту, за Зину. Но другим я от этого не стал. Какая-то доля беспечности во мне очень крепко заложена. Я и улицу перебегаю беспечно, и на велосипеде езжу беспечно, и чувствую себя плохо, когда теряю беспечное доверие к жизни. И на других людей, подводивших меня своей беспечностью, я никогда не сердился. Но самое любопытное и необъяснимое: я не особенно рассердился даже на джентльмена в штатском. Этот человек привык делать пакости, а я почти что показал ему язык. Совершенно естественно и в духе его характера, если он взял трубку и позвонил кому следует. Каждый в своем юморе, как писал Бен Джонсон. Невозможно долго сердиться на собаку породы боксер, которая покусала меня, когда я неосторожно зашел на чужой участок. Проходит время — и перестаешь ее отличать от других собак.

Несколько лет спустя — точнее, в 1968 году — сходный случай произошел с Татьяной Михайловной Великановой. Ее вызвали как свидетельницу по делу мужа, Константина Бабицкого (он был на Лобном месте). Извиняясь за опоздание, Таня сказала, что задержалась в больнице,— внезапно заболел ее друг. Другу оставалось до военной пенсии еще два месяца. Его тут же демобилизовали, и пришлось больному человеку тянуть лямку еще 10 лет. На Татьяну Великанову это произвело такое впечатление, что она больше с этими людьми никогда ни о чем разговаривать не могла (хотя вызывать ее вызывали: она стала активной правозащитницей). И, когда ее посадили, она молчала, и на процессе молчала; только после приговора (лагерь и ссылка) — два слова: «Комедия окончена».

Не подумайте, что это женская «неадекватная реакция». Ничего «неадекватного», неврастенического в Татьяне Великановой не было. Просто нравственная цельность и решимость. Я каждый раз поражался обаянию ее улыбки. Улыбка счастливого человека. Счастливого — потому, что нет никаких колебаний и угрызений, спокойная и неколебимая верность себе.

На похоронах Сахарова Великанова сказала, что Сахаров не был политиком. Верно ли это про Сахарова — не знаю. Если политика — игра на выигрыш, желание славы и т. п., то Сахаров политиком не был (так же, впрочем, как и Гракх). Но иногда такие люди (психологически не политики) играют огромную политическую роль, и Сахаров стал своего рода зерцалом, этическим стандартом в политике перестройки.

Я привожу пример Татьяны Великановой как доказательство моего любимого тезиса: нравственность нельзя свести к заповедям, жизнь бесконечно сложнее любых правил, и дело личности (если имеется налицо личность) — найти свое собственное решение, прислушиваясь к своему собственному демону. Мой демон требовал от меня довольно раскованных поступков, но не разрешал втягиваться без остатка ни в какое дело, даже самое благородное и настаивал на сохранении внутренней независимости, в которой рождается свободная мысль. Я любовался нравственной цельностью Татьяны Михайловны Великановой, Петра Григорьевича Григоренко и других рыцарей правозащитного движения. С Петром Григорьевичем у меня даже вышел случай подружиться, и я был очень рад нашей дружбе (об этом расскажу потом). Но у меня другой нравственный стиль: сознания неразрешимости основных нравственных проблем и невозможности их решения без какого-то ущерба (об этом — в «Письмах о нравственном выборе», опубликованных в самиздатном журнале «Поиски» около 1978 года. Тираж почти весь в архивах КГБ)*.

У каждого своя дхарма. И исторический процесс оставляет нам не только одну роль. Возможен и оправдан «чистый», кабинетный мыслитель. Возможен и мой стиль. Так или иначе мысль должна сохранить свою свободу и незаинтересованность в результатах, иначе она теряет свою многомерность.

Я склонен мыслить сразу несколькими потоками, перетекающими друг в друга, как рукава одной реки, и часто одновременно разрабатывал две-три альтернативных модели. Грубо говоря, это можно назвать плюрализмом, и Солженицын имел основания причислить меня к плюралистам. Следует только прибавить, что плюрализм не бранное слово, а философский принцип, существующий довольно давно, примерно две с половиной тысячи лет, а в последние века — и социально-политический принцип, близкий по смыслу к таким понятиям, как веротерпимость, диалогичность, демократия. В русскую жизнь он, к сожалению, не внедрился, однако и отменить его не может даже самый великий авторитет. Ибо все философские принципы — в устройстве человеческого ума, и один ум не

* Сокращенный текст — в журнале «Век XX и мир» (1990, № 5).

вправе навязывать другому свой внутренний строй; а потому философский спор, спор принципов, будет длиться до тех пор, пока существует философия.

Впрочем, размышления опять увлекли меня очень далеко вперед. Вернусь снова (кажется, в последний раз) к началу 60-х. Когда я просто был никто. Так, как сказала Эмили Дикинсон: ты никто, и я никто, значит, нас двое... Значит — просто жизнь. В этой жизни случались скверные анекдоты, глупости, за которые приходилось расплачиваться. Но все это было ничтожно сравнительно с огромной жизнью. Огромной жизнью рядового человека, который ходит на работу, как все, и каждый будничный день снимает табель.

В 1960 году мне предложили поступить в штат библиотеки (до этого иногда работал временным сотрудником). Я сформулировал проблему в дзенских терминах: «Можно ли быть Буддой, снимая табель?». Т. е. сохраню ли я внутреннюю свободу, отказавшись от внешней свободы люмпен-пролетария умственного труда? Сменив свободу Диогена на незаметную свободу Канта? Заведующая отделом, Софья Иосифовна Кузнецова, мне понравилась. Она подбирала способных людей и давала им полную волю — лишь бы работа не стояла. Я сунул голову в хомут и проработал на одном месте 18 лет — до пенсии.

Фундаментальная библиотека открыла мне много возможностей. Это было окно в Европу (а заодно в Америку и Азию). Несколько лет я осваивал кучу информации, а потом стал перестраивать ее по-своему и написал на четыре книги (если все собрать и издать). Правда, выкраивая время на свое, приходилось работать, как почтовая кляча, но радость жизни я не терял, жизнь углублялась и собиралась в пучок, за выходные дни — в лесу, летом на даче, осенью у моря...

История предоставила мне отпуск. Эта фраза придумана не задним числом — я сформулировал ее, когда «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича». Не имело смысла бороться с лидерством Хрущева в освободительном движении. Аппарат бдительно охранял его и не допускал свободной конкуренции. Но само руководство беспорядочно металось из стороны в сторону и успешно восстанавливало против себя то либералов, то консерваторов. Один из анекдотов (в которых выражается наше общественное сознание) сформулировал итоги правления Никиты очень точно: Хрущев показал, что руководить страной может всякий дурак *. А значит — и вы, и я, и наш сосед Иван Иванович. Нельзя было придумать лучшей школы демократии. Никакие усилия кучки интеллигентов не могли дать больше, чем выходки этого шута, стучавшего башмаком по пюпитру Генеральной ассамблеи или фыркавшему на «Обнаженную» Фалька. Сталин заставил трепетать перед властью, Хрущев — смеяться над ней. Началась эпоха песен Галича и анекдотов армянского радио.

Вся политическая поверхность, на которой происходили эти анекдоты, стала мне казаться пустой и мелкой сравнительно с часами созерцания. Жизнь по свету, вглядывание в луч, подымавшийся по веткам палангских сосен, проводы зари... Словно сошла пелена с моих глаз и я увидел литургию света. Осень и зима тоже заново раскрылись предо мной, и весна в Рублевском лесу, и наконец бабье лето в Пицунде...

Говорят, что дуракам счастье. Это верно, хотя совсем не просто. Первый смысл: в счастье есть что-то от удачи, от глупого везения. Но иная душа может и в неудачах найти себя, а быть собой — тоже счастье, великое (к сожалению — редкое) счастье. «Господи, душа сбылась. Умысел твой самый тайный»,— писала невезучая Марина Цветаева.

Я не хочу, чтобы моим молодым друзьям непрерывно везло. Дерево, выросшее под ветром и дождем, лучше оранжерейной пальмы. В нем больше внутреннего напряжения, жизни, красоты. Нельзя закалить клинок, не погружая его то в жар, то в холод. Неважно, чего будеть больше: горя или радости, страдания или восторга. Лишь бы сбывалась душа. Лишь бы мера страдания не превысила ее меру, не сломила, не свела с ума. Иов вынес свой жребий. Дьявол, играя случаем, бросал ему горе за горем, но в конце заговорил Бог. В жизни так не всегда, и встреча с Богом уходит в посмертие. Но библейский Иов настрадался до ликования здесь, на земле. Так именно кончается книга Иова, жившего на земле Уц. И именно это, помоему, задумано Богом (хотя не всегда выходит). Несбывшаяся душа, хоть и наталкивается на счастье, почти непременно упустит его или не заметит. Выстрадавшая себя — находит, как быть счастливой ниипочему — и давать это счастье всем, кто подберет. И вот здесь второй смысл поговорки: счастье невозможно без простодушия, доходящего даже до глупости. Счастье отдается только тем, кто не перегружен целями, заботами, кто вышвырнул их вон и поплыл по реке жизни. Мудрость здесь совпадает с глупостью. «Если не будете, как дети, не войдете в царство».

Московское лето 1962 года выдалось холодное, мокрое, в сентябре по вагону гулял ветер, Зина простыла — и вдруг рай, роща реликтовых сосен (еще не огороженная), крест кипарисовых аллей вокруг заброшенного монастыря — и ни одного дождя. Запах моря и сухой хвои. Тело становится упругим, словно боги даровали мне вечную молодость,— а ве-

* Ленин показал, что страной руководить может одна партия; Сталин — что один человек; Хрущев — что всякий дурак; Брежнев — что можно ею вовсе не руководить; Андропов — что можно попытаться ею руководить, но долго не проживешь. Анекдот андроповских времен.

чером весь уходишь в зрение. Зина это делала так полно, что я мешал ей, нечаянно подумав о чем-то светском, постороннем. По канону заката сперва смотрим на фиолетовые холмы. Потом сквозь горящие деревья проходим по другую сторону мыса и садимся на рыжую хвойную подушку — до глубокой тьмы. Солнце торжественно погружается в Черное море; полоса зари, как на японских гравюрах, разгорается, потом гаснет. И раскрывается чаша звезд.

С этим чувством внутренней свободы я вступил в общественную борьбу после отставки Никиты. Я вошел в нее весело, как в новый капустник. И антисталинская речь так удалась мне именно потому, что в ней не было скучной серьезности, что это была, в известном смысле, игра, пожалуй, не менее рискованная, чем игра бандерильеро с быком,— но игра, на которую я смотрел при всей захваченности откуда-то изнутри, из точки покоя, и обдуманно соразмерял степень дерзости, балансируя на самой черте, за которой неизбежно начинались репрессии,— но не переходя через черту. Возможность такого балансирования мне подсказала статья «Социологические условия харизмы», где описывалось, как новые африканские лидеры научились ругать колониальные власти, не попадая в тюрьму (что делало их волшебниками в глазах малограмотных). А форму подсказали похабные стишки, сочинявшиеся в свое время на пару Михалковым с Сурковым (я их слушал из уст бывшего школьного товарища, впоследствии редактора «Советской культуры» В. И. Орлова). Остроумие их (довольно примитивное) было в том, что слово, относящееся к материально-телесному низу, подсказывалось рифмой, но не произносилось. И только в конце целой серии куплетов, когда слушатель переставал ждать матерщины, он ее получал с роскошной, полной рифмой...

Круг за кругом я обходил запретную зону, вспоминал Ивана Калиту, Ашоку, Цинь Шихуанди — и вдруг произнес матерное слово «Сталин». И, сразу сменив язык, начал крыть Сталина строго по-марксистски, выбирая ругательства из темпераментной статьи Ленина «Памяти графа Гейдена».

Аудиторию охватил восторг. Философы в штатском вскакивали, пытались подойти к трибуне, но их хватали за плечи и сажали на место. Несколько скомкав последние фразы (что культ Сталина — месть истории за разрушение религиозной веры), я кончил. Оглянувшись, увидел, что колокольчик уже в других руках. Арсений Владимирович Гулыга исчез из президиума (кажется, что-то с кем-то улаживал). На несколько недель интеллигенция окутала меня харизмой (как африканцы Кваме Нкруму или Джулиуса Ньерере). Какой-то кандидат наук, оставшись со мной наедине, спросил: считаю ли я себя пророком? Я перекрестился и ответил: нет, и вам советую думать своим умом. Больше он ко мне не подходил. Африканцы белого цвета хотели пророка, вождя. А я хотел другого, хотел их подтолкнуть к свободной речи, хотел подсказать, что так, как я, могут все. Это оказалось преждевременным. Ораторами делаются, только поэтами рождаются,— но не так быстро делаются. Особенно после нескольких десятилетий рыбьего и рабьего молчания. Мой пример подтолкнул М. И. Ромма. Он воспользовался случаем сказать что-то о Сталине и потом пригласил меня в гости и целый вечер расспрашивал о своей жизни в те годы (видимо, воспоминания его очень томили). Но вскоре Ромм умер. Еще — тогдашний редактор «Комсомольской правды» предложил мне придумать какую-нибудь тему для «круглого стола». Я придумал, и «круглый стол» состоялся, но материалы не были напечатаны. А редактора скоро сняли с работы. Любопытно, что непосредственно со мной он не решился говорить, агентом связи служил корреспондент.

Впрочем, опять я забегаю вперед. Теперь не буду больше дополнять текст воспоминаний, написанных в 1985 году. Беру его в кавычки и ограничиваюсь сокращениями и самой незначительной стилистической правкой.

«На следующий день была суббота (по-тогдашнему — укороченный рабочий день). Аннотирование журналов можно было отложить на понедельник. Сидя за своим столом в Белом зале, у окна, я за четыре часа по памяти записал речь и отдал ее в машбюро. Шестого текст был готов и пошел в самиздат (магнитофонные записи пошли в ход раньше). 5 декабря состоялась первая демонстрация у памятника Пушкину; Семичастный был убежден, что мы с Есениным-Вольпиным в сговоре. Некоторые люди, слушавшие меня, действительно были у памятника, но я об этом не подозревал и Вольпина в глаза не видел. (Все стоящее в истории возникает стихийно, а то, что требует конспирации и заговоров,— игра, которая дешевле свеч.)

Как текст «Нравственный облик исторической личности» * устарел. Строгий читатель заметит, что критика Сталина с ленинских позиций не всегда убедительна. Это верно, у меня сперва намечено было кончить в духе «Квадрильона» (сравнивая Сталина со Смердяковым, чертом и крошкой Цахесом, а Хрущева — с Фальстафом). Но Зина и сосед Юра Глазов, перед которыми я репетировал, в один голос сказали, что за такое окончание меня за ноги стащат с трибуны; ну а мне хотелось пройти по лезвию ножа. дать пример оппозиционного выступления без репрессий, пример для подражания, а не для испуга. Первое мне удалось: Семичастный дважды звонил в Президиум Академии наук, но без успеха. Я совершенно честно попытался выжать из марксистского языка все, что можно, для критики Сталина. Это не было для меня ложью (почему бы не попробовать и такой язык? Даже зная его ограниченные возможности?), и я с наслаждением хлестал по щекам ленинскими словами о холуях и холопах, обожавших хозяина. Разумеется, можно было показать и другое (Сталина как ученика Ленина), но в тот момент, когда я говорил, это было ни к чему. Важно было в лицо назвать сталинистов холуями, холопами, хамами. А потом либералы, опираясь на мой марксистский язык и решения XX и XXII съездов, с чистой совестью меня отстояли. Но примера для подражания не получилось. Роль оказалась неповторимой. В том числе и для меня самого.

Недели три спустя академик Рыбаков решил использовать смену курса и свести счеты с профессором Монгайтом, скептически отзывавшимся об его археологическом национализме. Были заранее подготовлены разгромные выступления. Их язык, их тон напоминали стиль Лысенко. Председательствующий, М. Я. Гефтер, был захвачен врасплох и прислал мне записку с просьбой выступить, перебить проработанную машину. Я тут же набросал несколько тезисов и назвал концепцию Рыбакова славянским фашизмом. Но следующие ораторы меня просто не заметили. Они продолжали по заранее подготовленным бумажкам долбать Монгайта. Единственный эффект был тот, что Гефтер, сославшись на различие мнений, сумел отложить заседание, а в следующий раз против Рыбакова была мобилизована профессура других институтов (Поршнев, Токарев). Но это уже не моя заслуга. Я не добился почти ничего. Моя страсть натолкнулась на холод аудитории, разбилась об него. А на следующий день — гипертонический криз: я и физически оказался слаб. Трудно начинать карьеру оратора в 47 лет. Я на десять тыщ рванул как на пятьсот — и спекся (как герой Высоцкого). Надо было беречь силы на случай действительно важного выступления и не затыкать каждую дырку. А между тем дистанция вырисовывалась все более длинная. Года через два — в 1967 году — я заподозрил, что Россия и свобода на моем веку не сойдутся. Разочарование было очень горьким. Само собою сочинилось стихотворение в прозе: «Гниющее крестьянство, спившийся пролетариат, до конца прогнившая бюрократия — среди всего этого моря гнилья интеллигенция (тоже, говорят, гнилая) пускает пузыри духа. Со временем эти пузыри твердеют, становятся литературными штампами и школьники твердят перед экзаменами души прекрасные порывы: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья...» Этот текст вскоре показался мне очень резким, и я никогда не пытался обнародовать его, но привожу здесь — как биографический факт *. Так было, так я в какой-то миг говорил себе. Да и позже бывали подобные минуты. Когда человека топят в болоте, он вправе ругаться. И кто только в России так не ругался! Начиная с Пушкина: «Черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом»...

Опыт следующего (1968) года вполне уложился в схему. Писать, сидя дома, или подписать что-то — на это некоторые были способны. Но выступить перед аудиторией и увлечь ее за собой — не то сил не хватало, не то уменья. Скорее пойти к памятнику Пушкину и помолчать... Какое-то повторение декабристов. Создание знака, символа, который будущее наполнит каким-то своим, новым, неожиданным и, может быть, враждебным смыслом (например, у того же памятника — демонстрация неофашистов).

Я помню, что первая пресс-конференция диссидентов (Павла Литвинова и Ларисы Богораз) поразила меня больше, чем (несколько месяцев спустя) демонстрация на Лобном месте. Выход на Лобное место — принципиально единичный акт. А пресс-конференция — это было начало свободного живого слова и выхода в свободный эфир...

Я убежден, что без открытого свободного слова — живого слова — свободное общество никогда не начнется. Расшевелить аудиторию не просто, и не имеет смысла биться головой об стенку. Но я убежден, что в иных случаях аудитория готова была откликнуться; не хватило призыва. В 1968 году волна протестов против неправого суда над Аликом Гинзбургом поколебала мой скептицизм, и я решил опять попробовать возможности еще одной речи. Шли слухи, что доклад Юрия Давыдова об отчуждении будет очень смелым. Оставалось выступить в прениях и — с середины, как в декабре 1965-го, заговорить о политической злобе дня. Я набросал несколько тезисов на каталожной карточке и ждал, что скажет Давыдов... Но увы! Он не сказал ничего интересного (видимо, передумал, бросил первоначальный, смелый замысел). Аудитория дремала. Я порвал каталожную карточку (что там было, сейчас не вспомню). Без подготовленного общего настроения за свои десять минут все равно ничего не добьюсь. Потом я узнал, что в кулуарах шел сбор подписей под одним из протестов, и Ю. Давыдов его подписал. Но попытаться высказать свой протест вслух, публично,— на это он не решился. Загадку объяснили мне воспоминания П. Г. Григоренко. Рассказывая о своем выступлении на партийной конференции в 1961 году, Петр Григорьевич пишет:

«Большая часть делегатов прислала заявления в МК, в которых сообщают о своем неучастии в голосовании и несогласии с принятым решением» (осудить выступление П. Г. Григоренко и лишить его депутатского мандата. При голосова-

* См. мою книгу «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), а также «Знание — сила» (1990, № 5).

* Дарю его И. Р. Шафаревичу.

нии одна треть подняла руки «за», а две трети не подняли ни «за», ни «против», ни воздержались. Как Будда в нирване). «Поразило меня,— продолжает Петр Григорьевич,— что люди не боятся послать заявление-протест, но не решаются за это же самое проголосовать открыто. В этом вся система. В бюрократические учреждения можно писать в одиночку любые слезные жалобы. Вам, как правило, не ответят, но и не накажут, если дальше надоедать не станете. За коллективные же действия, если они даже выражаются в простом поднятии руки, если это неугодно начальству, жестоко покарают» *.

Оставалась последняя надежда, что Чехословакия потащит за собой Восточную Европу, а Восточная Европа — нас. Август 1968-го покончил и с этим ожиданием. Значит — никаких реформ. Будем гнить, пока колеса начнут на ходу отваливаться от автобусов **. На ближайшие годы (а может, и десятилетия) только одна перспектива: нарастающее отчуждение советских наций от замороженного русского центра, превращение наций в партии, с прогрессивной ролью окраин и реакционной ролью России. Возможно, что именно этот путь к чему-нибудь приведет (например, к распаду империи и к освобождению русского сознания и русского бюджета от имперских забот). Но если и приведет, то когда-нибудь, а пока что мне делать нечего. Я не способен сражаться под национальным знаменем,— и ради чего? Чтобы деспотизм одного цвета сменился деспотизмом другого цвета? Свобода немыслима там, где нет общего стремления к ней. А его нет. Есть, возникла уже традиция донкихотства. Но донкихотом надо родиться. А я им не родился. Я мог бы принять участие в каком-то коротком бурном движении, но моя дхарма — не это. Я создан думать. И лучше своя плохая дхарма, чем чужая хорошая...

С этих пор я считал себя в полной отставке от истории — и в своей записной книжке написал (кажется, в 1970 году), что духовно выиграл, политическая безнадежность освободила меня от политических задач. Успех движения 60-х годов втянул бы в проблемы времени, а сейчас я свободен от них, как Августин — от задачи сохранения Рима, и целиком могу посвятить себя поискам града Божьего.

Свобода от всякой практической цели сделала 70-е годы самыми плодотворными в моей жизни. Я писал «Сны земли», писал о Достоевском и попытался довести до печатного станка теоретические наброски, начатые в 60-е годы с целью создать альтернативу официальной концепции всемирной истории (задача, которую параллельно со мной решал — на свой лад — Лев Николаевич Гумилев).

...Мне кажется, что мои наброски представляют известный интерес. Но слишком серьезно я к ним не отношусь. Чем больше живу, тем сильнее чувствую бездну, по самому краешку которой лепятся наши мысли. Как-то академика Тарле попросили не ставить всем подряд «пятерки», а оценивать знания по справедливости. «По справедливости,— отвечал Тарле,— историю знает на «пятерку» только Господь Бог. Я ее знаю в лучшем случае на «четыре». А студенты, аспиранты...» Он безнадежно махнул рукой.

Я думаю, даже оценка «четыре», которую Тарле сам себе поставил, сильно завышена. Все наши исторические концепции — фантазии троечников (и это в самом, самом лучшем случае). Глобальная теория невозможна без известной доли хлестаковщины, без легкости в мыслях необыкновенной. Знаю это по себе и не осуждаю в других (например, в Л. Н. Гумилеве). Ни одна теория исторического процесса не может быть теорией в том смысле, который это слово получило в точных науках, не годится в качестве инструкции, руководства к действию. Только к прояснению интуиции, рожденной из глубины сегодняшнего исторического опыта и подсказывающей один-два необходимых шага, но не больше. Надежное руководство к историческому действию так же невозможно, как эликсир бессмертия и философский камень.

Ад вымощен теориями, которые непобедимы, потому что они истинны, и все руководства к действию давно взяты на учет преисподней. Мои теории не руководства к действию. И я надеюсь, что они никогда не победят.

Несколько раз я собирался научить историю, как ей себя вести; и в конце концов она сама меня научила: ждать, пока что-то созреет. Тогда можно помочь вытащить наружу то, что уже есть. Что именно? Что Бог даст. Вовсе не обязательно то, что мне хочется. Ну что же — можно отойти в сторону. Пусть акушерским ремеслом занимаются другие.

Тенденции исторического развития я схватывал довольно быстро; но их много, а я один и сразу все не могу вместить в свою голову. То лезут в глаза затхлость и гниение, то начинает дуть ветер перемен и становится интересно продумать: а что если реформы пойдут всерьез? И после пессимистического «Квадрильона» я разрабатывал оптимистические модели и после «Акафиста пошлости»... представил себе на миг Москву, ставшую одной из интеллектуальных и духовных столиц мира; Россию, захваченную поисками синтеза культур, стянутых в узел XX веком; и на этой основе — нечто вроде Евразийско го сообщества, свободную ассоциацию

* П. Г. Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Н.-Й., 1981, стр. 463—464.

** Или взрываться реакторы (хочется прибавить сейчас).

республик, связанных общей историей последних десятилетий *.

Так я писал в 1985 году, когда меня еще никто не печатал и даже упоминать мое имя было запрещено:

«Скорее всего, история пойдет так, что штатного места для меня не найдется, и эти странички вытащат из хлама и перечтут разве после того, как все наше — рухнет, и отдельные кирпичики пойдут на какие-то непредвиденные хижины и храмы. А может быть, и тогда этим никто не станет заниматься. Умом я принимаю и такую возможность. Мысль должна быть высказана. А там история подхватит, что ей нужно, и отбросит лишнее. Наше дело понять свою дхарму и сыграть свою (а не чужую) роль...»

Теперь о том, чего я в 1985 году не мог написать. Мне не удалось совершенно уйти от истории. Я не читал газет, не слушал радио (Е. В. Завадская сказала в эти годы: «Надо или жить, или читать газеты»)... Но какая-то гадость, носившаяся в воздухе, все равно доходила, заполняла гортань, и иногда невыносимо хотелось откашляться. Так возник в свое время «Квадрильон» — отклик на беседы Никиты Сергеевича с писателями и художниками, а в начале 80-х — «Акафист пошлости». Время глухое, Сахаров в Горьком, все молчит, только камни вопиют. Меня еще не предупреждали — значит, был резерв: авось не посадят, только предупредят. Кому-то ведь надо вскрикнуть. И, отделав текст, я разрешил Марье Васильевне Розановой опубликовать его. Потом «Акафист» передали по радио. Потом меня вызвали на Большую Лубянку и предупредили о применении ст. 190 ч. I. Подписывая протокол, я набросал заявление, примерно такое: «Я не считаю свою деятельность враждебной обществу, но слишком стар, чтобы продолжать борьбу, и отказываюсь от политических заявлений. Однако я не буду препятствовать публикации моей книги «Сны земли» и статей литературного, исторического и философского характера. Печатанье таких статей в журналах «Синтаксис» и «Страна и мир» я санкционирую».

Сотрудник, промывавший мне мозги, был недоволен словом «санкционирую», но я решил исключить возможность дальнейших вызовов за нарушение слова и не отступать от основной линии (живу здесь, печатаюсь там). Сухое сообщение о беседе я послал в Мюнхен с уведомлением о вручении. Письмо дошло (я написал там названия двух опытов, которые просил не печатать). Таким образом, вместо мистического страха прикоснуться к табу вышло вроде правового акта: вот это можно печатать, а это нельзя. Новых вызовов действительно не было. Но когда появилась, наконец, моя книга, то 15 мая 1985 года был произведен обыск у друга нашей семьи, Лимы Ефимовой. Было ясно, что у нее оседают экземпляры машинописи, которые из нашего дома разбазариваются. Иностранные радиостанции по ошибке сообщили, что обыск произведен у меня. Следующий обыск, действительно, мог быть у меня — изъять тексты еще до машинописи. Я почувствовал себя, как на фронте, и почти физически помолодел, писал «Записки гадкого утенка» главу за главой, но кое-что не хотелось записывать. И только сейчас собрался написать о встречах и разговорах с несколькими людьми, очень не похожими друг на друга.

С Валентином Федоровичем Турчиным я познакомился вскоре после своей антисталинской речи. «Литературная газета» проводила тогда «среды», и меня кто-то пригласил. Турчин оказался моим соседом, провожал до дому и по дороге рассказал о своих планах. Валя был убежден, что есть здоровая часть номенклатуры, с которой можно вместе проводить реформы; но ее сковывает инерция страха. Надо убедить, что мы, интеллектуалы, не собираемся никого вешать за ноги и, напротив, готовы даже согласиться на однопартийную систему. План Турчина выглядит предвосхищением курса Горбачева, и вполне возможно, что некоторые референты ЦК и т. п. работники не очень высокого ранга ей сочувствовали. Он глухо упоминал, что вел какие-то переговоры (не рассказывая, когда и с кем, чтобы не подвести людей). Думаю, что с интеллектуалами-референтами он действительно находил общий язык, но вряд ли этот язык понимал Суслов.

Турчин 60-х и начала 70-х годов был одним из редких в России умеренных, но настойчивых и твердых либералов. Многие его успехи в пропаганде были основаны на обаянии таланта, открытой, общительной натуры и остроумия (он участвовал в книгах «Физики шутят», во всякого рода вечерах, сочинял пьесы для кукольного театра и т. п.). Никакого полемического захлеба, никакого кипения ненависти. Он был недоволен моим «Эвклидовским разумом» и сказал мне, что считает эту работу реакционной и антинаучной, но сказал таким мягким тоном, что я просто принял это к сведению. В чем-то мы духовно несовместимы, но продолжаем дружить. Казалось, Турчина невозможно вывести из себя, даже на официальные мерзости он откликался сдержанно, не теряя власти над собой. Но порядочный человек не может иногда не взорваться...

Наша несравненная пресса вылила очередной ушат грязи на Сахарова. Турчин как раз в это время сближался с Сахаровым и почувствовал, что не мо-

* Сейчас обе тенденции осуществляются одновременно, и опять не ясно, что возьмет верх. После вечера памяти Вас. Гроссмана один из слушателей, одеваясь, бросил фразу: духовный пир во время чумы. В тот же вечер, 14 ноября 1969 г., шел пленум Союза писателей РСФСР.

жет не ответить. Его тут же выставили с работы (плевать, что ученый с мировым именем). Обстоятельства стали сдвигать ко все более радикальным шагам. Вскоре Валя стал своим человеком в доме Алика Гинзбурга, руководившего фондом помощи заключенным, и председателем русской секции Международной амнистии. В день рождения за ним заехали, отвезли в Лефортово, постояли, ничего не говоря, перед воротами тюрьмы, а потом — всего-навсего привезли к районному прокурору и «предупредили». Творческое повторение истории с Галилеем, которому показали орудия пытки. Организм теоретика не подготовлен к таким встряскам. Открылась язва желудка, и Турчин решил уехать. Перед отъездом он говорил мне, что жалеет о своей горячности: жаль навсегда покидать Россию. Но прошли годы, и он прижился в Америке. Недавно приезжал погостить; возвращаться не думает.

Из этого примера видно, что у Андропова была богатая полицейская фантазия. Он все время придумывал новые страхи. Если вы втягиваетесь в бой, то перестаете бояться пуль и снарядов. Тогда придумывают танки или еще что-то — и надо бороться с новым страхом. По моему опыту, универсального бесстрашия не существует. Мужество военное, гражданское, метафизическое — совершенно разные вещи. И мало кто умеет обобщить опыт бесстрашия и переключать его с одной клеммы на другую. Герои Советского Союза оказывались мокрыми курицами в литературной борьбе. И почти каждого человека можно напугать (Оруэлл показывает это в романе «1984»).

Я помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня убийство Кости Богатырева, переводчика Рильке, вызвавшего чем-то недовольство товарища волка — кажется, своими контактами с иностранцами. Входить в подъезд и думать, что сейчас тебя бутылкой по голове... Брр! * То же самое — психушки. Поэт и проповедник Сандр Рига (Александр Сергеевич Ротберг) очень ярко описал (журнал «Чаша», 1989, № 4), какой ужас в нем вызвала угроза психиатрической расправы (а потом осуществление этой угрозы). К сожалению, журнал этот издается только в ста экземплярах; хотелось бы увидеть рассказ Ротберга в массовой газете. Тем более что преступники-врачи все на своих местах и могут мучить других.

Наш народ — алкоголик страха. После тех цистерн, которые мы вылакали при Сталине, достаточно загнать в психушку одного — и у миллиона душа уходит в пятки. Такую же роль играют слухи о погромах. После каждого бесчинства «Памяти» десятки тысяч интеллигентов срываются с места и бросаются в ОВИР. А не к избирательным участкам.

Один из моих старых друзей, посаженный при Ежове и на показуху выпущенный Берией, сохранил на всю жизнь привычку сидеть лицом к двери, как заставляли в камере. Такие психические травмы, иногда незаметные, остались у многих... Мой друг не участвовал в демократическом движении, потому что не был уверен в себе. Я уважал его трезвую оценку своих сил. Вполне понимаю, какой страх охватил бывших узников сталинских лагерей — Якира, Красина, Дудко,— когда их снова пригласили на Лубянку. Нечто вроде удара по старой ране. Даже бесстрашный Ал. Гинзбург в начале 60-х пережил минуту колебания, и его статейка (дописанная редакцией) попала в «Вечерку». Он был очень молод, учился на опыте — и выучился: с этих пор колебаний не было. От зрелого человека, от пастыря душ можно ждать трезвого сознания своих слабостей. Или не пей вина, или умей платить за перебитую посуду. К несчастью, сбивает человека тщеславие, желание сыграть роль. Я не могу осуждать слабость (например, женщины, выдавшей архив Солженицына и покончившей с собой). Но претит тщеславное нежелание сознаться в своей слабости и склонность подписывать необеспеченные векселя. Тщеславия в диссидентстве было гораздо меньше, чем в перестройке, но все-таки оно было.

Петра Якира очень долго не хотели арестовывать. По чьему-то приказу его специально велели задержать на несколько часов, чтобы не попал на Лобное место, под неизбежный процесс и ссылку. Тех, кто способен был стать подлинными вождями движения, сразу изъяли, а Якира оставили и Красина оставили — пусть красуются на авансцене, пусть побольше натворят и созреют для покаяния, когда прижмут к стенке.

Якира вытолкнула в первый ряд фамилия отца. Сперва это ничем не грозило: собирал престижные подписи против реабилитации Сталина, потом — против нарушений законности в серии процессов, начатых делом Синявского и Даниэля. Потом стало ясно, что зубы у щуки не выпали, и с помощью проверенных рычагов авангард движения был отсечен от своей армии. Сочувствующие не перестали сочувствовать, но монополия государства на все рабочие места поставила их перед выбором: или гражданское молчание, или идти работать дворником. Анатолий Якобсон вынужден был сперва оставить школу — его ученики были в отчаянии,— а потом, втянувшись в издание «Хроники», оказался перед выбором: лагерь или отъезд. У него не было никаких склонностей к эмиграции, он предпочитал лагерь. Но сын поставил ультиматум: если отец не воспользуется случаем, то он сам, достигнув совершенных лет, будет добиваться отъезда.

* А. Д. Сахаров обработал данные статистики несчастных случаев с диссидентами и выяснил, что вероятность случайной гибели диссидента на порядок выше, чем для недиссидента.

Мальчику в своем роде повезло: ему трижды пришлось встречаться с людьми (взрослыми, ответственными за свои поступки), которые говорили ему, что готовы задушить его и всех евреев собственными руками. Для Анатолия это была очередная гримаса жизни, полной гримас, но для Сани — тем детским впечатлением, которое все определяет. Под двойным нажимом Анатолий уехал. В Израиле к нему были очень внимательны, напечатали работу о революционном романтизме (опыт идеологии диссидента, основанной на учении Толстого,— недавно перепечатано в «Новом мире»), но он так и не пустил новых корней и во время одного из приступов депрессии покончил с собой.

Незримый круг очертил людей, перешагнувших через страх, и отделил от всех остальных. Внутри круга осталась добровольная штрафная рота, готовая лечь животами на колючую проволоку. Издание «Хроники прав человека» пришлось законспирировать, иначе просто ничего бы не вышло, но попытка избежать подполья продолжалась. Основные начинания диссидентов — инициативная группа по созданию общества прав человека, «Группа Хельсинки» — были открытыми. Участники групп превращали себя в живые мишени. Огонь по мишеням велся довольно сковано, мешала гласность, созданная иностранными корреспондентами, но все равно быть живой мишенью нелегко. Якир и Красин постоянно подогревали себя фронтовыми «ста граммами», сознанием славы, которую видели в глазах поклонниц, международной известностью. В камере, в одиночестве, все это исчезло. Выдерживали люди, и не думавшие о том, как они выглядят, и не нуждавшиеся в славе. Тщеславие сдавалось.

Одно, впрочем, можно сказать в пользу Якира: он не пытался оправдываться и не публиковал писем и статей друзей, возвеличивавших отступничество. Когда старый знакомый попросил объяснить его поведение, бывший вождь коротко сказал: «Я — сука». Когда-нибудь, после мук искупления, ангел протянет ему эти грубые слова, как луковку — злой барыне, и выведет из преисподней.

Удары КГБ выводили из строя одного за другим, а взамен в «Группу Хельсинки» вступали мнимые диссиденты, отказники, добивавшиеся разрешения уехать. Не помню, у кого я познакомился с Юрой Мнюхом,— у Турчина или Гинзбурга (какое-то время они жили рядом на ул. Волгина). Мнюх оказался моим соседом, домой шли вместе, разговорились. Пару раз я к нему заходил. Один раз застал заседание «Группы Хельсинки». В центре Юра добросовестно, но без энтузиазма пытавшийся вникнуть в текст, который они редактировали. Справа Мальва Ланда, горячо отстаивавшая каждое слово. КГБ не без остроумия обвинил ее в поджоге собственной квартиры. Метафизически в этом что-то было. Из четырех стихий Мальве досталось больше всего огня, немного воздуха и совсем мало воды и земли. Она горела правами человека так же, как революционеры — своими программами. Зато Анатолий Щаранский, сидевший слева, даже не пытался сделать вид, что дискуссия его занимает. Несколько раз диссиденты его просили быть переводчиком (он хорошо говорил по-английски), а потом он решил, как и Юра, подразнить начальство — пусть вышлют. Юру выпустили за бугор, а Щаранского посадили и хотели добиться покаяния. Казалось бы, какое дело сионисту, что о нем будут думать и говорить в России: лишь бы выпустили. Но неожиданно расчет провалился. Чувство собственного достоинства оказалось сильнее страха (ему грозили расстрелом). Разозлившись, гебешники влепили ему огромный срок за шпионаж. Шпионажем был список евреев-отказников с указанием их бывшего места работы. По этому процессу мой приятель Виталий Рубин заочно проходил в качестве резидента какой-то разведки. Виталий (уже успевший уехать и не успевший разбиться насмерть в Негеве) писал нашим общим друзьям: «Сижу и думаю, где бы я сейчас сидел...»

Антисталинская речь принесла мне еще одну дружбу, с семьей Мюгге-Великановой. Началось это довольно смешно, с неожиданного звонка в дверь. Меня не было, открыла Зина. «Здравствуйте,— сказал человек.— Я ваш поклонник».— ??? — «То есть вашего мужа»,— поправился Сергей. Он и его жена Ася (Ксения Михайловна) Великанова жили в соседнем корпусе. Вообще почти все диссидентство размещалось между Ленинским проспектом и улицей Волгина. «Узок был их круг». Супруги были под стать друг другу по смелости и даже некоторой авантюрности характеров. Несколько лет спустя с их фамилии начиналось знаменитое дело о самиздате, по которому было привлечено несколько десятков человек. Мои сочинения 60-х годов сразу попали на эту фабрику; кажется, через те же руки они уходили и за границу (я сам тогда ничего не посылал и оставлял публикацию стихии).

Сергей напечатал за границей книгу, в которой обрисовал себя лучше, чем я могу это сделать. Мне остается рассказать об Асе, неожиданно привязавшейся к Зине, к ее стихам, к ее елке. Ася напоминала музыку, в которой пиано чередуется с форте. После бурной активности ее тянуло к тишине, и постепенно она стала своим человеком в нашем доме. Когда началось «Дело Мюгге, Великановой и других», супругам дали возможность уехать. Сергей этим воспользовался. Поменять лагерь на высылку — не поруха чести. В лагере он уже посидел — в сталинские годы, за смелый язык. И Ася собралась ехать с ним. В трудовой книжке ее сохранилась запись: уволилась в связи с отъездом в Израиль. Вдруг, в последнюю минуту она почув-

ствовала, что скорее расстанется с Сергеем, чем с Россией, с друзьями, с любимой сестрой Таней. Вопреки ожиданиям ее не посадили. А вскорее она тяжело заболела. Больных раком в случае достоверного диагноза не арестовывали. Иногда оказывали давление на врачей, чтобы похуже лечили (как это было с Кистяковским, переводчиком Толкиена), но давали умереть дома. Ася, к огорчению властей, не умирала. Сергей обжился в Канаде и посылал деньги на сына, а заодно, вместе с алиментами, в фонд помощи заключенным. Одно из его писем было использовано в журнале «Крокодил» как документ, адресованный Тане Великановой (вот какими деньгами ее купили). Знакомым бросалось в глаза, что речь в письме идет о Коле, сыне Аси и Сергея, а вовсе не Тани и Кости; но публика съела эту информацию, не поморщившись.

Ася была диссиденткой во всем. Даже лечилась она и лечила других, пренебрегая официальной медициной. Добившись успеха в экспериментах на себе, она тут же начинала лечить нас и всех остальных, кто этого хотел. С остальными иногда тоже получалось. Ася до последних дней, уже с трудом двигаясь, кому-то помогала, сердце ее никогда не оставалось праздным. Огромную роль в Асином самолечении играл характер, какая-то неистощимая любовь к жизни и душевная щедрость. Она продержалась лет десять, несколько раз добиваясь явных ремиссий. Больной ездила в леса за какими-то травами или за бересклетом, заблудилась, угодила в речку, вымокла, высохла, умудрилась не схватить воспаление легких... Таких приключений у нее были десятки. С метастазами в позвоночнике ездила на свидание в лагерь и в ссылку к Тане, возила к ней внуков — но не только это: с теми же метастазами, делавшими позвонки очень хрупкими, каталась на велосипеде. Кое-какие поручения по фонду помощи она выполняла без всякого страха. Но об одном деле рассказывала мне два раза с откровенным неудовольствием. Ей завезли — без всякого предупреждения — 400 экземпляров «ГУЛАГа». К счастью, обошлось, и все четыреста книг благополучно были растащены в кошелках, накрытые картошкой и всякой дребеденью. Ася не скрывала, что масштабы операции ее несколько напугали.

Я обязан Асе знакомством со своего рода музыкальным самиздатом — с творчеством Петра Петровича Старчика. Первую свою песню (на слова китайского поэта-изгнанника) он сочинил в казанской психушке, а попал туда потому, что после августа 68-го сочинил листовку и разбрасывал ее с эскалаторов метро. Меня особенно поразил цикл, который я окрестил «Плач по России», собрание песен на тюремные стихи Ал. Солодовникова, «Погорельщину» Клюева, «Памяти матери» Твардовского и т. п. Благодаря Старчику я основательно познакомился с Клюевым (раньше я его не знал) и нахожу, что стих Клюева крепче есенинского. А стихи Солодовникова вошли в мою работу «Поэзия несуществующего направления» (сейчас я назвал бы ее иначе: поэзия духовного опыта).

В конце 70-х Старчика опять посадили в психушку — по совершенно дикому поводу (несанкционированный домашний вечер памяти Марины Цветаевой). Впрочем, Петю скоро выпустили, взяв слово, что у себя дома он не будет устраивать публичные концерты. Нелепая казнь, а потом такая же нелепая милость сильно прибавили ему популярности, и десятки людей приглашали его теперь к себе в гости. Потом (еще в период застоя) разрешены были и выступления с эстрады. Любопытный пример того, какими условными и неустойчивыми критериями руководствовалась тогдашняя юридическая практика.

В доме Мюгге-Великановой я познакомился и с Петром Григорьевичем Григоренко. Он задумал основать общество по защите прав человека и собрал неформальный «круглый стол», чтобы лучше обсудить эту проблему. Меня пригласили в качестве философа. Все это очень непохоже на обычные диссидентские решения, принимавшиеся в узком кругу, и замечательно характерно для Григоренко. Он мог совершать самые дерзкие операции, но обсуждал все детали спокойно и трезво, в лучших традициях русского генералитета.

Идея лиги (или общества) защиты прав человека приходила мне в голову еще в лагере, в 1952 году. Но и в 1972-м час для этого общества еще не настал. Я сказал, что вокруг инициаторов будет создан барьер страха и сколько было смельчаков, столько примерно и останется. Либо, если у начальства хватит остроумия, в общество сразу же запишется тысяча сексотов, они изберут свое правление, Григоренко исключат и примут резолюцию протеста против нарушения прав человека израильской военщиной. Второй способ остался на будущее, но первый действительно был применен.

Вскоре Петра Григорьевича засадили во вторую психушку. Вернувшись, он почти сразу позвал меня в гости.

Пригласил меня Петр Григорьевич из-за статьи «По поводу диалога», дважды зарубленной в двух редакциях 60-х годов. Подводя итог эпохе, я собрал всю свою ненапечатанную публицистику и, ничего не меняя, включил в книгу — вместе с эссе, которыми дорожил,— как документ для историков. Статья была попыткой убедить атеистов на их собственном языке, что не надо закрывать церкви. Для пущей убедительности я пошел на некоторые уступки, за которые мне досталось в «Образованщине». И вдруг этот устаревший текст, первоначально рассчитанный на комитет по делам религии, нашел своего настоящего читателя, ради которого хотелось написать все заново и получше. Петра Григорьевича

захватила мысль, что праздник — не просто отдых. Он стал приводить свои собственные, взятые из жизни примеры, что разрушение структуры праздника (в центре которого было богослужение) приводит к нравственному упадку народа. И полился поток воспоминаний. Какой особый вкус был у яблока, которое впервые можно было сорвать на Спаса. И о сельском священнике, бывшем миссионере, видимо, очень незаурядном человеке. И как после богослужения начинался второй, веселый праздник. Девушки собирались в круг и допоздна пели песни. На одном краю села хор и на другом, перекликаясь друг с другом. А сейчас — он побывал в родном селе — нет песен. Все сидят у своих телевизоров и смотрят «голубой огонек». «Скучно живем»,— сказал ему односельчанин, с которым Григоренко мальчиком когда-то играл.

Я еще лучше понял в этом разговоре, что церковь была неповторимым центром деревенской культуры — храмом, и опорой, и картинной галереей. «А потом взрывали церкви?»—переспросил я Петра Григорьевича (он был сапером и по приказу командующего Белорусским военным округом взорвал три храма). «Да, взрывал»,— грустно подтвердил Григоренко. Его новой верой стала революция. Церковь была против революции. Церковь смешалась в его сознании с дроздовцами, расстрелявшими учителя истории, полного георгиевского кавалера, избранного председателем городского Совета. Этот мужественный человек, случайно уцелевший после общего расстрела (видимо, пуля, скользнув по черепу, только оглушила), надел форму со всеми крестами и пошел жаловаться к полковнику Дроздовскому на действия его подчиненных. Тут георгиевского кавалера и добили.

Петр Григорьевич был замечательный рассказчик. Теперь отрывки из его книги публикуются, и читатель сам сможет об этом судить. В устных рассказах Петр Григорьевич набрасывал только черты забытого времени, о себе самом стеснялся говорить. И только в книге я увидел рыжего мальчика, брившего потом волосы наголо, чтобы не дразнили, но сохранившего на всю жизнь солидарность с рыжими, с теми, кого дразнят, кого бьют. Впрочем, может быть, он родился рыцарем? Так, как рождаются поэтом?

Этот деятель очень напряженно мыслил. Он не был эрудитом в философии и богословии. Но в нем шел тот поворот к вере, который захватил все 70-е годы, и кое-какие философские ходы он угадывал с полуслова.

Остается рассказать о журнале «Поиски», о Раисе Борисовне Лерт, и на этом я закончу тему коммунистической фракции диссидентства, как шутя называли Костерина и Григоренко.

Силы Раисы Борисовны были невелики, и она с П. М. Егидисом, примерно моих лет, сразу объединились с молодыми христианами. Общим знаменателем были признание кризиса, открытость, поиски новых идей. Бывшие коммунисты, двигавшиеся назад, к социал-демократии (из которой большевизм когда-то вырвался), не очень легко находили общий язык с демократами христианскими. Лев Николаевич Гумилев назвал бы редакцию «Поисков» химерическим комплексом. Но трудное сосуществование иногда бывает плодотворным (самый крупный пример — сотрудничество иудеев и эллинов в раннем христианстве). «Поиски» — пример маленький, но тоже хороший. Между Раисой Борисовной и Валерой Абрамкиным шли споры, но они любили друг друга, и Раиса Борисовна была в отчаянии, что посадили (при разгроме журнала) его, а ее оставили умирать дома. Она буквально просилась в тюрьму — без успеха. Властям это было политически невыгодно.

Раиса Борисовна так и осталась атеисткой. То есть какого-то уровня глубины она не чувствовала и придумывать не хотела. Но поэзию она понимала превосходно, и ее сферой духа были стихи. Чувство ритма сказывалось и в ее публицистике. Некоторые ее статьи я читал с восхищением. Нравился и весь облик этой маленькой старушки, весившей всего 36 кг, но неукротимой в поисках нового понимания социальных проблем.

В 1919 году Раисе Борисовне было 12 лет. Когда Киев взял Врангель, город отдали войскам пограбить. Офицеры грабили вежливо («Заверните мне серебро»). А район, где жила Лерт, достался казакам. Миниатюрная девочка, казавшаяся моложе своих лет, их не заинтересовала, старшая сестра успела убежать, зато в соседнем доме они потешились: привязали родителей к креслам и на их глазах насиловали девочек-гимназисток. Почти как в Сумгаите. Только не резали бритвами, не гоняли голых по улице и не жгли на площади (этого бы Врангель не позволил). Можно понять, почему Рая стала пламенной комсомолкой. Примерно так же, как мой тесть, А. А. Миркин, оказавшийся свидетелем, как победоносная турецкая армия и местные азербайджанцы резали армян в Баку в октябре 1918 года. Возмущение злом, творимым одной партией, во имя одного принципа толкает людей в объятия другого принципа, другой партии (обещающей покончить со злом № 1 с помощью зла № 2, № 3 и т. д. до бесконечности). Я готов понять и тех, и других, но я не с теми и не с другими. Я убежден, что стиль полемики, стиль конфликта важнее предмета конфликта. И важно не то, кто получит больше выгод, Литва или Россия, Азербайджан или Россия, а чтобы люди в споре не потеряли человеческое лицо. С этой точки зрения плюрализм «Поисков» казался мне плодотворнее, чем убежденность «Вестника РХД» в своей единственной истине. Хотя истинность этой истины я не оспариваю...

Коммунистическая фракция демокра-

тического движения отошла в прошлое. Она была своего рода персональной унией между революцией и ее отрицанием. Если б таких людей, как Григоренко, Костерин, Лерт, было больше, если бы Сталин не перебил Рютиных, Слепковых и пр. и пр., эти люди, оставшиеся людьми, в конце концов отошли бы от утопии, в которую влезли, с бесконечно меньшими жертвами, чем это реально получилось после сталинского террора...

Лев Толстой в «Воскресении» сталкивает Катюшу Маслову с двумя разновидностями революционеров: по сердцу и по теории. Я застал последних могикан социализма сердца; они добросовестно изучали теорию и принимали ее, но глядели как-то поверх (или подниз) теоретической схемы. На уровне сердца между Раисой Борисовной и Валерой не было противоречий, и после всех споров они находили какое-то общее решение. Я думаю, что вообще не надо смешивать социализма как порыва к справедливости с теорией Маркса. Теория производительных сил, классовой борьбы и т. п. заняла свое место в истории науки XIX века, а порыв к справедливости никуда не делся, и не может деться, и будет принимать все новые формы.

Психологически диссиденты были прямыми потомками революционера, за которого Катюша Маслова вышла замуж. Но они родились в другое время — не в канун революции, а после ее горького похмелья. И их вдохновила другая идея — борьбы со злом без создания нового зла, без насилия. Не знаю, удалось ли это когда-либо полностью. Сатьяграха * в Индии заставила уйти англичан — и ничего не смогла сделать против взрыва погромных страстей в собственном народе. Сатьяграха победила в Чехословакии, а в Румынии или в Китае была подавлена, и спор решило оружие. Какую роль играли диссиденты в нашей истории, не знаю. История еще только творится, трудно сказать, во что воплотится диссидентский дух. Физически диссидентство было прижато к стене, раздавлено, распято. Но дух?

> Тело Джона Брауна лежит в земле,
> Дух Джона Брауна шагает по земле...

Если бы мне поручили выразить философию движения (к которому я примыкал как попутчик), то я сказал бы примерно так: личность выше класса, выше партии, выше государства, выше народа, выше догматов веры. Над личностью только Бог; но и Бог — личность. Одна сильно развитая личность может — как Сахаров — уравновесить глупость и грех целого народного собрания, целого народа...

Правые диссиденты с этим, наверное, не согласны. Но и я с ними не ищу согласия. Я убежден, что спасение России (и всего человечества) не в толпе народа, идущей за пророком, а в каждой личности, в ее внутреннем развитии и в защите ее прав, в координированном росте свободы и ответственности. Начало этому процессу выхода из безличности положили диссиденты.

* В период английского колониального господства тактика ненасильственной борьбы за независимость.

В. КАМЯНОВ

Падая с идейной высоты

> Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом — то уничтожится возможность жизни.
>
> Л. ТОЛСТОЙ

1. *На топкой почве утопий*

При теперешнем обилии художественных текстов, прорвавших цензурные дамбы, текущей литературе приходится течь да оглядываться, соотносить себя с хорошо отлежавшимися «новинками» и разбираться, какую же все-таки реальность она по горячим следам отражает.

Обе задачи — соотнести и разобраться — тесно переплетены уже по той причине, что нынешний день дальновидно напророчен авторами «крамольных» книг — от «Мы» Е. Замятина до романа Б. Пастернака, тогда как поднадзорной литературе светлые дали всякий раз чудились за ближайшим поворотом.

Разлакомившись на аппетитную морковку будущего, эта литература приучалась несколько высокомерно оценивать прошлое — как многовековое недоразумение, а к людям минувших эпох благоволила тем больше, чем сильнее их шеи вытянуты в направлении все той же морковки.

Сознанию поднадзорной литературы привит целый комплекс навыков, вооружившись которыми она зачерпывала пустоту в гордой убежденности, будто ее черпак до краев полон.

Что это за навыки?.. Поскольку литературная мысль брала уроки идеологической ортодоксии совместно с мыслью общественной, обратимся для начала к интересной беседе современных обществоведов (интеллектуальный клуб «Гуманус»), опубликованной не так давно под рубрикой «Политическая трибуна» на страницах «Литературной газеты» («Мифы нашей революции», №№ 10—13, 1990).

Беседа получилась живой и раскованной. Идеологических «святынь» участники касаются с веселой непринужденностью, нисколько не обмирая, не каменея лицами и в самых дерзких местах своей полемики с таким авторитетом, как Маркс (о, благодетельные веяния гласности!).

Затронуто среди прочего капитальное положение о мессианской роли пролетариата — сокрушителя гидры капитализма. Оно трактуется собеседниками как мифологема теоретического сознания. Отчего именно классу промышленных рабочих предстоит круто переломить ход Истории? А как же. Ведь, по Марксу, человечеству придется менять ту форму собственности, при которой неизбежно отчуждение работника от результатов его труда. А значит? Значит, «должен быть реальный субъект собственности, каковой и снимет отчуждение» (В. Криворотов).

Выходит, место такого субъекта в марксовом построении зарезервировано наперед? «Да, Марксу очень хотелось преодолеть отчуждение, — рассуждает С. Чернышев,— ...Он взглянул окрест и увидел замечательный класс, который ему страшно понравился, увидел, что пролетариату терять нечего...»

Итак, собеседники достигли согласия: наш непоколебимый идеологический постулат о классе-гегемоне вырос из очень почтенной, но все же головной, «расчетной» надобности — устранить пробел в теоретическом пассаже, где место нового «субъекта собственности» не должно пустовать.

Вне зависимости от того, насколько участники беседы правы, как тут не отметить раскованность их сознания, не связанного строжайшими (еще вчера) табу на критику Непогрешимого учения!..

Из дальнейшего, однако, выясняется, что собеседники из клуба «Гуманус» вовсе не очернители Учения. По словам одного из них (возражений не вызвавшим), «Маркс гениально предугадал мировое развитие. Предугадал за счет мощной, потенциально исключительно гибкой теории». Бросается в глаза словечко «потенциально», подобное страховочному тросу, способному выручить в том случае, если кто-то напомнит про «замечательный класс», которому доверена распорядительная роль в Истории: хороша, мол, «гибкая» теория, где одна из главных опор — заманчивый, но зыбкий миф!

С «замечательным классом» все очень складно выходило на бумаге. Практике эта складность и в малой степени не привилась. Спрашивается, миф, встроенный в теорию, он, что, инороден ей, расположился в своем углу, на упомянутую «гибкость» не влияя, или мифологизм у этой теории «в крови»? Участники беседы на такой вопрос не отвечают, платя дань приходно-расходной «диалектике»: дескать, с классом-гегемоном получилась отчасти сказочка (это минус), зато сколь многое в мировом развитии предугадано (это плюс)! А ведь сказочка изнутри подтачивает все Учение, сдвигая его от реальности к миражам. И уж если зашла речь на щекотливую тему о мифах нашей революции, то, кажется, настал срок заняться миражностью революционного сознания...

Нет, пока трудно. Позабавиться над набором затверженных «мифов» — это пожалуйста. Признать недостоверность, миражность самих мыслительных методов — это уж слишком! А где взять другие, если целые поколения обучались м е т о д а м на государственном тренажере и достигли в таком занятии больших успехов?..

Все в той же беседе раскованных аналитиков из клуба «Гуманус» над россыпью частных суждений господствует один капитальный тезис: да, Маркс был гений и вместе с тем продукт своей эпохи. В. Криворотов с некоторым даже нажимом объявляет автора «Капитала» «всего лишь человеком своего времени, со всеми (так уж и с о в с е м и? — В. К.) присущими этому времени иллюзиями».

Тут же по горячим следам высказывания спросим: совместимы ли в одном ряду такие характеристики, как «гений» и «всего лишь (!) человек своего времени»? А впрочем, вопрос этот — вскользь, потому что важней другое — согласие собеседников с доктриной о человеке как продукте общественного уклада и воспитания. Не принадлежит ли она к числу «мифов нашей революции»?

Хорошо. Пусть Маркс с его иллюзиями находился у времени в плену. А если взглянуть на череду утопистов, окликавших Маркса через государственные барьеры с отдаленных и ближних исторических рубежей,— не слишком ли много получится эпох-близнецов?

В самом деле, за историю цивилизации накопилось большое число сочинений об обитателях блаженных островных государств, городов Солнца или Луны, Новых Атлантид, коммунальных дворцов из хрусталя и алюминия. Причем сквозь видимое разнообразие утопических проектов легко различимы наработанные стереотипы сознания, затеи головной комбинаторики, поощренной сердечным жаром и надеждой на лучшее.

И что ни утопия, то невольный автопортрет утописта, так сильно похожего на остальных собратьев по жанру, будто они и впрямь из одной семьи, только разбросанной по разным эпохам и странам. Черты фамильного сходства между ними способны поколебать доктрину о гении, творившем исключительно гибкую теорию под диктовку с в о е й эпохи.

Но полемисты из интеллектуального клуба, готовые весело, как на санках с горки, скатиться с высот идейности, расстаться с отдельными «мифами» революции, пока далеки от расставания с мифологизмами, не лежащими на поверхности Учения, и усматривают качество «гибкости» в жестко состыкованных построениях ума, который зовет реальность следовать за собой. Что ж, теоретическому сознанию так долго отводилось у нас место колонновожатого, распорядителя всего строя жизни, что любая общественная дисциплина подлаживалась под его шаг.

И литература тоже подлаживалась. В ранг первейшей жизненной ценности ею была возведена с о з н а т е л ь н о с т ь. Самим сюжетным построением огромного числа идейно непорочных книг героям было определено двигаться из потемок к свету, от недопонимания (целей борьбы красных, потом коллективизации, потом широкого внедрения кукурузы или выселения жителей из затопляемых районов...) к полному порядку в голове. Одним словом, к сознательности (что при переводе с новояза читается как «начальству виднее»).

Между тем вышколенному сознанию никогда не было большого почета от искусства. Музы подозрительны к затеям «чистого» интеллекта: слишком уж тот изворотлив, не по-хорошему «гибок», нуждается в этической узде и догляде. Можно сказать и так: по внутреннему убеждению Художника, комбинирующий ум безроден, а родовита совесть. Недаром издавна повелось, что записного умника на сюжетном пути подстерегают моральные западни и встряски, когда сметливостью дела не поправишь и рушится соблазнительная (для разумника) параллель: «Поле жизни — шахматная доска». Такое случается с персонажами бонапартистского склада (хрестоматийный пример — шоковое состояние толстовского Наполеона при Бородине), когда безошибочный, казалось бы, расчет приводит к проигрышу.

Конечно, многие повествователи отдают дань внешнему «интеллектуализму», позволяя персонажам всласть порассуждать и поспорить «об умном». Однако искусству нет нужды умничать, и чем больше произведение отягощено трактатностью (беседами-диспутами, рассудочными построениями), тем меньше в нем искусства. Как купальщику невозможно нырнуть вместе с надувным плотиком, так излишне «сознательная» художественная мысль не способна к погружению, не захватывает скрытых течений жизни.

Недаром поэту или художнику всегда претят подчеркнутая симметричность, «теоремная» стройность выкладок, зато близок враг строгой методичности — летучий парадокс с его неведомой методикой. Своему методу искусство учится у внерассудочной Природы и не согласно ни прославлять с о з н а т е л ь н о с т ь как искомую, тем паче верховную добродетель, ни себя мерить ею.

По замечанию Поля Валери, «когда мы говорим, что какое-то произведение глубоко человечно, мы лишь наивно выражаем мысль, что разум преуспел в своей попытке отречься от себя — или себя затаить».

«Себя затаить» — один вариант; другой — парадом развернуть наличные силы. При свободном их развороте выношенная доктрина (марксистская в том числе), когда она дерзает об-разумить мир, тут же ссорится и с Природой, чей вольный нрав заметно тяготит разумников, и с искусством, которое не столько прислушивается, сколько присматривается к теоретику, движимое любознательностью: что за новый схемотворец явился? Мыслителю обидно.

2. Счет времени, неугодный временщикам

Нас учат: теоретик, будь он хоть сверхгений,— «сын своего времени». А художник? Тоже, надо полагать, «сын». Если покладистый, то отчего бы ему не проникнуться жаром учения, овладевшего (к примеру, марксизм) массами? Проникнувшись, он сможет пополнить копилку ценностей «соцреализма». А если строптивый? Тот и на духоподъемные утопии совсем не падок, и счет времени ведет не по госкалендарю, и человека не числит серийным «продуктом» эпохи.

30 сентября 1906 года Толстой записал в своем дневнике: «Каждое существо, как и я сам, есть только частица какого-то одного, временем расчисленного существа — существа бесконечного. Каждый человек, каждое существо есть только одна точка среди бесконечного времени и бесконечного пространства».

Когда человек осмыслен как наследник опыта поколений, собиратель времен и пространств, ему заведомо не подойдут ни титул «продукта» эпохи, ни колпак государственной идеологии. Собственно, «продуктом» он видится как раз из-под колпака.

Спросят: а разве среди персонажей того же Толстого мало пленников обычая, духовно вялых, податливых усредняющим воздействиям среды? Много. Значит, мерой Бесконечности писатель мерит Болконских, Безуховых, Левиных, а заурядности доверяет задачу попроще — полномочно представлять «среду»? Не значит. И не типажностью своей раньше всего интересна у Толстого заурядность или посредственность (если на нее падает направленный свет). Кто лучше подойдет тут для примера? Пусть Николай Ростов, которого автор без обиняков назвал «посредственностью».

В галерее литературных типов он кто? Молодой русский офицер эпохи наполеоновских войн. Это при рассеянном взгляде издали, минующем оттенки. При взгляде попристальней, да еще под углом общественной психологии,— тип рядового консерватора, притом «на все времена», поскольку ростовская аллергия к вольномыслию, дерзкой «крамоле» выведена из капитальных начал человеческой психики.

Иначе говоря, Николай Ростов неплохо объясняет консерватора-середняка любой эпохи, в том числе перестроечной.

Как известно, внутренняя биография толстовского персонажа включает моменты переломов и переворотов. Биография Николая тоже. Причем самый резкий ее излом пришелся не на пору зрелости, а на юность этого героя, не на грозный 1812-й (как у князя Андрея и Пьера), который не вмещался в ростовский кругозор, а на узкую полоску мира после Австрийской кампании, когда Николай совсем было поддался искусу вольномыслия. Уже давили ему на душу проклятые вопросы о недавнем кровопролитии, жертвах, увечьях (зачем все это?) и нынешних этикетных любезностях между Александром и Бонапартом: как то и другое совместить? Но с языка вместо вопросов сорвались горячие восклицания о долге солдата, монаршьей воле, которую надо исполнять без рассуждений, а то «ничего святого не останется».

На самого же себя накричал молодой Ростов, перепугавшийся собственных сомнений.

При нашей идеологической выучке тут все яснее ясного: царский офицер не смог подняться над своей классовой и мировоззренческой ограниченностью. Однако Толстого от нажимов государственной идеологии, от уроков политграмоты Господь уберег. И у него к пред-

рассудкам Николая ничто существенное не сводится. Эти предрассудки сами выведены из более веских оснований, чем диктат среды и сословные традиции. Из каких же? Надо принять в расчет, что, подобно прочим персонажам, Николай — то самое «каждое существо», которое есть «частица существа бесконечного», как сформулирует Толстой позднее.

Резервам жизненных сил, которые исподволь правят волей молодого графа Ростова, выпадают свои верховные часы — часы праздничного раскрепощения и отрады. Это игры в Отрадном (семантику названия стороной не обойдешь), охота на волка, волнующие объяснения с Соней, азарт конной атаки под Островной (очень скромный эпизод войны, где для скромного Ростова как бы продлился сюжет отрадненской охоты).

А духовные дерзновения, попытки бросить вызов миропорядку? Нет, часы высоких дерзновений — удел людей иного склада. Тех же Пьера и Болконского. Но и силам Николая, пока не познавшим своего предела, нужен генеральный смотр. Итог первой (она же единственная) пробы духовно самоопределиться неутешителен: путь одиноких исканий не-по-силен, не отраду сулит, а натугу, надрыв, неуют. Сразу же следует откат от опасной черты под защиту обычая и предрассудка. Впредь Ростову уже не обойтись без сторонней опеки, подсказок среды, чья ходячая мудрость позволяет укрыться с головою от вопросов и тревог, какие по плечу Болконскому или Пьеру.

Примерно так освещен у Толстого стихийный консерватизм «посредственности», которая тоже прикосновенна к опыту тысячелетий и к Бесконечности, но, не надеясь на себя, держится затверженных мнений. Оттого и выглядит идеальным «продуктом эпохи».

А для наших крепышей-диаматчиков даже организатор их рабочих навыков Маркс — «всего лишь человек своего времени». Выходит, воспитал учеников, да на свою же голову.

Толстой, как и вся плеяда русских классиков, долгие годы приходил к нам под конвоем ортодоксальных «ведов», согласных одобрить его реализм, с чуть большим скрипом — этический пафос, но только не строй мысли, не методы духовного постижения мира. Тут как раз привычно усматривался соблазн для умов. В чем он скрыт? В идее Бога? Но стоило начаться перестройке, и угрюмая ортодоксия, мигом позабыв свои афоризмы про «опиум для народа», принялась заигрывать с духовенством: пусть уж вместо земных богов люди почитают небесного (заметим вскользь: лидеры европейского фашизма — те вообще успешно тиранили народы, не отменяя религии), лишь бы не выходили из послушания.

«Ереси» большого искусства ее (ортодоксию), пожалуй, припекают сильней: постоянное сближение эпох (с неясным прогнозом для текущей), опасные ассоциации, галерея вечных образов с Гамлетом на видном месте (Сталина, как известно, он особенно раздражал), рядом с которыми не очень уютно персонажам сезонной литературы...

Но едва ли не главная «ересь» классики — счет времени, беспощадный к временщикам, ибо при счете на тысячелетия вся атрибутика, пышный декорум их власти — прах и тлен. А подданного как им укрощать, если ему завещано (тем же Толстым) быть собирателем времен и пространств? Приведи-ка такого к общему знаменателю, опутай сетью повышенных обязательств, когда на уме у него — самовольная отлучка из всех казарм!

Иначе говоря, для любой деспотии с ее идеологической обслугой «простой и гордый» язык искусства изначально крамолен, ибо это язык духовной свободы.

В пору застоя мы заново открыли Достоевского, потрясенные точностью его предвидений; устав от собственного верхоглядства и короткой памяти, открыли «позднего» Пушкина, Лескова, зрелого Чехова. В этом наследии все оказалось «про нас» и на редкость актуально. Но между нами и вновь открытой классикой зиял провал шириною в десятилетия, когда под рукой у политического временщика оказалась сговорчивая литература-сезонница, а несговорчивые авторы подвергались опале, и, значит, рвалась, забрасывалась конъюнктурным хламом нить большой традиции, вне которой немыслима жизнь культуры.

Края широченного провала между классической культурой и современностью вроде бы сдвинулись с возвращением неугодных политсистеме Платонова, Булгакова, Пастернака, многих художников русского зарубежья. Оно и понятно: из обращения были изъяты как раз восприемники большой традиции, несогласные «задрав штаны бежать за комсомолом». Но все же крайне медленно затягивается провал: велики помехи...

«Все творчество Достоевского есть антропологическое откровение, — откровение человеческой глубины, не только душевной, но и духовной глубины. Ему раскрываются те мысли человеческие и те страсти человеческие, которые представляют уже не психологию, а онтологию человеческой природы»,— так в 1918 году писал Н. Бердяев («Духи русской революции»), горячо одобряя автора «Идиота» и «Бесов» как раз за то, чего ему не прощали идеологи революционного насилия,— за упор на «онтологию», при котором личность, малая частичка социума, вдруг разрастается до космических размеров, сбивая волевых перекройщиков мира с «арифметического счета».

И вся классика их сбивала, и ее истолкователь Бердяев вместе с группой

русских мыслителей начала века сбивали. А теперь нам, искрошившим зубы о краеугольные камни Непогрешимого учения, кажется, предстоит овладевать непривычными категориями вроде «антропологическое откровение». Если, конечно, мы не вовсе замуштрованы агитпропом и восприимчивы к сигналам настройки на волну «онтологии».

Возвращаются книги, где искусству не изменяет ясная и здравая память о духовной природе человека. Такая память вовсе не отличительный знак шедевров, а особенность целого пласта культуры, высвобождаемого теперь из-под глыб. Непрославленные ее образцы могут даже лучше рассказать обо всем культурном пласте, чем далеко выступающие из общего ряда.

Среди таких непрославленных образцов — роман эмигранта «первой волны» Михаила Осоргина «Свидетель истории» (вошел в том избранной прозы писателя, изданный «Современником» в 1989), где речь идет о событиях начала века, а конкретнее — о борьбе с царской властью группы эсеров-террористов.

Для читателя русского зарубежья 30-х (роман написан в 1932) эти события успели утратить прежнюю остроту, да и автор не пробует интриговать аудиторию внешней их динамикой. Ритм повествования неспешен, интонационный строй особенно чуток к лирическим созерцаниям молодой героини, когда та в уединениях на берегу Оки следит за движением «небесных барашков» или любуется видом колеблемой ветром ржи, не просто любуется, но хотела бы в моменты созерцаний, если припомнить пушкинскую строчку,— «сердцем возлетать во области заочны».

Звать героиню Наташа Калымова. Она — барышня из небольшого поместья на Рязанщине, и предстоит ей, голубоглазой, пышущей здоровьем провинциалке, скрываться под чужим именем, готовя покушения на царских сановников. Что же толкнуло ее на такой путь? Неотразимость радикальных идей? Менее всего.

Не в пример пламенным революционеркам из сочинений наших дисциплинированных авторов героиня М. Осоргина идеологически беспечна, слабо отзывается на проповедь, пусть и пылкую. Зато она сверхотзывчива на собственную сердечную неутоленность течением будней, тягу к жизни-полету, празднику («Я просто хочу жить полнее»), тайному партнерству со всем привольным Миром, зовы которого приучилась различать у себя на Оке.

Выходит, всему началом незаурядность натуры? Не выходит. Нет тут речи ни об оригиналке, отколовшейся от среды, ни о стихийной пантеистке, ни о приокской Ундине. Рассказ автора — об обыкновенной женщине (и для самой Наташи ее заурядность не секрет) необыкновенной судьбы.

М. Осоргину вообще дорога мысль о простоте и обыкновенности его персонажей. В романе «Сивцев Вражек» (1928) говорится о главной героине его Танюше, что она «просто женщина», «совсем обыкновенная». И ее избранник — человек «как все». Даже философ Астафьев, который умом, волей, независимостью суждений резко выделяется среди Танюшиного окружения, как-то бросил одному «пролетарию», козырявшему исконно-посконной «простотой»: «Я сам простой, может быть, вас попроще». В этом случае «простоту» никак не спутаешь с простоватостью. Не отнесешь к персонажам Осоргина и формулу из новоязовского набора — «Простые люди всей Земли», где при попытке слегка подсиропить рядовым гражданам проскальзывает обидная для них нота: мол, есть, помимо вас, еще и «сложные» либо «исключительные». Кто такие? Может, власть имущие, а среди них сами сочинители новоязовских формул; может, все те, кто поименно известен обществу, писатели, например? Поди-ка разбери.

М. Осоргин в автобиографическом эссе «Времена» пишет о себе: «Я не хватаю добродетелью — я был точно такой, как все недурные люди моего времени, из средних общественных классов». Самоуничижение? Да нет же, признание изначальной простоты каждого, кто не глух к многозвучью Мира и не согласен искажать Натуру ни вне себя, ни в себе, иными словами, кто обыкновенен малостью своей под вечным небом, нежеланием перечить природному закону.

Обыкновенна и Наташа Калымова, которую в стан бомбистов привело «половодье чувств», а не стройное рассуждение или политическое прожектерство.

Возможно ли подобное? Нет ли тут авторского просчета? «Есть!» — убежден А. Л. Афанасьев, автор предисловия к однотомнику М. Осоргина. Ровным тоном лектора-просветителя он сообщает: «Самый зримый недостаток романа — отсутствие анализа обстоятельств, приведших главную героиню Наташу Калымову, Оленя, их товарищей по схватке с царскими сановниками на путь смертельной борьбы».

Устами автора предисловия глаголет опыт, знание готовых беллетристических схем. Сколько революционных биографий изложено в романах и повестях мастеров «соцреализма» — не счесть. И всякий раз с «анализом обстоятельств», внятных политически грамотным людям. А тут? Ни уязвленности героини произволом властей, ни мечтаний о грядущем царстве свободы, когда окупятся все жертвы, ни умудренного наставника рядом или, на худой конец, патетического демагога, совратителя на ложный путь. Что же взамен? Картины лирико-романтических состояний героини, когда та учится сердечному согласию со всем обозримым Миром и старается попасть в ритм собственной мо-

лодости, дав волю ее «бессонной силе». Можно сказать, что Наташиными поступками распоряжается «радость пребывания в жизни».

Последние две цитаты не из Осоргина, а из Платонова, на которого тут уместно сослаться. Дело в том, что платоновский стиль — отличный проявитель одной из тайн искусства, которое, вопреки Козьме Пруткову, умеет объять необъятное.

Где, собствено, «пребывает» человек? Доверившись простейшему здравому смыслу, ответим без запинки: на отмеренном ему пространстве в отведенное время, среди родственников, друзей и недругов, сослуживцев, сограждан. «Все так и есть»,— соглашается обычно искусство, проводя, однако, наш взгляд дальше прямых очевидностей, открывая за ними «области заочны».

А Платонов с того как раз и начинает, что человеку рамки обыденности тесны и душа его жаждет разворота во всю вселенскую ширь. И если у классиков реализма «радость пребывания» человека в жизни как бы засекречена, распоряжается его поступками не впрямую, а через разброс житейски веских, моральных, меркантильных, альтруистических, тщеславных и т. п. побуждений, то у Платонова мотивы-посредники упразднены. Правит людской волей радость (либо печаль) пребывания под вечным небом.

Проза М. Осоргина намного ближе платоновской к привычному классическому канону, то есть «онтология» здесь не прорывает столь резко сплетения мотивов-посредников. Она по традиции за их сетью.

Вот поближе к завершению «Свидетеля истории», в главе «Итоги», рассказано, что Наташа Калымова после удачного побега из тюрьмы оказалась на распутье: «А зачем ей жить и что будет дальше? Опять партия, подпольная работа, террор, тюрьма и ожиданье казни? Это совсем невозможно! Не потому, что не хватило бы сил, а просто потому, что все это уже было, и повторенье не принесет ничего, не даст даже тени прежних ощущений. Побег приподнял и расшевелил нервы; это было и ново, и очень красиво, почти гениально по своей кажущейся простоте. Чувство победы — почти наслаждение искусством! Но прошло и это. Дальше?»

В процитированном отрывке ясно различим авторский голос, который помогает выговориться смутной рефлексии Наташи, оказавшейся на перепутье, когда исчерпан целый этап ее судьбы. Исчерпан эмоционально, ибо «приподнять и расшевелить нервы» прежним способом она уже не рассчитывает.

Удивительная, не правда ли, психологическая изощренность и предусмотрительность обыкновенной, как мы помним, барышни.

А может, удивителен авторский угол зрения на мотивы людских поступков? Да нет же, угол зрения совсем не нов.

Андрей Белый как-то заметил, что «человек — часть мирового природного тела», и опять-таки не сказал нового. Еще раз сошлемся на Толстого. В его эпопее нераздельность мира людей выражена через образ колеблющегося водяного шара, составленного из бесчисленных подвижных капель — отдельных жизней,— каждая из которых «стремится захватить наибольшее пространство». Поведение «капли» — метафорический ключ к работе витальной силы, исподволь расшевеливающей людскую волю («Биологизм!» — шикнет на нас в этом месте «классово» бдительный литературовед).

Как мотивированы у Толстого приготовления князя Андрея к своему «Тулону», Пьера Безухова к убийству Наполеона, пронзительные переживания Николая Ростова при охоте на волка? Или у Чехова как мотивированы приготовления Неизвестного человека к покушению на царского сановника («Рассказ неизвестного человека»)? Вполне доступно обыденному сознанию. Но лишь по верхнему, так скажем, слою. А что за ним? Та глубина психологизма, где читателя ждет — напомним снова Н. Бердяева — «антропологическое откровение».

У Толстого, Достоевского, Чехова герой всегда приметлив к течению своей жизни, как пловец к напору потока; чуток к подводным струям, завихрениям, расходует силы, слушаясь голоса интуиции. Оттого у этих писателей исследование характеров есть еще и система «замеров», производимых в глубине потока, постижение скрытого характера Жизни. Нормальное для искусства сочетание ближайшей творческой задачи со сверхзадачей.

Примерно таково оно и у М. Осоргина, одного из восприемников классического опыта. Только XX век понемногу разучился выжидать, пока ближние планы как бы сами раздвинутся, освобождая место планам дальним и бытийным. Он нетерпелив и важные свои открытия глубоко запрятывать не любит...

У Чехова есть повесть, пользующаяся среди литературоведов репутацией «загадочной» — «Черный монах». Центральное лицо повести, магистр Коврин,— замечательный мастер угождать своей душе, питая ее все новыми дозами «сладкой радости» и «приятного возбуждения» [1]. Чрезмерно сосредоточившись на этом занятии, он сначала довел себя до галлюцинаций, а затем и до клинического сумасшествия.

Чеховский Коврин, конечно, теоретик (читает в университете курс философии), но не до такой же степени, чтобы все про себя знать, непременно доводя «до ума» запросы собственного сердца. Взято ли Ковриным под умственный контроль желание возобновить «сладкую радость», гревшую его сердце минувшим летом? Вряд ли.

[1] Подробнее об этом в моей книге «Время против безвременья». М., 1989.

Сказано об этом так: «Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару...» Много ли значит это мгновенное прояснение мотива «чтобы вернуть» за чертой эпизода? Не охватив целого, сразу не ответишь.

У М. Осоргина о сомнениях Наташи на переломе ее пути: «повторенье... не даст даже тени прежних ощущений».

О приметливости Коврина к течению собственной жизни мы больше судим по контексту, по обертонам авторской речи. С Наташей из «Свидетеля истории» все намного определенней. Слова о долгосрочных запросах ее души почти афористичны, стоят на видном месте, да еще усилены указанием на «обыкновенность» героини (значит, не о странностях Наташиной душевной организации речь — о свойстве человеческой психики). Онтологическая тема самоопределения человека в потоке Жизни выведена из междустрочья в открытый текст: вникайте!

А мы и у Толстого с Достоевским привыкли отыскивать уже найденное, успевшее осесть в пособиях. Так воспитаны. И наконец-то возвращенному М. Осоргину с порога — укор: «Отсутствие анализа обстоятельств, приведших героиню...»

Не учел Осоргин, что явиться ему суждено к идейно закаленным соотечественникам, которым наперед известен набор причин, приводящих девушек в стан бомбистов.

Спрашивается, будет ли востребован тот уровень искусства, где, говоря условно, кончается социология и начинается онтология? Или нашему сознанию, взбодренному политикой, приученному к «анализу обстоятельств», добавочные нагрузки без надобности? Если последнее, то не напрасно ли себя поздравляем с возвращением опальных произведений Шаламова, Пастернака, Замятина, Набокова, Осоргина? Ведь «крамолу», извлекаемую из этих книг, сегодня можно получить в самой разнообразной упаковке, не обязательно беллетристической.

А что сверх «крамолы»? Обаяние свободной авторской речи без заиканий, виляний, уклончивости? Оно не меньшее и в текстах Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского да и ряда нынешних публицистов. Художественность? А что это?

Вариантов ответа много. Остановимся на одном, не самом распространенном — организованная бесконечность образа, его «уход в отрыв» от граничащих с искусством, но внеположных ему систем речи.

Как раз «уход в отрыв» плохо давался нашим законопослушным художникам: политика держала их Пегасов на крепкой привязи. И сейчас, когда дружно возвращаются опальные книги, особенно заметен контраст искусства независимого и поднадзорного.

Им даже трудно договориться об общем счете времени. У художника, неподатливого внешним нажимам, остановленная им минута наделена качеством повышенной проводимости, служит проводницей сигналов большого Времени, оттого и не равна себе, тогда как у художника, подотчетного инстанциям, время «декретное»; его ход озвучен боем курантов, ударами гонга, звонками отправлений, прибытий, командами «подъем», «отбой», «раз-два взяли». Да иного времени, кроме хлопотливо-деловитого, госконтроль и не признáет.

Сведите-ка художника, который «сам свой высший суд», с поднадзорным: пусть сверят часы!

Можно и так определить разницу между ними: искусство первого рачительно, настроено на собирание духовного опыта поколений (поэзия по самой природе своей — сила противодействия бесследному исчезновению человека), второго — бесхозно-расточительно и беспамятно, второпях обменивает былое на небывалое, традиционное милосердие на служебное усердие...

Поднадзорному искусству привита почтительность к методам надзора над ним. Оно знает: «подводные течения» правилами не предусмотрены, и контролер тем раньше будет утешен, чем скорее нащупает дно. Отсюда мера глубины такого искусства — идеологический щуп в руке контролера.

Непременное условие художественности — духовное самостояние автора. Само-стояние, а не стояние в позе услужливой готовности броситься куда пошлют.

Подневольный талант способен ярко обнаружить себя в частностях (пейзаж, пластичность описаний, метафоры, даже запоминающиеся характеры), но не в архитектуре целого, ведь общим видом постройки невольник инстанций не столько высказывается, сколько рапортует о чистоте своих помыслов: «Я как все!»

По сути, эстетикой соцреализма художественность если и предусмотрена, то как блеск исполнительского мастерства или знак качества на серийном изделии (пламенный Маяковский — тот и не думал на сей счет скрытничать, приравнивая инструменты поэзии то к фабричному инвентарю, то к огнестрельному либо холодному оружию и настаивая на «делании» стихов). Из художественности, помещенной в идеологическую колбу, выпаривалось духовное содержание, зато продукт выпаривания удобен при обработке умов, которым целенаправленно прививались спекулятивные навыки.

Уму, прошедшему спецобработку с помощью подсобного искусства, надлежало торжествовать над сердцем. Такое удавалось, причем в государственных масштабах.

3. Рационалист начинает и проигрывает

В 1952 году бывший узник ГУЛАГа Н. Нароков, оказавшийся за рубежом, издал роман «Мнимые величины» (у нас опубликован на страницах «Дружбы народов», 1990, № 2) — о черных делах областного управления ГБ на исходе 30-х. Есть там эпизод, где один из заключенных, ожидая вывода на расстрел, пробует докопаться до истоков национальной беды, и его разгоряченный аналитизм раньше всего устремляется по следу радикальных теоретиков: «Человечество делилось и делится на расы и на народы!.. Французы, китайцы, зулусы... А потом марксисты приказали делить человечество иначе, то есть на классы... Это деление так идиотски примитивно, что многие с восторгом приняли его — общедоступные истины заманчивы даже тогда, когда они нелепы».

Будь у заключенного какое-то время в запасе, он мог бы уточнить, что мастеров (подмастерьев, кустарей-неумех — тоже) логической комбинаторики не оставляет классификаторский зуд, охота рассекать целое на части, выбрав способ попроще.

Задача разбросать человечество по ячейкам-«классам» — та вовсе пьянит масштабностью и тем, до чего же ловко все сходится (кстати, через сорок лет после Н. Нарокова именно такие гносеологические шпильки — мол, концы с концами сводит! — подпустили Марксу полемисты из клуба «Гуманус» — в связи с его пророчествами о роли класса, «которому терять нечего»). Но персонаж «Мнимых величин», сказав о заманчивости общедоступных истин, попутно задел тему волевого напора («приказали делить») схематиков-рационалистов, азартных перекройщиков мира — тему, которую прозорливый XIX век передал из рук в руки нынешнему.

Нынешний призадумался: ведь предостережения классиков так доходчивы, а бесчисленным наследникам Раскольникова с Шигалевым и теперь неймется. Никаких резонов они не слышат, ибо в ударе. Как быть? Решение Н. Нарокова — не снижать накала проповеди, твердо опираясь на доводы мыслителей прошлого, а конкретней — Достоевского, зависимость от которого он вовсе не намерен скрывать.

Особенно ему близка мысль классика о том, что опорная база политического «бесовства» — всезнайство и раздувшаяся от спеси рассудочность. Эту давнюю истину XX век заново открывает с усилием и скрипом, будто заржавленную дверь.

Н. Нароков мог расслышать, как в очередной раз она приоткрылась,— проскрипела на исходе 30-х, когда на Западе был издан роман Артура Кестлера «Слепящая тьма». Там, кстати, раньше, чем у него, узнику карательных органов выпало за считанные минуты до расстрела разрешить (пусть в первом приближении) загадку «слепящей тьмы» тоталитаризма.

Герой романа Николай Рубашов, недавний столп тоталитарного режима, пошел на сговор со следствием, наклепав на себя бог весть какую несусветицу. Отчего? К ответу он продирается сквозь дебри партийной демагогии, опутавшей ум. На чем же держалось слепое доверие догмам? На силе привычки — мелькнуло у него — всегда и во всем опираться на систему «простейших логических уравнений».

XX век с какой-то сатанинской ухмылкой принялся поощрять расчетную бойкость рассудка, дал человеку потешить умственную гордыню, ио вместе припас для гордеца-схематика такие капканы и пыточные снаряды, которые способны довести, домучить его до предсмертного озарения: так вот же начало моей ереси!

Решением «логических уравнений» пониженной (до примитива) сложности заморочена и масса рядовых воспитанников идеократии. Для бациллы облегченного классификаторства, дремавшей до срока, готов питательный бульон. Недуг умственной спеси и плоского доктринерства дает многие осложнения и не хочет отступать даже при общем кризисе политсистемы.

«И я верил вместе со всеми»,— объясняет сегодня детям, внукам (и себе самому) ровесник великих свершений, несколько ошарашенный потоком свежей информации. Слушатели кивают: дело понятное, при тогдашней-то грамотности как не поверишь, если от букваря до толстой книги — сплошь призыв да агитация!

А если все же принять в расчет, что рассудок, пусть взбодренный «верой», вовсе не главный распорядитель наших поступков (по мнению Толстого, из миллиона человеческих поступков лишь один совершается по разуму)?

Даже замороченный пропагандой человек все же не слеп и не глух. Он видит лоск самодовольства на сановных физиономиях, лицемерие и браваду правящей верхушки при ее хроническом тугомыслии, фальшь и виляния записных ортодоксов, назойливо-агрессивную символику диктатуры; слышит государственные песни, исполняемые в манере партийного инструктажа, захлеб славословия вождям, громы-молнии на головы неугодных, треск барабанной риторики — из года в год. Десятилетиями.

Как ни изощрен спекулятивный ум в объяснениях типа «Так надо!», часть подобных впечатлений прорвет любые заслоны и вцепится в душу. Попробуйте-ка с помощью идейных самовнушений не замечать тухлого запаха, воя сирены над ухом или скрипа ножа по стеклу. В конце концов и для фанатика веры есть предел допустимых шумов и воздействия на его слух какофонии. А врожденный порок тоталитаризма — моральная и эстетическая глухота, незнание предела и меры.

У М. Волошиной, вдовы поэта, среди ее «Записей военных лет» («Новый мир», 1990, № 5) находим такую: «Слушала радио. Тошнило от звука интонации «вещания». Скажут: массу радиослушателей, не столь чутких к интонационным оттенкам, не тошнило. Пусть так. Но все же очень многих поташнивало от угрюмого упорства, медвежьей грации, с какой диктатура гнула и гнула свое, примешивая к обязательной патетике плохо скрытую острастку: «А нука возрази!»

Интонацией «вещаний», от которых коробило вдову опального поэта, заявлял о себе с т и л ь тотального давления на личность. И если рассудок мог ничего не знать сверх положенного, заслоняться от правды спасительной «верой», то против с т и л я заслонов нет и не было.

Это реальность, данная нам в ощущении. Пусть и тайком от рассудка, ее знали все.

Популярная ныне формула «Тогда мы не рассуждая верили» (да нет же, именно рассуждая, упражняясь в искусстве внутренней демагогии на тему «Все действительное разумно»), почитаемая итоговым словом горькой, но п р а в д ы о нашем состоянии «тогда», достойно представляет все тот же культ рассуждения.

Приверженность ему официальной литературы в пояснениях не нуждается. Но и ткань повествований, неугодных инстанциям, была сильно подсушена логизаторством. И неудивительно: чтобы отвалить тяжкую плиту с пропагандистскими на ней скрижалями, придавившую умы, потребовалось ее вручную покантовать, потоптаться с нею чуть ли не в обнимку. Отсюда напор и напряг, «жилистость» литературы открытого инакомыслия, различимые на ней следы тех самых скрижалей, что выбиты на плите, следы, которые отпечатались при ворочанье тяжести и прочитываются наоборот.

Что ж, перстами, легкими, как сон, глыбу лжи не сдвинуть. Понадобилось по-медвежьи упереться, отваливать неподъемное, побивая кривду веским доводом. Официоз, таким образом, сумел навязать вольнолюбивой литературе режим и тактику ближнего боя. Схватившись с официозом, такая литература не может не отвечать приемом на прием, на алогизм «логизмом», пренебрегать прямой трактатной доказательностью, то есть бессильна разорвать путы пояснительно-иллюстративной эстетики.

«Жданов и Суслов где-то в неведомых адских безднах должны просто-таки ликовать, злорадно хихикая: дело их не пропало!» — замечает в этой связи один из ярких наших критиков Владимир Турбин в «Интервью с самим собой» («Новое время», 1990, № 19). Причем адское виденье с хихикающими покойниками предстало В. Турбину по ходу его рассуждений о романном цикле А. Солженицына «Красное колесо». Рискуя попасть под плотный огонь оппонентов, критик бросает прославленному автору упреки в старомодности, учительской назидательности, детской незатейливости символа, вынесенного в заголовок.

По его мнению, «никакой угрозы завещанному тоталитарным строем мышлению он (Солженицын.— **В. К.**) собою не представляет. Он бранится с режимом н а е г о ж е языке, изъясняется в е г о ж е понятиях».

Про старомодность и назидания сказано резко? Не спорим. Но эстетика в «Красном колесе» и впрямь подсобна, обслуживает рациональную концепцию. Так что резкость резкостью, а правда правдой. Иное дело — суровый тезис В. Турбина о завещанном типе мышления, которому Солженицын якобы ничем не грозит. Так уж и ничем? Вообще приписывать тоталитаризму какой ни есть навык «мышления» — значит без повода ему льстить. На дух не приемля правды, он декламатор-вещатель, глухой к возражениям (их он, впрочем, предусмотрительно глушит).

А тут? Ни сна, ни отдыха официозу от писателя, чьи свидетельства авторитетны и неотразимы: тоталитаризм безголов, в его умственном багаже — бутафория. Так что отрицаемая В. Турбиным «угроза» вполне реальна. Другое дело, что псевдологику казенных «вещаний» Солженицын любит атаковать в лоб, подолгу не выходя из «ближнего боя» с идеологом-ортодоксом. Но примерно таков же удел и такова практика многих сподвижников Солженицына по литературе.

...В июне 1990-го народный депутат СССР Н. Травкин, рекомендуя публике новую партию, заявил: «Я бы Демократическую партию назвал партией возвращения к здравому смыслу» («Огонек», № 24). Осознана, значит, острота задачи! А возвращаться к здравому смыслу приходится издалека.

С этим старым, но грозным оружием (здравым смыслом) наперевес совестливые наши авторы еще до перестройки «покушались на миражи». Непогрешимого учения. Беру в кавычки словосочетание, вынесенное в заголовок романа («Покушение на миражи»), напечатанного после смерти его автора Владимира Тендрякова, строгого и честного аналитика, но при множестве достоинств в ряде своих вещей утомительно логичного. У него душевные движения героев (в особенности если те из горожан) спешат отлиться в тезу-антитезу и разговоры часто смахивают на обмен меморандумами, даже подростки выясняют свои разногласия на манер средневековых схоластов (припомним «Ночь после выпуска»).

Но тут ведь крепко достается «миражной» идеологии? Верно. Оттого и легко прощались Тендрякову рационалистические излишества. Вспомним еще раз острое место из статьи В. Турбина — картинку загробного торжества Жданова с Сусловым, которым не дано сгинуть бесследно.

В самом деле, хоть и поразвеялись миражи директивной «веры», но не зря столько лет нам утюжили мозги ее катехизисы: и строки отдельные оттуда въелись и наупражнялись наши умы в челночном сновании между вопросом и ответом. По сути, тоталитаризм отбрасывал человека на много веков назад, разом воскрешая и нравы инквизиции, и великую сушь схоластики. Вторая (схоластика) примиряла с первой (инквизицией), даруя отраду палачам и утешение жертвам. «Сознательность» правила бал, подавляя духовную интуицию вплоть до полного ее угасания.

Не здесь ли, то есть на уровне опорных навыков сознания, образовалась главная зона косности, где глохнет и обессиливает традиция? Позади у нас — недоосвоенная классика, перед глазами — работы возвращенных Платонова, Пастернака, Шмелева, Замятина, Осоргина, Кржижановского. Просто ли встретиться разорванным частям единой культуры в наших буйных головушках, приученных смекать, кумекать, прикидывать, как бы и дальше оставаться на плечах? Вопрос.

4. Справимся у Платона Каратаева

Особенность тоталитарных и посттоталитарных эпох: умы, погрязшие в рутине логических спекуляций, варварски обирают души, отнимая у них среди прочего возможность сосредоточиться на собственных запросах. Недаром текущая литература не устает оповещать нас о том, как они дичают в запустении.

Еще в 60—70-е среди повествователей был популярен сюжет отпускной побывки горожанина-маргинала в родной глуши, у стариков родителей. Тот же сюжет, не без внутренней полемичности к устоявшимся образцам, разрабатывает Зуфар Гареев в рассказе «Когда кричат чужие птицы» («Новый мир», 1989, № 12). Но где тут элегическая дымка, тон сердечного сокрушения о невозвратном, памятные по книгам не столь далеких лет? Прошлое (семейное) у З. Гареева прочно состыковано с настоящим, связано-перевито с ним путаницей рефлексий, беглых припоминаний, которым по ходу дела предаются персонажи. Причем и поселковые дед с бабкой, и дочь их Нина, нагрянувшая с визитом, — все трое себе на уме, следят друг за другом, как снайперы из укрытий.

Вот, скажем, «элегическое» воспоминание отца с дочерью: сколько-то зим-весен назад пожарчик у них приключился из-за неисправности электропроводки. Дочка знала, чуяла близость беды, но — молчок. Теперь же, едва сойдя с поезда, забрасывает вопрос-крючочек: ты, мол, папа, догадывался тогда, что я знать-то знала, а беду не отвела? Папа, конечно, догадывался, и для дочки его осведомленность не секрет. Сойдясь после разлуки, старость и молодость колко поддевают друг друга, утоляя накоротке то ли мстительность, то ли психологическое любопытство. «А гори ты все ясным огнем!» — вот мотив, заместивший былой элегизм.

При встрече двух литератур — текущей и возвращенной — происходит обмен сигналами, которые хотелось бы расшифровать. С интервалом в две-три недели читатель получил в руки новомирскую книжку с рассказом З. Гареева и томик М. Осоргина, куда включен роман «Свидетель истории». Журнально-издательский конвейер, разумеется, вслепую сблизил два непохожих текста. Но не напрасно. К примеру, героини того и другого авторов словно переглядываются через разделяющие их времена.

«То ли актриса, то ли поэтесса», — сказано у З. Гареева про горожанку Нину, на облике которой печать богемности и которую по ходу сюжета вербуют для участия в телепредставлении; а эсерка Наташа из «Свидетеля истории» лицедействует сама перед собой в тюремной камере, воображая себя на авансцене, перед полным залом, застывшим в ожидании ее героического жеста: не согласна, мол, просить о помиловании, пусть вешают!

Но тюремные фантазии Наташи, мысленные выходы на подмостки — продолжение ее большой игры с собственной судьбой, которую ей давно не терпелось пришпорить, пустить вскачь, оставляя позади тишь да гладь девичества под отчим кровом. А в практике отпускницы Нины все игры мелкотравчаты, без широких замахов, игры-подначки с целью раззадорить поселковых моралистов, да и стариков родителей перед соседями оконфузить — в отплату за неласковый прием. Так, Нина под вечер объявила старикам о своем решении переночевать в баньке-развалюхе, причем не одной, а с кавалером, местным «шутом гороховым» Саней, вдобавок ко всему импотентом: чем не экзотика?

Для Наташи-бомбистки жизнь под чужим именем, сопряженная с поминутным риском, «была непрерывным спектаклем, блестящим цирком». Да ее и в девичестве влекло тягаться с судьбой: переплывать широкую Оку, по-мужски отмахивая саженками, либо проскальзывать на плоскодонке перед самым носом пароходов. Что ж, на то и буйная головушка. А наша современница Нина? В краю родимых осин ею овладела охота поплавать в «глубокой

и темной» воде, вблизи «смертельных воронок».

Правда, на самое гибельное место гостью доставил любящий родитель с тайной мечтой: авось, нырнет да не вынырнет («Ну ты, доченька, иди... поплавай...»)! Но приезжая не так проста, от опасного места повернула к берегу: «Мне расхотелось, папа...».

Героиня М. Осоргина стихийна и непосредственна, как сама природа, ищет вольных разворотов для души, играя с жизнью в азартные игры, а у персонажей З. Гареева аппетита к жизни нет, но есть рефлекс цепляния за нее, да еще нездоровое любопытство ко всему гибельному (огонь ли, омут...), что грозит ближнему, кто рядом с тобой тоже уцепился за краешек жизни.

О приезжей Нине известно, что она «невольница глаз своих, сердца своего», непредсказуема в смене прихотей, затевает по зову сердца войну нервов со стариками. А на войне как на войне: пошевеливайся да смекай, как бы противную сторону упредить. Нет, уж тут-то не буйная головушка, а ум-компьютер (отечественного производства), бесстрастный расчетчик выгоды — не для кармана, а для тщеславного чувства: «Что, взяли?!»

Этот феномен компьютеризации чувств, расчетной бойкости ума, отданного в услужение прихотям, и до З. Гареева был замечен многими. Раздерганность повадливых душ при бодрых, но копеечных расчетах ума занимает и В. Пьецуха, наблюдающего марш-парад «новой московской философии», и Е. Попова, и Л. Петрушевскую. Но «другая проза», к которой эти авторы причислены, поддевает своего сдвинутого (вбок от нормы) героя на острие иронии: полюбуйся, развитое общество, какой овощ тобою выращен! А З. Гареев сдержанно эпичен, от подтрунивания, насмешек, иронических обертонов далек, исследует не курьез, не вывих, а своего рода н о р м у, хроническое состояние душ, одновременно дряблых и легковозбудимых, пресыщенных и падких на все пряное, остренькое, зорко стерегущих свой отдельный интерес: того гляди останешься в дураках, уступив кровный пай ближнему.

Старческий, в общем, синдром, когда старость без Бога в душе, суетна и неопрятна, ищет, чем бы напоследок поживиться. Что ж, на свой лад «сознательная» старость. И над ее рефлекторикой уже вдосталь потешилась новейшая саркастическая проза.

Но как теперь соединиться звеньям культурной традиции, если двум встретившимся литературам — текущей и возвращенной — очень трудно друг друга уразуметь?

Представим себе на минуту очное знакомство таких невольниц «сердца своего», как бомбистка Наташа Калымова и Нина из рассказа З. Гареева. Сумели бы они распознать одна в другой хотя бы на первый случай соотечественницу?..

Отвечая на вопросы «Московских новостей» (1990, № 25), Татьяна Толстая резонно рассуждает: «В литературе существуют только вечные проблемы: добро и зло, тираны и толпа. А материал, на котором писатель эти проблемы разыгрывает, может быть какой угодно... Ты взрослеешь, когда осознаешь, что мир един, что человек не меняется с момента своего создания». Все так, и спорить вроде бы не о чем, только в связи со сказанным о «материале» уместно припомнить понятие — «сопромат».

Как раз современный «материал» изо всех сил сопротивляется «разыгрыванию» на его основе вечных проблем, ибо десятилетиями утаптывался, трамбовался и формовался временщиками-«рационализаторами». Удивительно ли, что с этой утрамбованной площадки и М. Осоргин, сосредоточенный на «вечном», видится (вполне благодушному исследователю-рекомендатору) опрометчивым реалистом, неверно показавшим путь героини в революцию?

Сегодня, дабы вернуться в единое «вечное» русло, Жизнь вынуждена пятиться, выбираясь из тупикового отростка, куда ее сумели загнать схематики-преобразователи. Для начала ей предстоит допятиться до отметки «здравый смысл» — тогда, наверно, рухнут главные препоны между нами и возвращенной культурой.

Чем хорош здравый смысл? Он не болен «сознательностью», не домуштрован до того состояния, о котором один из персонажей платоновского «Котлована» высказывается так: «Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко». Во второй своей части («снаружи гадко») предвиденье сбылось. А в первой? Хорошо ли «в уме», когда там нудно трутся друг о дружку замшелые догмы?

Под эти трущиеся звуки исподволь зрела утешительная формула «Наше поколение не рассуждая верило», которая в свой срок будет задействована и освящена авторитетом капитальной идеологемы: «Личность — продукт своей эпохи». Нет, не хорошо «в уме», если там царит великая сушь суемудрия и крючкотворства.

Вспоминаю одну теоретическую догадку, не получившую дискуссионного развития. Суть ее в том, что творческий метод, оплодотворивший практику советской литературы, укоренен в веках, «проистек из духовных потребностей широких народных масс», которые, оказывается, еще при Петре I не принимали «культуру верхов» и отыскивали, чем бы ее расшатать снизу, выразив свои кровные чаяния, но получили искомое в руки только после Октября, когда их воля была угадана творцами новой эстетической платформы.

С таким вот экспромтом познакомила нас «Литературная газета», поместившая

в № 10 за 1990 год диалог двух литераторов «Право на текст». Кому интересны имена собеседников, тот может полистать подшивку, а для меня занимателен сам экспромт с его прихотливой логикой. Принадлежит он одному из участников, искусствоведу, и благосклонно выслушан вторым участником — поэтом.

Искусствовед, сосредоточенный на истоках «нашего» (так у искусствоведа) метода, со всей прямотой заявляет: «Это не искусственно декретированное течение, как сегодня иногда пытаются представить» (неточность: мнение о декретированном методе успело стать общим местом, а вот отмыть метод добела и впрямь пытаются — «иногда»).

Значит, так: к началу 30-х, когда на пороге учредительного съезда писателей синклит авгуров-идеологов искал звучного эпитета к существительному «реализм» («пролетарский», «революционный», «диалектико-материалистический»?..), сами «широкие массы», настрадавшиеся от господской культуры (Ломоносов, Пушкин, Некрасов, Чехов?), вытянув губы, шепнули на ушко авгурам свое, заветное: «со-циали-стический»? Наконец-то меткое слово найдено!

Уже позади год великого перелома, раскулачивание, аврал сплошной коллективизации, первые процессы, чистки, уже расползается вширь пятно ГУЛАГа, а массы знай себе о «низовой» культуре хлопочут, метода требуют «нашего», передового! А для него, передового, нет ничего родней принципа партийности.

Что это такое? Поясним с помощью Достоевского: верность «мундирному мнению». Если к ответу Достоевского нет доверия («культура верхов»), остается спрашивать у партаппарата. Тот всегда в курсе. Но партаппарат, по нынешнему счету, опять же «верхи». Путаница какая-то выходит... Стоп. Хватит иронии, потому что настал момент оценить иронию самого автора экспромта.

Вслед за сообщением о народных истоках аппаратной культуры он круто сворачивает к вопросу о рационализме, дух которого и впрямь невытравим из образчиков «нашего» метода: «Движение к рационализму всегда чревато массовыми казнями — так было, например, и в эпоху Возрождения, когда начала свирепствовать святая инквизиция. Так что наш соцреализм лежит в правильном, «законном» русле».

С последним утверждением не спорим: «русло» у метода столь же «законное», как законны насмешливые кавычки, в которые это определение взято. Но чему же теперь верить — хвале или хуле, здравице в честь официозного метода или ссылкам на святую инквизицию, чей опыт унаследован новейшей партократией? И куда нам деваться с открытием, будто народные «низы», враждуя с культурой «верхов», как-то участвуют в движении к рационализму?

Помните сказанное у Толстого о любимой песне Платона Каратаева? «Там было: «родимая, березанька, и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла». Вообще к словам или мыслям толстовских солдат, мужиков бесполезно прилагать мерку выпрямленной школярской логики. Ощутим ли холод головного конструирования в каком-либо из фольклорных жанров? «Намеки на умственность» найдутся, но как скоморошеский выверт, всплеск алогизма, шутовские проделки против чинной осанки умов. Вышучивая эту чинную осанку, «низы» препятствуют застою крови в жилах, хлопочут о своем, да и «верхов», душевном здоровье.

Прикажете теперь считать, будто ничего похожего не было и «низам» для культурного самовыражения понадобилась чинно-чиновная платформа соцреализма? Тогда к чему ссылки на инквизицию, казни, ироническая закавыка при обозначении «русла»? Просто дань приличиям, когда на чугунную ортодоксию спрос иссяк? Похоже.

Впрочем, рационализм любит вольно маневрировать между «да» и «нет» (диалектика!) внутри целевой установки. А установка у автора экспромта про соцреализм при его, автора, теоретических миражах ортодоксальна: наше директивное искусство не вышло из директивы, а пришло к ней, зрело, зрело и дозрело аж до партийности. Это по мере «движения к рационализму».

А знаете, тут что-то есть — нечаянный просверк правды (нечаянностью и дорог!) сквозь всю миражность. Посмотрите, какая обозначилась связь: наш творческий метод с его твердым стержнем, партийностью, — «движение к рационализму», чреватое казнями. Или, наоборот, прежде рационализм с казнями, потом уже метод? Переставляйте — существо не изменится.

Только муть рационализма не снизу поднялась (такого с сотворения мира не случалось), она долго оседала, как взвесь из промышленных сбросов. А промкомбинат, откуда хлещет поток установочной схоластики, «мундирных мнений», высоко поднят над «низами» и работает без очистных сооружений. Так что все выбросы и выхлопы прямиком — в людские души. Вот тут и встречайте хлебом-солью экологически чистую культуру, добравшуюся до нас, минуя заслоны!

Чем же в такой ситуации утешиться? Быть может, тем, что даже к лестному отзыву о «нашем» методе сегодня прибавляют горькие слова о «движении к рационализму»? Какое ни есть да утешение...

Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов

ТВАРДОВСКИЙ, СОЛЖЕНИЦЫН, «НОВЫЙ МИР» ПО ДОКУМЕНТАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 1967—1970

IV. ЛИКВИДАЦИЯ «НОВОГО МИРА»
(февраль 1970 г.)

От составителя. Последняя группа публикуемых документов[1] связана с уничтожением «Нового мира» Твардовского. Это было последним крупным актом в ликвидации легального демократического движения в СССР, доведением до логического завершения того процесса, который начат был смещением Хрущева. Самыми значительными вехами этого процесса явились суд над Синявским и Даниэлем и последовавшая за ним вереница судебных и внесудебных расправ над инакомыслящими, военное подавление демократической революции в Чехословакии, исключение Солженицына. «Новый мир» оставался в этих условиях единственным незатопленным островком духовной свободы, последней надеждой демократических сил по эту сторону границы.

После известного нам обсуждения журнала его направление не изменилось, напротив, стало еще определеннее. Значительно более активную роль стали играть в этом отношении отделы публицистики и литературной критики — как в смысле сознательного противостояния реставраторскому, консервативно-бюрократическому курсу брежневского руководства, так и в смысле целенаправленной позитивной разработки комплекса основных экономических, социально-политических, исторических, нравственно-философских, эстетических, теоретико-идеологических проблем демократизации советского общества. Многие читатели «Нового мира» тогда говорили, что начинают читать книжку с разделов литературной критики и публицистики.

Не понизился и художественный уровень журнала. За неполных три года, отделяющих февраль 1970-го от марта 1967 года, на его страницах были, в частности, напечатаны романы «Две зимы и три лета» Ф. Абрамова, «Три минуты молчания» Г. Владимова, «Соленая Падь» С. Залыгина, повести «Пелагея» Ф. Абрамова, «Белый пароход» Ч. Айтматова, «Неделя как неделя» Н. Баранской, «Такова должность» А. Бека, «Плотницкие рассказы» В. Белова, «Атака с ходу» и «Круглянский мост» В. Быкова, «Юность в Железнодольске» Н. Воронова, «Путешествие в Спас на Песках» Е. Герасимова, «На испытаниях» И. Грековой, «Школьный спектакль» В. Каверина, «Трава забвенья» и «Кубик» В. Катаева, «Обмен» Ю. Трифонова, рассказы В. Астафьева, В. Белова, Ф. Искандера, А. Кузнецова, В. Лихоносова, В. Некрасова, Е. Носова, М. Рощина, В. Семина, Е. Снегирева, А. Ткаченко, Ю. Трифонова, А. Шарова, В. Шукшина, очерки и эссе В. Борнычевой, Е. Дороша, Д. Лихачева, Б. Можаева, В. Овечкина, К. Симонова, И. Соколова-Микитова, стихи М. Алигер, Б. Ахмадулиной, П. Антокольского, К. Ваншенкина, А. Величанского, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, И. Драча, Е. Евтушенко, А. Жигулина, М. Исаковского, Ф. Искандера, В. Казанцева, К. Кулиева, Ю. Левитанского, С. Липкина, В. Лифшица, М. Луконина, Н. Матвеевой, С. Наровчатова, Ю. Марцинкявичюса, С. Орлова, А. Передреева, А. Сагияна, Д. Самойлова, В. Соколова, А. Твардовского, В. Шефнера, А. Яшина. Были предприняты ценные публикации из литературного наследия А. Ахматовой, Д. Кедрина, Б. Пастернака, М. Светлова, М. Цветаевой, А. Яшина. Как всегда богат и интересен был раздел воспоминаний.

Но как дорого давались редакции эти успехи! Борьба с цензурой становилась все более тяжкой и изнурительной. Вот, к примеру, данные за 1968 год. Номер первый, будучи сдан в набор (по графику, как и все другие номера) 3 декабря 1967 г., пролежал в цензуре почти месяц сверх установленного срока, подписан ею

Окончание. Начало см. «Октябрь» №№ 8—10 с. г.

[1] Публикация А. Воздвиженской.

лишь 29 января и потому начал рассылаться подписчикам не ранее середины февраля. По той же причине номер второй вышел в марте, третий — в апреле, четвертый — в мае. Многие из таких задержек вызывались необходимостью не только вести с Главлитом длительные споры по поводу тех произведений, которые он отказывался подписать полностью или частично, вносить требуемые ухудшения (ибо ничего, кроме ухудшений, это ведомство не предписывало), но и заменять многие материалы другими, которые, в свою очередь, тоже нередко наталкивались на противодействие цензуры.

Особенно длительной была война из-за номера пятого, который вместо мая вышел в августе (сдан в набор 25 марта, подписан к печати 25 июля), пролежав, таким образом, в цензуре и в ЦК три с половиной месяца. Прежде всего камнем преткновения стала повесть В. Быкова «Атака с ходу». Сначала, помнится, цензура просто отказалась ее подписать, впоследствии в итоге длительной борьбы с редакцией по поводу номера в целом согласилась это сделать лишь ценой затемнения смысла концовки, оставлявшей читателя в неизвестности, чем же кончилась «атака с ходу», за кем в результате осталось поле боя. Но основным предметом спора явились три крупных материала, шедших по разделу публицистики. Статья Д. Мельникова и Л. Черной о германском фашизме запрещалась на том основании, что наводила на мысль о чертах сходства гитлеровской и сталинской систем (хотя о последней там не говорилось ни слова). Неприемлемым оказались и два материала к 150-летию со дня рождения Маркса. В статье Л. Фризмана, где анализировалось неоднократное у Маркса и Энгельса употребление понятия «ирония истории» (в смысле рокового несовпадения результатов социального действия с исходными намерениями его участников), усматривался намек на то, что этой участи не избегла и Октябрьская революция. А подготовленную А. Володиным и Б. Итенбергом публикацию переписки теоретика народничества П. Л. Лаврова с философом-позитивистом Г. Н. Вырубовым, заключавшую в себе интересную полемику по поводу I тома «Капитала», разрешалось поместить лишь в том случае, если в ней будут оставлены только похвальные характеристики труда Маркса Лавровым и исключены скептические замечания Вырубова. Пойти на это редакция не могла.

Все три материала перешли в Агитпроп ЦК, где претензии к ним были еще более ужесточены. Однако если идеологическим надзирателям надоело возиться с непокорным журналом, то они ему надоели ничуть не меньше: в сознании своей правоты редакция на сей раз категорически отказалась как переиначивать предложенный материал, так и давать ему замену. И своей твердостью в конце концов заставила власти принять беспрецедентное решение: выпустить номер в уменьшенном на 1/3 объеме! В истории советской журналистики этот тощий (20 листов вместо нормальных 28) «майский» номер 1968 г. останется единственным в своем роде вещественным доказательством той невидимой и неравной борьбы, которую редакция «Нового мира» из года в год вела со своим многоликим и могущественным противником. Что же касается самого журнала, то для него это был момент, когда он вновь оказался на краю гибели.

Доведу до конца хронику 1968 г. Июньский номер (который на этот раз цензура почти не задерживала) пришел к подписчикам тоже в августе, июльский — в сентябре, августовский — в конце октября, сентябрьский — в ноябре, октябрьский — в декабре, ноябрьский — в январе и декабрьский в феврале 1969 г.

1969 год был для журнала еще тяжелее. В конце марта — начале июня руководство Союза писателей СССР от имени ЦК (со ссылкой на секретаря ЦК КПСС П. Н. Демичева) по меньшей мере дважды предпринимало энергичные попытки принудить Твардовского к «добровольной» отставке: в одном случае — предложив ему заменить обоих заместителей главного редактора «Нового мира» А. И. Кондратовича и В. Я. Лакшина людьми, заведомо для него неприемлемыми, в другом — уже без всяких экивоков — уйти, так сказать, по-хорошему самому. Отказы Твардовского заставили сменить тактику. На фоне все усиливавшегося давления цензуры [2] казенная печать, и до этого обстреливавшая каждый номер «Нового мира», в конце июля — первой половине августа пошла на него согласованной массированной атакой, сигналом к которой послужило известное «письмо 11-ти» «Против чего выступает «Новый мир»?» («Огонек», 1969, № 30), где журнал Твардовского обвинялся в том, что в нем «планомерно и целеустремленно культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества, к его идеалам и завоеваниям». Однако и в этот раз удалось устоять [3]. Затем — исключение Солженицына (так сказать, последний звонок журналу, который ввел это имя в литературу) и, после кратковременного относительного затишья,— февраль 1970 года, конец «Нового мира» Твардовского и с ним целой эпохи в нашей литературной и гражданской истории...

Единственное печатное свидетельство об этом событии уместилось тогда в немногих строках «Литературной газеты» за 11 февраля 1970 г., набранных мелким шрифтом и помещенных под рубрикой «Хроника» после других текущих сообщений (пленум творческих союзов Таджикистана, заседание комитета по проведению очередного «пушкинского праздника поэзии»), что должно было указывать на малозначительность и будничность зафиксированного в нем факта: «Состоялось заседание бюро секретариата правления Союза писателей СССР, в котором приняли участие К. А. Федин, С. А. Баруздин, К. В. Воронков, С. В. Михалков, В. М. Озеров, Л. С. Соболев, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов, А. Б. Чаковский, К. Н. Яшен. Бюро утвердило первым заместителем главного редактора и членом редколлегии журнала «Новый мир» Д. Г. Большова, заместителем главного редактора и членом редколлегии — О. П. Смирнова. Членами редколлегии утверждены также В. А. Косолапов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук. От обязанностей членов редколлегии журнала «Новый мир» освобождены И. И. Виноградов, А. И. Кондратович, В. Я. Лакшин, И. А. Сац». О том, что за этим тотчас последовала отставка Твардовского и что «Новый мир» принял В. А. Косолапов, никаких сообщений не появилось вообще — кажется, единственный за многие десятилетия случай в практике информации о событиях литературной жизни. Лишь в апреле, когда к подписчикам пришла февральская книжка журнала, можно было официальным образом узнать, что у него теперь другой главный редактор.

Однако общественность, давно уже привыкшая видеть в нашей печати скорее средство массовой дезинформации, нежели то, чем она себя объявляла, в той или иной мере наслышана была о событиях в «Новом мире», работники же журнала знали их, понятно, во всех подробностях. Краткую подневную хронику этих событий — в том виде, в каком они были известны в редакции,— я уже излагал на страницах «Октября» (1987, № 12, с. 204—205). Протоколы заседаний Секретариата, обнаруженные А. Воздвиженской, а также осуществленная М. И. Твардовской публикация писем Твардовского Федину («Октябрь», 1990, № 2), уточняя детали, в целом ее подтверждают, но они же свидетельствуют и о том, что нам (Твардовскому в том числе) видна была лишь надводная часть айсберга. Характер публикуемых документов и их очевидная комплексность заставили соответствующим образом изменить форму комментария, превратив его в данном случае из справочного в аналитический.

Вот первый из документов этой группы.

Заседание Бюро секретариата правления Союза писателей СССР

3 февраля 1970 г. (оп. 37, пор. 361; протокол, полностью).

Присутствовали: тт. Федин К. А., Абашидзе И. В., Баруздин С. А., Воронков К. В., Михалков С. В., Озеров В. М., Соболев Л. С., Тихонов Н. С., Чаковский А. Б., Яшен К. Н.

т. Беляев А. А.— Отдел культуры ЦК КПСС.

Повестка дня:

1. Информация К. А. Федина о письме А. Т. Твардовского и встрече с ним.

2. Об отношении Союза писателей СССР к Европейскому сообществу писателей в связи с враждебными акциями руководства КОМЕС.

Председатель — К. А. Федин (л. 1)

Слушали: 1

Информация К. А. Федина о письме Твардовского и встрече с ним.

По данному вопросу выступили: К. В. Воронков, Н. С. Тихонов, А. Б. Чаковский, С. А. Баруздин, Л. С. Соболев, К. Н. Яшен, В. М. Озеров, С. В. Михалков, И. В. Абашидзе.

Постановили:

1. Утвердить Д. Г. Большова первым заместителем главного редактора и членом редколлегии журнала «Новый мир».

2. Считать необходимым укрепить редколлегию и аппарат редакции «Нового мира».

Поручить К. А. Федину, Г. М. Маркову, К. В. Воронкову, А. Т. Твардовскому и Д. Г. Большову в 3-х дневный срок представить свои соображения по этому вопросу.

Слушали: 2

Об отношении Союза писателей СССР к Европейскому сообществу писателей в связи с враждебными акциями руководства КОМЕС (В. М. Озеров).

Постановили:

Поручить Советской группе КОМЕСа ответить на письмо руководящего Совета Европейского сообщества писателей в духе состоявшегося обмена мнениями на настоящем заседании.

Председатель — К. А. Федин (подпись) (л. 2)

От составителя. Уже по беглому взгляду на лежащую перед нами бесцветную казенную бумагу понятно: «Новый мир» Твардовского ликвидируется; назначение на ключевой пост первого заместителя главного редактора некоего «человека со стороны» и, с его участием, экстренное («в трехдневный срок») «укрепление», то есть переформирование редколлегии и даже рядового редакторского состава журнала есть разгром этого журнала, превращение его в нечто коренным образом отличное от того, что он до сих пор собою представлял. Притом решение принято без объяснения причин, без каких бы то ни было мотивировок. Решили — и баста, не собираясь скрывать, что принятое решение есть чисто волевая, то есть по существу разбойничья акция, даже и не пытающаяся подыскать для себя какие-либо законные основания.

Это — первое. Это — то, в чем рассматриваемый документ достаточно ясен. Однако при более внимательном чтении в нем обнаруживается и немало такого, что заставляет разгадывать его почти как ребус.

[2] Конкретный материал на этот счет см. в «Новомирском дневнике» А. Кондратовича («Новый мир», 1990, № 2), а также в моей публикации «Новый мир» и его противники. Попытка редакционного дневника. 1969 г.» («Литературная газета», 1990, 20 июня).

[3] Подробности — в вышеназванных публикациях; см. также: «Октябрь», 1987, № 12, с. 201—203.

Прежде всего, обратим внимание на формулировку вопроса в повестке дня: насколько четко и ясно сформулирован пункт второй, настолько же первый невнятен и темен. О чем было письмо Твардовского и что было предметом встречи с ним? Ни здесь, ни в «Слушали», где буквально воспроизведена та же глухая фраза, ничего на сей счет не сказано. Как увидим позднее, темнота эта, равно как и то, что участники заседания предпочли обойтись без услуг стенографистки, отнюдь не были случайностью. Дело в том, что ни письмо Твардовского, ни то, что по этому поводу говорилось на встрече, никоим образом не объясняли принимаемого здесь постановления по «Новому миру».

Письмо Твардовского Федину от 19 января 1970 г. теперь опубликовано («Октябрь», 1990, № 2). Как и полгода назад, поэт вновь предлагает в нем поставить на обсуждение Секретариата свою поэму «По праву памяти», летом 1969 г. снятую «без всяких мотивировок со стороны цензуры» сначала из 6-го, затем из 8-го номера «Нового мира», ходившую по рукам и наконец выпущенную на Западе, хотя автор тем временем продолжал работать над рукописью. «...Ныне,— писал поэт,— она снова набрана и может быть представлена на рассмотрение Секретариата в более совершенном, на мой взгляд, виде». Две недели молчания, и вот 2 февраля (то есть накануне рассматриваемого заседания Бюро секретариата, о чем Александр Трифонович не знает и о чем в протоколе нет упоминаний — опять-таки, разумеется, не случайно) Твардовский вызывается для беседы, которую с ним проводят Федин и Воронков. Цитирую свою краткую запись, сделанную по свежим следам событий: «2 февраля, понедельник. Твардовский вызван в секретариат Союза писателей, где перед ним выдвинуто требование осудить зарубежных публикаторов его поэмы «По праву памяти». Он в ответ указал, что сначала нужно опубликовать поэму у нас... иначе для полемики нет оснований. Повторил свое прежнее предложение устроить обсуждение поэмы в Союзе писателей. Ни до чего не договорились» («Октябрь», 1987, № 12, с. 204; подробнее — в дневнике Твардовского, цитируемом М. И. Твардовской,— см. «Октябрь», 1990, № 2, с. 187).

Обращает на себя внимание прежде всего заведомая неконструктивность позиции собеседников Твардовского. Хорошо зная его убеждение (не раз им высказывавшееся, в том числе, как мы помним, при рассмотрении «дела Солженицына»), что осуждать самочинные зарубежные публикации можно лишь после того, как соответствующие произведения опубликованы в СССР, Федин и Воронков тем не менее настаивают, чтобы поэт выступил против западноевропейских публикаторов поэмы безотносительно к возможности ее появления (и даже обсуждения!) «у нас». Однако, как видно из ставшей теперь известной дневниковой записи, помеченной 3 февраля (то есть сделанной в день заседания, о котором, повторяю, Твардовский еще не знает), его поражает не столько бесполезность «встречи», к чему он, по-видимому, готов был заранее, сколько необычайная агрессивность взятого Фединым тона. «Фединская жуть,— пишет он,— не поддается записи («коллектив», «отчленение от коллектива», необходимость ответа «им» и т. п.). Но основная идея — я как Солженицын, та же модель: ультиматум, попытка поставить Союз <писателей> на колени и т. п. знакомое, с напоминанием, что «мы» исключали Солженицына и в коммюнике РСФСР (то есть секретариата правления СП РСФСР.— **Ю. Б.**) хорошо сказано, что если ему не угодно, так может отправляться туда, где его печатают и превозносят...» («Октябрь», 1990, № 2, с. 188). Иными словами, автору «Василия Теркина» в прозрачной форме угрожают изгнанием из Союза писателей и чуть ли не из страны!

Чем все это было вызвано? Зарубежными публикациями «По праву памяти»? Но они ни для кого не были неожиданностью, и не руководство ли Союза писателей вслед за Главлитом сделало со своей стороны все возможное для того, чтобы поэма (как и «Раковый корпус» Солженицына) впервые появилась не «здесь», а «там»? Откуда же такая неадекватно бурная реакция на то, о чем Федину еще две недели назад сообщил сам Твардовский? Первая странность.

Так или иначе, Федин обо всем этом информирует собравшихся — а что же делает Бюро? Как оценивает оно содержание письма и «встречи», предложения сторон, как решает судьбу поэмы? Выражает сожаление, что председатель Союза писателей позволил себе в подобном тоне разговаривать с классиком русской поэзии, единственным из современных поэтов, про кого можно сказать: его произведения знает народ? Соглашается с тем, что «По праву памяти» пора наконец хотя бы обсудить? Напротив, отвергает возможность не только публикации, но даже и обсуждения крамольной поэмы, в том числе и в самом узком кругу? Решает, как в случае с Солженицыным (см. протокол заседания 22 сентября 1967 г.), «поручить члену Союза писателей СССР А. Т. Твардовскому сообщить секретариату правления Союза писателей СССР свои соображения о том, как он намерен реагировать...» и пр. и пр.? Нет, не происходит ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого, ни десятого из всех мыслимых вариантов. «Слушали» об одном, а «постановили» совсем о другом, вне какой-либо видимой связи с тем, что «слушали»: о кадровом составе редакции «Нового мира», не затрагивая, однако, главного виновника — автора крамольной поэмы! Это ли не странность!

Далее. Поставим теперь вопрос в иной плоскости. Если суть заседания не в обсуждении беседы о поэме и ее зарубежных публикациях, а в решении судьбы «Нового мира», то почему оно принимается таким удивительным образом? Вне повестки дня (ибо в ней только «информация»). Без приглашения не только Твардовского, чье присутствие могло бы лишь помешать успеху предприятия (хотя это, понятно, нарушение всех процедурных норм, тем более, что он, между прочим, еще и секретарь правления СП СССР), но и — что, пожалуй, еще поразительнее, без участия и самого т. Большова, на которого здесь возлагают сразу две важнейшие функции.

Кстати, кто такой Большов? Может быть, он так же хорошо знаком участникам заседания, как Г. М. Марков, который тоже отсутствует, но тем не менее включен в упомянутую комиссию? Нет, это имя всплывает в документах Союза писателей впервые. Он не член Союза и не сотрудник его аппарата; он вообще из других ведомств — секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии, затем одно время главный редактор «Советской культуры», откуда переведен с понижением на телевидение. Ну, кажется, как утверждать на такую должность человека, едва ли известного и двум-трем из числа присутствующих, притом утверждать, даже не взглянув на него, не удостоверившись в том, что он хотя бы имеет какое-то понятие о литературе и ситуации в ней, о том журнале, которым его назначают руководить, о составе редколлегии и редакции, который он призван «укрепить» в соответствии со «своими соображениями» на сей счет? Оказывается, однако, можно обойтись и без него.

Наконец — не странно ли? — по мнению присутствующих (а это многоопытные мужи совета) достаточно трех дней, чтобы создаваемая комиссия, даже если допустить невозможное — отсутствие в ней серьезных разногласий между Твардовским и остальными, смогла проделать ту огромную работу, которая ей поручена: обдумать и договориться, кого следует вывести из редколлегии и уволить из редакции, кого наметить взамен и хотя бы в предварительном порядке побеседовать с теми из них, кто изъявит согласие... Тут, пожалуй, не то что трех дней, а и трех недель окажется мало. Между тем, забегая вперед, скажу, что *уже через день*, 5 февраля, Твардовский, отказавшийся участвовать в комиссии, будет ознакомлен с ее предложениями. И феноменальная, поистине снайперская точность в выборе как того, так и другого ряда кандидатур: не далее, как через три дня после этого (включая субботу и воскресенье) все предложения комиссии будут полностью утверждены Бюро секретариата!

Что означает вся эта цепь странностей и загадок? Единственное объяснение, какое можно предложить: вопрос, по которому Бюро принимает свое постановление, в действительности *уже решен*. Решен не только до начала заседания, но и до встречи Твардовского с Фединым и Воронковым. Все решено: и назначение Большова, и то, что предложит комиссия, и утверждение ее предложений следующим заседанием Бюро, загодя намеченным на 9 февраля (помните: «в трехдневный срок»?), и мгновенная публикация его постановления в ближайшем, через два дня, номере «Литературной газеты» (за 11-е), и даже еще кое-что сверх того, о чем — ниже.

Но в таком случае два вопроса. Первый: собиралась ли комиссия (хотя бы и огорченная отсутствием Твардовского)? Между 3-м и 5 февраля — едва ли. Во всяком случае никаких следов ее существования и деятельности в приложениях к протоколам №№ 5, 5-а и 6-а, относящимся к «делу» «Нового мира», нет, как нет их и в документах Секретариата за предыдущие месяцы. Это не значит, конечно, что списки увольняемых и новых членов редколлегии свалились с неба. Их кто-то тщательно подготовил, кто-то провел предварительные переговоры с теми, кого хотели ввести, а затем и представил оба списка на утверждение людей, принимавших то, основное, более раннее решение. Скорее всего такую работу тихомолком, на началах строгой конфиденциальности, провели именно Марков и Воронков, без помощи (да, вероятно, и без ведома) малокомпетентного т. Большова.

И второй — главный — вопрос: *кто же* принял это решение, состоявшееся *до* поднятия занавеса февральской трагедии Твардовского и «Нового мира», первой сценой которой была вышеупомянутая «фединская жуть»?

В рассматриваемом документе об этом ничего не сказано, однако с его помощью «вычисляется» без особого труда. Быть может, Бюро секретариата на одном из предыдущих заседаний? Это предположение бессмысленно, так как в таком случае одно постановление Бюро попросту дублировало бы второе. Секретариатом в целом? Нет, хотя бы потому, что тогда о нем знал бы Твардовский. Правлением Союза писателей СССР? Нет, к тому времени оно давно уже не собиралось. Впрочем, незачем и гадать: на протяжении по крайней мере нескольких месяцев до 3 февраля 1970 г. вопрос о кадровом составе «Нового мира» ни единым словом не затрагивался ни в одном из документов руководства Союза писателей.

Итак, кто же? Ответ вполне однозначен. Речь может идти лишь об одной-единственной инстанции, той, которой в равной мере подчинялись и освобождавшийся от т. Большова Госкомитет СССР по телевидению и радиовещанию, и Союз писателей СССР: о Центральном Комитете КПСС. Присутствие на заседании высокого гостя из ЦК, А. А. Беляева, тогда одного из руководящих деятелей в Отделе культуры ЦК, служит лишним (действительно, почти уже лишним) подтверждением сказанному.

Вывод может показаться тривиаль-

ным: ну конечно, без руководящего участия ЦК подобные вопросы не решались. Но тут важно осознать особый характер такого участия и в этом смысле полную новизну ситуации.

«Новый мир» и прежде, особенно после XXIII съезда КПСС, не имел оснований жаловаться на недостаток внимания к нему со стороны руководящего органа партии. Насколько мне известно, «антиновомировская» часть цитировавшейся редакционной статьи «Правды» от 27 января 1967 г. была написана именно в ЦК. Уничтожение тиража октябрьского номера «Нового мира» за 1966 г., увольнение Дементьева и Закса, судьба майского номера 1968 г., прямое участие Демичева в попытках удалить Твардовского с поста главного редактора весной 1969 г.— все это (и многое, многое другое в том же роде) нельзя не рассматривать как проявления упомянутого внимания. Да и кампания травли «Нового мира» (июль — август 1969 г.) сразу в нескольких печатных органах, из которых два — «Советская Россия» и «Социалистическая индустрия» — были «газетами ЦК КПСС», могла дирижироваться только со Старой площади. А когда «Новый мир» подготовил ответ застрельщику этой кампании — «Огоньку», то напечатать его удалось лишь вопреки прямому противодействию некоторых ответственных работников Центрального Комитета.

Но «работники», даже «ответственные», включая того же Демичева и даже любого из членов Политбюро,— это еще не ЦК; их «мнения», даже «указания», сколь бы весомыми они ни были для соответствующих звеньев партийно-государственного аппарата, и решения ЦК — сугубо разные вещи. В пределах определенной ему «сферы влияния» указания любого партийного олигарха значат очень много, но все же его власть не безгранична, над ним всегда (после Сталина) было, по крайней мере формально, нечто высшее — «коллективное руководство», то есть олигархия в целом, и «решения ЦК», «постановления партии и правительства» могла принимать только она (в лице Политбюро или Секретариата ЦК). Если «указания» даются (и принимаются к исполнению) в известной мере на свой страх и риск (хотя как для указывающих, так и для ревностно исполняющих он, как правило, близок к нулю), то решения ЦК — закон. Вместе с тем олигархия в целом отнюдь не жаждет принимать решения по любому вопросу, в особенности брать на себя ответственность за заведомо непопулярные решения, да к тому же по вопросам, целиком относящимся к «сфере влияния» какого-то одного из своих членов. Поэтому добиваться решения ЦК по «Новому миру» Суслов и Демичев могли лишь после того, как все другие способы воздействия, которыми они тогда реально располагали, были исчерпаны. И надо отдать этим деятелям должное: за пять лет после смещения Хрущева и за четыре года после XXIII съезда партии они действительно сделали все, что было в их силах, чтобы «мирными средствами» удушить непокорный журнал. Не получилось. Пришлось подключать «коллективное руководство» и, как в августе 68-го, применить силу...

Пока не открыты архивы тогдашнего ЦК, а люди сведущие предпочитают держать язык за зубами, многое в этом деле еще остается неизвестным. Каким именно из органов «коллективного руководства» было принято интересующее нас решение? (Вероятнее всего, Секретариатом ЦК.) Как: на заседании, с обсуждением вопроса (вот бы прочесть стенограмму!) или заочно, опросным порядком? Когда? (Скорее всего, во второй половине января.) И главное: как сформулировано было постановление, суть которого, по всей видимости, сводилась к следующим пунктам:

1. Твардовского от руководства «Новым миром» отстранить;

2. сделать это не прибегая к административным мерам (то есть просто к снятию с поста главного редактора), но поставив в такие условия, чтобы его уход «по собственному желанию» стал неизбежным и совершился в самое ближайшее время;

3. первым заместителем главного редактора «Нового мира» назначить Большова Д. Г., освободив его от работы в системе Гостелерадио СССР;

4. произвести смену редколлегии журнала согласно спискам, представленным руководством Союза писателей СССР.

И последнее, что в рассматриваемом протоколе Бюро секретариата непосредственно не отразилось, но, безусловно, было известно участникам заседания:

5. после ухода Твардовского главным редактором «Нового мира» назначить Косолапова В. А., освободив его от обязанностей директора издательства «Художественная литература»[4].

Конечно, в деталях тут «возможны варианты»: скажем, Большов мог в решении ЦК не фигурировать вообще, на него Федину и Маркову уже отдельно указали пальцем в том или ином высоком кабинете; способ устранения Твардовского мог быть обозначен как-то более деликатно либо вовсе не фиксироваться на бумаге; исключаемые и включаемые члены редколлегии могли быть перечислены поименно и т. д. и т. д. Но в том, что суть дела была именно такова и что вместе с тем означенное решение было строго секретным, доступным лишь самому узкому кругу высших чиновников в ЦК и в руководстве Союза писателей,— с несомненностью убеждают как события, происходившие в Бюро секретариата 2 и 3 февраля, так и весь последующий ход операции.

Действительно, все отмеченные выше странности в этом случае сразу получают вполне рациональное и простое объяснение.

[4] Кстати, тоже, как и Большов, приходящего не из «системы» Союза писателей.

Зачем нужна была «встреча» 2 февраля (о которой Твардовский не просил) и чем была вызвана «фединская жуть»? Она, очевидно, была заранее рассчитана как на больший, так и на меньший психологический эффект. Наиболее желательным был бы (уже в результате этого, без каких-либо дальнейших усилий) взрыв оскорбления и гнева Твардовского и тут же — его заявление об уходе. Но это было бы слишком хорошо, на худой же конец «встреча» должна была, как артподготовка перед атакой, ошеломить противника, лишить его внутреннего равновесия, а тем самым и силы сопротивления.

Почему заседание последовало сразу же за «встречей»? Потому что нельзя было дать противнику опомниться (а возможно, жестким был и предустановленный срок). Какую реальную цель оно преследовало? Чтобы, обсудив итог «встречи», Бюро могло тотчас сделать следующий ход. Здесь — объяснение странной, на первый взгляд, формулировки первого пункта повестки дня: «информация...» И здесь же — разрешение мнимого противоречия между «Слушали» и «Постановили». «Слушали» информацию о результатах применения одного вида оружия, «постановили» (в соответствии с утвержденной свыше диспозицией) применить другой: не теряя времени ударить по Твардовскому назначением к нему в заместители — без его согласия и даже ведома — некоего Большова, а также объявлением о предстоящем экстренном «укреплении» редакционного коллектива. Последнее, ко всему прочему,—силами комиссии, где его, Твардовского, голос будет уравновешиваться голосом какого-то проштрафившегося чиновника с телевидения, а решать будут Марков и Воронков!

Почему при этом упомянут и «аппарат редакции», хотя, как выяснится вскоре, рядовых сотрудников на этом этапе трогать не собирались и даже заинтересованы были в их удержании? Опять же для усиления психологического эффекта.

Почему в деле нет документов «комиссии»? Потому что если они и существовали, искать их нужно не в архиве Союза писателей, а в архиве ЦК КПСС.

Почему на заседании не было Большова? Потому что в его присутствии не было никакой нужды; ему в этом спектакле была назначена скромная роль фигуры без речей.

Почему, наконец, в протоколе не фигурировали ни те, кого решено было удалить из редколлегии, ни те, кто вводился на их места (хотя как о первых, так и о вторых на заседании, без сомнения, говорилось)? Потому что сохранялась надежда, что для желаемого воздействия на Твардовского хватит Большова и «комиссии». В этом случае незачем было перегибать палку. С уходом Твардовского и приходом Косолапова замены в редколлегии, во избежание нежелательного политического эффекта, было бы выгоднее провести не сразу и не одновременно, а исподволь и по одному. Ну, а уж если Твардовский продолжал бы упорствовать, перечни увольняемых и вводимых оставлялись как сильнодействующее оружие для следующего, третьего этапа...

Еще два замечания.

В свете изложенного рассмотренный нами протокол предстает как весьма любопытный документ, где явное и тайное, реальность и подлог весьма причудливо переплетаются между собою. В сущности, это псевдопротокол, поскольку его главная часть лишь оформляет в виде постановления Бюро секретариата то, что постановлено свыше, но не упоминает об этом; поскольку также само настоящее постановление принимается отнюдь не для того, чтобы его выполняли, а с совсем иной целью, неназываемой, но явной: заставить Твардовского уйти. Протокол, составленный в основном ради той «выписки из протокола», которая должна быть ему послана. Документ тайной политики, закулисных аппаратных махинаций, сознательно затемненный, о многом, в том числе главном, умалчивающий, но в то же время, будучи взятым в контексте других документов и фактов, с полной очевидностью обнаруживающий перед историком именно то, что призван был скрыть.

И последнее. Предложенный комментарий относился лишь к первому пункту повестки дня. Второй пункт касался взаимоотношений Союза писателей СССР с Европейским сообществом писателей (КОМЕС) — единственной весомой международной организацией, куда он был принят. На протяжении 60-х годов эти отношения, несмотря на предельную терпимость к нам со стороны руководства КОМЕС, не раз доходили до разрыва: в 1965—1966 гг. в связи с арестом и осуждением Синявского и Даниэля, в 1968 г.— после ввода войск в Чехословакию. Новые «враждебные акции руководства КОМЕС» были вызваны исключением Солженицына. О том, в чем они состояли и как Советская группа КОМЕС выполнила возложенное на нее в связи с этим поручение, наш читатель мог узнать из «Литературной газеты» за 18 февраля 1970 г.

В информации «В Бюро советской секции ЕСП» говорилось: «11 февраля состоялось заседание Бюро Советской секции Европейского сообщества писателей (КОМЕС), проходившее под председательством А. Суркова. Бюро обсудило ультимативное, предельно демагогическое письмо генерального секретаря ЕСП Дж. Вигорелли, направленное 14 января сего года ряду советских писателей. В письме, основанном на ложной информации, выражается протест против якобы имеющих место преследований А. Солженицына и содержится неуклюжая попытка «отграничить» позиции советских литераторов, членов ЕСП, от позиции Сою-

за писателей СССР». Ниже приводилась телеграмма, которую Бюро Советской секции ЕСП направило Вигорелли, заканчивающаяся заявлением: «Ваша позиция исключает возможность нашего дальнейшего сотрудничества с Вами». Рядом было помещено обширное «открытое письмо» Н. Грибачева тому же адресату (под заглавием «Слезы на экспорт»). Вот некоторые выдержки отсюда — характерные образчики тогдашней холопской публицистики.

«Господин Вигорелли, я имел честь получить Ваше письмо и текст так называемой «декларации» по «делу Солженицына». <...> Я не принимал непосредственного участия в решении по делу Солженицына, но, во-первых, я целиком это решение поддерживаю, а во-вторых, это решение было единодушно одобрено на писательских собраниях всех наших крупнейших организаций (читавшие предыдущую часть публикации знают, как обстояло дело в действительности.— **Ю. Б.**). Таким образом, в нашем союзе, объединенном добровольном, была соблюдена в полной мере процедура гласности и демократии. Однако, несмотря на это, в Вашей «декларации» с этаким дальним прицелом выражается надежда, что «в Советском Союзе писатели, достойные носить это имя, отмежуются от преступных действий аппарата Союза писателей». Боже мой, какой пафос, какой душераздирающий вопль оскорбленной добродетели!»

«В Вашей «декларации» не однажды упоминаются события в Чехословакии с присовокуплением словечка «оккупация», выражается протест против «восстановления сталинизма в стране» — имеется в виду Советский Союз. Но это и есть прямое вторжение в политику под дымовой завесой литературной фразеологии! ...Ваша «декларация» почти дословно повторяет формулы... которые систематически используются в целях антисоветизма пропагандистскими радиоцентрами «Голос Америки» и «Би-Би-Си»...»

«О Солженицыне собственно. Я не стану вдаваться в оценки «талантлив — не талантлив», поскольку расхожий термин этот частенько-таки употребляется для литературных мистификаций и спекуляций. <...> Может быть, г-н Вигорелли, он представляется Вам великаном на фоне современной итальянской литературы — тут Вам виднее! — но у нашей литературы свои оценки и свои традиции».

«И еще одно — Вы, господин Вигорелли, буквально льете слезы над судьбой Солженицына. Однако... все обстоит иначе: Солженицын имеет хорошую квартиру, жив, здоров; кроме того, как было гласно заявлено секретариатом правления Союза писателей РСФСР через «Литературную газету», никто не будет чинить ему препятствий, если Солженицын вздумает укрепить своей деятельностью итальянскую или какую-либо другую литературу. Все дороги открыты — в добрый час!»

Таким образом, второй своей частью рассматриваемый протокол как бы смыкал две важнейшие внутриполитические акции брежневского партийного руководства, обозначавшие, как верно расценил Вигорелли, «восстановление сталинизма в стране», окончательное удушение «перестройки» 60-х годов. В полной мере оправдывалась дневниковая запись Твардовского, сделанная 6 ноября 1969 г., на следующий день после известного читателю решения секретариата СП РСФСР: «...Все это идет «заподлицо» (то есть вровень.— **Ю. Б.**) — и моя судьба, и Солженицына, и «Н<ового> М<ира>».

Письмо Твардовского в секретариат правления Союза писателей СССР

4 февраля 1970 г. (оп. 37, пор. 364, л. 3; прил. к протоколу № 6-а)

От составителя. Как развиваются события дальше? В тот же день, 3 февраля, Воронков извещает Твардовского о решении Бюро. При этом, следуя принятому плану — действовать строго поэтапно, переходить к следующему этапу давления только после того, как станет ясна безрезультатность прежнего,— он первоначально сообщает лишь о назначении Большова, не упоминая о «комиссии» и ее задачах. И, кажется, эффект достигнут: первым движением души Твардовского было как раз то, на которое рассчитывали его противники. На следующий день утром он пишет в секретариат правления СП СССР письмо-протест (см. «Октябрь», 1990, № 2, с. 188), заканчивающееся заявлением об отставке.

Однако, вопреки мнению М. И. Твардовской, Александр Трифонович не отослал это заявление. В тот же день и по тому же адресу он направил два других письма, знаменовавших его решимость не сдаваться без борьбы. Основным из них было следующее.

В Секретариат Правления Союза писателей СССР

Вчера товарищ К. В. Воронков ознакомил меня с решением Бюро Секретариата, принятым без моего согласия и в мое отсутствие, о назначении первым заместителем главного редактора журнала «Новый мир» товарища Большова.

Не имея ничего против товарища Большова по той простой причине, что совершенно с ним не знаком, в глаза его не видел и даже не знаю его имени-отчества, тем не менее считаю этот факт беспрецедентным ущемлением прав главного редактора, носящим по отношению ко мне оскорбительный характер, и не могу не рассматривать его как прямое понуждение меня к отставке. Считаю действия Бюро Секретариата неправильными и обращаюсь с жалобой в ЦК КПСС.

А. Твардовский (подпись)
4 февраля 1970 года

Письмо Твардовского в секретариат правления Союза писателей СССР.

4 февраля 1970 г. (оп. 37, пор. 363, л. 2; прил. к протоколу № 5-а)

От составителя. Чтобы выбить из рук противников «Нового мира» главную козырную карту, которую они в этот момент разыгрывали,— возможность спекулировать на зарубежных публикациях поэмы «По праву памяти», Твардовский одновременно с вышеприведенным письмом пишет короткое, всего из двух фраз письмо в редакцию «Литературной газеты» (опубликовано там 11-го, а в части тиража — 18 февраля 1970 г.; см. также «Октябрь», 1990, № 2, с. 188) с осуждением таких публикаций, совершенных «в неполном или искаженном виде» и под «провокационным заглавием «Над прахом Сталина». Решительный противник подобных вынужденных «отмежеваний» (см., в частности, письмо к Федину — «Октябрь», 1990, № 2, с. 198—199), подтвердивший эту свою позицию и двумя днями раньше, Твардовский теперь — ради спасения журнала — делает шаг, который от него требуют. Подчеркивая это обстоятельство, он посылает письмо не в газету, а в Секретариат (подлинник — оп. 37, пор. 363, л. 3), сопроводив его письмом следующего содержания.

В Секретариат Правления Союза писателей СССР

Препровождая Секретариату мое письмо в редакцию «Литературной газеты», считаю своим долгом напомнить, что, как я и объяснял товарищам К. А. Федину и К. В. Воронкову в личной беседе, нахожу такую форму отповеди всем этим «Эспрессо», «Фигаро», «Посевам» наиболее слабой. Наиболее же действенной формой отповеди было бы, по моему глубокому убеждению, опубликование (после соответствующего обсуждения) самой моей поэмы в подлинном ее виде, что сводило бы на нет эффект провокационных попыток опозорить это мое произведение.

А. Твардовский (подпись)
4 февраля 1970 года

Заседание Бюро секретариата правления Союза писателей СССР

9 февраля 1970 г. (оп. 37, пор. 363, л. 1; протокол, полностью)

От составителя. Если бы описываемые действия руководителей Союза писателей не опирались на негласное решение ЦК, письма Твардовского поставили бы их в весьма трудное положение, заставили бы по крайней мере отсрочить разгром журнала. «Обращаюсь с жалобой в ЦК КПСС» означало апелляцию не к тому или иному высокопоставленному лицу, будь то Демичев или «сам» Суслов, но официальное обращение к «коллективному руководству» в целом. Реагировать на подобное обращение, следуя партийной норме (разумеется, постоянно нарушаемой по отношению к сотням тысяч рядовых жалобщиков, но ведь Твардовский не был рядовым и в должности главного редактора его, между прочим, утверждало именно «коллективное руководство»), должны были не иначе как Политбюро или Секретариат ЦК. Игнорировать все это, предпринимать какие-либо новые шаги против «Нового мира», не дожидаясь такой реакции,— никакое Бюро не осмелилось бы на подобную дерзость. И если оно, не моргнув глазом, идет дальше; если, увидев, что противник сопротивляется, оно тут же делает ответные ходы, заранее заготовленные для такого варианта развития событий, то отсюда следует только одно: обращение Твардовского предусмотрено и уже заранее отвергнуто «коллективным руководством», а Федину и Маркову выданы на сей счет твердые гарантии.

5 февраля. На заявление Твардовского Бюро ответило тем, что прислало в журнал выписку из своего постановления, содержавшую документальное подтверждение тому, что решение о назначении Большова неизменно, и — главное — новый удар по непокорному редактору: теперь он уже узнает и о создании «комиссии», которой поручено «в 3-х дневный срок» вообще изменить лицо журнала, переформировав не только его редколлегию, но даже и «аппарат редакции».

Может быть, хотя бы после этого Твардовский сдастся? Нет, он отвечает тем, что отсылает в ЦК вышеупомянутую «жалобу»; центральный ее пункт — постановка вопроса о доверии к нему как к редактору журнала. В тот же день его приглашают (заранее зная, что откажется) на заседание «комиссии» и вскоре извещают о выработанных ею предложениях.

Это уже апогей. Из состава редколлегии выводятся пять (из семи) ее действующих членов (оставлены только Е. Я. Дорош и М. Н. Хитров, позднее других утвержденные Секретариатом). В их числе — оба заместителя Твардовского, А. И. Кондратович и В. Я. Лакшин, многолетние ближайшие его сотрудники, вместе с ответственным секретарем М. Н. Хитровым составлявшие, как говаривал Александр Трифонович, «штаб» редакции. Увольнением И. И. Виноградова и А. М. Марьямова обезглавлены отделы критики и публицистики, непосредственно формулировавшие (и во многом определявшие) общественно-политическую и литературно-эстетическую программу «Нового мира». Увольняется личный друг поэта И. А. Сац, старейший сотрудник журнала, однажды уже изгнавшийся оттуда вместе с Твардовским в 1954 г.

Кто же вводится взамен? В качестве заместителей главного редактора — Большов и почти столь же малоизвестный О. П. Смирнов. Остальные... В. А. Косо-

лапов, директор издательства, с которым как раз в это время Твардовский ведет борьбу, не соглашаясь изъять из своего пятитомника высокие оценки творчества Солженицына. С. С. Наровчатов, поэт, в 60-е годы более известный своими критическими статьями (в частности в «Правде»), выбивавшими из тогдашней «молодой поэзии» дух вольнодумства и непослушания, — за что и удостоен был вскоре поста председателя Московской писательской организации. А. Е. Рекемчук, чья повесть «Молодо-зелено», дружно одобренная критикой, в «Новом мире», однако же, критиковалась за облегченное изображение жизни; в мае 1969 г. Секретариат уже предлагал Твардовскому ввести его в редколлегию, но встретил отказ.

Однако самое примечательное лицо в этом списке — А. И. Овчаренко. Не только потому, что это фигура попросту одиозная, литературовед (специалист по публицистике Горького 30-х годов) и критик отчетливо сталинистского толка, снискавший прочную репутацию одного из наиболее ярых врагов «Нового мира» и представляемого им критического направления в литературе. Не менее важно то обстоятельство, что это — человек, только что выступивший фактически с доносом на Твардовского. Всего за день до того, как Твардовский увидит это имя в списке новых членов редколлегии своего журнала, ему становится известно, что на проходившем 3 и 4 февраля пленуме комиссии по критике и литературоведению СП РСФСР этот самый Овчаренко охарактеризовал «По праву памяти» как произведение кулацкого содержания [5]. Поэту, чью поэму отказываются не только печатать, но и обсуждать (однако уже отдали на растерзание литературным шакалам), нанесено прямое оскорбление. И вот с человеком, взявшим на себя столь постыдную роль, с этим заведомым врагом ему предлагается работать!

Нет никаких сомнений в том, что все это было спланировано заранее, что Овчаренко выступал на пленуме, уже зная о том, что он назначен членом редколлегии «Нового мира». Более того, всего вероятнее, что и самый пленум, гвоздем которого должно было стать его выступление, решено было провести именно 3 и 4 февраля не без прямой увязки с планом, согласно которому Бюро секретариата СП СССР осуществляло кампанию по ликвидации журнала Твардовского. Как бы то ни было, извещая Твардовского о том, кого у него отбирают и кого дают взамен, руководители Союза писателей и их патроны из ЦК едва ли сомневались в том, что уж теперь-то он наконец потеряет самообладание и бросит им заявление об уходе.

Если бы эта провокация удалась, весь дальнейший ход операции можно было бы пустить по другому, более благоприятному для властей варианту. В этом случае оба списка, скорее всего, были бы на время положены под сукно: намечаемых к увольнению постарались бы даже попридержать, так чтобы они были вытеснены в разное время и по одному, вамен же поначалу можно было бы ввести, да и то необязательно сразу, одного товарища Большова, тем более что объявленное редакции решение о его назначении касалось покамест его одного. Журнал удалось бы тогда удушить почти бесшумно.

Увы, этим прекрасным надеждам не суждено было сбыться. Твардовский самообладания не потерял. Еще раз уведомил, что написал в ЦК, ждет ответа и ранее этого не уйдет, а назначаемых вопреки его воле членов редколлегии не пустит на порог редакции. Вместе с тем в ответ на продолжающееся наступление руководства Союза писателей и уступая настояниям некоторых друзей журнала, он 6—8 февраля пишет еще и лично Брежневу. Письмо это тут же доставлено главе государства, что также, безусловно, тотчас становится известно руководителям СП и также не оказывает ни малейшего влияния на их поведение: кампания по уничтожению «Нового мира» продолжается строго по плану. Значит, и такое развитие событий этим планом было предусмотрено. Как и было намечено ранее, в понедельник, 9 февраля, состоялось новое заседание Бюро секретариата.

Присутствовали: К. А. Федин, С. А. Баруздин, К. В. Воронков, С. В. Михалков, В. М. Озеров, Л. С. Соболев, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов, А. Б. Чаковский, К. Н. Яшен.

Председательствовал К. А. Федин.

Слушали: 1

О частичном изменении состава редколлегии журнала «Новый мир» (т. Воронков К. В.)

Постановили:

1. Освободить т. Кондратовича А. И. от обязанностей заместителя главного редактора и члена редколлегии журнала «Новый мир».

2. Утвердить т. Смирнова О. П. заместителем главного редактора и членом редколлегии журнала «Новый мир».

3. Освободить от обязанностей членов редколлегии и от работы в редакции журнала «Новый мир» тт.: Виноградова И. И., Лакшина В. Я., Сац<а> И. А.

4. Ввести в состав редколлегии журнала «Новый мир» тт. Косолапова В. А., Рекемчука А. Е., Овчаренко А. И.

Слушали: 2

Письмо А. Т. Твардовского в «Литературную газету» с протестом против опубликования его поэмы «По праву памяти» в ряде буржуазных западноевропейских изданий.

Постановили:

Рекомендовать редакции «Литературной газеты» опубликовать письмо А. Т. Твардовского в очередном номере газеты.

Председатель Конст. Федин (подпись)

[5] Печатный отчет об этом совещании («Литературная газета», 11 февраля, в одном номере с сообщением о смене редколлегии «Нового мира»), естественно, обошел выпад Овчаренко полным молчанием, но в писательских кругах о нем сразу же узнали многие.

От составителя. Обращают на себя внимание некоторые особенности публикуемого документа.

1. Список присутствовавших. В нем — всё те же лица, что и на предыдущем заседании Бюро. За тремя исключениями. Первое — Твардовский. На сей раз, получив приглашение, он не может отказаться присутствовать на заседании, где решается (в действительности давно закулисно решенная, но он об этом может только подозревать) судьба его журнала, судьба его товарищей, как он обычно говорил, «соредакторов». Устроителям же мероприятия необходимо (для печати) его имя в перечне «участников» принимаемого решения: пусть хотя бы часть читателей останется в убеждении, что перемены в редколлегии совершены с согласия Твардовского. Второе — отсутствует И. Абашидзе. Неоднократно печатавшийся в «Новом мире» и совсем недавно получивший от Александра Трифоновича теплое дружеское письмо (см. Собр. соч., т. 6, с. 291—292), он счел за лучшее уклониться от встречи с человеком, которого предал [6]. Третье — отсутствует представитель ЦК КПСС. Действительно, при чем тут ЦК? Писатели самостоятельно решают свои организационно-творческие вопросы... К тому же Твардовский может задать представителю неприятный вопрос о судьбе своего обращения к «коллективному руководству» и об отношении этого последнего к совершающемуся разгрому журнала.

2. Повестка дня. «О частичном изменении состава редколлегии...» Смесь лицемерия и издевательства в этом обозначении почти полной замены рабочей редколлегии журнала как «частичной». Впрочем, «частично» редколлегия уже изменена: введен не упоминаемый здесь Большов. (Кстати, его нет и на этом заседании, хотя как член «комиссии» он бы, кажется, должен тут быть. Но лучше без него обойтись, — ведь, чего доброго, Твардовский может поинтересоваться его «соображениями»...) И еще к теме «частичности»: как тогда было известно в редакции, к числу «освобождаемых» членов редколлегии первоначально был причислен и заведующий отделом публицистики А. М. Марьямов, а к числу вводимых — С. С. Наровчатов. В обстановке нарастающего волнения среди писательской общественности в связи с разбоем, творимым по отношению к журналу Твардовского, Наровчатов отказался войти в редколлегию. Его отказ, последовавший, насколько я знаю, уже после рассматриваемого заседания Бюро, но до публикации в «Литгазете», повлек за собой оставление в редколлегии Марьямова (через несколько дней он, а также Е. Я. Дорош и М. Н. Хитров вслед за Твардовским подадут заявления об уходе, вследствие чего в редколлегии вскоре останутся из прежнего состава лишь ее «почетные» члены: К. А. Федин, Ч. Айтматов, Р. Г. Гамзатов и А. А. Кулешов).

Что касается второго пункта повестки дня, то есть основания сомневаться в том, что он вообще фигурировал на заседании. Скорее, он был включен в протокол тогда же, когда были вычеркнуты Наровчатов и Марьямов, то есть задним числом (главным образом, вероятно, для того, чтобы мотивировать появление в «Литгазете» письма Твардовского, который туда непосредственно не обращался). В пользу такого предположения говорит и то обстоятельство, что докладчик по этому вопросу не обозначен.

3. Выступления. Нет не только стенограммы, но в отличие от предыдущего протокола и простого перечня выступавших. Однако что-то уже в тот же день становится известно. Известно, что заседание было кратким, что попытки Твардовского добиться рассмотрения вопроса по существу, то есть какого-то разговора о журнале и тем самым какого-либо объяснения, чем мотивирует Бюро смену редколлегии, наталкивались на глухую стену [7]. Известно заявление Твардовского, что он не признает принимаемого решения и продолжает ждать ответа от руководства партии. Передавалась ироническая реплика Чаковского: «Вы надеетесь на положительный ответ?» Если бы исход дела не был со стопроцентной гарантией известен ему заранее, он никогда не задал бы такого вопроса. Но он знает и не может отказать себе в удовольствии посмеяться над бессилием поверженного врага.

Постановление принято и записано в протокол — разумеется, без упоминания о протесте Твардовского. Теперь руководству Союза писателей и тем, чью волю оно с готовностью выполняет, важно придать своему решению необратимость. Не дать писательской (и иной) общественности опомниться, — а она еще есть, еще не распылена и не подавлена до конца, как будет несколько лет спустя, и хоть ни на что серьезное она подняться не в состоянии, все же может произвести какой-то нежелательный шум. Поэтому сообщение об этом решении мгновенно (или заранее?) поставлено в уже подписанный номер «Литгазеты», который дол-

[6] Воспроизведя это письмо в своем мемуарном очерке «Первая встреча» (см. «Воспоминания об А. Твардовском», 2-е изд., М., 1982), И. Абашидзе ни словом не упомянул о своей роли в описываемых событиях.

[7] Замечу кстати, что в начале июня 1969 г., когда Демичев и руководство Союза писателей особенно настойчиво подталкивали Твардовского к отставке, он в ответ поставил перед Бюро секретариата вопрос о новом обсуждении «Нового мира». Но многоопытные литературные чиновники, понимавшие, что любое такое обсуждение только продлило бы жизнь враждебному журналу, и тогда постарались от этого уклониться.

жен прийти к подписчикам через день, в среду, а в редакции появится уже назавтра.

В тот же день и во вторник две группы известных писателей, понимающих роковой для литературы смысл разгрома «Нового мира», просят срочного приема: одна — у Брежнева, другая — у председателя Президиума Верховного Совета Подгорного. Им не отказывают, даже как бы изъявляют готовность их принять, но тянут время и в конце концов не принимают. Никакого ответа на свои обращения к партийному руководству не получает по-прежнему и Твардовский. Между тем после некоторых дополнительных манипуляций с текстом сообщения (в котором, между прочим, два заседания Бюро были слиты в одно, что позволило скрыть неучастие в первом из них Твардовского да и весь реальный ход событий) машины типографии «Литературной газеты» уже выталкивают на ленту транспортера первые сотни экземпляров.

Все кончено. Современному молодому человеку, которого ие изумляют ни миллионные тиражи «Архипелага ГУЛАГа», ни многотысячные демонстрации под антиправительственными лозунгами на московских улицах и площадях, наверное, нелегко перенестись мыслью на двадцать лет назад, в политическую обстановку, диаметрально противоположную нынешней. А в тогдашних условиях маленькое сообщение в печати (где, по давней традиции, все наиболее значительное подавалось как мелочь, зато многое пустяковое — как событие всемирно-исторического масштаба) означало к о н е ц. Коиец не только «Нового мира» Твардовского, но и целой эпохи литературного и общественного развития в нашей стране.

В этих условиях единственное, что оставалось сделать Твардовскому, было немедленно уйти. И на следующий же день после появления сообщения в «Литгазете» он подает заявление об отставке.

Заявление Твардовского

(оп. 37, пор. 364, л. 2)

12 февраля 1970 г.

В Секретариат Правления
Союза писателей СССР

В связи с тем, что, несмотря на мои неоднократные устные и письменные протесты против иазначения, помимо моей воли, иовой редколлегии журнала «Новый мир», которое носит оскорбительный для меня характер <такое назначение тем не менее состоялось>, вынужден просить об отставке с поста главного редактора журнала.

Прошу принять от меня журнал и снять мою подпись с последней страницы второй (февральской) книжки.

А. Твардовский (подпись)

От составителя. О том, в каком состоянии души писались эти строки, может быть, лучше всего говорит то, что Твардовский, прекрасный стилист, чьи письма — образец отточенной прозы, не заметил выпадения из первой фразы подразумеваемых и синтаксически необходимых слов (они вставлены в угловых скобках). Но тем, в чьих руках оказался этот документ, один из самых трагических в истории отечественной журналистики и литературы, его синтаксис нисколько не важен, а выразившееся в нем душевное состояние автора не способно вызвать у них ни малейшего сочувствия. Они достигли своей цели. Вот оно, желанное заявление Твардовского, которого так долго добивались и руководители Союза писателей, и «руководители партии и правительства»! Правда, оно такого содержания, что придется держать его в тайне, но так или иначе цель достигнута, и нужно, не теряя времени, сделать заключительный шаг.

Заседание секретариата правлеиия Союза писателей СССР

13 февраля 1970 г. (оп. 37, пор. 364, л. 1; протокол № 6-а, полностью)

Присутствовали: тт. Федин К. А., Воронков К. В., Михалков С. В., Соболев Л. С., Тихонов Н. С., Чаковский А. Б., Яшен К. Н.

Слушали: Заявление А. Т. Твардовского.

Постановили:

1. Удовлетворить просьбу А. Т. Твардовского и освободить его от обязанностей главного редактора и члеиа редколлегии журнала «Новый мир».
2. Утвердить главным редактором журнала «Новый мир» тов. Косолапова Валерия Алексеевича.
3. Поручить тов. Воронкову К. В. согласовать настоящее решение в рабочем порядке с секретарями правления Союза писателей СССР.

Председатель Конст. Федин (подпись)
(Виза:) К. Воронков (подпись)
13.11.70 г.

От составителя. Если предыдущий документ трагичен, то этот — откровенно циничен. «Не замечая» мотивов, по которым Твардовский подает свое заявление, ни единым словом не отзываясь на его протест, Бюро с видимой бесстрастностью «удовлетворяет просьбу». А Косолапова, скромно стоявшего в списке «рядовых» членов редколлегии за спинами Большова и Смирнова, выводит вперед и ставит во главу журнала. Как первое, так и второе совершается без каких-либо признаков обсуждения вопроса, а редакция пункта третьего, предусматривающего «согласование» принятого решения с остальными секретарями, не допускает и мысли о возможности его пересмотра: по сути дела, предполагается не более как простое уведомление отсутствовавших [8].

[8] Судя по документам архива, единственным, с кем «согласование» прошло не совсем гладко, был К. М. Симонов. К протоколу приложеио его письмо в Бюро (л. 5) с сопроводительной запиской иа имя Воронкова (л. 4).

Уважаемый Константин Васильевич!
Посылаю Вам письменный ответ иа тот вопрос, иа который я уже ответил Вам устно.
Уважающий Вас
Константин Симонов (подпись)

Если бы нужны были дополнительиые доказательства тому, что к моменту подачи своего заявления Твардовский был давно уже снят, а главный редактор на его место столь же давно назначен, то они — в рассматриваемом документе, весь облик которого говорит об одном: заседание носит чисто ритуальиый, «оформительский» характер.

В этой связи обращает на себя внимание прежде всего малочислениость участников: если вопрос о первом заместителе главного редактора «Нового мира» решают десять секретарей правления СП, то вопрос о главном редакторе — всего семь. Далее. То, что тут нет Твардовского, понятно: он бы сюда не пришел, даже если бы получил приглашение. Тем более что его еще накануне (!) известили, что его отставка принимается. Но замечательно отсутствие Косолапова. Можно ли объяснить это иначе как тем, что его назначение уже состоялось в совсем других стенах; здесь же совершается лишь формальное «утверждение», которое может происходить и заочно? Наконец, столь же показательно отсутствие представителя ЦК. Действительно, зачем отрываться от дел, чтобы освятить своим присутствием чисто техническое мероприятие, проводимое в подведомственном учреждении надежными и опытными, многократно проверенными подчиненными?

Для сравнения. В промежутке между заседаниями 9 и 13 февраля Бюро секретариата решило «в рабочем порядке» ряд вопросов, в числе которых был и вопрос «Об утверждении т. Кондратовича А. И. консультантом — заведующим отделом журнала «Советская литература на иностранных языках» и об утверждении т. Лакшина В. Я. консультантом журнала «Иностранная литература» (оп. 37, пор. 362, л. 4). Принятое 11 февраля опросом («за» — Озеров, Воронков, Баруздин; «против» — никого), решение это было, как сказано в документе, «согласовано с отделами ЦК КПСС, тт. Дангуловым, Федоренко, Грачевым» (там же, л. 15). Что назначение Кондратовича согласовано с главным редактором «Советской литературы...» С. А. Дангуловым и назначение Лакшина — с главным редактором «Иностранной литературы» Н. Т. Федоренко,— это естественно, это норма (с особой рельефностью оттеняющая тот факт, что с Твардовским и не думали согласовывать смену редколлегии его журнала); что оно согласовано с Л. П. Грачевым, директором издательства «Известия», в котором выходят названные издания,— естественно тоже; что оно «согласовано с отделами ЦК КПСС»,— хотя и неестественно, но понятно. Однако почему в архиве правления СП СССР нет никаких следов такого согласования ни по отношению к Косолапову, ни по отношению к Большову, также ведь переведенных с одной работы на другую? Ответ очевиден: потому что и тот и другой назначались на свои новые должности органом, чьи решения не требовали никакого согласования, а исполнение которых обеспечивалось как раз теми самыми отделами ЦК, без привлечения к этому делу секретариата Союза писателей.

Все заседание, посвященное замене главного редактора «Нового мира» (по крайней мере та его часть, что отразилась в протоколе), заняло, вероятно, не более 10—15 минут. Правда, после этого пройдет еще целых 12 дней, прежде чем 25 февраля Твардовскому будет официально объявлено, что его «просьба» удовлетворена и что главным редактором назначен Косолапов. Но эта задержка (возможно, тоже заранее запланированная, чтобы — когда дело уже сделано — не шокировать общественность неприличной поспешностью, а создать впечатление, что в руководстве Союза писателей и «выше» еще «думают», что решение судьбы Твардовского дается им не без труда) имела лишь то значение, что каждый из этих жестоких февральских дней отнимал у Александра Трифоновича по целому году жизни.

Руководство партии не ответило Твардовскому вообще, что, впрочем, само по себе явилось вполне красноречивым ответом.

Твардовский был единственным в советской истории редактором, которому дважды в жизни пришлось не по своей воле покидать руководимый им журнал. Первый раз это произошло в июле — августе 1954-го, второй — полтора десятилетия спустя, в феврале 1970 года. Оба раза это был «Новый мир», в том и в другом случае ставший при нем лучшим (что, как мы видели, признавалось даже

14.11—70

В Бюро Секретариата СП СССР

Уважаемые товарищи!

Вчера. К. В. Вороиков поставил передо мной, как одним из секретарей Правления, вопрос: согласен ли я иа утверждение В. А. Косолапова главным редактором «Нового мира».

Раз А. Т. Твардовский, после предыдущего заседания Бюро, счел себя вынужденным подать заявлеине об уходе с поста главного редактора «Нового мира»,— и я не допускаю, что, подав такое заявлеиие, он может взять его обратио, стало быть, журнал должен иметь иового редактора.

Оставаясь по поводу всего предыдущего при своем мнении, изложенном в письме секретарям Правлеиия от 12.11.1970 (в делах Секретариата это письмо не обнаружено.— Ю. Б.), но в то же время ие имея причин голосовать персоиально против В. А. Косолапова, прошу считать меня воздержавшимся при голосоваиии этой второй половины того вопроса, первая половииа которого решалась без моего участия.

С товарищеским приветом
Константии Симонов (подпись)

14.11.70

Судя по этому письму, «согласовывался» только пункт, касающийся Косолапова, который по прежней своей должиости был тогда фигурой нейтральиой и всех более или менее устраивающей. Примечательно и отсутствие подобного пункта в двух предыдущих постановлеииях Бюро по «Новому миру»: возможио, не только Симоиов, но и другие секретари Союза писателей воздержались бы от поддержки иазначеиия Большова и разгрома редколлегии журиала.

врагами) из русских литературных журналов своего времени; оба раза изгнание Твардовского нанесло тяжкий урон литературному развитию, притом во втором случае, когда удар оказался особенно жестоким и непоправимым, его жертвой стала уже не только литература, но общество в целом. Документы архива Союза писателей немало дают для прояснения исторического смысла как сходства, так и различия этих двух «уходов Твардовского».

Сначала о сходстве.

Оба раза вопрос об удалении Твардовского решался в Центральном Комитете партии, причем и в том и в другом случае на уровне «коллективного руководства» (в первый раз это было постановление ЦК КПСС от 23 июля 1954 г.). Оба раза,— в отличие от ждановского «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946),— это были закрытые постановления, почему и потребовалось оформить их в виде соответствующих решений руководства Союза писателей (в первый раз — постановления правления СП СССР от 11 августа 1954 г.). Оба раза Твардовский обращался к «руководителям партии и правительства» и оба раза его голос ударялся о глухую стену. Эти черты сходства достаточно говорят о том, что в 1970 г. «партийное руководство литературой» имело в принципе тот же характер и смысл, что и в 1954 г., на выходе из сталинской эпохи.

Однако не менее знаменательны и отличия.

Различие прежде всего в степени закрытости, в сгущении тайны. В 1954 г. снятию Твардовского предшествовала шумная кампания против «Нового мира» в партийной и литературной печати с предъявлением журналу прямых политических обвинений. Так, в редакционной статье журнала «Коммунист» опубликование критических статей В. Померанцева, М. Лифшица, Ф. Абрамова и М. Щеглова квалифицировалось как «рецидив антимарксистской трактовки основных вопросов эстетики», проявление «грубых политических ошибок редколлегии «Нового мира», предоставившей страницы журнала для выпадов против идеологических основ советской литературы» (1954, № 9, с. 25). В том же духе писала о «Новом мире» и «Правда», где в статье А. Суркова, в тот момент первого лица в руководстве Союза писателей, в частности, говорилось: «Вредное выступление Померанцева направлено по сути против основ нашей литературы... против ее коммунистической идейности, против ленинского принципа партийности литературы, против важнейших требований социалистического реализма» (1954, 25 мая). Разгрому же «Нового мира» в 1970 г. предшествовали 3—4 месяца относительного затишья, на протяжении которых противники журнала вырабатывали новую диспозицию после массированной, но безрезультатной атаки на него летом 1969 г. (характерно, что ни в одном из официальных документов, которыми сопровождалось исключение Солженицына, «Новый мир» не был упомянут ни разу); в полной тишине, без какого-либо обсуждения деятельности журнала совершен был и самый разгром.

В 1954 г. Твардовского дважды вызывают в ЦК: первый раз до принятия постановления (к секретарю ЦК КПСС Поспелову, «готовившему вопрос» для Президиума ЦК), второй — для ознакомления с уже принятым постановлением. А в 70-м дом на Старой площади как будто вымер, из него ни звука о решении, принятом «руководителями партии и правительства», Твардовский может только догадываться.

В 1954 г. воля партийного руководства доводится до сведения не только секретариата, но и всего правления СП СССР (правда, без оглашения пункта, касавшегося запрещенного к печати первого варианта поэмы «Теркин на том свете»). Это достаточно многолюдное собрание (около 80 человек), которое стенографируется (см. протокол № 7 за 1954 г.) и по итогам которого публикуется не только коммюнике с извещением о снятии Твардовского и назначении Симонова, но и о содержании прений («Литературная газета», 1954, 11 и 17 августа). Как обстояло дело в 1970 г.— нет нужды повторяться. Какое-то «бюро секретариата» в составе девяти человек, малозаметная информация о «частичной» смене редколлегии, об уходе же Твардовского и вообще ни слова...

О чем свидетельствует эта разница? Я думаю, только об одном: о том, что в 1970 г. партийное руководство чувствовало себя гораздо менее уверенно, чем за 15 лет до этого. Власть продолжала находиться в его руках, но у нее уже не было прежнего общественного авторитета. В том же смысле показательно и различие реакций: в 1954 г. писательская общественность никак вслух не выразила своего отношения к разгрому «Нового мира»; в 1970 г., хотя гражданский подъем конца 50-х — первой половины 60-х годов уже спал и в интеллигенции преобладали настроения подавленности и уныния, акция руководства вызывает с ее стороны безусловное осуждение, пишутся коллективные и индивидуальные письма Брежневу, Подгорному, Косыгину, нередки случаи демонстративного прекращения сотрудничества в обезглавленном журнале. По-иному ведет себя и сам Твардовский: если в 1954 г. он в конце концов в порядке партийной дисциплины выступил на упомянутом заседании правления с признанием «правильности» решения ЦК, то в 70-м — ушел не склонив головы, с гневным и решительным заявлением протеста. И уже никакая партийная дисциплина не заставила бы его поступить иначе.

Послесловие

Итак, секретариат правления Союза писателей (СССР и РСФСР) против Твардовского, Солженицына и «Нового мира». Вот общее содержание этой публикации, четыре части которой как четыре акта классической драмы, где сам характер соприкоснувшихся между собою сил предопределяет непреложную необходимость именно такого развития и разрешения конфликта.

Но почему же все-таки против? Почему руководство Союза писателей — вместо того, чтобы гордиться двумя выдающимися членами этой организации и ее, по общему признанию, наиболее авторитетным печатным органом,— вступило с ними сначала в противоборство, а затем и в войну на уничтожение?

Ответ на этот вопрос нужно, пожалуй, начать с раскрытия псевдонима, каковым является постоянно встречающееся здесь словосочетание «секретариат правления Союза писателей».

В самом деле. Согласно прямому смыслу слов, «правление» есть то, что правит, «секретариат» же — не более как рабочий орган правления, создаваемый последним себе в помощь для того, чтобы с организационно-технической стороны обеспечить выполнение правлением его руководящих функций. В действительности же совсем наоборот. Правление Союза писателей, созываемое крайне редко, ничем не правит и не руководит, все это делает именно секретариат (почему в нашей публикации его, как правило, и пишут с заглавной буквы). Формально правление, будучи избрано съездом, в свою очередь, избирает из своей среды секретариат; на деле, напротив, секретариат заранее подбирает и утверждает в «инстанциях» (то есть в ЦК) состав и правления, и «нового» секретариата, так что те и другие выборы чисто ритуальны [1]. Поскольку правление рождается только затем, чтобы тут же умереть, передав всю свою силу секретариату, то в предлагаемой публикации нередко и говорят и пишут просто: «Секретариат Союза писателей».

Но если «секретариат правления» — это и есть Правление в настоящем смысле слова, псевдоним реального СП, то и «Союз писателей» — тоже ведь, при ближайшем рассмотрении, своего рода псевдоним, термин, словесная форма которого заведомо неадекватна его истинному содержанию.

Действительно, о каком союзе речь? О союзе Платонова с Ермиловым, Гроссмана с Кожевниковым, Твардовского с Марковым или Чаковским? О союзе талантов и бездарностей, гонителей и гонимых, о союзе людей, чьи общественные взгляды и художественные вкусы были и остаются во многих случаях полярно противоположными, а взаимоотношения — такими, что они никогда не подали бы руки друг другу? Впрочем, чтобы не отнимать время излишне подробным доказательством очевидного, обратим внимание лишь на исходный пункт, на само образование нашего «союза».

Союзы (без кавычек) создаются — вполне добровольно и самостоятельно — теми, кто по каким-то причинам пожелал вступить друг с другом в подобный союз. «Союз писателей» образовался, как известно, иначе. В 1932 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», которым распустил все ранее существовавшие творческие объединения писателей, подчас весьма сильно различавшиеся по своим идейно-эстетическим и организационным принципам, и повелел учредить единый Союз советских писателей, с единым руководством (формально — избираемым его членами, а фактически назначаемым «партией») и с общеобязательным для всех «творческим методом».

Напрасно было бы искать решению ЦК какое бы то ни было правовое, конституционное обоснование: предпринятая им «сплошная коллективизация» в литературе была таким же сугубо волевым актом, как и начавшаяся несколько раньше «социалистическая перестройка деревни». Во многом сходным был и результат: подобно крестьянам, писатели оказались в полной зависимости от государства.

Механизм такой зависимости был эффективен и прост. Все литературные журналы и газеты — органы Союза писателей (читай: государства); их редакторы назначаются и смещаются руководством Союза (а реально опять-таки государством или «партией», что, впрочем, одно и то же). Хочешь печататься — выполняй предъявляемые ими идеологические требования, одинаковые для всей советской печати. Можешь, конечно, писать «в стол», но за это не платят, а остроумно устроенная связь между членством в Союзе писателей и Литфонде делает твою идейно-материальную зависимость едва ли не стопроцентной.

Называть все это «творческим союзом» можно было только в насмешку или обманывая простаков. В действительности же, как уже кем-то сказано в печати, это было (и есть) скорее Министерство литературы СССР (в сочетании с отраслевым профсоюзом в лице Литфонда). Как во всяком министерстве, были здесь министр (первый секретарь правления) [2] и коллегия министерства (секретариат), были подведомственные учреждения (ме-

[1] Я здесь оставляю в стороне то обстоятельство, что «избрание» в «правление» бывало не только почетным, но и не безвыгодным тем, кто туда попадал.

[2] Характерная деталь: подобно руководителям союзных министерств все первые секретари правления СП СССР, начиная с Фадеева и кончая Карповым (за исключением «беспартийного» Федина), обязательно становились — по должности — членами ЦК КПСС.

стные отделения Союза) со своими руководителями, более низшего ранга, и естественно, масса рядовых работников. И, как каждому министерству, ему вменялось в обязанность выполнение определенных государственных функций.

В чем заключались эти функции, опять-таки достаточно хорошо известно. Главная задача советской литературы состояла в том, чтобы воспевать социалистическую действительность, утверждать «советский» (еще один псевдоним), государственный и общественный строй. И не следует думать, будто это была какая-то второстепенная задача. Как мне уже приходилось писать в связи с темой цензуры [3], реальные черты тоталитарной системы таковы, что расправить их могли только кривые зеркала. Чтобы придать себе видимое благообразие, оправдаться в глазах общества, успокоить его нравственное чувство, она вынуждена окружать себя своего рода «легендой о действительности», тщательно разработанной, распространяющейся на все области жизни, притом не только на будущее, но и на прошлое. Не создав такой «легенды» и не позаботившись о том, чтобы методически, изо дня в день втеснять ее в сознание масс, подобный строй просто не мог бы существовать, как не мог он существовать, например, без централизованного управления тотально огосударствленной экономикой, без КГБ и пр.

Разумеется, и в самой сфере общественной дезинформации наблюдалось свое разделение труда. Если партийное обществоведение давало совокупность трактовок и формул, составлявших концептуальную основу упомянутой «легенды», если газеты и радио поставляли подходящие «факты из жизни», призванные ее иллюстрировать и подтверждать, то литература средствами художественно-образного обобщения должна была придать ей ту ничем не заменимую ощутимость и убедительность, на какую способно только искусство.

Мобилизовать писателей на выполнение этой, именно этой задачи как раз и призван был Союз писателей, для того-то он и был создан товарищем Сталиным. А роль секретариата правления заключалась в том, чтобы все это практически организовать.

Беда, однако, в том, что, в отличие, допустим, от министерств станкостроения или авиационной промышленности, более или менее успешно (насколько позволяла командно-административная система) организовывавших выпуск соответствующей продукции, литература — такая область производства, в которой невозможно что-либо организовать, кроме конъюнктурной, идейно выдержанной серости. Твардовский, всегда очень скептически относившийся к организаторской деятельности писательского руководства [4], выразил это сценой «Теркина на том свете», где

С гордой истовостью лиц
Обсудить проект романа
Члены некие сошлись.
Этим членам все известно,
Что в романе быть должно,
И чему какое место —
Наперед отведено.
Изложив свои наметки,
Утверждают по томам...

А в результате (это уже из «За далью — даль») —

Глядишь — роман, и все в порядке.
Показан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед.
Она и он — передовые.
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал.
И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть.
А в целом вот как несъедобно,
Что в голос хочется завыть.

Вероятно, и сами руководители Союза писателей в глубине души сознавали, что в созидательном плане их воздействие на литературу не может быть сколько-нибудь значительным. Поэтому, исправно занимаясь такой деятельностью, проводя то совещание по очерку, то пленум по драматургии, то собрание по детской литературе, то семинар по рабочей теме и т. д. и т. п., они скорее соблюдали некий обязательный ритуал, а реальную свою роль видели главным образом в том, что менее всего хотели бы афишировать и что Солженицын, слегка перефразируя Щедрина, определил словами: «держать и не пущать». То есть в исполнении функций преимущественно цензорного, надзирательского, полицейского порядка. Контролировали редакторов подведомственных изданий, взаимодействовали с Главлитом, наставляли инакопишущих, вычеркивали их книги из издательских планов, а в «необходимых» случаях переходили и к более жестким карам — прорабатывали, исключали и разгоняли.

Пользуясь военным языком, широко употребительным в условиях, где «к штыку приравняли перо», форма единого, централизованно управляемого Союза писателей и в данном отношении была очень удачной, так как позволяла «господствовать над местностью», открывала чрезвычайно благоприятный «обзор и обстрел»,— что также, конечно, учитывалось при его создании.

Понятно, что для исполнения такого рода функций требовались и соответствующие кадры. Как правило, это были писатели (хотя один из важнейших постов — оргсекретаря — обычно замещался партийным функционером), но писате-

[3] См. «Литературная газета», 1990, 22 августа.

[4] Показательна угрюмая реплика, которой он отозвался на толки своих коллег по Секретариату, когда обсуждался вопрос, в какой форме Союзу писателей надлежит откликнуться на упоминавшуюся «встречу руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства» (март 1963 г.),— провести ли пленум Правления, общемосковское собрание писателей или какое-либо другое столь же масштабное заседание. «Пленум, совещание — это не единственная и самая могучая форма отклика на событие... Нужно учитывать, что писателям надо и писать» (оп. 36, пор. 4, л. 15). Естественно, пропустили мимо ушей, собрали пленум.

ли, либо принесшие свой талант в жертву (Фадеев), либо успевшие его растерять (Тихонов, Федин), либо и изначально обладавшие достаточно скромным дарованием (Михалков, Сурков, Соболев), либо просто неталантливые (Марков, Сартаков, Чаковский, Карпов и др.). Правда, для придания Секретариату какого-то веса, в него нередко вводились и подлинно крупные художники, в том числе Шолохов и Твардовский, но всегда лишь в качестве «почетных членов», никогда — на ключевые посты (вспомнить хотя бы состав «бюро секретариата» в 1967—1970 гг.). Сами по большей части творчески бесплодные, реальные руководители Союза и в других не любили талант, не дорожили им, скорее, напротив, всегда готовы были отнестись к нему с предубеждением и подозрением,— вообще говоря, небезосновательным, ибо талант неотделим от самостоятельности, от свободы, а они тоталитарному режиму чужеродны и опасны.

Мне думается, читатель предложенной публикации уловит различия в характерах и не отождествит формы поведения, например, Салынского и Грибачева, Симонова и Воронкова, Гранина и Соболева. Но помимо ряда индивидуальных портретов, среди которых, быть может, особенно богат красками портрет Федина, со страниц этих протоколов и стенограмм встает и некий общий, во всяком случае преобладающий нравственно-психологический тип. Тип литературного сановника, карьериста и изворотливого демагога, глухого ко всему, что ему невыгодно слышать, и без тени смущения говорящего заведомую неправду, способного по нужде изобразить на лице и в голосе что угодно: восхищение и негодование, уважение и обиду, растерянность и пафос,— но при этом внутренне равнодушного и холодного, безразличного и к литературе, и к народу, и к тем идеалам, от имени которых он выступает, всерьез же знающего для себя лишь один безусловный резон — волю начальства (и связанный с этим собственный корыстный интерес), всегда безошибочно настроенного только на эту волну и мгновенно, без всякого усилия над собой перестраивающегося соответственно любым изменениям официального курса. Это очень страшный и очень живучий тип. Не знаю, как воспримет читатель, у меня же, когда я переписывал эти стенограммы, а затем готовил их к печати, много раз вновь и вновь стучало в мозгу:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи...

Я думаю, что те, кому Лермонтов бросил в лицо эти строки, не в большей мере заслужили их, чем те, кто в иное время и на иной манер убивал славу и гордость нашей литературы.

Это — что касается одной из двух противоборствующих сторон. Другую составляют «Новый мир» Твардовского и его непокладистый автор.

Что собой представлял «Новый мир» при Твардовском? В чем источник и смысл того особого положения, которое он занял в литературе советских 60-х годов? Каково его место и значение в нашей истории? Приведенные документы вплотную подводят нас к ответу на эти вопросы.

Прежде всего — благодаря самому Твардовскому, который в своем выступлении на обсуждении журнала четко, без дипломатических экивоков очерчивает ситуацию:

«В самом деле, что же мы такое — «Новый мир»? Что это за журнал? С одной стороны, очевиден факт, что по крайней мере две трети художественных произведений, привлекавших в последнее время самый широкий читательский интерес и составляющих неотъемлемую часть того, чем в нашей литературе вправе гордиться общество, появилось на страницах «Нового мира». <...> С другой стороны, деятельность этого журнала как в печати, так и в устных публичных высказываниях характеризуется как порочная, очернительская... Журнал публикует как на подбор вещи сомнительные, принижающие нашу действительность, ориентирует на Запад...» (8, 180) [5].

Проблема поставлена. Как разрешат ее его собеседники? Наиболее содержательным в этом отношении нужно признать выступление Чаковского. В отличие от своих коллег, большинство из которых лишь на различном материале и в разных выражениях, со все новыми оттенками воспроизводят те же обвинения журналу, на которые указал Твардовский, редактор «Литгазеты» прямо и недвусмысленно обнажает их политический подтекст: «Я думаю, главный недостаток журнала даже не в том, публикует ли «Новый мир» произведения, описывающие теневые стороны нашей жизни, или не публикует. Это мне кажется лишь следствием реализации определенных принципов, результатом суммы взглядов редакции, не просто литературных... Давайте возьмем трактовку в вашем <журнале> вопроса о правде. Вообще говоря, согласитесь, что было бы очень наивно для людей, которые чему-то учились в политике, в общественной жизни, считать, что неоднократное возвращение к этому понятию редакционных работников и авторов статей преследует только творческие, только литературные цели. Я думаю, что речь идет о другом... «Новый мир» этим самым, вольно или невольно, создает психологию ситуации, в которой писатель — слуга факта, поборник правды» противопоставляется «конформисту, человеку, отбирающему из реальной действительности то, что выгодно власти» (8, 187).

И далее: «Неправильность заключается в том, что объективно вы противопоставляете правду, пропагандируемую «Новым

[5] При ссылках на настоящую публикацию первая цифра обозначает номер «Октября», вторая — страницу.

миром», некоей официальной правде, которая выражается в наших статьях, в газетах, в партийных выступлениях, в речах руководителей и т. д.» (8,187).

Прошу прощения за обширную цитацию, но это самое важное из того, что смогли ответить Твардовскому его оппоненты. Сказанные под стенограмму, слова эти в тогдашних условиях звучали, конечно, прямым доносом (с которым последующие ораторы, за исключением Суркова, в сущности, молчаливо солидаризировались). Однако справедливость требует сказать, что в доносе этом нет оговора: суть дела Чаковский фиксирует вполне точно. Более, на мой взгляд, точно и проницательно, чем о том же самом в дальнейшем говорили и говорят некоторые из «редакционных работников и авторов» журнала (например, Ю. Трифонов, И. Виноградов), убежденные, что «Новый мир» погубили главным образом писатели — те из них, кого он не печатал, а своей критикой лишал престижа и покоя. Доля истины в таких суждениях есть, но все же не главная доля. Нет, его с неизбежностью должно было погубить именно постоянное и все углубляющееся несоответствие той правды, которую нес «Новый мир», «официальной правде», выражавшейся как в «речах руководителей», так и в литературе, которая отбирала «из реальной действительности то, что выгодно власти».

Чем было вызвано указанное несоответствие? В трактовке Чаковского (почему она и отдавала доносом) оно объявлялось исключительно «результатом суммы взглядов редакции», злокозненностью ее «целей». Сегодня такое объяснение звучит уже как комплимент, превращая Твардовского и его соредакторов в сознательных и последовательных — тогда еще! — борцов против строя, который мы теперь дружно осуждаем. В действительности дело обстояло намного сложнее, и чтобы понять эту сложность, нужно достаточно ясно различать в борьбе, которую вел «Новый мир», две стороны — объективную и субъективную.

Объективная сторона состояла в том, что журнал говорил правду о советской действительности и уже в силу этого, независимо от своих намерений, не мог не вступать в противоречие с той «легендой», на которой, как уже говорилось, в значительной мере держалась тоталитарная система. Конечно, журнал велся отнюдь не бессознательно, но все же ведь редакция сама не писала ни романов, ни повестей, ни мемуаров,— она лишь открывала им дорогу в печать. Не ее вина, что характер изображаемой действительности был таков, что чем точнее и полнее оказывалось ее литературное изображение, тем больше оснований для недовольства и тревоги давало оно литературным надзирателям. Не ее вина, что почти всякая талантливая, то есть художественно правдивая книга в тот момент уже сама собой оказывалась объективно оппозиционной. Талантливых же и вместе с тем охранительных по своему смыслу произведений просто не существовало в природе.

Исходная установка «Нового мира», источником которой в решающей мере был сам Твардовский,— это была установка отнюдь не на оппозицию режиму и обслуживавшей его партийной идеологии. Это была «всего лишь» установка на художественность, строгая взыскательность к художественному качеству публикуемых произведений. А художественность неотделима от искренности в искусстве — в этом Твардовский был убежден по крайней мере с 1953 г., когда напечатал статью В. Померанцева «Об искренности в литературе», за которую (одно из главных обвинений) его первый раз изгоняли из «Нового мира». А без художественности и искренности нет и правды — главного для Твардовского критерия ценности литературного произведения.

Вот, пожалуй, и все, чего поначалу хотела редакция, но на этом она стояла твердо. Если бы этого не было, не было бы ничего из того, что зовется «Новым миром». Если бы журнал с такими установками возник в демократическом обществе, то и тогда это был бы отличный литературный журнал,— но не более. Однако в условиях режима, вынужденного прятать свое истинное лицо, подобные установки приобретали — тут Чаковский совершенно прав — отчетливо политический характер.

То в одном, то в другом принципиальном пункте публикации «Нового мира» (я здесь прежде всего имею в виду новомирскую прозу) прорывали ткань официальной идеологической легенды, открывая людям глаза на жестокую общественную реальность. Это относилось в первую очередь к таким идеологически значимым историческим темам, как «коллективизация» посредством «раскулачивания» («На Иртыше» С. Залыгина и др.) барачный быт рабочего класса в годы «сталинских пятилеток» («Юность в Железнодольске» Н. Воронова), репрессии 37-го и последующих годов («Один день Ивана Денисовича» и рассказы А. Солженицына, «Хранитель древностей» Ю. Домбровского, «Дневник Нины Костериной»), реальный облик войны («Пядь земли» Г. Бакланова, повести В. Быкова, К. Воробьева, рассказы В. Некрасова и др.), скудеющая послевоенная деревня («Две зимы и три лета» Ф. Абрамова, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можаева), судьбы интеллигенции в обществе духовной несвободы («Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга)...

Если бы авторы «Нового мира», ограничивая себя историей, не переступали порог текущего дня,— и тогда партийному руководству трудно было бы примириться с существованием такого журнала. Но с той же трезвостью и вдумчивостью, с той же внутренней свободой журнал Твардовского позволял себе смотреть и на окружающую его действительность 60-х годов. «Вологодская свадьба»

А. Яшина и «Хочу быть честным» В. Войновича, «Деревенский дневник» Е. Дороша и «Семеро в одном доме» В. Семина, «Поденка — век короткий» В. Тендрякова и «Беглец» Н. Дубова, «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова и «Три минуты молчания» Г. Владимова, «Созвездие Козлотура» Ф. Искандера и «Обмен» Ю. Трифонова, рассказы В. Гроссмана и В. Шукшина, А. Макарова и А. Кузнецова... Какая богатая, многокрасочная картина складывалась из всего этого (и многого не названного) в итоге, какими разными гранями обращала она к читателю современную жизнь! А в сочетании с картинами предшествующих десятилетий это была истинная «энциклопедия советской жизни» — народной жизни на протяжении пятидесяти советских лет.

Но — чем лучше, тем хуже. Чем богаче была эта энциклопедия, тем сильнее хотелось от нее избавиться. Ибо с возрастающей очевидностью и непреложной убедительностью, самой логикой художественных образов «Новый мир», как ни мешала ему цензура, как ни бесилась «партийная критика», из номера в номер опровергал официальную концепцию общественного развития, показывал, что, свершив под руководством «партии» свой тяжкий, политый слезами и потом, усеянный костьми путь, наше общество зашло и все глубже заходило в исторический тупик, погружалось, как скажут позднее, в пучину застоя.

Это — что касается объективно-художественной стороны дела. Отсюда следует, что историческое значение «Нового мира» вообще и общественно-политическое — в частности нельзя мерить лишь радикализмом его редакции: первое намного шире второго. Однако не следует преуменьшать и роль субъективного фактора — тех собственно оппозиционных мыслей и настроений, которые находили выражение на страницах журнала. Разумеется, разграничение объективного и субъективного здесь в известной мере условно — хотя бы в том смысле, что сами эти мысли и настроения имели вполне объективную природу. Но так или иначе они были реальностью и с течением времени все больше определяли общественное лицо «Нового мира». Непосредственно это сказывалось главным образом в его критике и публицистике, а по всем разделам — в отборе социально значимого материала, в характере редактуры.

Если в первые годы редакторства Твардовского (1958—1960) субъективно-оппозиционный элемент в журнале был не слишком заметен, сводясь в основном к полемике, тоже еще отнюдь не систематической, с некоторыми наиболее крайними проявлениями сталинизма (пример — статья А. Дементьева против романа В. Кочетова «Братья Ершовы»), то с начала 60-х годов удельный вес названного элемента быстро увеличивается. Будущие историки, вероятно, найдут этому объяснение, указав, в частности, на все больше разочаровывавшие общественность зигзаги в экономической политике Хрущева, именно к этому времени исчерпавшей свой первоначальный выигрыш и вошедшей в состояние кризиса, лишь усугубляемого попытками преодолеть его с помощью хаотических административных мер. Как бы то ни было, но уже к середине 1961 г. перед нами журнал достаточно определенной демократической направленности, противостоящий не только сталинистскому правому крылу, но — в возрастающей мере — и хрущевскому «центру».

Публикация в конце 1962 г. «Одного дня Ивана Денисовича», при всей экстраординарности этого события в истории нашей литературы, была, таким образом, во многом подготовлена. И, в свою очередь, дала новый мощный импульс как идейному развитию журнала, так и радикализации критических умонастроений во всем обществе.

Три года назад я уже излагал на страницах «Октября» (1987, № 8) свой взгляд на демократическую оппозицию 60-х годов и источники ее появления. В двух словах, речь шла о том, что оно было вызвано, спровоцировано самóй партийной олигархией, которая, сместив Хрущева, целенаправленно обратила вспять тот процесс политических перемен, который стал развиваться в стране после смерти Сталина, и своей реставраторской политикой, своей все ужесточавшейся борьбой против демократического движения с неизбежностью превратила его в оппозиционное. С «Новым миром» в качестве главного, а вскоре и единственного печатного органа тогдашней демократической оппозиции.

Но это лишь самая общая схема, безусловно, требующая уточняющей конкретизации.

Нужно отметить прежде всего, что оппозиционные умонастроения накапливались еще при Хрущеве и даже до начала 60-х годов. Наиболее яркие свидетельства тому — «Доктор Живаго» Пастернака и особенно «Жизнь и судьба» и «Все течет» Гроссмана, автор которых своим столь же глубоким, сколь и бесстрашным художественно-объективным анализом тоталитарного общества намного опередил современников.

Далее, неправильно было бы думать, что во второй половине десятилетия противодействие демократических сил неосталинистской политике властей вдохновлялось лишь стремлением удержать завоеванное, не отступить с позиций XX съезда (хотя в тогдашних условиях уже и это требовало немалой нравственной твердости). Брежневщина, сама того не желая, помогла значительно продвинуться в осмыслении сталинщины, увидеть ее внутреннюю логику и историческую закономерность, не сводимую к злой воле того или иного тирана, а тем самым увидеть и систему в целом в ее основных, устойчивых характеристиках. В результа-

те, чем активнее наступала реакция, пугая и присоединяя к себе нравственно нестойких [6], тем интенсивнее шел и встречный процесс — радикализация общественных умонастроений. Движение совершалось и вширь,— вводя в сферу критического осмысления и переосмысления все новые пласты истории и современности, все новые узлы социально значимых проблем,— и вглубь. Я думаю, это можно будет увидеть даже из беглого перечня некоторых вопросов, которые в конце 60-х годов привлекали устойчивое внимание публицистов «Нового мира».

В экономике — критика административной системы хозяйствования и непоследовательности начатой было хозяйственной реформы, теоретическое обоснование рынка. В социальной сфере — фиксация низкого уровня жизни народа (в противовес победным кликам официальной прессы), тяжести и дурных условий труда многих категорий трудящихся, «раскрестьянивания» колхозника и формирования новых привилегированных групп, дефицита свободного времени, занятого очередями и пр. Широкий комплекс проблем демократии: опыт парламентаризма, свобода мысли и творчества, самоуправление на производстве, право и личность, личность и власть, анализ бюрократических и тоталитарных структур (в частности, на материале фашистской Германии, франкистской Испании, Китая), отчуждение при социализме. Мы и Запад, его преимущества с точки зрения качества жизни, научно-технического прогресса, эффективности экономики, системы образования, судопроизводства и т. д. В области философии и социальной теории — антидогматизм, идея альтернативности исторического развития, критика схематических и фаталистических представлений, возникших на почве Марксовой теории общественно-экономических формаций, цель, средство и результат социального действия (диалектика их взаимных отношений), философские основы нравственного поведения личности в неблагоприятных общественных условиях. Революции, реформы и контрреформы в отечественной истории, утопизм реакции. Отказ от нигилистических взглядов на религию и историю церкви, осмеяние принципов нашей антирелигиозной пропаганды. Критика великодержавного шовинизма, идей и психологии национальной исключительности. Проблемы экологии...

Многое здесь предвосхищало сегодняшний день, создавало интеллектуальный задел для нынешних поисков и преобразований. Конечно, бдительность цензуры заставляла наиболее острое выговаривать вполголоса, незаинтересованным академическим тоном, нередко в слишком абстрактной форме (а порой сообщать вскользь, как был, например, упомянут позорный советско-германский Договор о дружбе и границе 1939 года, о котором и до сих пор предпочитают молчать), но «друг-читатель» умел читать...

Все это тоже был «Новый мир» и, следовательно, Твардовский — независимо от степени его непосредственного участия в подготовке тех или иных материалов. И хотя разброс мнений был весьма широк, а уровень радикализма как авторов и постоянных читателей, так и редакторов журнала далеко не одинаков, но, во-первых, это все же были различия в пределах одного демократического движения, у которого был общий, хотя и поразному называемый противник, во-вторых, повторяю, люди не стояли на месте: если одних относило назад, то другие — кто быстрее, кто медленнее — двигались вперед.

В этом контексте следует рассматривать и соотношение двух главных фигур в общественной жизни 60-х годов — Твардовского и Солженицына.

Твардовский и Солженицын — большая, исторически содержательная тема. И не просто тема, но проблема. По-настоящему разобраться в ней было бы крайне важно не только для правильного понимания прошлого, но и для обдуманного выбора предстоящего нам пути. Именно сейчас, когда, вполне по Солженицыну, рухнули устои тоталитарной империи и когда пришла пора, выкарабкиваясь из-под ее обломков, начинать строить новую, демократическую Россию, опыт жизни и деятельности этих двух писателей, логика их духовного саморазвития представляют, на мой взгляд, особую ценность. И вот тут встает вопрос: выбирать ли нам между ними (на что, при всей симпатии к Твардовскому, настраивает книга Солженицына «Бодался теленок с дубом») или же рассматривать их духовный опыт как взаимокорректирующий и взаимодополняющий и именно в таком взаимодополнении и взаимокорректировке вдвойне богатый и ценный? — вопрос, который еще предстоит разрешить нашей общественной мысли.

Предлагаемая публикация дает в этом смысле некоторую дополнительную «информацию к размышлению». Две стенограммы 1967 года обнаруживают как разницу во взглядах и в линии общественного поведения Солженицына и Твардовского, так и проступающую за ней общность.

Разница очевидна.

Твардовский в соответствующих обстоятельствах еще пользуется словами и аргументами из партийного лексикона, хотя употребляет их все реже, а главное — партийность у него своя, с акцентировкой, по существу противоположной официальной. «Линия партии в литературе у нас одна, обязательная для всех журналов и газет. Но линия журнала — это частное, конкретное выражение линии партии, это лицо журнала... «Новый мир» открыто заявляет о своих идейно-эстетических пристрастиях и воспринимает как похвалу странные упреки в том, что он «гнет свою линию»... Для меня лично всегда было ясно, что в области эстетики марксизм-ленинизм отдает предпочтение реализму, жизненной правде, проникновению в сложность явлений подлинной действительности, какая она есть, а не какой она может быть представлена, ибо воздействовать на действительность можно, именно видя ее, а не заменяющую ее схему. <...> Да, мы держимся линии реализма, правдивого отображения действительности, верности заветам русской классической литературы, являющей миру непревзойденные образцы реалистического искусства» (8, 180, 181).

Едва ли и сегодня, когда и на партию, и на марксизм-ленинизм, и на Октябрьскую революцию мы смотрим совсем иначе, кто-нибудь скажет, что и сама суть мысли Твардовского устарела, подлежит пересмотру. Нет, этот манифест редактора «Нового мира» и нынче в полной мере сохраняет свою силу.

Для Солженицына же «партийные» аргументы и тогда уже решительно невозможны. Более того, даже в ситуации, менее всего располагающей к откровенности, он не удерживается сказать: «Задача писателя, смею заявить, не сводится только к защите того или иного способа распределения общественного продукта» (9, 172). Вместе с тем в его литературных взглядах нет решительно ничего, что хоть сколько-нибудь расходилось бы с принципами Твардовского. В разных, а порой и в очень близких выражениях они высказывают и защищают одну и ту же эстетическую программу, разве что с более сильным акцентом у Солженицына на воспитательную роль литературы. Один и тот же высокий ориентир: русская классика; одни и те же главные ценности: народ и правда — «да была б она погуще, как бы ни была горька» (Твардовский), «я сторонник того, что всякая горькая правда и человеку и обществу нужна, она его оздоравливает и воспитывает» (Солженицын, 9, 170).

Психологический рисунок поведения того и другого в кабинете Секретариата также представляет собой характерное сочетание различия и сходства.

Твардовский искренен и открыт. Даже к людям, в чьей доброй воле он имеет все основания сомневаться, он все равно обращается с доверием, с убеждением, что простые доводы добра и здравого смысла не могут не проникнуть и в самые испорченные, бюрократически окаменелые сердца. Он говорит им, сегодняшним своим гонителям и завтрашним убийцам: «товарищи»,— и в этом слове еще неизжитая его партийность сплавлена с благородной доверчивостью чистого человека — почти как у героя Булгакова с его постоянным обращением «добрый человек». Солженицына же от «товарища» на всю жизнь отучили там, где «тамбовский волк тебе товарищ!» С сарказмом он повторяет слова Воронкова о «товарищах по труду и перу», оттеняя их фальшь. «В нашей товарищеской писательской среде» (тот же Воронков, 9, 147), куда только горькая необходимость заставила его прийти, он с полным основанием чувствует себя как в стане противника. Если и Твардовскому, от которого не раз получал бескорыстную дружескую поддержку, он открыт лишь наполовину, то тут об откровенности и доверчивости не может быть и речи, напротив, то и дело приходится идти то на одну, то на другую военную хитрость. Он — пока — не может сказать: да, я слушаю западное радио; да, я радуюсь бесцензурному движению и пугающему вас «использованию» моих вещей, как и тому, что ваш партийный нюх уловил-таки политическую символику «Ракового корпуса». Зато с каким облегчением, что дипломатия больше не нужна, с каким торжеством и русской удалью даст он потом себе волю в своем «Открытом письме»!

Разница в общественном поведении Твардовского и Солженицына обусловлена, понятно, не только и не столько несходством их характеров, сколько тем, что в них воплощены два разных этапа в развитии демократического движения 60-х годов. С именем Твардовского связан главным образом этап возникновения этого движения и его превращения в оппозиционное — сначала только объективно, а затем во все большей мере и субъективно (одно из веских доказательств тому — поэма «По праву памяти»). Однако, став таковым, с «Новым миром» в качестве своего духовного центра, указанное движение в течение некоторого времени еще как бы не решалось признаться себе в этом, не вполне осознало правящую олигархию как последовательно антинародную силу, а главное, хоть сделало и немало, все же не успело выработать комплекс таких крупных, принципиальных идей, которые могли бы стать убедительной альтернативой официальному марксизму, идеологии тоталитарно-бюрократической системы. Солженицын в этом отношении сделал важный следующий шаг. Его «Открытое письмо» ярко и сжато очерчивало суть такой альтернативы и тем самым как бы конституировало политическую оппозицию в нашей стране, открывало ей глаза на самое себя.

Впрочем, и ранее названного манифеста, еще в «подпольном» своем существовании, этот, по словам Грибачева, «хитрый, тактический и стратегический человек» (9, 142) ни в малой малости не жертвует своими убеждениями. Никакая «тактика» не заставит его пойти на такой компромисс, который хоть на йоту был бы для него сдачей собственных позиций. В этом глубинном и главном смысле он так же бесхитростен, так же чужд расчета, как Твардовский, как Сахаров.

Не случайно при всех различиях во взглядах и в поведении они, как говорится, по одну сторону баррикады. А «так-

[6] Пример — эволюция Ю. Бондарева, который, опубликовав в «Новом мире» роман «Тишина» (1962), посвященный теме репрессий, выступил затем в качестве соавтора сталинистской киноэпопеи «Освобождение», за что и был щедро вознагражден.

тики» типа Федина и Маркова — по другую.

Итак, при таком характере сторон борьба между ними была неизбежна. Но силы были слишком неравны, и это вполне предопределяло исход.

Дело было, разумеется, не в убедительности аргументов, выдвигавшихся официальной стороной.

Взять, к примеру, «социалистический реализм», неуважением к которому корили журнал Твардовского его противники (тот же мотив всплывал и в речах критиков «Ракового корпуса»). Не составило бы большого труда доказать, что явление, обозначаемое этим термином, лишь очень недолгое время оставалось явлением живой литературы (хотя и тогда, конечно, весьма противоречивым даже в лучших своих образцах) — только в 20-е и 30-е годы, пока у значительной части людей, особенно молодых, жива была вера в социализм и связанное с его становлением чувство движения жизни. Война провела в этом отношении первый рубеж, а к концу 40-х годов, когда социализм был достроен и в величаво-холодной неподвижности подобно египетской пирамиде застыл, казалось, на века, когда ни для радостных ожиданий, ни для чувства движения жизни не осталось более места, тогда и «социалистическому реализму» сам собою пришел конец. Перестав быть реальным течением в литературе, он сохранился в ней лишь как мертвая норма, удовлетворять которой теперь могла только угодливая ремесленническая псевдолитература. Правда, в середине 50-х годов, когда первые хрущевские преобразования отчасти оживили надежды на социализм, «социалистический реализм» тоже отчасти ожил, но совсем ненадолго, чтобы в 60-е годы умереть уже навсегда. И вот этого-то покойника руководители Союза писателей садят в красный угол и еще целую четверть века навязывают живой литературе в женихи, настоятельно требуя от нее «изображать в революционном развитии» действительность эпохи застоя!..

Твардовскому и Солженицыну, казалось бы, так просто было ответить на эти требования: да оглянитесь вокруг себя! Где вы найдете в современной литературе хотя бы одно талантливое произведение (по настоящему, а не по вашему «секретарскому» счету), которое бы им соответствовало? Затрудняетесь? Ну так подумайте над тем, почему это так, а пока подите прочь, не путайтесь под ногами.

Однако ни тот, ни другой не вступают в подобные споры. Точно так же не используют они и благоприятных полемических возможностей, которые дают повторяемые чуть ли не каждым оратором обвинения «Новому миру» и «Раковому корпусу» в односторонности, «очернительстве», «воинствующем пессимизме». А кажется, опять-таки чего бы проще! Вы говорите, что авторы «Нового мира» изображают советскую действительность только с темной ее стороны, умышленно обходя светлую. Но тогда укажите такие произведения о современности, которые, будучи, без сомнения, правдивыми и талантливыми, не давали бы вам повода насупливать брови, поскольку изображали бы нашу действительность как радостную и светлую. Снова заминка? С чего бы?

Ладно, поставим вопрос по-другому. Ведь склонный к мрачной односторонности «Новый мир» всего лишь один из десятков литературных журналов в стране. Если в каком-то одном журнале показывают «темную сторону», а во всех остальных, как полагается, светлую, то неужели же он может сколько-нибудь сильно повлиять на общую картину? А если-таки влияет, если один перевешивает все остальные, то какова же в таком случае сама действительность?

Ни Твардовский, ни Солженицын (до «Открытого письма») не говорят ничего подобного. Терпеливо разъясняя свою позицию, они не делают ни малейших попыток перейти в контратаку. Твардовский: стремление «Нового мира» «давать на своих страницах произведения реалистического толка, правдиво свидетельствующие о подлинной сложности и противоречивости жизненных явлений», «не имеет ничего общего с пошлым критиканством, с нарочитым выискиванием темных закоулков и не только не избегает жизнеутверждающих мотивов, но стремится к жизнеутверждению, основанному на самой жизни, а не на беллетристических построениях облегченного типа, которые у сознательного читателя способны вызвать лишь отталкивающие впечатления» (8, 180). Солженицын: «Говорят, что повесть моя антигуманистична... Наоборот, повесть моя и задумана, и, смею заверить, осуществлена как победа духа над болеющей плотью, победа жизни над смертью, победа нового над прошлым. Я смею заявить, что моя повесть оставляет исключительно оптимистический вывод во всех отношениях. Я по свойствам своего характера (я оптимист) не мог бы никак решить иначе эту проблему» (9, 170).

«Вам, из другого поколенья» может показаться странной такая сдержанность в поведении людей, бойцовские качества которых не требуют доказательств (равно как и заметная сдержанность в формах выражения протеста против исключения Солженицына — по крайней мере у большинства авторов писем в Секретариат). Но это говорит лишь о том, что вы живете в другое время и смутно представляете себе общественную ситуацию, духовно-психологическую атмосферу конца 60-х годов. Документ тем и ценен, что он в живой конкретности, ничего не прикрашивая, не отбирая и не упрощая, доносит до нас ушедшее время во всех его трудноопределимых, но существенных нюансах. Важно лишь вдумчиво, не поверхностно его прочесть.

Основные слагаемые указанной ситуации: реставрация тоталитарной системы, к 1967—1968 гг. уже ставшая свершившимся фактом, появление в связи с этим в стране политической оппозиции, и... молчание народа, отсутствие сколько-нибудь широкого демократического движения в массах. Последнее важнее всего, оно-то и определило форму взаимоотношений демократической оппозиции с властью. Несмотря на все ухудшающиеся условия, надо было удержать хотя бы те возможности воздействия на общество, какие еще были, делать свое дело, будить в народе духовную самостоятельность и гражданское сознание. В этих условиях было не до словесных побед за закрытыми дверями начальственных кабинетов, где каждое слишком резкое слово было бы с торжеством подхвачено как несомненная улика твоей нелояльности и обращено во вред твоему делу.

Тонкий слой общественно активной интеллигенции нес на себе в те годы все более зримую печать трагической обреченности. Перед партийной олигархией, желавшей вполне и навсегда обеспечить себе спокойствие, стояла задача уничтожения этого слоя. Одних подкупить, других скомпрометировать и поставить на колени, третьих посадить или изгнать, а всех остальных запугать и лишить силы сопротивления. Чтобы сделать это по возможности без крови и без большого шума, потребовалось искусство Андропова, умного, почти либерального и чуть ли не гуманного жандарма. Бывший писатель Федин, со своей европейской внешностью и аристократической трубкой, также пришелся тут вполне кстати...

Ну, а главной формой борьбы с демократической оппозицией стала настойчивое привязывание ее к Западу, к «враждебному лагерю», к Би-би-си, НТС и ЦРУ.

Чуть ли не на всем протяжении советской истории (с коротким перерывом на время войны) «партия» приучала нас рассматривать Запад как постоянного и лютого врага. Это не мешало ни ей самой, ни ее достойным представителям из Союза писателей то и дело пастись во вражеском стане, пристраивать там своих деток и т. п.,— идейная чистота и непримиримость прекрасно уживались в таких случаях с лицемерием и цинизмом. Но для простых смертных путь «туда» был заказан, «там» был только враг, враг, враг, неустанно точивший зубы на нашу мирную и счастливую страну,— и нельзя сказать, чтобы все это вдалбливалось без успеха. Яркое свидетельство тому — организованное свыше, но отнюдь не инсценированное всеобщее негодование по поводу «Доктора Живаго» (1958), даже в сравнительно информированной писательской среде.

В 60-е годы в этом отношении произошли большие сдвиги. Если массовое сознание изменилось сравнительно немного, то в сознании демократического меньшинства — у одних раньше, у других позднее — «образ врага» стал довольно быстро расщепляться и блекнуть, дополняемый, а затем и вытесняемый образом союзника в борьбе против отечественной тоталитарной диктатуры. В условиях сплошной официализации прессы, в которой «Новый мир» Твардовского оставался единственным значимым исключением, почти всякая невыгодная властям информация, в том числе о событиях, происходивших в нашей стране, могла прийти к нам лишь «оттуда», через «враждебные радиоголоса». С другой стороны, полностью свободная от контроля собственного народа, правящая олигархия по дипломатическим, экономическим и иным соображениям была вынуждена в той или иной мере считаться с реакцией Запада. Поэтому при отсутствии сколько-нибудь массовой и действенной поддержки внутри страны наша оппозиция могла надеяться только на себя да на сочувствие и помощь мировой общественности.

Некоторое время после 1964 года надежды эти не были совершенно безосновательными. Новая власть лишь постепенно, не без стыдливости и осторожности выказывала свою сталинистскую природу. Ей еще важно было, особенно из-за обострения отношений с Китаем, сохранить доверие влиятельных европейских компартий и иных левых сил. В этих обстоятельствах она еще побаивалась лишней огласки. Коллективное письмо по высочайшему адресу, подписанное громкими именами ученых, писателей, деятелей искусств, с протестом против той или иной сталинистской акции, оставленное без ответа, но пошедшее по рукам, а затем переданное «голосами» и появившееся в «тамиздате»,— один из главных жанров тогдашней бесцензурной публицистики и одна из главных форм демократического сопротивления. Вместе с записями первых «открытых» процессов над инакомыслящими и другой независимой информацией о возобновившихся политических преследованиях, таким же способом предаваемыми пусть ограниченной гласности, все это оказывало известное тормозящее действие на процесс «ресталинизации».

Солженицынское «Письмо IV съезду Союза писателей» явилось едва ли не самым ярким политическим документом того периода, когда неравенство сил еще не стало столь резким, а участие Запада в нашей внутриполитической борьбе — опасным в основном для тех, кому он сочувствовал.

В конце 60-х годов, особенно «после Праги», дело уже обстояло именно так.

Наглое вторжение в соседнюю страну с целью задавить в ней демократическую революцию означало завершение антидемократического переворота и в самом Советском Союзе. Решившись на такой шаг, «партия и правительство» (как за 50 лет до этого Гитлер, а нынче Саддам

Хусейн) показали, что они более не намерены считаться с мировым общественным мнением. Тем более по отношению к своей внутренней политике, где им уже и вовсе никакой закон не писан. В этих обстоятельствах наша демократическая оппозиция, едва успев себя осознать и сделать первые шаги в самоорганизации и выработке собственной политической программы, оказалась в ловушке. Не сумевшая да и не успевшая обрести сколько-нибудь реальную почву в массах, а теперь по существу и лишившаяся поддержки с Запада, она осталась один на один с огромной и бездушной, не знающей жалости махиной тоталитарного государства.

Дело не в том, что западная демократия отвернулась от нее, совсем напротив. Но теперь это было в основном бессильное сострадание, а не реальная помощь. В какой-то степени, вероятно, удерживая брежневское руководство от крайних репрессивных мер по отношению к людям, чей авторитет в мире был слишком высок, а порой, после многолетних усилий, добиваясь освобождения (с высылкой из страны) то одного, то другого из политических заключенных (это уже, впрочем, за пределами рассматриваемого периода),— ничего иного Запад практически сделать не мог. Зато в «театре» Суслова и Андропова ему отведена была главная роль.

Когда будет написана история политических преследований 60—80-х годов, читатель увидит, что «связь с Западом» в той или иной ее конкретизации и персонификации фигурировала почти всегда, когда властям нужно было каким-либо способом выключить человека из активной общественной деятельности. Обнаружением и придумыванием таких «связей» деятельно занимались и следователи, и судьи, и соответствующая категория журналистов. В частности, исключение из Союза писателей за убеждения сплошь и рядом базировалось на той же основе: вы что-то напечатали на Западе, минуя официальные фильтры; вы «распространили» здесь, а в результате появилось там (порой не без дружеской помощи КГБ, но как это было доказать?); вы ничего не печатали и даже не писали, но что-то сказали, и это прозвучало по Би-би-си, было «использовано вражеской пропагандой»... При этом, прежде чем исключить (или, напротив, чтобы иметь возможность «простить» вас и в дальнейшем уже быть за вас спокойными), вас заставляли встать на колени — напечатать «в хорошей газете — «Литературной газете» (А. Сальынский — 9, 151) что-нибудь против «них», против тех, кто так или сяк дал вам возможность быть услышанным. В конце 60-х и в 70-е годы «хорошая газета» прямо-таки специализировалась на подобных вынужденных писательских «покаяниях» и «отмежеваниях», равно как и на шельмовании политических «отщепенцев», чаще всего уже исключенных, арестованных или изгнанных. Пожалуй, именно в этом и состояла главная из возложенных на нее задач, по отношению к которой все остальное, чем заполнялись ее страницы, было как бы облаткой прописанного нам идеологического лекарства. Нужно ли добавлять, что борьба с внешним врагом преследовала в этом случае исключительно внутриполитические цели?

Предложенная публикация в данном отношении отличается редкой цельностью. Обсуждают ли «Новый мир» — чем более всего колют глаза Твардовскому? Во-первых, использованием материалов журнала идеологическим противником (М. Турсун-заде — 8, 190; Н. Грибачев — 8, 191), во-вторых, уклонением от участия в «контрпропаганде», согласием с «оценками классового врага» (В. Озеров: «Почему вы принимаете... гнусные заявления буржуазной печати о «Новом мире»?.. Где вы опровергаете?» — 8, 191; К. Воронков — 8, 193; Л. Соболев — 8, 194; Г. Марков — 8, 197). Ведут ли многочасовую баталию с Солженицыным — почти у всех, с подачи Федина, на устах те же мотивы: «использование» «в зарубежной отвратительной буржуазной и белогвардейской прессе» (К. Воронков — 9, 147) и требование «определить свои позиции», «возмутиться», «отказаться», «отмежеваться», «ударить кулаком». То есть «опровергнуть» истину, отказаться от самого себя, вываляться в грязи. Утверждают ли исключение Солженицына из Союза писателей — опять-таки оно мотивируется только тем, что писатель «стал в центре внимания буржуазных идеологических центров» (Г. Марков — 10, 121) и «никогда нигде не выступил с протестом против этого» (К. Воронков — 10, 124). Наконец, и операция по разгрому «Нового мира» начата была, как мы помним, артподготовкой в виде требования «ответа им», в жесткой форме предъявленного Твардовскому Фединым.

Вот это поистине было и с п о л ь з о в а н и е. Используя Запад в качестве пугала, преступный режим в корыстных интересах своего партийно-бюрократического слоя отгородил нашу страну (а заодно и еще ряд стран) от демократического мира и ради этого, как еще в те времена разъяснил А. Д. Сахаров, десятки лет держал все человечество в страхе войны, а собственный народ — в бесправии, нищете и застое.

Тягостно читать этот многостраничный поток удручающе однообразного партийно-патриотического словоблудия и ханжества, но без этого не почувствовать с необходимой остротой отвращения и отчаяния людей, которых захлестывали и накрывали с головой его грязные волны. А соответственно и той нравственной стойкости, какой требовало от них одинокое и, казалось, безнадежное сопротивление этому потоку. Зато тем ярче выступает сегодня их правота. Задавленные в те годы превосходящими силами врага, единственного непридуманного врага нашей Родины, нашей свободы, они, однако же, одержали над ним полную духовную и нравственную победу. Александр Трифонович Твардовский. Александр Исаевич Солженицын. Андрей Дмитриевич Сахаров. И многие другие, шедшие тем же путем. Мертвые или живые, они и ныне живут и действуют. Что же осталось от их высокономенклатурных тюремщиков и гонителей? Ничего, кроме смрада, понемногу развеиваемого ветром общественных перемен.

Публикация Ю. БУРТИНА и А. ВОЗДВИЖЕНСКОЙ.
Составление, примечания и послесловие Ю. БУРТИНА.

Отклик

Книжка Татьяны ИВАНОВОЙ «КЛЯНУСЬ НА ЗНАМЕНИ ВЕСЕЛОМ» (1990) вышла в серии «Литература» (ежемесячной, подписной), насчитывающей уже более двадцати лет существования в издательстве «Знание» и обращенной к самому широкому кругу читателей. Брошюры этой серии рассказывают о популярных литературных жанрах и острых проблемах, о знаменитых книгах и их авторах — Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой, Владимире Высоцком. В ближайшее время подписчиков серии «Литература», как явствует из рекламы, ждет знакомство с работами о творчестве Михаила Булгакова, Осипа Мандельштама, Николая Бухарина — литературного критика и др.

Книга Т. Ивановой — традиционный для серии годовой обзор текущей прозы и поэзии. В своей обычной манере непосредственного разговора читателя с читателем, «разговора на равных», критик размышляет о наиболее значительных с ее точки зрения событиях литературно-журнальной жизни. Зовет не пренебрегать «встреченным критикой более чем сдержанно» романом А. Злобина «Демонтаж» («Нева»); сокрушается по поводу «тотальной некомпетентности», которая не только привела к одной из величайших бед современности, описанной в «Чернобыльской тетради» Г. Медведева («Новый мир»), но и угрожает нашей культуре, духовности, всей жизни... Т. Иванова пишет о маститых и начинающих, о писателях русского зарубежья и полузабытых русских философах, яркой публицистике и горьких мемуарах, не забывая, конечно, о главном событии года — публикации «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына — этой, по словам критика, «части энциклопедии советской жизни».

«Рассуждать о литературе 1989 года и не сказать о Борисе Чичибабине невозможно»,— считает Т. Иванова, назвавшая свою книгу строчкой из его стихотворения. Она рассказывает о поэте, чье творчество «вобрало в себя талант, трагический жизненный опыт, плоды раздумий цивилизованного, сильного ума». Татьяна Иванова говорит о насущном в жизни и искусстве. Ее суждения небесспорны, но субъективность своих оценок критик как бы подчеркивает подзаголовком своей книги — «Из дневника читателя».

А. ГОМАРНИК

По страницам книг и журналов

Таинственный остров

•

Василий Аксенов. Остров Крым. Роман. «Юность», 1990, №№ 1—5.

•

Возвращение русских писателей на Родину началось в определенном созвучии с их, скажем так, творческими находками. Андрей Синявский явился как Абрам Терц (за что — в качестве Абрама — и получил), Владимир Войнович пришел солдатом Иваном Чонкиным (и тоже получил, от генералов). Появление Аксенова будто готовил его давний персонаж, черный человек, препаскуднейший тип Мемозов. Прикинувшись Василием Аксеновым, он подкинул «Крокодилу» один текстик. И добился-таки своего: в разгар перестройки и ускорения, когда уже был объявлен приоритет общегуманистических ценностей над классовыми, разразилась, правда, только на страницах «Крокодила», но зато в лучших традициях застоя, антиаксеновская кампания.

Потом книги Аксенова, прежде известные по сам- и тамиздату, что называется, пошли. И пошли в журнале, которому сам бог велел печатать Аксенова, в «Юности». Здесь в 59-м были опубликованы его первые рассказы, потом большие вещи — от «Коллег» до «Затоваренной бочкотары». Новый виток начался с публикации в 89-м (ровно через тридцать лет после дебюта) романа «Золотая наша железка», этого последнего good bye шестидесятника «десятилетию советского донкихотства». Роман «Остров Крым», сочинявшийся в 77—79 годах по одну сторону баррикад и увидевший свет в 81-м — по другую (где к тому времени, после разгрома альманаха «Метрополь», очутился и сам автор), стал следующей публикацией. По части табуированной лексики и эротической откровенности книгу, конечно, пришлось привести в соответствие с нашими нормами. Не будем особенно сокрушаться по этому поводу, тем более что сам автор считает, что, хотя «в некоторых местах есть потери», в других — «стало даже изящней».

«Остров Крым» не антиутопия и не вариант политического прогнозирования, как может показаться на первый взгляд. Скорее, это отважная попытка отважного романиста попробовать на ощупь нечто сугубо таинственное: *русскую идею*. Главное в идее — вера в особый, провиденциальный, смысл России, которой предназначено дать миру пример или урок. Развитие ее мессианского содержания можно проследить от инока Филофея до Ленина, от идеи о Москве как о Третьем Риме до осуществления ее в виде Третьего Интернационала, по остроумному замечанию Бердяева.

Но не только в мессианстве русская идея: питает ее и глубинное, порой невероятное и даже болезненное, чувственное притяжение к России — и тех, кто ее покинул, и тех, кто не покинул, тех, у кого нет к ней никакого счета, и тех, кто мог бы считать себя обиженным. Вот цитата, окликающая «Остров Крым», из повести А. Лосева, написанной им после лагерей: «Пусть в тебе, Родина-Мать, много и слабого, больного, много немощного, неустроенного, безрадостного. Но и рубища твои созерцаем как родные себе. И миллионы жизней готовы отдать за тебя, хотя бы ты была и в рубищах». Слова эти в зависимости от настроя читающего могут вызвать и умиление, и удивление. И досаду, наверное, у кого-то тоже. Особые, постоянно выясняемые, личные отношения с Родиной точно так же связаны с русской идеей. Я вижу в них *патриотизм* — напишу в разрядку слово чуть ли не одиозное ныне, но другого не найдешь, да и не надо, если не уравнивать «ключевое понятие родины» с «понятием власти» (В. Набоков).

Роман Аксенова строится на историческом и географическом допущении. Согласно воле автора и по удалой прихоти его персонажа, лейтенанта Бейли-Лэнда (которому «было любопытно, что получится»), в 1920 году прервался «мощный симфонический ход истории» и Крым не отдали красным. В результате полуостров превратился в Остров и — в процветающее государство, в «плавильном котле» которого разные национальности — русские, англичане, татары — должны стать новой нацией — яки (от татарского «якши» и американского «о'кей»).

Идея воссоединения процветающего Острова с далеко не процветающим Материком, прародиной Россией, развивается и обретает мощь главным образом в сознании второго поколения островитян (по-нашему, шестидесятников). Это редактор «Русского Курьера» Андрей Лучников и его одноклассники по Третьей Симферопольской Мужской Гимназии имени Императора Александра Второго Освободителя. «Одноклассники» — самые активные романтики Идеи Общей Судьбы (ИОС). Ради «участия в мессианском пути «России», ради того, чтобы разделить судьбу 250 миллионов братьев, которые «сквозь мрак бесконечных страданий и проблески волшебного торжества осуществляют неповторимую нравственную и мистическую миссию России», готовы эти новые декабристы поступиться тем, что называют «сытым прозябанием на задворках человечества». Только не надо сарказма, не надо: даже при нашей нынешней нищете, при выпрашивании подачек у Запада, при том, что многие, слишком многие, рвутся на пароход (отнюдь не на философский), лучше отдадим должное проявлениям человеческого духа. Здесь нет «выпендрежа» (как думает Таня, разлюбившая Лучникова, потому что предала его); здесь сострадание и героизм; жертвенность и чувство вины, то есть весь комплекс российского интеллигентского сознания, каким оно складывалось начиная с петровских времен. Интеллигенция всегда испытывала вину — перед крепостными, перед пролетариатом, перед народом, всегда была готова к жертве и даже искала ее. Да, скажете вы, но в конце концов все это и привело если не к октябрю, то уж к февралю 17-го... А я в ответ скажу: чувство исторической вины — вовсе не зряшное чувство. На него способны лишь наиболее развитые в нравственном отношении индивиды. И, конечно, не только россияне. Так, в США белые южане до сих пор испытывают чувство вины за своих предков-плантаторов. Жители чистенькой и сытенькой Северной Европы рванули во искупление этой своей сытости в 60—70-е годы в страны «третьего мира». В 30-е годы чувство вины за сословные привилегии толкало представителей английских высших классов к социализму. Может быть, и весь социализм, эмоционально по крайней мере, зиждется на чувстве вины.

Нам сегодня трудно поверить в добровольность желания разделить с Советским Союзом его судьбу. В заметках о романе «Остров Крым» В. Малухин объясняет странное, с точки зрения здравого смысла, поведение островитян довольно просто: жертва их была принесена в 79-м году, спустя лет десять «Идея Общей Судьбы выглядела бы столь же не уместно, как крики «горько!» на поминках» («Известия», 1990, № 216). Стало быть, если бы сегодня, допустим, TV Острова Крым принимало «600 секунд», им бы расхотелось воссоединяться? Сегодня островитяне на Идею бы не попались?

Но в том-то и высокий искупительный смысл жертвы, что приносится она тогда, когда хуже всего. «Нет ничего легче, чем презирать эту страну», — думает Андрей Лучников. Островитяне в достаточной мере представляют себе реальные качества жизни Великого (именно с таким эпитетом) Советского Союза. Там нет сырка и колбаски (а теперь вот — покурить и хлебушка...). Там, *конечно*, идет дождь (вспомним вечную «петербургскую слякоть» в статьях Николая Гавриловича). Искалечен сведенный до жаргона Великий Могучий Правдивый Свободный — «есть ли какое-нибудь движение?.. я в дикой запарке... как в целом?» И Старший Брат, тупой Левиафан, наблюдает за тобой, и стукачи, стукачи, стукачи. Но — это «наша страна; моя страна», вот что главное и для Лучникова, и для «одноклассников», и для островитян.

Мысль о жертве может возникнуть только у тех, кому есть чем жертвовать. Да, «одноклассники» — класс привилегированный, они сознательно — и весело! — готовят себя к худшему: «...потом кто-то брякнул: «Вот мученики идеи!» — и начался безудержный хохот и бесконечные шутки на тему о том, кого куда упекут большевики, когда идея их жизни осуществится». Действительно, смешно, страшно, но и бесконечно привлекательно.

На уровне сверхличном, который главным образом и выражают идеологи Общей Судьбы, воссоединение значит искупление. На уровне более земном, житейском, практическом, преимущественно определяющем сознание масс на Острове, мотивировки достаточно рациональны. Замечателен разговор двух островитян, англо-крымчанина и татарина: «Что вы думаете, Мухтар-ага, насчет Идеи Общей Судьбы? — Я уверен, Флинч, что мы принесем большую пользу великому Советскому Союзу». И предприниматель-одиночка, носитель 1/64 русской крови (как последний государь, господа), считает, что его торговые связи и смекалка окажутся полезными Материку. Да и сами «одноклассники», идя на заклание, притом все-таки рассчитывают, что сумеют помочь прародине, включившись в ее кровообращение.

Мода, в том числе и идеологическая, не столь поверхностна, как принято считать. Она не возникает на пустом месте, просто так, а зависит от глубинных, исторических, психологических, политических процессов. На Острове богачи-яки выписывают для украшения виллы из Москвы собрания сочинений; плейбой Лучников считает высшим шиком щеголять в кепочке с пластмассовым козырьком и надписью «Ленинград». Сила идеологического обаяния исторической родины, всего советского такова (и в этом уже опасность моды), что даже доносительство объясняется чувством единой семьи, массовой тягой к совершенству, «чувством некой общей матери (КГБ? ЦК? Государство? — **В. Ш.**), которой можно пожаловаться на брата», «чего так не хватает островитянам».

Притом у Москвы и Симферополя (столица Крыма) много общего: будто одни и те же архетипы бродят по островно-материковому коллективному бессознательному. Целое поколение воспитывалось на

Материке в убежденности, что на клочке земли «временно окопались белогвардейские последыши черного барона Врангеля». Но ведь и те, кто окопался, тоже называют себя эвакуантами, а свое правительство — Временным (которому всегда можно крикнуть: «слазь!»). Андрей Лучников воспринимается на прародине как «не русский», как «западный вывихнутый левак», а на Острове — как «чекистский выкормыш», «жидовский подголосок», словом, одновременно «белогвардейская сволочь» и «кремлевский жополиз». Песня «Каховка» ласкает слух и красных и белых, а «По долинам и по взгорьям» хорошо ложится на «Марш дроздовцев». Крымская «Волчья сотня» имеет материковый аналог в виде «Русского клуба», лишь с некоторыми изменениями в триаде «Православие, самодержавие, народность» — «Коммунизм, советская власть и народность». И ультраправый дряхлый полковник, один из последних кавалеристов Шкуро, с восторгом делится впечатлениями о параде на Красной площади: «Россия, мощь, границы, империя» — прямо «соловей генштаба» да и только!

Собственно, и сама идея, главная. Основополагающая идея «одноклассников», полностью совпадает со стремлением супердержавы не прекращать борьбы «за воссоединение исконно русской земли с Великим Советским Союзом» (эпитет тот же, разумеется).

И все же если безумие, «суицидальный комплекс» (В. Малухин), Острова имеет вполне нормальные, поддающиеся объяснению основания и цели, то о прародине этого не скажешь. Единственное, чего островитяне не учли, не могли учесть,— это именно иррациональных реакций «трижды проклятой исторической». В самом деле, зачем захватывать тех, кто присоединяется сам, они ж не чехи; зачем уничтожать то, что принесет пользу?.. И долго еще доверчивые жители Острова принимают интервенцию за военно-спортивный праздник «Весна», который, собственно, и обещали им большевики. По нашим понятиям, нужно быть чистыми детьми, чтобы, как комментатор островного TV, вещать: «Странная игра. Имитация атаки на средства массовой информации. Вы видите, господа, этот мальчик душит меня стволом своего карабина. Кажется, он принимает эту игру слишком серьезно...». Здесь вот и главная нестыковка, то, чего «аршином общим не измерить»,— разница в менталитетах, столкновение нормального идеализма с абсурдом, доверчивость «белой цивилизации» по отношению к ее пасынкам.

Как объяснял инструктор ЦК по Острову Марлен Кузенков внимающей ему партмафии, «взгляды их вызовут улыбку у реального политика». На самом деле советские улыбающиеся «реальные политики» той поры — персонажи Ионеско. И в идеализме куда больше смысла, чем им видится.

Финал романа, когда разражается катастрофа, «когда на некоторый миг утрачивается спокойствие и хрустальные своды небес слегка колеблются»,—финал апокалипсический: времени больше нет, часовые стрелки закрутились с невероятной скоростью. И тут-то понимаешь — о, эта невероятная аксеновская пронзительность, до слез, до кома в горле, до нездешнего холодка по коже — что человек все-таки больше заслуживает уважения, нежели презрения. «Боже, как я живу... Чем всю жизнь занимаюсь»,— с тоскою думает полковник Сергеев, ведущий «лучниковский сектор» в известном учреждении (привет Олегу Калугину!). Уходят на катере из оккупированного Крыма четверо беглецов с новорожденным внуком редактора «Русского Курьера». Старший матрос авианосца «Киев» нехотя, по служебной инерции, докладывает о замеченном им объекте. Информация так же нехотя передается по инстанциям, и боевой вертолет вылетает на задание. «Два могучих советских человека смотрели на них сверху...— Смотри, Толяй, они крестятся,— сказал Комаров.— ...Крестятся. Толька, от нас с тобой крестом обороняются. Давай, Толька, шмаляй ракету! — Я ее вон туда шмальну,— сказал Макаров и показал куда-то в мутные юго-восточные сумерки...— Алё, девяносто третий,— ленивым наглым тоном передал Комаров на «Киев»,— задание выполнено.— Вас понял,— ответил ему старший матрос Гуляй, хотя отлично видел на своем приборе, что задание не выполнено»...

Хотя роман «Остров Крым» — не антиутопия и не политический прогноз, это вовсе не отменяет его профетического смысла. Подтверждений тому можно найти множество — и в разных сферах нашей сегодняшней (и будущей) жизни. Самое безусловное — пробный (июль 1990) номер независимого международного еженедельника либерально-демократического направления «Русский Курьер». Среди членов редколлегии: Василий Аксенов (Вашингтон), Георгий Владимов (Германия), Звиад Гамсахурдиа (Тбилиси), Юрий Мамлеев (Париж), Виталий Коротич («Огонек»), Егор Яковлев («Московские новости»), Эрнст Неизвестный (Нью-Йорк), Александр Ципко (Москва). Так что Остров Крым не такой уж таинственный, а Идея Общей Судьбы — не такая уж бредовая, господа, товарищи, соотечественники, братья и сестры!

В. ШОХИНА

Второе дыхание

•

Всеволод Некрасов. Стихи из журнала. Стихи. М., «Прометей», 1990.

•

Литератору с литературной фамилией не позавидуешь. «Господи, еще один Некрасов!» — думают, наверно, редакционные работники. Уже не этим ли объясняется тот факт, что один из интереснейших наших поэтов с тридцатью годами литературного стажа выпустил сейчас книжку стихов... «за счет средств автора»? Название ее — «Стихи из журнала» — поясняет первая сноска: «Почти все, здесь собранное, в 78—79 году напечатано в ленинградском журнале «37» — на машинке, тиражом 30 экземпляров». По сравнению с этим тиражом тираж сборника — 3000 — подавляет. Да что сборник! Первая пристойная журнальная подборка Вс. Некрасова появилась только в прошлом году («Дружба народов», 1989, №8); одновременно вышла статья о нем В. Кулакова в «Литературном обозрении». До этого было лишь несколько упоминаний, вполне бестактных, в обзорных статьях, даже не скажешь, кто оказался хуже — Ульяшов или Эпштейн. Поэтика Некрасова почему-то не укладывается в тарифные сетки классификаций. Если это и потеря для самого поэта, то небольшая. Хорошие стихи, к счастью, не очень зависят от публикаторов и критиков (что те не всегда понимают). И литературную судьбу Всеволода Некрасова неприятие, видимо, сильно осложнило, но не отменило. В том особом культурном пространстве, в определившейся за тридцать лет системе связей и отношений, которую называют неофициальной литературой, второй культурой или андеграундом, своя ценностная иерархия, и Некрасов, один из самых последовательных и плодотворных новаторов, занимает там достойное место. Его влияние испытало уже несколько поколений поэтического авангарда, оно ощутимо и в практике «московского концептуализма», и в деятельности молодых поэтов-верлибристов. Но даже не это главное. Существование Всеволода Некрасова в системе андеграунда уникально. Он был одним из первых, но он остается одним из последних, то есть и сейчас Некрасов — автор совершенно актуальный, неожиданный. Тридцать лет — огромный срок, и не меняться внутренне, так долго оставаться свежей новостью — это какое-то особое свойство, поэтому, очевидно, нужно говорить не о последовательности экспериментов, а о постепенном и совершенном естественном прорастании оригинальной художественной рефлексии в область форм. В случае Некрасова новация как раз отменяет прежний запрет и восстанавливает совершенно необходимое, но когда-то отобранное право: право сказать без необходимости сфальшивить.

В какие-то периоды сознание литератора, сохранившего языковое чутье, буквально парализовано неблагополучием, спазмом немоты. Это ощущение недоступности и призрачности слова вынуждает к новациям даже авторов, по темпераменту вполне консервативных. (Хотя иному новаторству не обрадуешься. Есть эксперимент разрушительный и беспощадный, который у нас, читателей и писателей, что-то отбирает, что-то нам запрещает, ничем не компенсируя запрещенное и отобранное.) Не стоит здесь говорить о причинах катастрофы, важнее проследить границы пораженной области языкового сознания. Собственно, этим и занимается Всеволод Некрасов, разрабатывая свой специфический вариант концептуализма, в котором отчуждение языка не тотально, и только чуждое, враждебное явление покрывается выморочным словом. Размежевание слов точно фиксирует отношение к миру, но попутно идет поиск пригодных для жизни областей. По результатам можно понять, что подмена значений меньше затронула тот пласт языка, который находится как бы ниже среднего уровня, то есть ниже уровня универсальных и опосредованных словесных отношений. Утопия не добралась до каких-то углов приватного существования, до его глубин, до самых непосредственных душевных движений. Там слова сохранили первоначальный смысл, то есть просто сохранили смысл. Стихи Некрасова напоминают иногда глуховатое то ли бормотание, то ли заговаривание. (Как у Ходасевича — «Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи».)

не говори гоп

не говори гоп
говорит
горький опыт

(горький опыт
опыт и Горького
Горького
и других кой-кого)

Чтобы откреститься от того, что усилиями многих вросло в традиционное стихосложение — от взвинченной «душевности», от «поэтического» затуманивания смысла, от словаря, не относящегося уже ни к какой реальности,— Некрасову пришлось создавать свою личную поэзию из подручных средств. Из заезженной, обесцвеченной привычкой реплики, из междометий, из интонации, из пауз. Это поэтика, освобожденная от всего необязательного. Приведенная к первоэлементам. Дальше отступать некуда, дальнейшее — молчание.

Поэтика Некрасова — не язык описания: автор не описывает, он находит другие, почти невербальные способы непосредственного контакта с реальностью, прямого диалога со всем существующим.

Явления только называются, окликаются, но в этих возгласах как-то слышен и ответный голос. (Только неясно, в первый ли раз мы вот так запросто, по-свойски обращаемся к снегу, к ветке, к вороне — или в последний.)

ну
ну и как

вороны времена

оны ли времена
или так
не очень оны

Предельно личная интонация автора постепенно становится настолько узнаваемой, что перестает быть частной, чьей-то. Она становится твоей, то есть общей. И это дает новые возможности. Да, поэт всегда мог воспевать или проклинать мир, но возможность моментальной естественной реакции на разного рода раздражения когда-то была у него отобрана, причем не политическими, а стилистическими средствами. Поэзия и обыденная речь разошлись и в лексике, и инструментально: наши устные реакции выстраиваются в такие конструкции, которых не знал ни поэтический, ни просто литературный язык. Литературная норма — это тот язык, который мы желали бы иметь. А разговорная речь, живой фольклор и подлинная поэзия — это язык на самом деле. Язык Который Есть. (Поэтому, кстати, поэзия так органично соединяется с разговором и фольклором и так мертвеет от литературной нормативности.) Только зная свой истинный язык, мы можем понять свое истинное положение. Разговорная речь припечатана нашими стереотипами и нашими табу. В обезличенностях, стертостях языка есть другой, скрытый смысл. Эта та область, где язык забывает о себе, упускает из виду процесс разговора, его специфический этикет — и проговаривается. Как обозначить эту область? Клише? Но клише — это уже замеченная, уже зафиксированная стертость. Это не то. Некрасов ловит речь (а с ней и себя) на обмолвке. Его интересуют не сами клише, его гнетет клишированность сознания. И это сознание для него не объект исследования, а личный стыд, собственная мука. Некрасов отталкивается от клише, отстоит от него «на расстояние позора». Это нормальная реакция нормального человека. Большая, между прочим, редкость.

Увидеть
Волгу

и ничему не придти
в голову

ну
можно
такому быть

или Волга не огого
стала

по
воды много

С некоторым удивлением замечаешь, что тематический охват Некрасова очень широк, трудно выделить особые предпочтения. Стиль оказался способным на многое. Конечно, чаще это стихи о нашей невеселой жизни, куда ж денешься. Но не декларативно, а как-то по-человечески. Негодование способно вздохнуть, а серьезность готова улыбнуться. (Как раз об этой детской улыбчивости и ясности Некрасова хорошо написал в своей статье В. Кулаков.)

Это кто это там
брякнул так

бряк

Ах
это
Серебряный
Век

На контрасте с экономностью средств еще заметнее удивительная гибкость интонации. Какие-то почти мимические ее оттенки способны выразить все — от ярости до мягкой, необыкновенно обаятельной иронии. Но и это только частная задача, одна из многих, а общее движение стиля, насколько можно почувствовать, ведет к единству, подспудно сводит все к одному, к единому слову-звуку, включающему такую полноту, такую слитность значения и звучания, которая бывает только в возгласе, в стоне, вздохе. Это и есть, видимо, сверхзадача поэтики Некрасова.

Возможность такой глубинной реакции, возможность прямого ответа на еле слышные вопросы мира — это обновление поэзии, это путь против течения литературной энтропии, плавно разделяющейся на два болотистых рукава: выхолощенная традиционность и герметический безблагодатный эксперимент.

Через Некрасова в стихе открылось второе дыхание. Именно второе, другое, уже непривычное — совершенно естественное. Оно естественно настолько, что у кого-то вызывает недоумение: а что ж тут такого? в чем фокус? Мы привыкли, что стихи — это фокус. Пусть так, но фокусов-то тут предостаточно, сплошной фокус, но так чисто сработанный, что ни публика, ни конферансье ничего не заметили. Это стихи чрезвычайно изощренные. У поэтической и обыденной речи разная природа зарождения. Тексты Некрасова часто имеют облик обыденной речи, но возникают по законам речи поэтической. Техника очень сложна и разнообразна, причем и сложность, и разнообразие достаточно завуалированы, как бы приглушены стилевым единством. В рамках рецензии детальное исследование невозможно, но какие-то выделяемые и определимые приемы можно указать. Например, выворачивание до нового смысла обессмысленных расхожих выражений.

это
один Бог знает

а это знает один
Бог знает кто

Ритм в его стихах всегда своеобразен и очень чуток, нюансно выверен и в считалке-скороговорке, и в специфическом верлибре. Постоянное эхо внутренних рифм, зеркальная, почти палиндромная аллитерация играют особую роль в его поэтике. Так же, как и повторы. Одно и то же слово (или короткая конструкция) может быть повторено в стихотворении много раз и всегда по-разному, всегда с другой интонацией. А как это получается — неизвестно. Загадка.

Что-то я так хочу
в Ленинград

Так хочу в Ленинград
Только я так хочу
В Ленинград
И обратно

Таких загадок у Некрасова множество. Вот хлебниковская игра словами, почти глоссолалия, а вместе с тем «и сколько в ней смысла».

Русь Русь
ась ась
авось авось
а она
спряталась

не вас ли
и испугалась

Но еще сложнее генезис этой поэтики. Чтобы дойти до такой простоты, надо было впитать множество традиций, от пушкинской эпиграммы до ОБЭРИУ, много лет слушать Сатуновского, внимательно следить за немецким конкретизмом, а главное — уловить и по-своему оформить еще неведомую тогда концептуальную идею. Оригинальность, когда она подлинна, не поддается краткому терминологическому закреплению. Некрасов — концептуалист? Пожалуй, но его отношения с языком какие-то уж слишком личные, в каждой точке своей деятельности он лирик. Визуальная поэзия? Возможно, но скорее автор пытается на плоскости передать пространственное строение. Имеет значение иногда и то расстояние, на которое слова отстоят друг от друга — отстояние определяет паузу, пауза наполняется смыслом.

горе какое оно горькое
какое
оно
дорогое

Поэтическая речь спрямлена до стремительного разряда беззвучной мысли. До выдоха. Казалось бы: человек вдохнул-выдохнул. В промежутке уместилось стихотворение. И более того, вся неопределенность вопрошаний и утверждений получила там свое разрешение.

Было ли в русской поэзии что-то более невесомое? более соприродное вздоху? Едва ли. Наш последний симптом. Дышит,— значит жив.

М. АЙЗЕНБЕРГ

Примирение в любви

•

На пути к свободе совести. Сборник статей. М., «Прогресс», 1989.

•

В сборнике «Иного не дано» («Прогресс», 1988) среди самых запоминающихся была статья Д. Е. Фурмана «Наш путь к «нормальной» культуре», в которой известный религиовед прочертил синусоиду идеологического развития России в ее новой и новейшей истории. Официальная победа религиозного начала рождает энергию противодействия и толкает наиболее творческих людей в объятия материализма и атеизма. В свою очередь, «атеистическое» поколение, утвердившись на исторической сцене, жестко отвергает «поповщину» и тем самым провоцирует рост независимых религиозных настроений. Выйти из этой дурной бесконечности, остановить раскачивание «маятника» можно только в одном случае,— если будет найдена «равнодействующая», если общество встанет на путь свободы, терпимости и нейтралитета по отношению к любому умонастроению, любой доктрине, кроме человеконенавистнической. Такое свободное состояние общества Д. Е. Фурман и назвал «нормальной» культурой.

И вот теперь ему представилась возможность сделать один из первых шагов на пути к обретению этой «равнодействующей». Вместе с известным церковным журналистом о. Марком (Смирновым) он в той же серии выпустил сборник, где на равных, мирно и независимо друг от друга выступают атеисты, православные, баптисты, лютеране, католики, адвентисты, мусульмане, иудаисты. «От имени» — не знаю уж «по поручению» ли — кришнаитов высказывается сотрудник Совета по делам религий В. С. Пудов, но делает он это очень достойно. Смущает отсутствие униатов; впрочем, можно догадаться: книга сдана в производство задолго до поездки М. С. Горбачева в Ватикан.

Открывается сборник статьей самого Д. Е. Фурмана — «Религия, атеизм и перестройка», где давняя его концепция уточнена применительно к советскому периоду нашей истории. Свобода совести по-прежнему предстает спасительным идеалом. Она понимается как взаимная терпимость религии и атеизма, способность «спокойно сосуществовать» друг с другом. Однако появляется и новое: убежденность в необходимости и неизбежности обоюдного покаяния. Это очень важное «дополнение»; быть может, когда-нибудь мы дорастем и до идеи взаимного прощения...

Но концепции концепциями, а какова реальность церковной жизни? Что волнует верующих? Что их огорчает? Что объединяет, что разделяет?

Авторов сборника — верующих и неверующих, начальствующих и подчиненных — объединяет, увы, не благоволение, не дружелюбие. Слава Богу: не ненависть, не вражда. Сквозную интонацию книги я бы назвал ворчливой. Всюду в ней очевидио взаимное недовольство, скрываемое за вежливыми словесными формулами: конфессий — государством, государства — конфессиями, конфессий друг другом и всех их вместе — атеизмом; недовольство «руководящего» состава (будь то церковной или научно-атеистической иерархии) — «рядовым», и наоборот. Причем (и зто неожиданно) недовольство почти не связано с вероисповедальными, собственно религиозными проблемами. Нет: оно насквозь социально. (Едва ли не единственное исключение — «старообрядческая» статья О. В. Антонова; ио старообрядчество всегда на равных соединяло в себе религиозное и социальное начала и всегда чуралось политеса в выражении мыслей, стремясь к прямоте суждений.)

Вторая неожиданность в том, что особенно много претензий у всех накопилось не к атеизму (что было бы логично), а к православию.

В силу зтого читать сборник страница за страницей было горько и стыдно. Но как не обижаться второму пастору Одесской церкви евангельских христиан-баптистов С. В. Санникову, если в тот самый момент, когда в Москве «товарищ Горбачев приветствовал патриарха Пимена, вывеску на молитвенном доме в Одессе... снимали снова и снова»? Как удержаться католику В. Алюлису от сдержанного упрека, если руководство Русской Православной Церкви обращается к правительству с просьбой отдать в ее распоряжение здания бывшего униатского монастыря, — а у литовских католиков вообще ни одного монастыря в республике нет? И прав — что делать, прав! — Д. Е. Фурман, когда указывает на неслучайность одновременного роста православных и консервативно-националистических настроений в 70-е годы и предельно точно диагностирует «Память» как «преждевременный, неудачный и, скорее всего, «абортивный» плод этой тенденции»...

Можно бы робко возразить, что отнюдь ие всегда так было, и в 20-е годы именно протестантам жилось сравнительно неплохо (насколько вообще может неплохо житься верующему в социалистическом обществе), а православных загоняли за можай, — об этом, кстати, пишут многие авторы сборника. Что в православии традиционно сильна была не только (и даже не столько) государственно-националистическая, но и соборно-универсальная устремленность, и даже формула старца Филофея «Москва — Третий Рим», которую одни сейчас некритически славят, а другие некритически порицают (в сборнике — Д. Е. Фурман, о. Глеб Якунин), в миг своего рождения была направлена против соблазнительного мессианизма двух других формул: «Тверь — новый Константинополь» и «Русь — новый Израиль» (об этом со сдержаниым церковно благоговейным блеском пишет А. Р. Бессмертный)... Что доску на молитвенном доме баптистов в Одессе все-таки повесили, а вот одну из православных общин — святых Адриана и Натальи — до сих пор не регистрируют... Но все зто будет жалким лепетом, пока мы не ответим на главный вопрос: к кому обращены упреки?

Ясно, что не к православному автору «Записок советского священника» Георгию Эдельштейну; он двадцать лет добивался *права* стать лишенным *всех прав* советским попом, а теперь воюет с уполномоченным по делам религий, латает крышу в сельском храме, вопреки негласным запретам ходит по райцентру в рясе и радуется своему служению. Еще труднее предъявить счет о. Глебу Якунину, известному православному правозащитнику, автору статьи, направленной против сталинизма и цезарепапизма в нынешней Московской Патриархии. И священнику Александру Борисову (статья «Великое поручение»), и многим, многим другим, пускай и не писавшим статьи для этой книги, но ежедневно возносящим «там, во глубине России» молитвы «о всех и за вся». Тем, из кого в большинстве своем и состоит «клир и мир» православия. Так к кому же?

Самая ритуализованная, самая богатая и властолюбивая наша конфессия — безбожное Государство. За 70 лет оно очень хорошо научилось выпускать «тепловую ловушку», отводя удары от себя. В качестве такой «ловушки» и была использована Русская Православная Церковь. Иерархия ее, начиная с патриаршего местоблюстителя Сергия (Страгородского) была *соблазнена* возможностью, пусть отдаленной, восстановления распавшейся «симфонии» Церкви и Государства; «симфонии» по формально-логической привычке противопоставлялась «какофония», и никому в голову не приходило, что возможен еще и свободный «контрапункт». Соблазненную иерархию отождествили со всем русским православием, вновь поставили знак равенства между ним и национально-державной идеей, принудили замолчать или изолировали тех, кто поднимал голос против этого, — и результаты не заставили себя ждать. Трудно ли, кажется, догадаться, что бородатые мальчики в косоворотках и с ненавистью во взоре боготворят жестокую державность не потому, что они православные, а напротив — потому считают себя православными, что боготворят Державу? Трудно ли понять, что если члены Священного Синода «надмирно» не спешат отмежеваться от имперского культа Сталина, доводят униатскую проблему до кровавого тупика, пытаются прибрать к рукам литовский монастырь, — то ведут они себя не как православные люди, а как советские государственные чиновники? Но нет, «ловушка» срабатывает безотказно. В помещенном в книге интервью митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия есть высказывания с церковной точки зрения почти кощунственные: «Безусловно, нельзя приступать к канонизации, ...пока нет акта о виновности или невиновности репрессированиого». Если так, то первомученики христианские канонизированы напрасно, ибо преступали законы Рима, когда отрекались от исповедания государственного языческого культа. С государственно-чиновной точки зрения митрополит, конечно, прав, а раздражение, которое неизбежно вызовут у читателя его доводы, падут на Церковь: только того Государству и надо...

Читая одну из лучших статей сборника, посвященную нелегкой судьбе советского мусульманства, иной раз руками разводишь. Все предстает проявлением антимусульманских настроений и тайного христианского влияния, даже атеистическая пропаганда. (Широко бытует, кстати, иная точка зрения, согласно которой атеизм есть не что иное, как законспирированный иудаизм; при наличии богатого воображения и не то можно придумать.) А дальше мысль автора, обороняющаяся от мнимой христианской угрозы, устремляется в историю, и прошлое тоже становится поводом для размежевания.

Так что, прежде чем искать «равнодействующую» между полюсами религии и атеизма, сонму Церквей вкупе с честным и независимым от официальной идеологии атеизмом придется вычислить идеальную дистанцию по отношению к Державе. Ибо «симфония» с государством равнозначна духовному самоубийству даже для атеизма, если он не хочет по-прежнему сидеть на привязи в государственной конуре и грозно рычать на верующих. Если же попытаться сакрализовать государство, освятить Богоносной идеей — для религиозного слуха сие звучит сладостно и заманчиво, — то вряд ли из зтого что-либо выйдет. Многоконфессиональная теократия в принципе невозможна, а моноцерковная в условиях нашей страны немыслима: она приведет к новой войне между Церквами за первенство, новой крови, а в случае пирровой победы одной конфессии — к ограничению для всех остальных, появлению религиозно-национальных черт оседлости, где под прессом чуждой церковной державности вновь начнет болезненно зреть утопия общей справедливости, учение о царстве всеобщего равенства... Нет уж, это мы проходили; не поддадимся соблазну.

Сонму вероисповеданий ничего не остается сейчас, как взяться за руки с недавним врагом — атеизмом (в его неофициальных проявлениях) и двинуться в путь: не прямо, не направо, не налево, а вбок от торных путей Державы. В словах Христа «отдайте кесарево кесарю» единственный раз за все время Его проповеди звучит ие гнев, не тоска, ие призывание, не спокойствие, не радость, а *равнодушие*. Это заповеданиое Церкви Христовой равнодушие к проблемам государственного устройства не мешает искреннему отечестволюбию. Если для блага отечества и спасения ближних нужно активно включиться в гражданскую жизнь, окунуться в политическую стихию, заняться государственным переустройством, верующие не просто вправе — обязаны пойти на это. **Верующие — но не Церковь.** В полузабытых ныне решениях Собора 1917—1918 годов был наложен запрет на церковную политику и дано благословение на личное «тако», «инако» и «никакомыслие». Это решение единственно разумно и, видимо, может быть принято «за основу» всеми вероисповеданиями, а также атеизмом — на его языке это равнодушие будет именоваться *терпимостью*; именно к ней взывает Д. Е. Фурман, и пока речь идет о церковно-государственных отношениях, я полностью на его стороне.

Но вот другие «равнодействующие» — церковно-церковная, церковно-атеистическая; мыслима ли здесь терпимость? Только в том смысле, что все допускают *социальное* существование друг друга и *юридическое* право иметь мировоззрение, полностью или частично отличное от нашего, отрекаются от «силовых» приемов борьбы. Но нам не удастся гордо замкнуть слух и друг друга игнорировать. Ни угроза войны, ни вовремя начавшаяся перестройка, ни что-либо еще не заставят «церковииков» смягчить выражения в стихе Псалмопевца «Рече безумец в сердце своем: несть Бог», а атеистов — отречься от марксова постулата об иллюзорности и «головном» характере религиозных переживаний. И потому, мне кажется, по мере обретения общественной свободы нас ждет не примирение разногласий, а едва ли не их усиление. Как только отпадет необходимость ссориться на «государственном» уровне, появится время выяснить собственно конфессиональные, догматические отношения, сойтись в резких спорах о нашей общей истории.

Сборник «На пути к свободе совести» — один из важных этапов грядущего освобождения, и не случайно в нем появились первые признаки неизбежного раскола по вопросу о судьбах церковно-государственных отношений в нашей стране. Все авторы мечтают об их гармонизации, все за то, чтоб Церковь процветала. Но одни, как В. Гараджа или М. Одинцов, твердо убеждены, что необходимым условием этого должна быть любовь к советскому строю, и, раз уж «последние документы партии и правительства» нацеливают на перемену в отношении к религии, тщательно доказывают, что такая любовь была, есть и будет. Другие, как Д. Е. Фурман, А. Р. Бес-

смертный, о. Глеб Якунин и убиенный недавно (кем?) о. Александр Мень, уверены в обратном, и главным условием нормальной церковной жизни полагают следование грибоедовской формуле: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь». Но и между ними нет полного согласия.

Так что же — новый, еще более страшный тупик? Ничуть не бывало. Если мы мужественно признаем, что не сможем примириться в мыслях, из этого не следует, что мы не сможем друг друга **любить**. Не как носителей определенного мировоззрения, а как п р о с т о людей, как личностей. Скажем, синагогальное отношение к Иисусу Христу для «вообще» христианина оскорбительно, а христианское для «вообще» иудея — ересь. Но не бывает человека «вообще», а бывают конкретные судьбы конкретных людей. Например, лидера движения «Звезда Сиона» Иосифа Бегуна и основателя российского Христианского Демократического Союза Александра Огородникова. В 70-е годы Бог свел их в одной камере, в огне страдания переплавились их судьбы, и при полном разномыслии они вошли в братское единение. И беда христианину, если он не содрогнется внутренне, читая в сборнике, например, горестный рассказ о грозящем советскому иудаизму вымирании,— ибо встают перед умственным взором не системы идей и воззрений, а живые носители их, чье религиозное страдание не должно затмеваться нашими неразрешимыми разногласиями. Можно вспомнить в этой связи об одном из лидеров православно-националистического крыла в русском зарубежье первой волны кн. Ю. А. Ширинском-Шихматове, который в 20-е годы через слово поносил евреев, всюду усматривал следы всемирного сионо-масонского заговора банкиров, а кончил свою жизнь в фашистском лагере, заступившись за другого заключенного; незадолго же перед тем в оккупированном Париже он хотел зарегистрироваться иудеем, чтобы носить желтую звезду и быть вместе с гонимыми. Сходный пример приводит в своей статье А. Р. Бессмертный: архиепископ Илларион (Троицкий), в 1915 году писавший: «Католики для меня — не Церковь, а следовательно, и не христиане», в советский период шесть лет провел на Соловках бок о бок с русским католическим экзархом Леонидом (Федоровым) и, так сказать, опытным путем убедился, что— христиане.

И вот что важно. И в лагере, где отбывали срок митрополит Илларион с экзархом Леонидом, и в камере, где сидели И. Бегун с А. Огородниковым, и в парижской мэрии, где собирался записаться в иудеи бывший антисемит, примирялись не католичество с православием, не христианство с иудаизмом, не христианско-демократическое движение с сионизмом, а люди с людьми. Для такого примирения равенство свободных воль в учтивой свободе совести необходимо как предварительное условие, но его мало. Чтобы полюбить кого-то и принять его таким, каков он есть, нужно впустить его в свое Я, поступиться частью себя, а значит—добровольно ограничить свою свободу. (На эту тему было прекрасное рассуждение архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла в одной из телепередач.) **Взаимная несвобода любви** есть высшее проявление свободы, не только не отменяющее, но и предполагающее обретение свободы социальной,— во избежание недоразумений приходится повторять это. В принципе примирение в равнодушии и примирение в любви не должны бы совмещаться. Но тут, как в сказке: чтобы соединить разрубленное на куски тело, надо спрыснуть его мертвою водой, а чтобы оживить, надо спрыснуть водой живою.

Сейчас, когда идут религиозные войны в Карабахе, Ольстере, Косове, Палестине, вера в это по крайней мере кажется утопичной. Но сказано — «Credo, quia absurdum est» — «верую, ибо неразумно». А если бы это было разумно, во что бы тут было верить?

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Благодарим всех, кому оказались близки судьба и позиция «Октября», кто поддержал нас в трудное время, кто внес материальную лепту в обретение нашей самостоятельности. Экономическое становление независимого журнала— дело нелегкое, мы будем признательны всем частным лицам и организациям, кто пожелает помочь «Октябрю» в начале этого пути. Денежные средства можно перечислить на наш расчетный счет 609481 в Шаболовском отделении жилсоцбанка МФО 201467 г. Москвы.

Редакция